ИНОСТРАННАЯ литература

6
1957

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Содержание

ХАН ЮН ХО — Азия и Африка сегодня. (Стихи) 3

АННА ЗЕГЕРС — Возвращение. (Повесть) . . 7

АЛЬБЕРТО МОРАВИА — Рассказы 45

ДЕКСТЕР МАСТЕРС — Несчастный случай. (Роман. Окончание) 73

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЛУИДЖИ ПИРАНДЕЛЛО — Добрая душа. (Новелла) 184

Немецкие народные баллады 191

КРИТИКА

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Уроки Стендаля 199

Н. ДЬЯКОНОВА — О путях к свободе 213

АЛЕКСАНДР ИСБАХ — Тема «Гренады» . . . 218

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ЧАРЛЬЗ П. СНОУ — Английская литература сегодня 221

ПУБЛИЦИСТИКА

ЛЮДВИК АШКЕНАЗИ — Бабье лето. (Окончание) 225

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ — Памяти Матэ Залка . . 238

АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР — Писатели в интербригадах 242

6

1957

ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ“ МОСКВА

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОШЛОГО

Несобранные строки Марка Твена 256

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ЛЕВ КАССИЛЬ — Адам познает мир 260

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Т. Григорьева — Избранное Куникида Доппо. ◇ Ел. Романова — «Рассказы с побережья» Эркина Колдуэлла. ◇ А. Михайлов — Письма Вольтера. ◇ А. Мельников — «Тень липовой аллеи» Адама Климовича. ◇ Ю. Яхнина — Мечты и разочарования. ◇ В. Девекин — Голоса дружбы. ◇ А. Караганов — Очевидец, ничего не увидевший 267

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 276

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . 288

На обложке: гравюра болгарского художника Димитра Драганова «Глашатай».

Хан Юн Хо

АЗИЯ и АФРИКА СЕГОДНЯ

Перевод с корейского Анатолия Лебедева.

ВУЛКАН

Господа!
Видели вы вулкана взрыв?
Если нет,
То увидите здесь...

К солнцу, полнеба закрыв,
Рвется
Огня и металла смесь.
В клубах дыма —
Потоки лавы.
В клубах дыма —
Каленые скалы.
В клубах дыма —
Землистый пепел...

Господа!
Надвиньте шляпы и кепи.
Довольно
Поэтизировать тропики,
Довольно с нас
Вашей о нас
экзотики,
Довольно с нас
Вашей о нас
фантазии.
Вулкан — это мы,
Люди Африки,
люди Азии.
Дым — это вздох
Наших предков.
Грохот —
биенье сердец.
Лава —
кровь миллионов.
Скалы —
Рабов согнутые спины.
Пепел — сожженные цепи.
Огонь —
Наш просветленный разум...
Вулкан —
это мы,
Мы, вставшие разом!

Движется лава:
Преграды — в прах,
Движется лава:
Оковы — в прах!
И страх —
в прах!
А страх —
в прах,
То и рабство —
в прах!
И господству
вашему
крах!
Движется лава...
Движется лава...

Бывшие рабовладельцы,
Скажите,
Когда заплатите вы,
Где заплатите вы,
Чем заплатите вы,
Сколько заплатите вы
И будете ли платить,
Скажите,
За наш
Подневольный труд?
За сверхчеловеческий труд?
Пятисотлетний труд?

За ливни
соленых
слез,
Что слились океанами?

Пусть этот
Простой вопрос
Пролетит над всеми
странами,
Разгонит над миром тучи,
Расправит свободы стяг.
На нашей крови,
На наших костях
Строилось
ваше
благополучие.
Окинем землю
Взглядом зорким,
Я вижу отсюда
Небоскребы Нью-Йорка.
Я вижу отсюда
Театры Франции.
Я вижу отсюда:
В Англии на балу
Господин
Дарит даме
Кольцо драгоценное,
В кафе Ливерпуля
Шампанское пенное
Наливают
жирные
руки...
Нет ли там нашей крови,
Нет ли там нашей му́ки,
Рикш,
рыбаков
и кули?

В банках Нью-Йорка
Звякает золото.
Не мы ли его
добыли,
В горных реках намыли,
Под свист бичей,
Умирая от голода,
В холод и зной,
Кровью харкая?

Плывут корабли
С португальскою маркою,
Летят самолеты,
Небо взрезав,
Похожие на острый угол...
Не из нашего ли
Они железа?
Не наш ли
их движет уголь?
Не наша ли
нефть
в цистернах?
Кто скажет,
что это
Не верно?
Грохочет вулкан,
Вулкан гремит.
Воздух —
порох!
Лава остынет не скоро,
Разрушит
Последних тюрем гранит,
Испепелит
Последние цепи,
Последних оков
Тяжелое бремя,
Последний остаток
Старого времени,
Рабского времени,
И жаром своим,
И светом своим
Согреет планету,
Утверждая —
снова
и снова! —
Царство Свободы,
Правды,
Света
Царство
жизни
новой!
Движется лава...
Горячая лава,
Народов лава.

Господа!
Кончилось
ваше господство.
Неотвратимая
ваша
Идет беда,
Лава идет,
Ее не зальют океаны...
Скажите,
кто,
где
и когда
Усмирял вулканы?

ГОВОРЯТ ОКЕАНЫ

Северным ветром взволнован простор.
Два океана ведут разговор,
Тихий Индийскому:
— Слушай, брат,
Вижу я старого мира закат,
Вижу, мои свободные воды
Вновь омывают
Китай свободный.

Индийский волною бурлит в ответ:
— И стар и могуч я, сосед.
И в жизни своей
Повидал я немало,
Веками Индия счастья искала,
Веками носила рабские цепи,
Но вот они сбиты и смяты,
Джунгли свободны... Свободны степи.
И в Африке слышатся грома раскаты,
Проснулась могучая, словно вулкан.
— Братья,— третий сказал океан: —
Мне стыдно за то, что я омываю
Страны, где горя желают Китаю,
Страны, откуда летят самолеты,
Идут крейсера, где вербуются роты
Против свободы... Против свободы...
Седеют мои темно-синие воды,
Но вижу я старого мира закат.

Везде о свободе одной говорят. —
Гудят океаны...
Волну за волной
В разные страны
к цели одной
Вздымает свободный
Северный ветер,
Самый свежий на свете ветер.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» *Рис. П. Наумова*

Анна Зегерс

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого В. Стеженского

ОТ АВТОРА

Дорогая редакция! Дорогие читатели!

Эта повесть была одной из первых, которую я, вернувшись в Германию, написала на немецкую тему. Она основана на первом восприятии сразу представшей передо мной действительности. Хорошо или плохо все это изображено, но многое отдает ароматом и вкусом послевоенной жизни.

То, что рассказано в этой повести, правда. Все «так и было». Человек, подобный Функу, рассказывал мне тогда о подобных же переживаниях. О своем возвращении из плена. О своем дальнейшем пути на Запад. О том, что он там пережил. О своем втором, окончательном возвращении.

Но если все «так и было», а чего-то, что впоследствии оказалось важным, не хватает, то изображение является все же неполным.

Как мы знаем, пережитое Функом не удержало многих людей от ухода на Запад. Этот опыт побудил многих вернуться, но не большинство...

Мне кажется, что конфликты, с которыми сталкивается Функ, не изображены с такой беспощадной ясностью, которая убеждала бы в закономерности его ухода из Восточной зоны и возвращения из Западной зоны в Восточную.

Функу потребовалось много времени, чтобы понять пережитое. Прошлое давит его, пока он — в повести — не встречает ночью товарища, который все ему объясняет. В действительности очень редко выпадает счастье повстречать ночью товарища, который может все объяснить. Правда, иногда трудная жизненная ситуация разрешается благодаря правильному объяснению, но чаще это происходит только после новых испытаний.

В Западной Германии Функ, как превосходный мастер своего дела, нашел работу сразу по приезде. Он видит в городах переполненные красочные витрины магазинов. Это витрины старого, реставрированного общества. И хотя он немногое может купить, он пытается все же сделать кое-какие сбережения.

То, что я рассказывала о 1948—1949 годах, не только сохранило свое значение сегодня, но и стало более острым, более явственным. Сегодня многое из того, что привлекало Функа, он мог бы купить в Западной Германии в рассрочку.

Сегодня рабочего заманивают делать покупки, предоставляя кредит. Он приобретает то, что ему нравится, в рассрочку на год или на два года. Таким образом, его зарплата, его рабочая сила и он сам на долгое время попадают в кабалу.

Ему, может быть, осталось сделать только последний взнос, чтобы новая мебель, которая уже стоит у него в квартире, стала его собственной, как начинается забастовка. Может быть, и он поступил бы так же, как один молодой рабочий, который на вопрос, почему он не бастует вместе со всеми, молча показал квитанцию, где не хватало отметки о последнем месячном взносе.

В Западной Германии не понимали, что Функ имел в виду, спрашивая о будущем своих детей.

Как тогда, так и теперь, действительность должна быть как можно более красоч-

ной и заманчивой, чтобы люди могли забыть о своем страхе и неуверенности. Там — беспокойство и страх, здесь — спокойствие и уверенность.

Уверенность у нас и неизвестность у них — и то и другое еще более усилилось с тех пор, как была написана эта повесть.

Анна Зегерс.

Берлин, февраль 1957 г.

I

Один человек, звали его Вернер Функ, возвращался с двумя товарищами из русского плена. Своего освобождения они дождались в пересыльном лагере. Функу, если его семья не достанет подводу, предстояло идти пешком из города Л. в деревню Камютц.

Уже в поезде Функ, чтобы товарищи не удивились, если его никто не встретит, сказал: «Мое письмо, наверное, еще не дошло».

Его попутчиков, которые сошли вместе с ним, ожидала радостная встреча. Маленького, смущенного Паульсона встречала даже делегация с фотографом и цветами. Ведь он был тысячным пленным, вернувшимся на родину. Фрау Паульсон совсем не казалась смущенной. Она была скорее взволнована и болтлива. Ределя, степенного пожилого человека, также вернувшегося из плена, встречали родители и дочь. Все они скоро ушли. Редель еще раз обернулся и потряс Функу руку.

С рюкзаком за плечами Функ пересек вокзальную площадь. Большая дорога, только большая дорога встретила его. Уходя все дальше и дальше, к Балтийскому морю, она расстанется с Функом у деревни Камютц.

Показалась городская окраина с ее кирпичными домиками — ни деревня ни город,—а за нею поля. Картофельные, клеверные, потом озимого ячменя. Функ вскоре потерял ощущение того, что он так долго находился вдалеке от этих мест.

Его обогнали две женщины и девочка в красном клетчатом платье. Они с любопытством разглядывали Функа. Незнакомые лица все еще удивляли их, хотя мимо уже прошли целые армии — и триумфальным маршем, и беспорядочно отступая. Ведь эта дорога в последние недели войны служила рубежом между Востоком и Западом, пока не соединились союзники. Поля тогда были усеяны толпами беженцев.

Функ прибавил шагу и снова очутился впереди. Женщины за его спиной болтали. «Эта шайка сидит теперь в трактире. Паульсон получит пособие. Они сфотографировали его вместе с женой». — «Ну и баба. Вот поразится Паульсон, когда увидит у себя дома малыша».

Неожиданно они нагнали Функа и свернули в сад. Девочка остановилась у забора и смотрела ему вслед. Функ подумал: «Лене, наверное, теперь столько же лет».

В плену он думал о своей маленькой дочке больше, чем о жене. И та и другая были тихие, светлоглазые. Его сын родился незадолго до того, как Функ в последний раз приезжал на побывку.

Функ прошел мимо поля, засеянного маком. Маки тускло блестели, как солнце, которое было вовсе не золотым, а белым, как маки. Потом началась рожь, за ней рапс. Земля изменилась гораздо меньше, чем он со страхом ожидал. Развалины городов были далеко отсюда. Все, что было затоптано, вырастало снова. Если в его отсутствие кое-что и изменилось, то колесо перемен совершило уже полный оборот.

Функ сам толком не знал, чего он боялся. В плену он дни и ночи тосковал об этой земле, по которой теперь шел. Он тосковал и по своей работе. Раньше он работал слесарем на заводе «Эльмер и сын» в маленьком городке на Балтийском море. Жена написала ему, что после того как их разбомбило, она вместе с детьми перебралась в имение, где когда-

то батрачил ее отец; что большой господский дом битком набит пострадавшими от бомбежек и беженцами, что отец ее спит на конюшне, потому что в его каморке полно людей; что невестка родила во время бегства. По письму жены Функ ничего не мог себе представить, да он и не раздумывал над этим. У него не было ни малейшего желания беспокоиться о том, что там могло произойти. Он твердо решил как можно скорее уехать с семьей из этой зоны. На Западе, думал он, где я родился и вырос, я смогу, наконец, найти мир и покой: там не будут постоянно принуждать меня делать то, что иссушает мое тело и душу. Там не будут беспрестанно требовать от меня отчета в моих поступках. Там не бывает никаких неожиданностей, ничего такого, что и представить себе нельзя. Там чувствуешь себя дома.

Воздух был так спокоен, что белесые лепестки маков, казалось, парили в нем. Мимо промчался автомобиль, в котором сидели двое русских. После часового на вокзале Функ не встречал больше ни одного русского. Ему пришлось немало пережить, все это еще бродило в нем. Он не хотел больше думать о прошедших годах войны. А если даже что-либо и припоминалось ему, он спешил упрятать воспоминание в самую глубину своей души. Но не так уж много в душе человека потаенных уголков.

Лес возник по обеим сторонам дороги, березки терялись среди сосен. Лес был так редок, что тени от деревьев лежали на земле, не сливаясь. За лесом потянулась пустошь. На ней высился одинокий клен. Он уцелел с тех незапамятных времен, когда только начали возделывать эту землю. Все последующие поколения щадили одинокое дерево. Его не спилили даже беженцы, располагавшиеся здесь. Так оно и стояло, могучее и спокойное, словно уверенное в вечной милости людей. Но он, Функ, не смог бы теперь всю жизнь оставаться спокойным.

Маленькая девочка в красном клетчатом платье просеменила мимо него. Она отвела глаза под его взглядом. Функ спросил, далеко ли до Камютца. Хотя он знал, сколько еще оставалось идти, но сейчас ему захотелось поговорить. Девочка коротко ответила: «Нет». На ней были заплатанные матерчатые туфли. Коса у нее была такая длинная, что конец ее прятался за поясом. Функ спросил: «Сколько тебе лет?» Не глядя на него, девочка ответила: «Тринадцать». «Уже?»— удивился Функ. Девочка быстро подняла глаза. Взгляд ее выражал упрек: почему он подумал, что ей меньше. Функ взял ее за косу. Девочка тотчас же вырвалась, снова заправила косу за пояс и стремглав убежала прочь.

Первые дома Камютца приближались быстрее, чем ему хотелось. Подсолнухи касались широких карнизов торфяно-бурых крыш. Астры и наперстянки слабо мерцали голубым и розовым светом.

Девочка в красном клетчатом платье свернула на тропинку и скользнула в пролом кирпичной ограды.

Функ прошел через раскрытые ворота на голую, вытоптанную площадку. Раньше он иногда таскал здесь со своим тестем, стариком Деном, мешки на кухню. Там, где теперь вытоптанная земля, когда-то была подъездная аллея. Они никогда не осмеливались волочить свои мешки по чистому гравию. Раньше дом был окружен газонами. Как светлые облака, всплывали за старыми каштанами окна. Теперь кое-где в окнах висело белье. Стекол не было вовсе или они были треснуты и заклеены бумагой. Каштаны тоже были чахлыми и жалкими, ветки их обрубили на топливо. Прежде Функ часто морщился, глядя на герб над воротами. Но это не тревожило грифа, сидящего на скрещенных мечах с позолоченным девизом. Теперь гриф стал похож на ощипанную ворону.

Помещичий дом выглядел внутри так, словно страдал чесоткой. Штукатурка со стен отвалилась. В старые времена Функ никогда не заходил

в прихожую. Теперь она вся была увешана объявлениями. Обилие подписей и печатей привело его в раздражение. Взгляд Функа упал на приказ за номером таким-то. Он нахмурился. Хватит с него приказов, хватит повиновения. Он по горло был сыт всякими предписаниями и запретами. Поэтому он даже не посмотрел, что было написано на плакатах: «Проведение земельной реформы. Безвозмездная конфискация крупных земельных владений свыше ста гектаров». Функ отвернулся и быстро прошел через большую дверь напротив парадного входа. Когда-то здесь была то ли гостиная, то ли библиотека. Сейчас он попал в некое подобие трактира. Функ спросил женщину, стоявшую за стойкой, где живет его семья.

— Наконец-то! — вскрикнула она. — На первом этаже слева.

На ней был чистый передник, хотя не было ни посетителей, ни бутылок на полках.

Функ взбежал по лестнице. Комната была пуста. Но казалось, что жильцы только что ушли, оставив все на своих местах. Столбики огромной кровати с балдахином служили вешалками для одежды. Детская кровать была задвинута под большую. Две сложенные железные кровати приставлены к стене. Рядом стояли грабли. На подоконнике лежали школьные учебники. В углу комнаты, за перегородкой, было ссыпано семенное зерно. Обеденный стол из полированного красного дерева, такой же огромный, как и кровать с балдахином, украшенный греческим орнаментом, был усеян желтым, зеленым и белым зерном другого сорта, чем то, что лежало за перегородкой. Функ внимательно оглядел комнату. В каких только помещичьих домах, набитых беженцами, оружием и мебелью, ни бывал он во время войны! Но ему никогда еще не приходилось искать в такой неразберихе следы тех, кого он любил. Улыбающиеся, довольно хорошо сохранившиеся ангелы, парившие по потолку, вероятно, помогали раньше поддерживать своими крыльями люстру. Теперь с пустого крюка над столом свисали пучки лука на мочальной петле.

Вдруг кто-то пробежал по коридору. К Функу кинулся маленький мальчик. Он, правда, не знал своего отца и радовался только тому, что кто-то пришел. Девочка в красном клетчатом платье вошла вслед за мальчуганом. «Так это была ты!»— воскликнул Функ. Обеими ладонями он взял ее за личико. Девочка смотрела на него спокойно и немножко грустно.

Потом вошла его жена, Герда Функ. Она ничуть не изменилась. Лицо ее даже во время работы в поле никогда сильно не загорало. Именно таким и представлял его себе Функ: спокойное, с ясными глазами. Они хотели уже было обняться, но комната сразу наполнилась близкими и чужими, знакомыми и незнакомыми людьми. Какой-то маленький человечек весь расплывался от радости встречи. Мальчик в очках, очевидно, его родственник, близоруко щурясь, подошел к Функу. Тесть Функа, старик Ден, выглядел так же бодро, как и раньше.

Они уселись все за столом, словно одна семья. Каждый был рад случаю рассказать вернувшемуся о своих собственных переживаниях. Будто их горе могло стать меньше оттого, что Функ внимательно их выслушает.

Взять, к примеру, маленького человечка. Он действительно был здесь чужим. Двоюродный брат шурина. Его звали Бартош. Он договорился со своей семьей встретиться в Камютце. Пробрался сюда после прихода поляков. Но его жена и дети, которые отправились в путь раньше, чем он, так и не приехали. Может быть, разбомбило их поезд, может быть, вокзал, у которого остановился поезд, а может быть, весь город вместе с вокзалом... Семьи у него теперь нет. Мальчик в очках не был его сыном. Они познакомились во время скитаний. В дороге умерла от разрыва сердца бабушка мальчика. Мать умерла раньше. У них не осталось больше близ-

ких, ни у старика, ни у мальчика. Оба никому не нужны. Так они и остались вдвоем.

— У меня был бельевой магазин. А теперь я могу копать картошку. Помещика они арестовали. Землю его поделили. Каждому свой надел. Я подумал: возьми, что можешь взять. Поживем — увидим.

Старик Ден спросил зятя:

— Что ты теперь думаешь делать?

Мальчуган просунул голову под руку Функа и положил ему на колени. Жена сказала Дену:

— Оставь его в покое. Он только что с дороги.

— Почему оставь? Завод, на котором он работал, пошел к чертям. Если господин Бартош не захочет здесь остаться, пусть Вернер возьмет его надел.

Бартош сказал:

— Зачем ему надрываться? Зачем ему гнуть спину?

— Вы ведь гнули спину перед господином гаулейтером Хозентрегером, когда он заходил в вашу лавочку. И еще ниже гнули, когда строили ему аэродром. Там, в Бреслау,— сказал Ден своему зятю,— эта скотина гаулейтер срыл целые улицы, чтобы успеть вовремя смыться на самолете. Ты знаешь об этом?

— Нет,— равнодушно ответил Функ.

Все было ему чуждо: страна, в которую он вернулся, страна, откуда он приехал. Мальчуган убрал голову с его колен. Он думал сначала, что возвращение отца принесет ему что-то необычайное, что-то радостное, теплое. Но отец казался чужим. Мальчику стало скучно, и он убежал.

Функ вертел ложку. Вдруг девочка впервые раскрыла рот:

— Ты видел, папа, что на твоей ложке? Такой же герб, как и там внизу, над дверью дома. Ложка эта из фамильного сервиза. Мы мешали ею в кастрюле, и олово сверху стерлось.

Функ посмотрел на девочку. В ее глазах светились огоньки. Впервые после возвращения Функ почувствовал, что его к кому-то потянуло. Он ощутил глубокую внутреннюю связь с другим человеком, с его горестями и радостями. Особенно с его горестями.

Дверь осторожно приоткрылась, потом широко распахнулась. Много людей пришло, чтобы поздороваться с Функом. Функ узнал кое-кого из тех, кто здесь раньше работал. И тотчас же, перебивая друг друга, они стали отвечать на тысячу вопросов, которые мог бы задать Функ, не замолчи он после первых же приветственных слов. У кого-то неожиданно вернулся сын, которого считали погибшим — он убежал из лагеря военнопленных. У другой сын, которого так горячо ждали, погиб в последнем бою в нескольких километрах отсюда. Одна женщина держала на руках новорожденного. Другая потеряла своего новорожденного во время бегства. Одна искала своего мужа, другой — жену, третья — брата, четвертая — дочь. Одна уже утратила всякую надежду встретиться с мужем, другая не хотела расставаться с надеждой до последнего вздоха. Один работал на полученной земле так, словно собирался жить здесь вечно. Другой работал спустя рукава, потому что лишь случайно оказался здесь во время раздела. Один сказал, что никогда не уедет отсюда. Раньше он был батрак, а теперь хозяин. Другой сказал, что русские разделили помещичью землю, потому что у них такой закон. Быть может, сюда нагрянут англичане, так у них другой закон. Третий спросил, почему русские не разделили землю между ними, коренными жителями деревни. Мы, сказал он, от этого тоже бы не разжирели. Зачем нам делиться со всякими пришлыми?

Старик Ден, лукаво подмигнув, сказал:

— Русский офицер, который делил землю, пришел в недоумение. Когда он собрал нас и произнес красивую речь, то он так и ждал, что все запляшут от радости. Только все молчали. Хоть и разинули рты, никто не поверил подарку.

— Ведь за землю мы ничего не заплатили,— тихо, но внятно сказал кто-то.

Функ не разглядел, кто произнес эти слова.

Мало-помалу люди начали расходиться. Под конец в комнате остались лишь те, кто сидел за столом. Функ чувствовал, что все хотят оставить их с женой вдвоем. Ден еще раз спросил:

— Ты совсем вернулся?

— Нет,— ответил Функ.

Хотя старика и задел такой ответ, он промолчал. Насмешливые морщинки в углах его глаз разгладились, но не совсем исчезли.

Когда они оказались одни, жена принялась наводить в комнате порядок. Сначала только затем, чтобы чем-нибудь заняться. Потом по-настоящему, как каждый вечер. Функ прислонился к столбику кровати. Время от времени жена останавливалась и бросала взгляд на мужа. Потом обошла вокруг стола и села рядом с Функом. Он не сделал ни малейшего движения, чтобы приблизиться к ней, и она тоже старалась не прикоснуться к нему ненароком.

Все эти годы в плену тоска во сне и наяву уносила Функа далеко, далеко. И здесь, на свободе, он все еще тосковал о чем-то далеком, бесконечно далеком. Он мечтал, как мечтают в походе, о том, чтобы заснуть и никогда больше не проснуться. Он стыдился бы этого, если бы не чувствовал такой усталости. Ничего не поделаешь, так оно и было. Но он понимал, что сейчас ему нужно что-то сказать. И спросил:

— Как ты все-таки пережила это время с детьми?

Жена ответила:

— Пережила.

Дальше рассказывать ей стало легче, словно она вновь обрела привычку говорить.

— Лене учится. Фрейлейн Гундерман в школе говорит, что она должна еще дальше учиться. Она пойдет в школу повышенного типа. Учительница говорит, что позаботится об этом, потому что у Лене есть способности. Мальчик похож на моего младшего брата Ганса, у них много общего с моим отцом. Руки у него золотые. Но в школе дела у него плохи. Его больше интересуют земля и скотина.

Функ продолжал молчать, а она все рассказывала.

— Он даже ночует с дедом в хлеву. С тех пор как приехала моя золовка, отец не спит больше дома. У него в хлеву своя каморка. В том большом, где стоит еще скотина, оставшаяся после раздела. Там устроили перегородку, когда в доме стало слишком тесно. Каждой семье переселенцев построят потом домик. Отец охотно ночует со скотиной.

Она замолчала и посмотрела на мужа, не спит ли он стоя. Функ, не открывая глаз, сказал:

— Да, да.

— Ты не можешь себе представить,— продолжала жена,— какой работящий наш мальчик. Он, конечно, ни за что не захочет уехать отсюда. И Лене тоже не согласится расстаться со своей школой.

— Что ты хочешь,— сказал Функ,— ведь это дети. Никогда нельзя знать наперед, что из них выйдет.

Жена пыталась что-то возразить. Но сердце у нее сжалось — такое отсутствующее выражение лица было у Функа.

Все следующие дни Функ что-нибудь мастерил. Он приводил в порядок то одну вещь, то другую, до чего раньше ни у кого не доходили руки.

У метлы появилась новая ручка. У кувшина—цинковый носик. У дверцы шкафа—задвижка. Функ придумывал себе все новые занятия. Он сделал полки и ящики. Он смастерил своей дочке складной столик у подоконника.

Однажды вечером Функ заявил: «Завтра я уезжаю». Он увидел, что его слова взволновали жену, почувствовал, что они задели и девочку, и поспешил добавить: «Только в Берлин. Через два дня я вернусь».

Его друга, который жил в Берлине, звали Альфред Мельцер. Они вместе были на фронте, вместе в плену. Мельцер вернулся домой раньше. Они договорились встретиться у него на квартире, где Мельцер жил со своей семьей.

Функ приехал на грузовике. Высадился на Лейпцигерштрассе. Огромные разрушения уже не поражали его так, как раньше. Всем существом он свыкся с развалинами. Когда щит с надписью «Американский сектор» остался позади, Функ вдруг отчетливо представил себе, что, сделав всего один шаг, он, как в сказке, на ковре-самолете покинул тот мир, который простирается от Владивостока до Потсдамерплац. Он не видел больше русских надписей, не слышал русской речи. Он видел американские военные мундиры. Правда, он не любил их, но и ненависти они ему не внушали. Они были ему безразличны. Только теперь, словно очнувшись от оцепенения, он по-настоящему обрадовался предстоящей встрече с другом.

Номер дома был еще на месте. Но в доме никто уже, видимо, больше не жил. Его обломки казались совсем древними; искареженные трубы и лестницы, уходившие под самое небо, как бы напоминали о странных обычаях давно минувших времен, все еще продолжавших оставаться загадкой для ученых. Функ перелез через развалины во двор. В саду сквозь каркас дома, который выгорел весь, кроме части фасада, и сквозь скелеты стоящих за ним домов он увидел что-то мерцающее, зеленое, похожее на лесные заросли. Функ почувствовал себя особенно одиноким. Здесь он был еще более одиноким, чем в деревне. Но нельзя сказать, чтобы ему стало не по себе. Вдруг рядом послышался шорох, а потом раздалась ругань. Двое мальчишек выползли из развалин, отчаянно споря из-за своей находки: велосипедной рамы. Функ спросил, где живет Мельцер. Один из них крикнул: «У вас под носом!»

Теперь Функ увидел сбоку на стене, которую он считал лишь частью фасада, два настоящих окна. В них виднелись горшки с цветами. Он закричал: «Мельцер!»— и кто-то махнул ему рукой.

Функ пролез сквозь дверную раму на лестницу, которая, на первый взгляд, терялась в груде развалин, но потом неожиданно сворачивала в уцелевшую лестничную клетку, где снарядом разнесло только первый этаж. Перила лестницы давно уже сгорели. Но дверные ручки и таблички с фамилиями были начищены до блеска. Функ узнал даже почерк своего друга на выгравированной табличке, и тут ему открыла дверь маленькая нарядная женщина. Сначала Функ принял ее за жену Мельцера. Этот вздернутый нос, вьющиеся волосы и мелкие мышиные зубки были уже знакомы ему по фотографии. Она слегка косила. Оказалось, что это младшая сестра жены Мельцера. Она в курсе всех дел, как сама заявила. Она высыпала ему тотчас же ворох новостей. Старики-родители молча сидели на диване.

— Отца после удара разбил паралич,— рассказывала девушка,— и мать ни на шаг от него не отходит, они никогда не спускались в подвал во время бомбежки. Родители Мельцера и все соседи были в подвале, и все погибли, когда снарядом разбило первый этаж и подвал.

— А вы, а фрау Мельцер и дети?

Функу доставляло удовольствие слушать болтовню этой девушки с мышиными зубками, хотя она и рассказывала о мрачных вещах.

— Моя сестра с детьми была как раз в Грюнау, а я, — торжественно добавила она, словно доверяла Функу большую тайну, — я полагаюсь только на судьбу. Я осталась со стариками. Когда раздался грохот, мне показалось, что я уже на том свете. Но потом увидела, что это упали и разбились наши безделушки.

Стены дома слегка задрожали: по лестнице поднималась фрау Мельцер с детьми.

Мельцер всегда гордился женой и ревновал ее. В отличие от сестры она не косила, ее черные глаза глядели прямо и немного сурово. На фронте Мельцер беспокоился за свою жену и был очень доволен, когда после его отпуска она написала, что беременна. Функ посадил самого маленького к себе на колени. Сестры накрыли на стол. Их, однако, не смутило, что Функ выпил с ними только ячменного кофе, а хлеб ел, принесенный с собой.

Потом, наконец, пришел Мельцер. Они встретились, как встречаются старые друзья. Та рука, тот взгляд, по которым тосковал Функ. Мельцер был рослый, сдержанный человек. Он не говорил лишних слов. Он пододвинул Функу полную тарелку супа и за это взял у него кусочек хлеба. Функу казалось, будто оба они на войне и вместе попали в эту странную квартиру, в которой живут вот эти женщины и дети с вьющимися волосами и мышиными зубками, очень услужливые, но столь же чужие Мельцеру, как и ему самому. Маленькая свояченица болтала без умолку. Функ с удовольствием ее слушал. От ее болтовни у него мурашки по телу бегали, это взвинчивало его. Функ никак не мог понять, ищет ли она его взгляда или просто косит. Он думал, что малютка совсем недурна, да и сам он еще не стар.

Мельцер пошел его проводить. В гараже они спросили, не подвезет ли Функа на обратном пути грузовик. Выйдя на улицу, они сразу же повели откровенный разговор. Каждый из них уже давно думал про другого: это настоящий парень. В роте они быстро спелись. Они признались друг другу, что терпеть не могут Гитлера, что ждут не дождутся, когда кончится война, что оба они до войны изворачивались, как могли, лишь бы спастись от нацистов, от их угроз и приказов. Но от войны они не спаслись.

Теперь Мельцер сказал Функу: «Тебе повезло, что ты нашел жену и детей здоровыми». Функ ответил: «Тебе тоже. Тебе еще больше повезло, ты живешь не в русском секторе».

— Да, это верно,— сказал Мельцер,— хотя сперва я имел там работу. Мы оба должны как можно быстрее уехать отсюда.

— Я тоже думал об этом и надеялся, что ты посоветуешь мне что-нибудь.

— Я могу посоветовать только одно: уезжай как можно скорей! У меня есть родственник в Бадене, его зовут Штельваге, он нам поможет. Я думаю, что сначала поедешь ты, раз ты еще не работаешь. Если ты мне напишешь, что все налаживается, я тотчас же отправлюсь туда с нашими семьями.

Функ, спрашивая больше себя, чем Мельцера, сказал:

— А сойдет ли все гладко?

Мельцер ответил: «Предоставь это мне. У меня есть знакомый в одном учреждении. Я ему суну кое-что, и он достанет нам нужные бумаги. Я в этих делах разбираюсь».

— Верно, что разбираешься, — с улыбкой подтвердил Функ. — Только согласятся ли мои так скоро переехать — это еще вопрос.

Мельцер вытаращил от удивления глаза:

— Не хочешь ли ты сказать, что они не жаждут выбраться из этого

болота? Скажи мне правду, у вас не все в порядке? Вы стали чужими друг другу? Что-нибудь не ладится?

Функ нахмурил брови.

— Нет, нет. Не в этом дело. Жена, мне кажется, в конце концов поедет туда, куда я захочу. Не сказал бы, что она будет особенно рада этому переезду. Это тоже не так. Но дети, они, пожалуй, заупрямятся. Особенно дочка. Я думаю, она придет в отчаянье, когда узнает, что должна уехать...

Мельцер расхохотался.

— Никогда в жизни не слыхал такой чепухи. Сколько ей лет? Ты мне еще расскажешь, что ваша кошка привыкла к вашей печке. Если найдешь там работу, то сумеешь ублажить свое ненаглядное дитятко, да еще как. Ведь говорил же ты мне, что вы никогда не можете остаться одни в своей комнате. У вас там куча народу и нечего жрать. Ну так что же?

— Что их там удерживает,— возразил Функ,— я тебе не могу точно сказать. Одно только скажу: они всегда, особенно дочь, приходят из школы, словно свет впервые увидели, с такими глазами, и чего только ни рассказывают. Она без ума от своей школы. И верит всему, что ей там обещают в будущем. Она очень привязана к школе. Конечно, она не захочет уехать.

— Ну, знаешь, кончай эти разговоры,— сказал Мельцер уже совсем другим тоном, почти сердито.— Мы еще в плену вместе решили как можно скорее перебраться на запад. И это решение к нам не с неба свалилось. В конце концов, Функ, дети—это еще не все в твоей жизни. Ты что, уже все забыл? Мы с тобой никогда не клевали на нацистскую приманку. Мы втайне радовались, когда «тысячелетняя империя» стала трещать по всем швам. Об этом мы сразу же сказали русскому офицеру на первом же допросе. И о том, что в душе мы никогда не были нацистами.

Функ слушал его с таким интересом, словно Мельцер рассказывал о судьбе чужого человека.

— А кем мы были для русских? Пленными! Такими же, как и все.

Чем мрачнее становилось лицо Функа, тем суровее говорил Мельцер. Теперь—он это чувствовал—он нашел путь к какому-то тайнику души Функа, доступ к которому был обычно закрыт.

— Они отправили нас за Урал, вместе со всей сволочью, которая еще за неделю до этого мучила нас и шпионила за нами. Ко всем подошли с одной меркой: и к тем, кто с наслаждением, из ненависти к социализму стрелял в русских или издевался над ними, и к нам, хотя у нас за спиной стояли с пистолетом, так что нам не оставалось ничего другого, как тоже стрелять.

Функ молчал, а Мельцер торопливо перечислял все, чем плен был им так ненавистен. Когда Функ, вспоминая, утвердительно кивал, в глазах Мельцера вспыхивали огоньки. Под конец Мельцер сказал:

— Что ты здесь потерял? Красивые лозунги, которые вывешивали у нас в лагере, ты можешь и здесь читать, если это доставляет тебе удовольствие. И те же речи, с которыми обращались к нам там, ты можешь здесь слушать каждый вечер. Ты можешь ходить в такие же школы, какие открывали для нас последний год в лагере. И здесь ты найдешь таких товарищей по учебе, которые прикидываются паиньками, чтобы получить повышенный паек, после того как они двенадцать лет клялись в верности нацизму. Я слишком горд для этого. Я не попался на их удочку.

Функ сказал:

— Я тоже.

— Ты тоже. Поэтому мы должны поскорее бежать отсюда.

Функ сказал:

— Сначала я поеду к себе на родину. А если у меня там ничего не выйдет, поеду к твоим родственникам.

Он возвращался в Камютц на грузовике примерно в то же время, что и пассажиры с поезда. Земля была по-вечернему бурой и серой. Черепичные крыши и розовые облака уже потускнели. На пустынном шоссе Функ заметил маленькую точку, которая нерешительно двигалась вперед. Когда он подъехал поближе, то увидел, что это была девочка, когда проехал мимо, заметил, что девочка плачет, а обернувшись, узнал в ней свою собственную дочь. Он остановил грузовик, крикнул: «Лене!» — и поднял ее в кузов. Девочка утерла заплаканное лицо косой и прижалась к нему; днем она этого никогда не делала. Она сказала: «Раз тебя не было в поезде, я думала, что ты уехал насовсем».

Назавтра, при свете дня, возвращение домой показалось ему мимолетным и зыбким, как сон. Если раньше Функ мастерил у себя в комнате, то сейчас он приводил все в порядок у своего тестя. Он навесил дверь в его каморке, которая отделялась от конюшни занавеской из мешковины. Чинил всякую утварь.

Функ отозвал дочку в сторону и спросил, не хочется ли ей поехать с ним теперь же в Западную Германию. «Остальные приедут потом,— сказал он,— а мы поедем первыми».

— Нет,— возразила девочка.

Функ был разочарован, хотя со страхом ждал такого ответа.

— Ты боишься?

— Нет,— ответила девочка,— теперь мне нужно идти в школу, в Камютц.

Функ сказал:

— Ты окончишь школу там. Тебе ведь остался еще один год.

— Нет, больше,— сказала девочка,— спроси фрейлейн Гундерман. Самое важное для меня только еще начнется.

Функ рассмеялся, но сердце у него защемило, и он серьезно спросил:

— Ты что же, больше любишь свою школу, чем меня?

— Нет, не больше, а только там нам рассказывают, как потом будет по-другому. Если я здесь буду учиться, из меня что-нибудь да выйдет.

— Значит, ты не хочешь ехать со мной?

Девочка еще раз коротко ответила:

— Нет.

За два дня до отъезда к Функу зашел товарищ, с которым он раньше работал на заводе «Эльмер и сын». Его звали Буркхардт. По возрасту и по внешности он годился Функу в отцы.

— Раз ты не пришел к нам, Функ, я сам к тебе пришел. Узнал, что ты дома.

— А зачем мне приходить,— сказал Функ,— если у вас ничего больше не осталось? Ведь вас ободрали как липку.

— Русские,— возразил Буркхардт,— вывезли сначала то, что у них украли. А потом рабочие, которые остались, собрали новый завод из частей и деталей, а то и просто из кусков исковерканного металла и всяких жалких остатков. Старик Эльмер больше не показывался. Почти все прежнее начальство тоже сбежало. Два инженера остались еще в городе — помогали рабочим.

Функ сказал:

— Русские у вас опять все отнимут, как только вы наладите дело.

— Нет,— возразил старик Буркхардт,— этого они не сделают. Они

оставят все нам, рабочим. Я пришел спросить тебя, будешь ли ты теперь работать вместе с нами.

— Нет,— сказал Функ,— я хочу на этой неделе уехать на запад.

Буркхардт внимательно посмотрел на него.

— Послушай-ка, я старый человек. Думаю, я так же стар, как и старик Эльмер. Когда это произошло, мы все собрались и решили, что нам теперь крышка. А когда наши люди пришли ко мне — я уже не помню, кто пришел первым,— я для себя решил, что старик Буркхардт не останется в стороне, что там, где работа, там и мое место. Думаю, и ты тоже.

Функ покачал головой; он попытался объяснить старику, почему тот напрасно старается. В конце концов Буркхардт рассердился и ушел.

Во дворе имения он наткнулся на жену Функа и ее отца. Буркхардт стал браниться:

— Что он за человек, ваш муж? Я был о вас обоих другого мнения.

— Это потому, что она не смеет рта раскрыть,— ввязался в разговор старик Ден.— Когда я вмешиваюсь, она говорит: «Оставь, отец!»

Жена Функа не покраснела, а чуть побледнела. Она сказала:

— Ничего не поможет, он всегда делает только то, что ему взбредет на ум.

— Почему не поможет? — спросил Ден.

— Теперь уже поздно. Теперь он уезжает.

Жена Функа ничего больше не сказала, словно все еще не верила в предстоящую разлуку.

Когда она поднялась наверх, в комнате было слишком много народа, и она не смогла толком поговорить с мужем. Только на другой день она спросила:

— Ты в самом деле хочешь уехать?

— Конечно,— удивился Функ,— здешняя жизнь не для нас.

— Если тебе там что-нибудь предложат, смотри, чтобы детям хорошо было и сейчас, и в будущем.

— Конечно,— сказал Функ.

Счастье, что у него есть такой друг, как Мельцер, который может разобраться в дебрях учреждений, бумаг и печатей. И хотя Мельцер только недавно приехал в Берлин, где, казалось, все было разбито, включая и шкафы с документами, он точно знал номера комнат и фамилии тех, к кому надо обращаться. Он знал даже номера комнат и фамилии нужных людей в американской, французской и английской администрациях.

Функу показалось было, что на лицо девочки легла тень глубокой печали. Но потом ему снова стало казаться, что девочка относится ко всему легко. Она весело помогала ему укладывать рюкзак. Функ подумал: «Ведь я не на войну ухожу. Мы снова все встретимся».

II

Когда Функ, сев в переполненный поезд, закрыл глаза, он увидел перед собой жену, на которую он, правду сказать, не так уж часто смотрел. Лицо ее казалось особенно спокойным по сравнению с лицами соседей, искаженными от злобы, волнения или отчаяния либо просто от толчков в бок. Кто-то ругался из-за того, что чья-то корзина загородила проход. Какой-то ребенок вопил, потому что ругалась его мать. Одни спорили о цене мыла на черном рынке, другие о том, кто лучше — генерал Клей или генерал Кениг, третьи о том, кто хитрее — Сталин или Трумен. Кто-то сказал: «Раньше выискивали людей, чтобы посадить их в концентрационный лагерь, а теперь все мы сидим в одном огромном концлагере». И опять о Сталине, и опять о Трумене, и о ценах на черном рынке, и о беженцах. Слова, распадаясь, превращались в ничто и снова возникали

из ничего. Функа, как только он закрывал глаза, охватывало грустное чувство, не имевшее ничего общего ни с этими разговорами, ни с радостным сознанием того, что, наконец, он сидит в поезде. Но он снова и снова закрывал глаза, словно хотел в окружающей сутолоке сохранить это чувство грусти, как дорогое сокровище.

Он с благодарностью подумал о своем друге Мельцере, когда всем пассажирам пришлось выйти из вагона на зональной границе. Бумаги его были в порядке. Многих отправили обратно или увели куда-то после долгих расспросов. Глядя на круглое крестьянское лицо солдата, склонившегося над его удостоверением, Функ подумал: «Ты теперь для меня последний русский». Он облегченно вздохнул. Теперь уже все позади. Русская зона осталась за его спиной.

Функ даже нашел себе сидячее место. Стемнело рано. В вагоне света не было. Дождь сливался с ночью. Девушка, сидевшая рядом с Функом, спросила:

— Что это там такое твердое?

— Мой рюкзак.

— Тогда я могу положить на него голову,— сказала она.

Функ сделал в лежавшем у него на коленях рюкзаке две ямки: одну для ее головы, другую для своей. Когда девушка раскрыла глаза, она увидела перед собой лицо Функа. У нее были такие же мелкие зубы, как у свояченицы Мельцера. По оконным стеклам сбегали струйки дождя. Медленно занимался день. Кто-то уже принялся жевать, кто-то ругаться. Большинство пассажиров еще спали. От толчков вагона их щеки вздрагивали, особенно у детей. Функ чувствовал бодрящую силу наступающего дня. Он чувствовал себя моложе, чем вчера, человеком, имеющим право на радость. Из его рюкзака пахло хлебом. Девушка засмеялась и потянула носом. У нее было худенькое, заостренное личико. Функ сам клал ей в рот кусочки хлеба. Вчера все было не так. Сегодня гораздо лучше.

— Как вас зовут?

— Элли Мюллер. А вас?

— Меня? Вернер Функ.

Он подумал: «Эх, назваться бы по-другому. Эх, начать бы жизнь снова».

Он равнодушно слушал, о чем болтают люди. Чей-то ребенок радостно закричал: «Радуга!» Все бросились к окну посмотреть, как преобразилась, словно по волшебству, вся местность.

Вошел контролер вместе с американским офицером. Американец просматривал документы. Его гладко выбритое лицо не внушало Функу ни симпатии, ни отвращения. Оно было ему безразлично.

Функ отдал девушке остаток хлеба: она выглядела такой юной и такой голодной. День быстро угасал. Теперь Функ уже сам положил голову девушки на свой рюкзак. Ему было все равно, которую ночь они едут. У него сжалось сердце, когда девушка сказала: «Скоро мы приедем».

Они вышли на вокзал, где Функу нужно было пересесть на другой поезд, и девушка тотчас оставила его в толпе, словно он был такой же чужой, как и все эти люди. Она крикнула: «Тетя Евгения!» Функ следил взглядом за ее красным платочком, пока и он не затерялся в толпе. Остаток пути показался ему бесконечным.

Функ отправился в город, где он родился. Всякий раз, когда он видел французский мундир, ему чудилось, что город оккупирован не после второй мировой войны, а все еще со времен первой. Переулок, где жил его двоюродный брат, казался жалким в ярком свете солнца. Двор был в полном запустении еще в ту пору, когда они играли здесь ребятами. Он

помнил жену своего брата еще девушкой. Не очень опрятна, охотница потанцевать, легка на язык, как и на ноги. Теперь ее черные глазки смотрели на него пристально и невыразительно, точь-в-точь как птичьи.

— Не узнаешь? — спросил Функ.

— Ну, что ты, Вернер,— сказала женщина,— только мои карточки пропадут, если я сейчас же не куплю на них чего-нибудь. Сегодня дают маргарин и чистый свиной смальц — половина на половину. Присядь сюда на ящик. Мой муж сейчас придет.

Во дворе играли маленькие дети. Функ следил за их игрой, пока не пришел его двоюродный брат Франц. Раньше они жили с ним душа в душу. Когда у Франца появилась невеста, он отрастил себе усы, чтоб казаться старше. Усы у него стали теперь седые, но лицо все еще было молодое, а глаза светло-голубые и простодушно-смущенные.

— Смотри-ка, Вернер! Что ты здесь делаешь?

— Я вернулся из плена. Ты ведь тоже был на войне?

— А как же. У меня осталась только одна нога. Это избавило меня от отправки под Воронеж, а заодно и от смерти. Наш город разбит. Наш квартал совсем разрушен. Но дом сохранился. Только сортировочная станция пострадала. А вообще у нас ничего не изменилось.

Вдруг до него дошло, что своего двоюродного брата Вернера он не видел очень давно.

— Скажи-ка, ты ведь женат? Почему же ты здесь?

— Мы живем в русской зоне. Мне хотелось побывать на родине, посмотреть, как тут с работой, чтобы потом перевезти сюда и мою семью.

— Ах ты, боже мой,— сказал Франц,— французам недавно был нужен хороший слесарь. Если б речь шла только о тебе одном! А тут сразу целая семья!

Наконец он открыл дверь в свою квартиру. Комната с выходом во двор была разделена на две части занавеской из мешковины и шкафом. Функ вспомнил, как Франц гордился своим зеркальным шкафом, купленным в рассрочку перед свадьбой. Хотя в окнах не было стекол, зеркало, если не считать маленькой трещинки, осталось цело.

Франц сказал:

— Здесь много беженцев с востока. Кое-кого французы затолкали и в наш город. А тут еще эти пострадавшие от бомбежек. Прямо повернуться негде. Даже и у нас они живут, за зеркальным шкафом.

— Им ведь тоже нужно где-то жить. А беженцам нужно было уехать оттуда.

— Но тебе-то не нужно было уезжать? Почему же ты там не остался?

— Меня тянуло сюда.

Хотя Функ чувствовал, что говорит впустую, что его слова как бы бесследно терялись в какой-то щелочи, не жгучей и не едкой, но растворявшей все без остатка, он продолжал:

— Я думал о том, что здесь прошло мое детство, что здесь воздух, которым можно дышать. И вот, не успели мы кончить школу, как пришел этот Гитлер. Днем и ночью принуждение. Без оглядки и слова не скажешь. За тобой шпионят, ты всегда под надзором. Потом война. Еще больше запретов. Еще сильнее надзор. Потом плен. Мне очень хотелось побывать хоть разок там, где я волен делать все, что душе угодно.

Функ говорил быстро и много. Он не думал о том, что все, о чем он рассказывает двоюродному брату, с самого начала говорилось на ветер.

— А в Восточной зоне у меня нет такой возможности. Там цепляются за каждое твое слово. Я думаю, что здесь я буду, наконец, свободен. Здесь меня не спросят, в какой я партии.

— Конечно,— сказал Франц.

— Когда мы оба были молоды и мой отец нам многое объяснял, у нас было свое представление о социализме, помнишь?

— Теперь точно не помню, — ответил Франц. — Но я тоже слышал, что у вас там очень опасно.

— Опасно? Почему? — спросил Функ. — Этого я не замечал. Что мне мешает, так это...

— Я думаю, Вернер,— сказал Франц,— только чур не обижаться, я думаю, ты слишком интересуешься политикой. Все вы в Восточной зоне такие. Меня политика не трогает, потому что я ее не трогаю. Здесь, например, некоторых тоже раздражает, что французы вытворяют всякие штуки. Их раздражает, что они должны снимать шляпу, завидев французский флаг, раздражает, что они должны уступать дорогу часовому. Я спокойно снимаю шляпу, спокойно уступаю дорогу. Разве меня от этого убудет? Мальчишками мы тоже бегали за флагом. Я понимаю, что в твоем возрасте тебе это осточертело. И тебя опять тянет на родину. Может быть, тебе удастся найти здесь работу, ведь ты опытный слесарь. Только куда денешься с семьей?

Вернулась жена Франца с кучей детей. У одних глаза были простодушные и голубые, у других черные, птичьи. В семье, жившей за зеркальным шкафом, тоже засуетились. Функ выложил на стол свои продовольственные талоны. Франц вооружился карандашом, жена ножницами, и супружеская чета надолго занялась талонами. Скрипел карандаш, лязгали ножницы. Потом появились кухонные весы, чтобы Функ мог убедиться, что все здесь делается без обмана. Ни одного лишнего грамма жиров или муки.

Функ видел в большом зеркале, как все они сидят за столом. Тонкая трещинка бежала по всклокоченным волосам жены Франка, по ее непоседливым детям. Он не мог и не хотел представить себе свою семью в этом мутном зеркале.

От этого он вовсе не был счастлив, когда первое время в поисках работы ему приходилось слышать то, в чем он уже уверил самого себя: сколько бы ни было на улицах безработных, хороший слесарь найдет в конце концов что-нибудь подходящее. Французские фирмы нуждались в квалифицированных рабочих. Там даже с удовлетворением говорили: работа немцев все еще вне конкуренции.

Функ встретил во дворе пострадавшего от бомбежки соседа, который жил за зеркальным шкафом. Он показался Функу более рассудительным, чем двоюродный брат... Сосед поссорился с женой Франца, и поэтому, хотя они с Функом и жили бок о бок, поговорить в комнате было нельзя.

— Как вы думаете,— спросил Функ,— есть ли здесь будущее для моих детей?

— Будущее? Что вы подразумеваете под этим? Наверное, третью декаду в своих продовольственных карточках?

Он посмотрел на Функа, горько усмехнулся и добавил:

— Будьте довольны, если хоть сами найдете работу. Откуда мне знать, найдут ли потом работу и ваши дети? Вы сами говорите, что они еще ходят в школу. Они еще не в том возрасте, когда надо задумываться об их будущем. Мы с вами уже пережили две оккупации и две войны. Когда ваши дети подрастут, может быть, будет третья. А многие считают, что и раньше.

После таких разговоров Функ решил последовать совету своего друга Мельцера. Вскоре он снова очутился в вокзальной толчее, словно в каком-то огромном бурлящем котле.

В доме двоюродного брата он вспоминал иногда о девушке, которая во время поездки спала на его рюкзаке. Словно слабый свет радости сиял

для него в этом затхлом мирке. Еще тогда, в поезде, в тесноте и гаме, сдавленный со всех сторон, голодный и усталый, он жадно ловил ее улыбку. Пристроившись сейчас в хвосте очереди у билетной кассы, он безотчетно искал взглядом, не мелькнет ли в этой удручающей суматохе красная точка. Это было бессмысленно и глупо. Но он изумился, когда заметил между двух колонн красный платочек. Он вышел из очереди и собирался снова встать в конец, потому что ему не удалось отыскать ни красный платочек, ни свое место. Но вдруг он снова увидел этот платочек и ринулся к нему. Это была та самая девушка. Она взвалила на себя странную ношу: деревья с обернутыми мешковиной корнями. Девушка узнала Функа, просияла от радости и крикнула:

— Бывают же чудеса!

Торопливо и подробно они рассказывали о себе друг другу, словно давно были знакомы. Девушка ехала к другу ее семьи, который служил в лесничестве где-то в горах.

Функ помог ей сесть в вагон. Он больше не думал ни о двоюродном брате Франце, ни о семье. Ни о войне, ни о будущем. Никто на свете не искал его, никто не знал, где он. Узкоколейка взбиралась все дальше и выше в горы. Но она не могла забраться так высоко и далеко, как хотелось бы Функу. Ехавшие с ним крестьяне показывали друг другу постельное белье и драгоценности, которые они выменяли в городе на окорока и муку. На их пышущих здоровьем лицах не было никаких следов злобы или страха. Они возвращались в свои родные деревни, разбросанные в горах.

Чем выше они поднимались, тем больше снега лежало на крышах и соснах. Функ высадил девушку с ее саженцами на какой-то платформе. Ее целью была теперь узкая полоска света, над которой кружились белые хлопья. Из темноты крикнули: «Фрейлейн Мюллер!» Элли потащила Функа к закутанной тени, которая ожидала их с лошадью и санями.

— Мой жених! Нашелся! И ему сразу же пришлось помогать мне тащить ваши саженцы.

Оба рассматривали друг друга без особого любопытства. Здесь, в горах, в ведении господина Риделя были охотничий домик и лес, принадлежавшие раньше тому, кому теперь, видимо, они уже не принадлежали. Функ не многое понял из того, что говорил Ридель, потому что тот не поворачивал головы, словно рассказывая обо всем своей лошади. Офицеры, жившие летом в охотничьем домике, теперь из-за нехватки зимнего снаряжения ушли в долину. Он рад, что у него будут жильцы, потому что господин ландрат уже несколько раз запрашивал по телефону, сколько у него свободных комнат.

— Я его отвадил,— рассказывал господин Ридель то своей лошади, то оборачиваясь назад,— я сказал ему, что мы с часу на час ожидаем возвращения господ офицеров. Но я-то знаю, что они не вернутся. Моя жена начала в доме уборку. Когда произошла катастрофа, господин фон Шарин, уезжая, сказал мне: «Ридель, я должен найти все в полном порядке». Это, дети, была нелегкая задача в те времена! Теперь, когда мне посчастливилось избавиться от постоя и получить известие от хозяина, что сам он не сможет приехать, но пришлет молодого хозяина, а в прошлое воскресенье молодой хозяин даже звонил мне по телефону, теперь я до смерти боюсь, как бы мне не вселили этих голодранцев беженцев, которыми кишмя кишат наши деревни.

Саженцы, лежавшие в сенях, были уже обсыпаны снегом, как и ветки елей, за которые они задевали во время езды. Сидевшие за спиной Риделя Функ и Элли тесно прижались друг к другу. Они не скрывали, что помолвлены. Функ чувствовал себя лучше в придуманном Элли положении, чем в той суровой и мрачной действительности, от которой он убежал,

как из лагеря военнопленных. У него было такое чувство, словно их обоих ждут в маленьком домике с двумя ярко освещенными окнами.

Вся закутанная и казавшаяся от этого вдвое толще жена лесничего расспрашивала их не больше, чем ее муж. Элли помогала на кухне, Функ тоже не сидел без дела. Многие вещи нуждались в починке. В доме было всегда тепло. Функ был всегда сыт.

Здесь был радиоприемник, но с тех пор как уехали офицеры, никто им не пользовался. Едва ли Функ мог бы найти себе другое такое место, где он был бы избавлен от вопросов и необходимости отвечать на них. Когда он починил антенну и они вечером слушали, как Восток и Запад перебранивались в эфире, Ридель сказал: «Радуйся, что ты избавился от этих русских».

Функ пожал плечами. Еще какое-то время он крутил ручку приемника. А когда нашел нужную волну, ему пришла в голову сумасбродная мысль, будто он сможет уловить знакомые голоса. Он не столько вслушивался в слова, сколько в звучание голосов. Ридель, покуривая трубку, время от времени ругался: «Подстрекатели! Голодранцы! Смутьяны!»

— Против кого же они подстрекают? — спросил Функ и засмеялся.— Против старого или молодого Шарина?

Ридель подозрительно взглянул на него.

Функ вспомнил вдруг старика Буркхардта, который заходил к нему перед отъездом. И сам ответил на свой вопрос: «Должны же они начать работать. Ведь не у всех висят такие окорока в коптильной, как у вас». Ридель хотел что-то сказать, но сдержался и косо посмотрел на Функа, словно подумав: «А что ты, собственно, за птица?» Элли воскликнула: «Черт тебя дернул починить эту антенну!»

Снег все падал и падал. Их совсем занесло. Зазвонил телефон. Риделя вызвали к ландрату. Он вернулся багровый от бешенства: «Не знаю, — сказал он, — чем можно помочь делу, если наш молодой хозяин еще дольше задержится». Он рассказал Функу, что вся земля тут, до самой деревни Цердорф, принадлежит старому господину фон Шарину. У него хотели отнять ее. До сего времени Ридель полагал, что господин фон Шарин давно все уладил. «Он сказал также, что приедет его племянник, который бежал из Восточной зоны, вроде вас, Функ. Но тот, как это и свойственно молодым людям, застрял где-то в городе».

— Вам-то что до этого? — сказал Функ.— Вы ведь все равно ничего не получите в наследство. Уж будьте уверены, ваш господин фон Шарин порядком нахапал, так что и вам нечего зевать. Видели бы вы только помещичий дом, где живет моя семья. Тоже ведь когда-то принадлежал такому.

Позже к нему пришла Элли и сказала:

— Ридель и так уж вернулся в ярости, а сейчас он вовсе из себя выходит. Он спрашивает, уж не красный ли ты.

— Ну, а если даже так? — сказал Функ.

— Мне все равно. Я тебя люблю. По мне будь ты хоть клетчатый.

Отныне Функ избегал всяких разговоров. Он стал немного скучать. У него появилось желание работать. Он узнал, сколько километров до Л., где работал на заводе Штельваге, родственник Мельцера. Там, быть может, Функа ждало письмо от жены. Ему стало вдруг боязно, словно письмо было чем-то живым, что могло погибнуть. В это время Элли получила письмо. Она растерянно комкала его в руках и наконец решила прочитать.

Функ ждал, пока вечером она сама не рассказала ему:

— Мы обручились с ним во время войны, и он пропал без вести. Теперь я представляю его себе не так отчетливо, ну вот словно его снегом

запорошило. Но он написал моей двоюродной сестре, потому что для него все это слишком серьезно.

Оказавшись снова вместе, они первое время были всецело поглощены друг другом. Потом оба молчали, словно сговорившись. А теперь Функ тоже стал рассказывать о своей семье. Они обняли друг друга, но уже не так, как раньше, и Элли сказала: «Не могу себе представить, что нас может что-нибудь разлучить». «А я могу»,— тоскливо подумал Функ, но ничего не сказал.

Растаявший снег каплями падал с крыши. В доме стало неспокойно. Лучше всего чувствовал себя Ридель. Его молодой хозяин должен был, наконец, скоро приехать. Элли как-то обмолвилась, что канцелярии ландрата нужна секретарша. Позднее она сказала Функу, что им можно будет без всяких помех встречаться в городе, расположенном поблизости от места ее работы. Жена лесничего укладывала в рюкзак Функа продукты.

Спустя несколько дней Функ шагал по полотну железной дороги через поселок в поисках Штельваге. Невдалеке виднелись горы. Пахло лесом. Сады были уже обработаны.

У Штельваге, как и у Мельцера, было спокойное, открытое лицо. Он понравился Функу с первого взгляда. Понравились ему и его жена, ребенок, квартира. Видно было, что когда здесь не хватало денег, выручали руки.

— Мы давно тебя ждем! — закричал Штельваге.— Уж несколько недель для тебя лежит здесь письмо. Вчера пришло другое.

В комнате был еще один гость.

— Знакомьтесь, это Шлипхаке, а это Функ, он по горло сыт Восточной зоной. Я уже рассказывал тебе о нем.

Функа угостили настоящим кофе с булочкой. Шлипхаке начал расспрашивать: «Как удалось ему разыскать жену? Что такое земельная реформа? За что сажают в тюрьму? Сколько уже посадили?»

Функ нерешительно отвечал. Он знал немного. Но Шлипхаке сказал:

— Расскажите завтра на нашем собрании все, о чем вы сейчас говорили.

Функ возразил, что он не умеет выступать. Шлипхаке добродушно сказал:

— Ничего, мы подготовим тебе тезисы. Потом из этого можно будет сделать статью.

— Я никогда не писал статей.

— Ничего, у меня хорошая память.

Когда все ушли, Функ прочитал оба письма. Жена писала:

«Мы все время ждем от тебя весточки. Теперь мы живем не там, где прежде. Мы живем теперь на конюшне с отцом. Мы должны были освободить помещичий дом. Его ремонтируют, и там будет крестьянская школа. Дети живут хорошо. Лене ходит в школу в Камютц, там обедает и там же учит уроки».

Его друг Мельцер писал: «Надеюсь, ты уже подыскал себе что-нибудь подходящее. Я не хочу больше здесь надрываться».

На другое утро в газетах было напечатано: «Что рассказывает рабочий из Восточной зоны». Функ рассердился. Штельваге сказал:

— Разве ты этого не рассказывал?

— Одно дело рассказать, другое — напечатать.

Штельваге заметил:

— Я советую тебе не ссориться со Шлипхаке. Он тоже не в моем вкусе. Но он пользуется тут большим весом.

На заводе «Эльмер и сын», где Функ прежде работал, он всегда считался примерным рабочим. Дирекция даже поручилась за него, когда

гестаповцы хотели наложить на него лапу. Функ часто позволял себе высказывать такие суждения, которые боялись произнести его товарищи. Но у него были золотые руки, и начальник цеха не раз вступался за него: «Если вы хотите, чтобы мы выполнили задание в этом месяце, вы не должны забирать от меня моего Функа». А потом отводил Функа в сторону и говорил: «Попридержи-ка на время свой язык, любезнейший».

И работа его была так безукоризненна, что заказчики лучшего и желать не могли. Малейшая погрешность досаждала ему, как досаждают сорняки крестьянам.

Таким он показал себя и на новом месте, устроившись на заводе Марквардта. Шлипхаке замолвил за него словечко. Сначала Функ боялся, что утратил свое мастерство из-за длительного перерыва в работе. Он обрадовался и испугался, когда его пальцы начали делать привычные движения.

Все его мысли и чувства подчинились работе пальцев. Он забыл обо всем, что его окружало. Забыл о своем будущем, о прошлом. Он испытал даже гордость, когда старший рабочий, старик Швейгерт, взглянув на его работу, хотя и не сказал ни одного доброго слова — Швейгерт был слишком ворчлив, — все же одобрительно кивнул головой, а соседа Функа, Буххольца, выругал. Когда Буххольц сказал: «Вот придира!» — Функ подумал: «Старик Швейгерт терпеть не может неряшливой работы». Но Буххольц жаловался: с десяти до полудня солнечный свет падает прямо на его напильник, и ему нужно немного передвинуть свои тиски, а Швейгерт не соглашается только потому, что ищет повода от него избавиться.

Вскоре Функ с головой ушел в работу, словно какая-то невидимая и тайная сила контролировала его, человека, не терпевшего никакого контроля, и постоянно тайком допрашивала: ты и в самом деле еще умеешь делать то, что умел раньше? Функ был ошеломлен, когда пришла весть о блокаде, словно он вовсе и не жил в этой части света. Раньше он просто старался не вмешиваться ни в какие разговоры. Он чувствовал, что некоторые рабочие, например Буххольц, насмехаются над ним, не доверяют ему. Но он не обращал на это внимания. Теперь Функа охватил леденящий страх, словно блокаду устроили нарочно для того, чтобы окончательно отрезать его от своих.

После работы Функ побежал к Штельваге. Как раз в это время у него сидел Шлипхаке. Он сказал:

— Русские ни перед чем не остановятся. Теперь они хотят уморить голодом все население Берлина. — Он утешал Функа: — На худой конец можно перейти зональную границу и нелегально.

— Верно,— сказал Функ,— я смогу сделать и это.

Штельваге удивленно взглянул на него:

— Твоя семья может перебраться сюда и сама, тебе вовсе не обязательно ехать за ней. Подумай только, туда и обратно, два конца.

Функ промолчал. Он сразу же, без долгих размышлений, представил себе, что из-за вынужденной разлуки никогда больше не сможет вернуться домой. Он подумал: «Да и к чему это? Что мне там делать?»

За это время он дважды встретился с Элли. На первой встрече она настояла сама. Когда Функ увидел ее каштановые волнистые волосы и густые ресницы, ему показалось, будто они вовсе и не разлучались. Они сразу же условились о месте новой встречи. Маленький городок был взбудоражен: витрины магазинов вдруг расцветились красками лета. Функ тратил больше денег, чем ему хотелось бы. Звон колокольчика у входной двери магазина радовал его, как в детские годы.

Однажды после обеда он поехал в город. В поезде он встретил Шлипхаке. Тот сказал:

— Если ваша жена благополучно сюда доберется, то-то она обрадуется, что можно будет снова намазывать хлеб маслом.

— Она не откажется и от бутерброда с ветчиной.

Люди в купе рассмеялись. Шлипхаке подозрительно покосился на Функа. Но, очевидно, Функ сказал это без всякой задней мысли. Шлипхаке ругал блокаду. Он привык выступать на собраниях, и его слова, обращенные к Функу, привлекли внимание всего купе.

— Не волнуйся за свою семью. Ах, вот как, твои не в Берлине? Ах, вот как, они живут в деревне? В русской зоне? В самой глубине? Можешь быть за них спокоен, пока не начнется война.

Какая-то женщина крикнула:

— Да перестаньте вы о войне! С меня хватит и той, что была!

— Послушайте-ка, милая,— сказал Шлипхаке,— то, о чем мы говорим, не имеет никакого отношения к прошлой войне.

Тогда женщина пришла в совершенную ярость. Она высунула голову, раздвинув стоявших перед ней людей. На ней были серьги с какими-то забавными камешками, а на груди брошка под цвет серег. Функ даже представить себе не мог, что женщина с серьгами способна на такую ярость и такое бурное отчаяние. Она кричала:

— Слушайте, вы, вот вы, господин, вам что, все еще недостаточно? А я потеряла двух сыновей. У меня теперь только маленькая дочка, а моему мужу под конец отстрелили три пальца, к счастью, только три пальца на правой руке. А вам кажется, что этого еще мало. У вас что — восемь пальцев на руке, и вы хотите уступить ему три?

Функу хотелось пересесть к ней поближе. Но он остался сидеть рядом со Шлипхаке.

Ему было досадно, что Шлипхаке успел заметить Элли — она запыхалась, но все же вовремя прибежала на перрон. Они пошли в летний ресторанчик. Элли села к Функу на колени. Она вытащила из вазы гвоздику и прикусила ее. Функ вынул гвоздику у нее изо рта и поставил обратно в вазу. Элли рассказывала:

— Если б ты только видел, что творилось сегодня утром! Полиция все оцепила. Ты намного старше меня, тебе, наверное, и раньше приходилось такое видеть. До Гитлера, при прежних порядках, это тоже бывало?

— Что это?

— Забастовки. Забастовали рабочие вагоностроительного завода. Они вышли с плакатами, на которых было написано: «Мы не ку́ли!» Полиция разогнала толпу и оцепила несколько улиц. Теперь, говорит господин Ридель, люди думают, что раз в магазинах снова всего полно, то нужно сразу же прибавить жалованье, чтобы они могли все покупать. Дай им палец, говорит господин Ридель, они и всю руку откусят.

У Функа так ослабели ноги, что Элли снова соскользнула на свой стул. Сердце его учащенно забилось. Словно до сердца все дошло быстрее, чем до ушей.

Элли продолжала:

— С одним из них я оказалась совсем рядом. Он, как видно, вбежал в первое попавшееся кафе, когда разогнали демонстрантов. Уши у него были совсем багровые от гнева. Он все время громко подсчитывал, сколько денег останется у него на еду и питье, если заплатить за квартиру, за газ и сапожнику. Он никогда не имеет возможности купить своим детям апельсины. Я сказала: «Там, в Восточной зоне, они тоже не имеют такой возможности».

Функ резко оборвал ее:

— Тебе не нужно вмешиваться в такие дела.

— Не вмешиваться? — удивилась Элли.— Почему? — и продолжала рассказывать: — К нему подошел кельнер и спросил: «Что вам угодно,

сударь?» «Вы слышали, что мне угодно, — сказал он, — справедливой заработной платы». Тогда кельнер ответил: «Это у нас не подается, оставьте, пожалуйста, наше кафе». Хозяин ухмыльнулся, и посетители ухмылялись, а парня как метлой вымело.

Функ помрачнел и задумался. Элли тихо спросила:

— Что с тобой?

Она вытащила гвоздику из вазы. Пощекотала ею щеку Функа. Он резко оттолкнул ее руку.

— Чем я тебя так обидела? — испуганно спросила Элли.

Ее маленькое личико казалось простодушным, милым и глупым. Функ покачал головой. Элли снова забралась к нему на колени. Функ спросил:

— От кого тебе достались эти сапоги?

С глубоким удивлением она ответила:

— От нашего Герберта. Я часто их ношу. Они стояли у нас дома. А после того как его убили, их переделали для меня. Герберт, конечно, был бы доволен.

— Значит, твой брат тоже был эсэсовцем?

— Тоже? Что ты хочешь этим сказать? Он погиб еще в сорок первом. Он вступил в СС еще до того, как туда стали принимать всякий сброд.

— Ведь когда я помогал тебе заполнять анкету, ты говорила, что никто из ваших не был в СС.

— Ну, знаешь, то была анкета. Другое дело разговор между нами.

— А вот то, что на тебе, и жакет и юбка, тоже перешито из его мундира? После него у вас, пожалуй, много кое-чего осталось?

Элли спокойно возразила:

— Мундир ему сшили по заказу, но слишком поздно, Герберта уже отправили на фронт. Он погиб через две недели после своего отпуска.

Она робко посмотрела на Функа. Она не совсем понимала его. Она снова села на стул. Функ смотрел на нее так пристально, словно никогда еще не видел ее или же видел так часто, что ему можно было, не стесняясь, так ее рассматривать. Он усмехнулся и сказал:

— Тебе бы еще брошку с черепом на блузку.— Элли была ему противна, ему хотелось побить ее. Вместе с тем, ему стало стыдно. Ведь он ничему не научил ее. Ее глупость распустилась здесь пышным цветом.

На этой неделе все пошло вкривь и вкось. На следующий день на заводе, где работал Функ, только и разговору было, что о демонстрации, о плакате: «Мы не ку́ли!» Потом пришла делегация: рабочие завода «Бендер и Бендер» решили присоединиться к забастовке вагоностроителей. На заводе у Функа кто-то слышал, будто бы в управлении кто-то сказал: «Этим вагонщикам солоно придется. Они сами пойдут на уступки. Нам незачем раньше времени брать их за горло. Если нужно будет, наймем триста новых».

Потом пришла еще одна делегация: рабочие с завода «Бендер и Бендер» уже присоединились к забастовке протеста и ждут от них того же.

Волны «за» и «против» бушевали на заводе, в пивнушках, квартирах. Функ говорил правду в глаза. Он знал цену своей работе, сознавал свое право постоять за себя. Он думал: для чего мы тогда избавились от гестапо?

Среди этой сумятицы неожиданно пришло письмо от Элли. Она писала, что приезжает ее жених и она непременно должна поговорить с Функом. Она ждет его с ближайшим поездом. Функ подумал: «Ну и пусть его приезжает». У него даже в мыслях не было пропустить собрание на заводе.

Шлипхаке выступил на собрании первым, и Функу казалось, что он метил именно в него:

— У нас забастовки не запрещены, иначе давно бы уже кой-кого посадили. Вас хотят обмануть пустыми фразами, которые родились не на нашей здоровой почве. Среди вас есть провокаторы, которые прикидываются защитниками рабочего класса. Я хочу сейчас кое-что объяснить вам, я уверен, что у людей, сидящих тут, передо мной, хватит ума понять меня.

В купе вагона Шлипхаке разглагольствовал, как на большом собрании. Здесь, на собрании, он говорил интимным тоном, словно в тесном купе. Создавалось впечатление, будто он посвящал в тайну каждого в отдельности.

— Одна иностранная фирма, которая строит электростанцию где-то далеко отсюда, у Суэцкого канала, предпочла нашу фирму всем остальным претендентам, фирмам многих наций. Это победа нашего умения работать, понимаете, что это значит? Прошло всего несколько лет после катастрофы, а без нас уже не могут обойтись. Наша работа по-прежнему ценится выше всего в мире. Наши дела тут, у Марквардта, идут в гору, потому что мы умеем работать. Так что ж теперь нам опять пропадать? Ведь у нас отнимут заказ, если мы не выполним его в срок. Я еще раз повторяю, речь идет о чем-то более важном, чем вагоностроительный завод, речь идет о немецком труде вообще. На карту поставлена судьба немецкого народа.

Прежде Функ всегда упорно молчал на собраниях. Он помалкивал при Гитлере на собраниях, созывавшихся «рабочим фронтом». Помалкивал и в лагере военнопленных на собраниях, созывавшихся Национальным Комитетом «Свободная Германия». Теперь он подумал: «Сейчас другое дело. Здесь я свободен». И попросил слова:

— Друзья! Не давайте себя одурачить. Не верьте, будто бы здесь речь идет о немецком труде. Кто останется в барышах, если мы получим этот пресловутый заказ на электростанцию? Может быть, мы и заработаем на несколько марок больше, но зато еще больше бедняков останется без гроша. Если мы и вправду так нужны, как нас уверяют, нам тем более нельзя идти на уступки. Надо, чтобы выгода была всем рабочим, а не только фирме Марквардта. Я за то, чтобы присоединиться к стачке.

Функ был так взволнован, что ему казалось, будто его слова были слышны в самых отдаленных уголках зала. В голове у него все еще гудело, когда приступили к голосованию. Функ резко вскинул руку. Но руки подняли лишь немногие. К своему изумлению, Функ заметил, что его сосед Буххольц тоже поднял руку. В конце концов решили к забастовке не присоединяться.

Функ думал: «Неужели этому дураку в самом деле удалось обмануть всех этих в общем неглупых людей? Нет, они не глупы, они трусливы. Они боятся потерять кусок хлеба».

Вечером он пришел к Штельваге совершенно разбитый. Как раз перед этим Шлипхаке сказал Штельваге:

— Мне всегда был не по душе этот Функ, которого ты нам рекомендовал. Он показал себя на собрании. Не сдержался и высказал свое мнение. Я бы за него не поручился. Парень нахватался-таки марксизма в Восточной зоне.

Штельваге еще раз посоветовал Функу держать язык за зубами. Такие советы были знакомы Функу еще с гитлеровских времен.

Старший рабочий Швейгерт тоже стал обращаться с ним несколько иначе. Он по-прежнему не находил ошибок в работе Функа, но упорно искал их. Покой Функа был нарушен. Он старался во что бы то ни стало

отделаться от дальнейших попыток вовлечь его в споры или просто пригласить на партийное собрание.

Штельваге обрадовался, когда Функ сам подал мысль, чтобы его перевели на другую работу. Главное правление и основные предприятия фирмы Марквардт находились в Ф. Штельваге мог там устроить Функа. Он достал ему и характеристику: Функ уходит по собственному желанию, работал безупречно.

Функ написал жене:

— Я переезжаю в Ф. Буду работать там при главном правлении той же фирмы. Там, конечно, будет легче получить квартиру.

То же самое он написал Мельцеру и добавил: «Хоть я и получаю опять работу, но здесь все не так просто, как мы думали».

Первое время после переезда Функ чувствовал себя подавленным. Горы, которые он так любил, были далеко от города. Это был шумный, деловой город. Он кишел автомобилями и мундирами. Люди толпились в кафе и магазинах. При этом они не вспоминали о развалинах, среди которых жили, как будто «мертвые давно уже погребли своих мертвецов».

Некто Хельбах помог ему получить работу и жилье. Он не требовал от Функа сообщений о Восточной зоне, ни письменных, ни устных. Не было больше нужды в рассказах какого-то слесаря, поскольку все газеты и так были полны ненависти к русским.

Новые товарищи по работе приняли Функа сдержанно. Одни сторонились его, узнав, что он бежал из Восточной зоны; они не верили ни одному слову газетной клеветы, а поэтому не доверяли ему. Другие злились потому, что Функ вопреки их ожиданию никогда не ругал Восточную зону. Сам Функ давно потерял охоту делиться с кем-либо своими чувствами. Он только радовался, когда его оставляли в покое. Наученный недавним опытом, он сторонился всех, кто приставал к нему с расспросами.

Он жил в маленькой комнатушке на другом берегу реки. Жизнь его постепенно налаживалась. Он откладывал деньги из своего жалованья, чтобы купить себе потом мебель. Оккупация ему не мешала. О том, что она существует, ему напоминали чужие флаги и мундиры. Он только пожимал плечами, когда мимо мчался как на пожар американский автомобиль или какой-нибудь сержант проходил у него под носом в дверь магазина, лишь коснувшись его, не толкнув и не извинившись, словно Функ был пустым местом.

Он получил письмо из дому. Жена писала: «Я рада, что мы снова будем все вместе. Лене плачет, потому что, как ты пишешь, мы должны скоро к тебе приехать. Она говорит, что не оставит свою школу».

Функ отгонял от себя всякие мысли. Что толку взвешивать все «за» и «против»? Он был доволен своей новой работой.

Его уже и здесь считали хорошим, квалифицированным рабочим. Из его цеха уволили несколько человек. Функа не уволили. К тому же предприятие расширилось. Взяли новых рабочих из маленького соседнего городка. Там закрыли фабрику, на которой они работали. В газетах об этом писали, но разговоров на эту тему Функ почти не слышал. Ему уже не нужно было придерживать язык — его больше ни о чем не спрашивали. Один парень, по фамилии Колер, недавно поступивший в цех, пришелся Функу по душе. Он рассказал Функу, что фабрику закрыли под давлением фирмы Марквардта и что Марквардт основательно проверил рабочих, которых взял к себе. Сам он, Колер, проскочил потому, что только недавно вернулся домой, и его еще не знают как следует. Функу хотелось еще о многом расспросить Колера, но тот вдруг стал его избегать. Быть может, Колера предупредили товарищи.

Вскоре Функа назначили старшим рабочим в другой, вновь открывшийся цех. Это было совсем некстати. Он привык к своему цеху, к своей работе. Когда Функ сказал об этом мастеру, тот направил его к начальнику цеха. Начальник цеха прямо заявил ему: «К сожалению, ничего невозможно сделать». А когда Функ продолжал настаивать, покачал головой и, теряя терпение, сказал:

— Пойдите к шефу, если вы мне не верите.

Начальник цеха говорил явную бессмыслицу или же просто насмехался над Функом. Он знал, что Функа не допустили бы даже до приемной. Огорченный, Функ не заметил насмешки. Он постучался в дверь приемной, и тотчас же какая-то молоденькая девчонка с холодными глазами, с тонкой шейкой в кружевном воротничке выставила его в коридор. Функ мрачно ждал, пока она не просунула голову в дверь и не крикнула, сдерживая смех: «Вам давно уже все сказали, не мешайте нам!» Функ в нерешительности продолжал стоять на месте, и она еще более резко добавила: «Вы что же, простых слов не понимаете? Отправляйтесь на свое место!»

У Функа руки чесались дать ей затрещину. Но он послушался и молча поплелся обратно в цех с помутившимися от гнева глазами, с чувством горечи и собственного бессилия.

Спустя несколько дней в новый цех перешел и Колер. Рабочие туда подбирались как бы случайно, но на самом деле все делалось обдуманно, с таким расчетом, чтобы они не знали друг друга ни по месту жительства, ни по прежней работе. Функ в душе жалел о том, что Колер стал вдруг его избегать. Ему очень хотелось бы поговорить с Колером. Его мучило, что Колер не давал ему больше ни листовок, ни приглашений на собрания, хотя раньше он всегда насмешливо, а то и просто грубо отказывался от них. Его мучило, что Колер считает его человеком, с которым каши не сваришь.

Иногда он встречался с Хельбахом, помогшим ему в первые дни. Функ уже тогда ему понравился. Наконец-то нашелся человек, который не занимается болтовней. И ничего не хочет, кроме работы и покоя.

Они пошли вместе в кабачок. Хельбах заказал два картофельных салата с сосисками и пиво. Функ изучал меню. Хельбах сказал:

— Не беспокойся, я тебя угощаю.

Функ сказал:

— Я хотел только посмотреть, что можно себе позволить.

— Много чего, если ты один. Когда приедет твоя жена, будешь водить ее сюда по воскресеньям.

— Плохо ты ее знаешь,— возразил Функ,— она скорее будет откладывать деньги, чтобы купить три метра материи на передник.

— Ничего, у нее сразу глаза разгорятся и на другое, как только она сюда приедет.

— Не знаю, Хельбах, она всегда заранее на все откладывает. А потом...

— Что потом?

— Мне кажется странным, что не так уж много людей озадачены происходящим. Конечно, у кого были деньги, те и раньше прикупали себе на черном рынке всякую всячину. Кто и что именно прикупал, было трудно заметить. И вдруг человек при деньгах, на глазах у всех заказывает все что пожелает. Свиные отбивные, сосиски, жареного гуся. Нет, Хельбах, не подумай только, будто я хочу, чтобы ты угостил меня свиной отбивной. Я хочу только сказать, что теперь видно, кто может купить жареного гуся, а кто сосиски.

— Ну и что же,— сказал Хельбах,— ведь мы ж еще не в обетованной земле живем.

Он наклонился вперед. Его широкое лицо вдруг осклабилось:

— И в твоем Советском Союзе тоже не рай.

Функ изумленно сказал:

— Что значит «в моем Советском Союзе»? Я никогда не скрывал своих взглядов. Вы ведь знаете, что я думаю о России.

Хельбах откинулся назад. Он внимательно посмотрел на Функа.

— Я уже начал было опасаться, не набрался ли ты там кое-чего. А теперь, Функ, вот что я хочу тебе сказать. Я тоже был молод, тоже ходил на эти самые курсы. Ну, марксизма и все такое прочее. Это было до «тысячелетней империи». Но потом я увидел, что не так страшен черт, как его малюют. Я в свое время тоже узнал кое-что об эксплуатации, кризисах и всем таком прочем. Теперь скажу тебе откровенно, если бы мне предоставили выбор: есть пустую картошку и чтоб тебя не эксплуатировали или есть картофельный салат с сосисками и чтоб тебя эксплуатировали, я предпочел бы картофельный салат с сосисками и эксплуатацию.

Функ размазывал по тарелке горчицу. Он чувствовал, что все, что говорил Хельбах, было отвратительно и нелепо. Он только не знал, что ему на это возразить. Он нерешительно произнес:

— Ты-то, может, устроился и в ус себе не дуешь, но я считаю, что должно наступить такое время, когда каждый на свое жалованье сможет купить...

— Обед из одного блюда для всех,— воскликнул Хельбах.— Покорнейше благодарю!

— Нет,— сказал Функ,— когда каждый сможет купить все, что сейчас позволяют себе только богачи.

У него вдруг пропало всякое желание провести вечер с Хельбахом. Он вскочил со своего места.

— Получите, пожалуйста!

— Что с тобой,— удивился Хельбах,— ведь угощаю я.

— Нет, спасибо. Ладно уж. Мне нужно идти. Я совсем забыл, что у меня свидание.

Функ выбежал из кабачка. Хельбах подумал: «Какой бес вдруг в него вселился?»

Функ шел по городу, ни о чем не думая. Улицы уже затихли, только около отелей и театров было еще заметно оживление. По пути домой он остановился перед светившейся за спущенной решеткой витриной. Глядя на цены, он подумал: «По мне хоть и днем держи витрину закрытой». Длинноногая девица в туфельках на высоких каблуках сказала своему спутнику: «Это не гарнитур, а мечта». Ее спутник, маленький и круглый, как пробка, сказал: «Мечта, милая фрейлейн, может стать явью». Девица смотрела на него уголками глаз, не поворачивая головы. Она была еще совсем молода. Функ подумал: «Недурна». Они ушли, а Функ спустился к реке. Этот хриплый от нетерпения голос все еще звучал у него в ушах: «Мечта может стать явью».

Функ получил еще одно письмо от жены:

«Фрейлейн Гундерман говорит, что Лене еще попадет в университет. Она говорит, это ничего, что наш парень годится лишь для деревенской работы. «Как раз такой нам и нужен», — говорит она. Дорогой Вернер, стену вокруг имения снесли, и из кирпичей строят дома для переселенцев. Скоро будет готов дом для моей сестры и ее мужа. Пока ты не приехал, я переберусь с детьми к ней. У них всем нам будет тесновато. Но Лене скоро пойдет в новую школу, она сможет и жить там.

В своем письме ты спрашиваешь о заводе «Эльмер и сын». Завод давно уже работает. Директором там теперь Бергхольц. Тот самый Бергхольц, который долго сидел в тюрьме, помнишь?»

Функ уставился в письмо. Он прочитал его несколько раз. Это Гундерманша, думал он, заморочила девочке голову. Думал он и о том, что Бергхольц теперь директор.

Он стал задумчивым, неспокойным. В глубине души он тосковал по дому. Его считали угрюмым. Раньше он был веселым, любил пошутить.

Вейганд, долговязый, жилистый верзила из того же цеха, что и Функ, белобрысый, тонкий и бледный, словно росток картофеля, проросший в темноте подвала, сказал ему как-то прямо в лицо:

— Если твоя жена, Функ, не поторопится с приездом, ты сам пошлешь ей горячий привет из стали и поцелуй из фосфора.

Функ изумленно взглянул на него:

— Оставь эту чепуху. Как тебе не стыдно!

— Стыдно? Разве нужно ждать, пока русские соберутся с силами? Ведь не напрасно же ты перебрался в Западную зону.

Функ сказал:

— Уж во всяком случае не за этим.

Вейганд скривился:

— У нас может быть только так: или — или. Мы глупостями не занимаемся. И мы немножко помоложе тебя. Мы много не болтаем, а дело делаем. Кто сказал «а», должен сказать и «б».

Функ внимательнее, чем раньше, стал прислушиваться к разговорам о том, для чего нужны детали, изготовляемые в цехе. Оказалось, они нужны как раз для того же, что и детали, изготовлявшиеся в том цехе завода фирмы Марквардта, где он сначала работал. Он слышал, какие разговоры шли о нем за спиною: «Уж так ли этот парень глуп, как прикидывается? Почему он не читает нашу газету? Разве он не знает, что подшипники для тракторов годятся и для танков? Разве он не знает, что одна и та же деталь годится для многих машин?»

Функ случайно встретился с неким Надлером, с которым до войны работал у одного верстака на заводе «Эльмер и сын». Они обрадовались этой встрече. Старик Эльмер, рассказывал Надлер, уже год как находится в городе вместе с двумя своими зятьями. Со старыми патентами и новыми машинами. Его сын погиб. Но фирма по-прежнему называется «Эльмер и сын». Функ рассмеялся: «Значит, теперь две фирмы «Эльмер и сын».

— Как так?

— В Восточной зоне эту же фирму восстановили. Ты помнишь старого Буркхардта?

— Он еще жив?

— Еще как жив!

Функ рассказал:

— Буркхардт заходил ко мне. Они все восстановили. По планам двух инженеров, которые пока тоже с ними. Они все сами собрали. Из крошечных кусочков. Им приходилось вытаскивать части машин из-под самых развалин. Здорово!

Надлер прервал его:

— Если по-твоему это здорово, то непонятно, почему ж ты там не остался? Уж наверно была какая-то заковычка? Во всяком случае, — продолжал Надлер,— патентов там у них нет. Ведь старик успел вовремя переправить их сюда. С помощью зятьев, дочерей и внучки. Пять маленьких бумажек. Две — Надлер всегда был чрезвычайно точен в своих рассказнях — в жилетных карманах зятьев, две — в бюстгальтерах дочерей...

— Одна в кукле маленькой Эльмер...

— Ну да, а почему бы и нет?

— Ладно, только, я думаю, там, в Восточной зоне, ребята упрямые и дотошные, они наладят все и без патентов.

— Позволь, позволь, ведь сам-то ты не очень доверял этим упрямым и дотошным ребятам. Во всяком случае, сам-то ты думал, наверное, что жизнь здесь другая — и легче и веселее.

Функ задумался: «Неужто я и вправду так думал?»

Надлер продолжал рассказывать — мастерская уже работала, когда сюда приехал старик Эльмер со своими лучшими инженерами. Те, кто остался по ту сторону, это, конечно, мелкота. Эльмер перетащил сюда целую кучу своих верных людей. И мастер Рейбах снова работает у него.

Услышав это имя, Функ насторожился.

— Ну да, он сразу же возьмет тебя, Функ. Они будут до смерти рады, если снова соберут свою старую гвардию.

Надлер говорил все быстрее и горячее:

— Чего тебе прозябать тут, у Марквардта? У нас еще помнят, чего ты стоишь на самом деле. Теперь, говорят, за вывеской «Эльмер и сын» скрывается крупная лавочка. И в этой крупной лавочке полно долларов. Им уже отвели новый участок за рекой. Если помнишь...

— Послушай-ка,— перебил Функ,— этот Рейбах, о котором ты говоришь, ведь это тот самый Рейбах, что не раз доносил на нас в гестапо. Я сумел тогда отвертеться, а вот Бергхольц чуть было не отправился на тот свет.

— Инженер, который за тебя вступился, тоже здесь, у Эльмера.

— Вступился, чтобы не пострадал заказ. Ведь это был тот самый инженер Кестнер, который потом стал эсэсовцем.

— Думаю, что тот самый. Ну и что же?

— Мне это не подходит, Надлер. Встреча с тобой меня обрадовала. Но встреча со стариком Эльмером не доставит мне никакого удовольствия. Не нужно мне ни твоего Рейбаха, ни Кестнера. Пусть черт им радуется.

— Ты что, совсем спятил, Функ? Теперь с гестапо покончено. Теперь Рейбах не сможет больше писать на тебя доносы. И войск СС тоже больше нет. Кестнер страшно рад, что он снова стал обыкновенным инженером фирмы «Эльмер и сын».

— Нет, с меня хватит, Надлер. Я еще не забыл гнусную рожу этого Рейбаха, меня мутило от нее. А тогда я был куда более сдержан, чем сейчас. Меня в жар бросает при одной только мысли, что я еще раз увижу его рожу. Нет, Надлер, уж я постараюсь больше не встречаться с ним, а тут еще этот инженер Кестнер — одна шайка!

— Послушай, Функ, а разве тебе известно, кем были во время войны инженеры, которые работают сейчас у Марквардта? А взять твоего мастера — ведь когда ты попал в его цех, ты тоже не приглядывался, подходит ли тебе его рожа или нет. Тебе дают работу, ты делаешь ее как полагается и получаешь за это деньги. Я хотел тебе только добра. Но кто не слушается совета, тому не поможешь.

Надлер ушел рассерженный. Функ был рад, что избавился от него. Он подумал: «Этого мне еще недоставало. Если я все еще никак не найду себе начальника с подходящей рожей, это вовсе не значит, что я вот так и пойду сразу к этому мерзавцу Рейбаху. Теперь на нашем старом заводе новый директор, Бергхольц. Это Рейбах больше всех виноват, что Бергхольца тогда схватили гестаповцы. Появись только где-нибудь такой вот Рейбах — Бергхольц сразу притянет его к суду. На это у него есть и право и власть, ведь завод-то теперь его. Если здесь и зарабатываешь себе на жизнь и имеешь возможность купить кое-что, все равно чувствуешь себя как лист на ветру. Какая-то малявка в кружевном воротничке и с тоненькой шейкой может выставить тебя в коридор, потому что это в ее власти. Откуда у нее такая власть? Разве это справедливо?»

Долговязый, нескладный Вейганд, тот, который был с виду, как бесцветный росток картофеля, но и такой же твердый и крепкий, как проволока, все чаще и чаще разражался такими речами:

— Сейчас самый подходящий момент. Русские еще не оправились после войны. Это по всему видно, не то в Берлине давно бы уже началась пальба.

Колер кричал:

— Идиот, по-твоему это слабость, если Советы делают все возможное, чтоб на человечество еще раз не обрушилось такое несчастье?! — он внезапно повернулся к Функу:

— Да скажешь ли ты наконец хоть слово! Что ты об этом думаешь?

— То же, что и ты,— отозвался Функ.

— Этот Функ,— заметил Вейганд,— раньше был другого мнения о русских, иначе он не был бы сейчас здесь. Как только приедет его жена, он опять заговорит по-другому. А мне-то все ясно. Я говорю: теперь или никогда.

Колер подхватил:

— Значит никогда! Потому что теперь уже ничего не выйдет! Такие, как ты, мечтают, что им поставят памятник на братской могиле. А я — нет. И Функ тоже. А для войны мы нужны все трое.

Колер и Вейганд еще долго препирались между собой.

На следующей неделе Колера уволили. Он пожал плечами. Он сказал:

— Из нас, должно быть, кто-то очень хорошо служит хозяевам.

Он оглянулся вокруг, его взгляд на какое-то мгновение задержался на Функе и сразу же остановился на Вейганде. Засмеявшись, он сказал:

— Посмотрите-ка, гав-гав, под рубахой собачий жетон.

И хотя взгляд Колера только скользнул по Функу, он в глубине души почувствовал себя оскорбленным этим мимолетным, а может быть, и вовсе не родившимся подозрением в наушничестве. Функ даже побелел от отчаяния.

Если б только возле него были люди, которые бы доверяли ему и знали его насквозь! В его каморке было пусто и холодно. Вот уже вторую зиму он жил вдали от дома. Он тосковал по семье. Иногда он представлял себе, как к нему приедут его родные. И вдруг ловил себя на том, что представлял себе, как он сам неожиданно возвращается домой.

Однажды вечером на многолюдной улице его крепко и горячо обхватили чьи-то руки.

— Ты ли это, Функ? Как ты сюда попал?

Беттхер выглядел как обычно, ибо он был из тех людей, которые мало меняются с годами. Все такой же веселый, все те же круглые, ярко-голубые глаза и бесчисленные веснушки, против которых была бессильна даже снежная русская зима, не говоря уже о мягкой западногерманской.

Он положил руку на плечо Функа:

— Я видел тебя последний раз издали, на вокзале в Москве, когда нас грузили в поезд.

Вечерело. Магазины и улицы так сверкали огнями, у пестрых витрин было такое столпотворение, что идти по городу было веселее, чем днем. Строительные леса и развалины были едва различимы в сумерках. Только в переулке, куда они свернули, одинокие лампы, словно блуждающие огоньки, светились в окнах полуразрушенных домов. Беттхер и Функ снова вышли на освещенную улицу.

— Удивительно,— сказал Беттхер,— когда доведется пережить с человеком такое, что пережили мы с тобой, то, встретившись в большом городе, чувствуешь себя связанным с ним теснее, чем с кем бы то ни было.

Функ кивнул. В ту минуту ему и самому казалось, что он ни к кому так сильно не привязан, как к Беттхеру.

— Меня освободили только летом,— рассказывал Беттхер,— я чуть ли не мозоли себе на языке натер, пока мало-мальски не втолковал собственному брату, что значило для меня время, которое я провел там. Для меня это была школа. Да-а, если б я не прошел ее, то, верно, на всю бы жизнь остался таким глупцом, как и мой брат. Так что теперь я даже рад,— продолжал он, не замечая изменившегося выражения лица Функа,— что не освободился раньше. Хоть я и кряхтел там, когда моей фамилии не было в списках освобожденных. От тоски по родине нет еще лекарства.

— Чему же ты там научился? — спросил Функ.

Беттхер, удивленный тоном, каким был задан этот вопрос, только теперь внимательно взглянул на Функа, потом спокойно продолжал:

— Тому, что мы все учили в нашей школе в лагере. Я знаю теперь, кто я и что я. Знаю, для чего живу. Как появился Советский Союз. Откуда взялся фашизм с его войной.

Они пробирались через развалины, едва различимые среди росшего на них кустарника. Свернули на людную улицу. Магазины были закрыты, но витрины за спущенными решетками по-прежнему ярко светились. Люди суетливо сновали, нагруженные покупками.

Функ сказал:

— Тебе, кажется, больше повезло, чем мне.

— Повезло? Просто мне объяснили это, и я понял. А теперь расскажи о себе. Как случилось, что я до сих пор тебя еще нигде не встретил? Ни на одном собрании? Ни на одной демонстрации?

Функ помедлил, а потом откровенно сказал:

— Я хочу, Беттхер, тебе кое в чем признаться. Война давно окончилась, и я хочу жить спокойно. Я сыт всем этим по горло. Я уехал из Восточной зоны потому, что мечтал о таком месте, где можно жить спокойно, где из людей не тянут все жилы, не заставляют их работать до потери сознания и где не нужно всегда нести за что-нибудь ответственность.

— И ты нашел здесь такое место?

— Нет,— угрюмо сказал Функ.

Беттхер замолчал, а Функ начал рассказывать обо всем, что случилось с ним за это время, искоса поглядывая на товарища. Он стал перечислять все невзгоды, выпавшие на его долю в лагере военнопленных, как это делал Мельцер, когда они встретились в Берлине. Вдруг он запнулся. А так как Беттхер все еще молчал, нерешительно и тоскливо добавил:

— Моя семья еще там.

Беттхер сунул руки в карманы. Функу показалось, что он снова остался один. Как только Беттхер снял свою руку с его плеча, Функ почувствовал себя чужим в этой пустой и холодной атмосфере. Они молча шли вдвоем по улице, находясь под впечатлением всего только что сказанного.

Вдруг Беттхер остановился:

— Ну, сейчас мне нужно домой.

Он исчез в толпе так же быстро, как раньше появился. Функу показалось, что все это приснилось ему, но в то же время встреча так взволновала его, что сердце у него учащенно забилось. Он медленно побрел к реке, одинокий и понурый. Он думал о том, что теперь и Беттхер, как и Колер, считает его никудышным человеком.

Функ немного успокоился, когда вышел на мост. В мелком дождике чувствовался уже запах весны. Функ прислонился к перилам.

Он смотрел вниз, на свет, который отражался в расходящихся по во-

де кругах. Где-то стучал мотор. Вся жизнь Функа пронеслась перед ним так же быстро и отрывочно, как стук мотора.

Он видел себя дома, на кухне, малышом, среди целой группы взрослых. Большая часть была одета еще в форму времен первой мировой войны. Они прислушивались то к шуму на улице, то к голосу отца. У маленького Функа от волнения мурашки бегали по спине, хотя он многого не понимал. Через кухонное окно доносился гулкий топот марширующих солдат, а иногда отдельные слова команды. Отец тогда часто уходил из дома, и мать с тревогой ожидала его. Несмотря на приказы и угрозы, отец не сдал свою винтовку, пока в конце концов не пришла полиция и не забрала винтовку, а также и отца. Мать плакала, семья голодала. Маленький Функ подрастал, читал газеты, какие-то книги. Он читал лозунги и листовки. Бегал на собрания и демонстрации. Понемногу он стал кое-что понимать, а кое-что умел объяснить и другим. Родители боялись, что парень, может быть, зря учится ремеслу и останется без работы. Этого же боялся и он сам. Ругал Гитлера. Очень хорошо понимал лживую и отвратительную сущность нацизма. Молчал. Не спрашивал, откуда берется его хлеб и во имя чего он работает. Он молча взял гитлеровскую винтовку и стрелял из нее до последнего патрона. Потом случилось то, что должно было случиться, и вот теперь он оказался один, ночью на мосту.

По реке медленно плыл катер; пока он не скрылся под мостом, тянувшаяся за ним по воде полоса света, казалось, связывала его с причалом. Функ принял какое-то решение. Он повернулся и пошел обратно.

Неожиданно он снова наткнулся на Беттхера. Тот тоже шел обратно. Внезапно они очутились друг против друга на свежезацементированной площадке лестницы у моста. Функу почудилось, что он уже не такой одинокий и бездомный, как прежде.

Беттхер сказал:

— Мы слишком скоро разошлись.

Они ходили взад и вперед вдоль берега. Свет фонаря всякий раз освещал веснушки Беттхера. Он продолжал: «Сначала у меня чуть сердце не выскочило, когда я встретил тебя в городе. А потом я рассердился оттого, что ты все еще ничего не понимаешь. Но когда я остался один, то подумал: надо поскорее его догнать. Ведь Функ один из наших. Только он сам, вероятно, еще не осознает это ясно. Я знаю это потому, что знаю тебя. Ведь мы были с тобой в одном и том же положении что до войны, что в войну. И переживали одно и то же. Радовались одному и тому же, одно и то же проклинали. Ведь не мог же ты сразу забыть обо всем, что всего важнее для нас в жизни. Теперь ты обижаешься на Советский Союз за то, что русские не приняли тебя с распростертыми объятиями. Гитлеровская армия жгла их страну, убивала их детей. Как же они могли принять тебя иначе, если ты вместе с другими делал все, что тебе было приказано? Ведь не могли же они читать твои мысли. Но Советский Союз, именно потому, что это Советский Союз, относится теперь к твоим детям, как к своим собственным. Ты говоришь, что не хочешь больше ни за что нести ответственности. Ты что же, не хочешь нести ответственности и за своих детей, за ваше будущее?»

Некоторое время они шли рядом, погруженные каждый в свои мысли или же думая об одном и том же.

Наконец Функ снова заговорил:

— Я не раз принимался за письмо своей семье; хотел сообщить им, что я, может быть, вернусь обратно.

— Почему же ты его не отправил?

— Я и сам толком не знаю,— сказал Функ,— оно так и осталось недописанным.

Перед отъездом домой Функ зашел в бельевой магазин купить подарки жене и детям.

Когда все покупки были сделаны и оставалось лишь купить лент для дочери, продавец занялся другим покупателем, а к прилавку, у которого стоял Функ, подошел маленький щеголеватый человек с метром и ящиком с рулонами разноцветных лент.

Человечек поднял голову, они посмотрели друг на друга, и человечек раскрыл рот от удивления. Функ воскликнул: «Господин Бартош, какими судьбами?» В человечке с метром он узнал своего соседа по комнате и по столу в большом поместье в Камютце. Тот положил метр на стол и стал потирать руки:

— Иван все же не сцапал нас? Ваша семья тоже здесь?

Функ взглянул на Бартоша. Ему стало смешно и противно.

— Я уезжаю на следующей неделе обратно,— сказал он.

— Обратно?! — воскликнул Бартош, вне себя от изумления. — Боже мой, но почему же?

Он растерянно посмотрел на Функа, потом почесал в затылке.

— Может быть, вы должны уехать? Может быть, вы получили задание? Вы ведь еще довольно молоды. А я уже сыт по горло всякими заданиями. После того, что со мной недавно случилось...

— Что же с вами случилось?

— У меня точно камень с души свалился, доложу я вам, как только моя нога ступила на мостовую в американском секторе. Не хотите ли для начала вот этой голубой, метра полтора? Да, так что же со мной случилось? Совершенно неожиданно в Камютце объявился один мой хороший друг, старый национал-социалист из Бреслау. И, видите ли... короче говоря, я связался через него с майором фон Бартелем. Он нашел себе убежище недалеко от Камютца. А поскольку я был известен как человек, заслуживающий доверия, меня ввели в узкий круг членов национал-социалистской партии, которые доставляли нашему Бартелю продовольствие и почту. Это-то и оказалось для меня роковым. Ведь Бартель тоже из тех, за кем охотятся русские. Это он, как утверждают русские, зимой, незадолго до катастрофы, загнал целый полк пленных в лагерь под открытым небом. Как всегда бывает в жизни, один из них уцелел и испортил всю музыку. А уж эти садисты рады будут отправить на виселицу такого человека, как Бартель.

— Пленные замерзли?

— А как же. Уж наверное не сгорели. Иначе их нашли бы не окоченевшими, а обугленными. В том-то и беда, что их нашли. Но теперь наши надежды сбываются. Янки против русских. Я считаю, что не нужно было доводить дело до катастрофы. Не хотите лиловой? Смотрите, мнешь ленту в кулаке, а она все равно как выглаженная. Так вот, Бартеля все-таки поймали. Хотя мы и прятали его, как сокровище. Вы ведь знаете, что это такое — НКВД. Бартеля нервы подвели, а то бы он сделал то же, что и я. Из Восточного сектора живехонько на запад. Здесь можно дышать. Здесь — свобода.

III

Хотя Функ и предполагал, что его письмо еще не дошло до Камютца, он все же надеялся, что кто-нибудь встретит его. Но он не увидел ни одного знакомого лица, никто к нему не вышел. Большая дорога встретила его. Он пошел быстрым, размеренным шагом.

Поля местами были уже скошены. Казалось, маки парят в неподвижном воздухе, словно они ни разу не отцветали в его отсутствие или слов

но сам Функ отсутствовал так недолго, что маки не успели отцвести. Дорога шла сосновым лесом, в котором мерцали одинокие березки. За лесом началась большая пустошь, на которой высился клен. В давно прошедшие времена люди, неизвестно почему, пощадили его. А потом новые поколения щадили его из почтения или по привычке. Его не повредили даже беженцы, которые располагались под ним в конце войны. Так и продолжал он стоять, могучий и спокойный, словно уверенный в вечной милости людей.

Когда показались первые торфяно-бурые крыши поселка, в душе у Функа появилась надежда, что кто-нибудь приветственно помашет ему рукой. Но деревня словно вымерла.

После его отъезда стену, окружавшую имение, снесли, кроме каменных ворот. Место, где стоял господский дом, теперь было обнесено деревянным забором. От ворот парка до ворот имения вела аллея. Господский дом отремонтировали. Он весь словно застыл, как женщина, которая еще не совсем ловко чувствует себя в новом наряде. Гриф на гербе имел несчастный, потрепанный вид; он был похож на сувенир, сам по себе ничтожный, но с которым жалко расстаться. В то же время гриф казался сердитым, словно его злила вывеска: «Сельская школа».

Стекла в окнах были заново вставлены. Функ услышал гудение молодых голосов и солидный голос учителя. Он спросил у сторожа, где живет его семья. Оказалось, что они живут за полем, в одном из домов для переселенцев, построенном из кирпичей разобранной стены, окружавшей прежде имение.

Функ пошел по дороге, вновь проложенной через бывшее имение. Мимо школьного сада и прилегающих к нему полей. Дом, который он искал, не имел ни таблички с именем хозяев, ни номера. Похожий на соседние дома, он отличался от них тысячью мелких примет. Цветов в крохотном палисадничке росло не много, но овощи были все, какие только можно себе представить. Земля тут делилась на миллиметры, как помещичья — на гектары.

Внутри все сверкало чистотой, как и снаружи. На выскобленных полах, чтобы не наследили, лежали газеты. Две кровати стояли одна на другой: одна — для родителей, другая — для старшей дочки. Только сейчас Функу пришло в голову, что младшая родилась в его отсутствие. Ослепительно чистая комната наводила на мысль о маленьком прудике, в котором негде разгуляться уткам.

Свояк Функа батрачил прежде каждое лето в крупном поместье на берегу Балтийского моря. Когда зимой он уходил работать на фабрику, жена его, старшая дочь Дена, оставалась в имении в прислугах.

— Ты что же, совсем теперь вернулся? — спросила свояченица. Из всех сестер жены она всегда меньше всего нравилась Функу. — Твои живут здесь, в соседней комнате. И еще этот приблудный сорванец, Эрвин.

Функ никак не мог вспомнить, кто такой Эрвин.

— Ну, тот мальчишка, он жил тогда вместе с нами в господском доме. Его старик вдруг сбежал. Я совсем не хотела брать к себе этого парня. Здесь не постоялый двор, было бы самим где разместиться. Но ваша Лене попросила. Ведь он будет ходить с ней в школу. Тоже бесплатно. Не успел он здесь появиться, как получил бесплатное место. Мы же раньше...

— Расскажи-ка лучше о Герде и детях.

— Сейчас, сейчас. Да, лучше бы нам сразу выстроили дом побольше, чем каждый год пристраивать да пристраивать. Если бы меня спросили...

— Ты бы сказала, что раньше тебе было лучше... Работать прислугой в имении. Зимой быть в разлуке с мужем.

— Что это ты говоришь? Я бы сказала, что нужно снести и помещичий дом. Тогда бы нам хватило кирпичей. Вместо того чтобы строить из них школу, и для кого — для крестьян! Кому это нужно?..

В дверях вдруг появилась ее сестра. Как спокойно было ее лицо! Она почти ничего не сказала, словно Функ был в отсутствии всего одну ночь, и принялась чистить его куртку, загрязнившуюся в дороге.

Потом она провела его в другую комнату, и там он осторожно, как и она, стараясь ничего не задеть и не наделать шума, сел рядом с ней на кровать. Функ тихо сказал:

— Я не мог больше там выдержать. И мне вовсе не хотелось перевозить вас туда.

Он осмотрелся по сторонам:

— Здесь у тебя не роскошно.

Жена подтвердила:

— Да, тесновато.

Функ услышал за окном топот, потом хлопнула дверь. Он улыбнулся: свояченица отчитывала мальчугана. Тот свистнул, маленький ребенок заревел в три ручья.

Мальчуган не бросился к отцу, он сдерживал свою радость и только глядел на него во все глаза.

— Не будем ждать Лене,— сказала жена,— у детей после школы еще много дел. Ночь начинается у них только тогда, когда они сами заканчивают свой день.

Она проворно собрала на стол. И хотя у нее не было запасов, чтобы устроить торжественный обед, тарелки у родителей наполнялись дважды, а у мальчика трижды. Все пахло родным домом. Когда их головы сблизились, Функ чувствовал на одном виске прикосновение гладких волос жены, а на другом — жестких волос сына.

Когда соседи за дверью, да и мальчик тоже, наконец угомонились, Функу стало казаться, будто они с женой встретились тайком в укромном месте.

Когда на улице послышались шаги и голоса, Функ притворился спящим, а когда он радостно и боязливо взял ладонями маленькое личико, он увидел позади него чужое лицо мальчика в очках, почему-то немножко знакомое ему. Странное выражение было на этом лице: вот оно как бывает, когда отцы все-таки возвращаются.

На другой день Функ поехал в маленький городок, где он раньше работал на заводе «Эльмер и сын». На завод он не пошел, а навестил старого Буркхардта. Тот внимательно выслушал его. Удивился ли он, обрадовался ли встрече с Функом — Буркхардт ничего не сказал. Он грубо заметил:

— Если каждый будет столько времени ждать, пока мы вытащим нашу телегу из грязи, и лишь убедившись в том, что мы не бросаем псу под хвост...

Он предложил Функу переночевать и ворчливо продолжал:

— Бергхольц теперь у нас директором. Ты знаешь его. Гестапо охотилось за вами обоими. Бергхольц чуть на тот свет не угодил. Он сидел. Потом попал в штрафной батальон. Туда попадали все, кого Гитлер не хотел больше видеть в живых. Да он-то их и не увидел в живых. Но Бергхольц вернулся с войны здоров и невредим и вместе с нами искал в развалинах трубы и гайки, пока мы не восстановили наш завод.

Функ уже улегся, а он все еще продолжал ворчать:

— Бергхольц сразу принялся вместе с нами за работу, когда мы по винтику собрали свою мастерскую. Ты тогда не захотел с нами работать. Где же ты был? Бергхольцу мы доверяем и выбрали его директором. После работы, по ночам, он подучивался. Он и в разных школах учился, преподаватели к нему и на дом приходили. А ты чем занимался все это время?

Но он знал Функа так хорошо и так давно, что на следующее же утро отправился хлопотать за него. Хотя ему было и нелегко побороть недоверие людей, он сделал на заводе все, чтобы Функа взяли на испытательный срок.

Когда Функ пришел на завод, свой старый, а теперь уже новый завод, то в гордости, с какой его товарищи все ему показывали, он почувствовал упрек себе. Но он скоро сам забыл об этом, забыли и товарищи, сопровождавшие его, — так радостно он всему удивлялся. Никто не понимал лучше, чем он, сколько нужно было труда и любви, чтобы собрать эти машины из отдельных частей, добытых из-под развалин сгоревшего завода. А сколько мужества нужно было, чтобы проделать эту работу добровольно и безвозмездно! Этого тоже никто не понимал лучше, чем он, — ведь мужества-то у него и не хватило. С горькой усмешкой вспоминал он своего бывшего товарища по работе Надлера, с которым он встретился в Западной Германии. Он пытался уговорить Функа поступить на службу к Эльмеру, к сбежавшему хозяину. Тот уж конечно с превеликим удовольствием уничтожил бы снова все эти машины, возникшие из руин.

Функ подумал: «Они вернули бы к жизни и мертвых, если б их дали им в руки».

Старик Буркхардт ходил за ним по пятам и не спускал с него глаз.

— У этого станка работал раньше Людике — ты помнишь его? — он и сейчас работает здесь. Он сломал себе руку, и мы смонтировали ему рычаг таким образом, чтобы он опять мог нажимать на него. Ведь мы здесь все свои, нам дорог каждый палец. А теперь, Функ, иди к Бергхольцу.

У Функа сжалось сердце, когда он вошел в комнату, которая была кабинетом директора еще во времена «Эльмера и сына». Задняя стена треснула от бомбежки, но ее давно уже заново отделали. Часть мебели все еще стояла на прежнем месте, а может быть, ее снова так расставили. За письменным столом, за которым раньше сидел зять Эльмера, сидел теперь Бергхольц.

Последний раз Функ видел Бергхольца в этой же самой комнате. Их обоих неожиданно вызвали сюда во время работы. Два чиновника допрашивали их в присутствии этого самого зятя и инженера Кестнера. После допроса Функа отправили обратно в цех. Бергхольца увели.

У Функа тогда словно камень с души свалился. Снова, как ему казалось, все обошлось благополучно. Бергхольц, по всей вероятности, пропал. Его следы действительно затерялись, как только за ним закрылась эта дверь. Долгие годы о Бергхольце ничего не было слышно, разве что время от времени доходили какие-то смутные вести, какие-то слухи из концлагеря. А иногда — не разберешь, то ли верное, то ли вымышленное — подробное сообщение о том, как его замучили до смерти.

Теперь Бергхольц сидел перед ним, здоровый и почти совсем не изменившийся. Так подумалось Функу в первую минуту. Потом в выражении лица Бергхольца появилось что-то новое; оно изменилось, сначала чуть-чуть, а затем так сильно, что Функ удивился, как этот человек вообще мог показаться ему похожим на прежнего Бергхольца. Только когда

тот засмеялся, слушая рассказ Функа о встрече с Надлером, Функ вдруг понял, что в этом лице нет ничего нового. Наоборот, что-то сошло с него как маска, долгие годы прятавшая его истинное выражение. Страх, пустота, растерянность, разочарование, наложившие свой отпечаток на лицо Бергхольца, раньше старили его. Теперь же Бергхольц стал самим собой внутренне и внешне. Все, что он пережил с тех пор, как его увели из этой комнаты, укрепило лишь его уверенность в своих силах.

Из их беседы и из полученных сведений Бергхольц составил себе о Функе определенное мнение. Он почувствовал к нему доверие. Он принял его на работу.

Функ еще раз поехал к Мельцеру. Ему стало боязно, когда плакат с надписью «Американский сектор» остался у него за спиной. Он проходил мимо нарядных витрин магазинов, словно своим обычным путем снова шел на завод Марквардта. Все, что он пережил раньше, и все, что видел перед собой сейчас: белье, платья, фрукты, птица, колбасы — смешалось в его голове, как сливаются во сне прошлое и настоящее. Он видел, как молодая пара изучала витрину обувного магазина, вспомнил прозвучавшие когда-то слова: «Ваша мечта, фрейлейн, может стать явью», — и с облегчением подумал, что все это не более как прогулка, он скоро опять будет у себя дома. В его голове всплыли картины прошлого.

Толстенький господин в зеленой куртке, остановившийся возле магазина радиотоваров, окинул его подозрительным взглядом, как когда-то лесничий Ридель, а Элли крикнула: «Зачем ты починил эту проклятую антенну?» Взгляд Функа упал на удивительный окорок в витрине гастрономического магазина, и в то же мгновение тень в стекле превратилась в Хельбаха: «Ты почему уходишь? Я тебя угощаю». Несколько девушек — по виду машинистки или секретарши,— молодые и веселые, рассматривали какую-то кинорекламу. Особенно ему понравилась одна, совсем молоденькая, с нежной шейкой в белом воротничке. Но вот он увидел, как скривился ее рот: «Вы что же, простых слов не понимаете? Отправляйтесь на свое место!»

Функ быстро пошел дальше. Фрау Мельцер сама отворила ему дверь.

Ее сестра уехала. И родители не сидели больше на диване. Они скоропостижно скончались в один и тот же день. Дочь, не оставлявшая их одних во время бомбежки, вернулась однажды из кино и нашла их мертвыми на диване.

— Функ, ты ли это? — крикнул Мельцер.— Как ты здесь очутился? Надолго?

— Я вернулся домой совсем.

Мельцер пристально посмотрел на него. Они сидели вместе уже не как друзья, сгорающие от нетерпения выложить все, что у них на душе, а как пассажиры, которые хотят присмотреться друг к другу.

— Что случилось? — спросил Мельцер.— Ты ведь был очень доволен. Что-нибудь не так?

Функ сказал:

— Нет, мне очень даже хорошо платили. Вот только...

— Что «только»?

У Функа было такое ощущение, будто Мельцер лишь его случайный знакомый. Это широкое, спокойное лицо, этот равнодушный, устремленный на него взгляд, ясный, но какой-то пустой, напомнил Функу — кого же? — кого-то, кто встретился где-то на пути. Потом лицо это снова напомнило ему друга юности Мельцера. Вот почему Функ с трудом подыскивал слова: «Я не мог там больше выдержать, потому что, как бы тебе сказать, я чувствовал себя так, словно...» — он помедлил, но не нашел

подходящих слов, кроме: «...словно я променял свое будущее на кофе». Мельцер рассмеялся: «В таком случае, раз ты здесь, выпей чашечку».

— Я опять на своем старом заводе, который назывался «Эльмер и сын». Старик Эльмер удрал с патентами на запад. Но завод восстановили без него.

Мельцер потер руки:

— Народное предприятие. Ты можешь еще стать директором.

— Может быть,— холодно ответил Функ.

Какую-то долю секунды они смотрели друг на друга с ненавистью Потом Мельцер насмешливо и равнодушно сказал:

— Не забудь про меня, если станешь директором. Заезжай и ко мне на своем автомобиле. Если, конечно, при своей высокой должности ты найдешь для этого время. А пока я буду пить настоящий кофе, даже и не мечтая о такой должности. Нет, серьезно, я хотел бы, чтобы каждому рабочему жилось так же хорошо, как и мне.

— Особенно тем, кто ходит отмечаться на биржу труда.

— И тем также,— сказал Мельцер.— Я не хочу быть тем старым крестьянином, который радуется, когда град падает на поле его соседа. В наше трудное время не всякий может выдержать бешеную скачку жизни.

— Нечто подобное я слышал еще при Гитлере.

Они снова с ненавистью посмотрели друг на друга. На этот раз уже целую секунду. Мельцер первый нарушил молчание и доверчиво продолжал:

— Опомнись, дружище! Ты сам знаешь, чего вам не хватает в русской зоне. Маленьких пустячков, которые нравятся человеку, и больших вещей, без которых он обойтись не может.

— Сейчас, верно, не хватает. Но потом, когда мы вылезем из самых больших трудностей...

— Потом! — передразнил Мельцер.— Будущее! Нечто подобное я уже слышал при Гитлере.

— То ничего общего не имело с будущим. То было прошлое, и Гитлер хотел, чтобы оно всегда оставалось таким же.

Функ чувствовал, что говорит впустую. Он с одинаковым успехом мог бы еще говорить часами, а мог бы и сразу закончить разговор. Он спросил:

— Что у тебя теперь за работа?

Мельцер, словно обрадовавшись, что их разговор перешел на другую тему, стал поспешно рассказывать.

— Помнишь мою маленькую свояченицу, которая у нас жила? Хотя она и косила немножко, но на мужчин всегда производила впечатление. Сидя рядом с ней, каждый думал: «Это она мне глазки строит или просто косит?» А в прошлом году она и вправду принесла мне счастье. Она скосила глазками американца. Тот не смог бы лучше заботиться даже о своей собственной семье. Теперь я получаю здесь в западных марках...

— Говорят, что здесь никто не может найти работу?

— Говорят! Я же сказал тебе, что хорошо зарабатываю.

— А если кто ходит без работы и не имеет к тому же свояченицы, которая может состроить глазки...

— Послушай, мой дорогой, связи нужно иметь везде. Даже для того, чтобы попасть к «Эльмеру и сыну». Доверяют ли тебе потому, что ты разделяешь их идеи, или потому, что у тебя есть свояченица,— все это только связи.

Функ хотел было ему возразить, но вдруг Мельцер показался ему удивительно похожим на Хельбаха. Функ оборвал разговор и встал.

Когда после этого визита он шел через Потсдамерплац, у него было такое ощущение, будто на ногах у него семимильные сапоги. По другую сторону площади, за стеною домов, начинается новый мир, который простирается до Тихого океана, мир с новыми законами жизни, новыми целями и планами. Этот мир кристально ясен и в то же время загадочен, как будущее. В этом мире — маленькая, тесная комнатка, где с радостью ждут его прихода. Все, что осталось позади, уже тронуто гнилью. Супружеская чета Мельцеров скорчилась на своем диване, как корчились на нем их родители, которые теперь лежат в могиле.

Как ни тесно жила семья Функа, их комната становилась просторнее, лишь только все сходились вместе. Когда они сидели за столом и рассказывали друг другу о том, как провели свой день, целый мир врывался в эти четыре стены, мир, какой он есть сейчас и каким станет потом.

В эти минуты мальчику было всего веселей. Он прыгал и свистел громче, чем обычно. Потому что было решено, что он останется здесь. Тени и голоса за большим окном сельской школы — вот где было его будущее. Чтобы добраться туда, ему нужно будет только пойти другой дорогой, чем обычно, в свою прежнюю школу. Здесь он чувствовал себя дома. Он боялся, как бы его не увезли отсюда и не отправили в город.

Его семья охотно перебралась бы поскорее в город, поближе к заводу. Старшие дети пошли бы там на будущий год в школу. Но работу там было найти легче, чем квартиру.

Девочка спросила:

— Когда мы переедем в город, Эрвин останется с нами? — по ее голосу Функ заметил, что этот вопрос уже давно мучает ее. Он немножко удивился и сказал:

— Конечно.

Девочка покраснела, замолчала и облегченно вздохнула. Она быстро взглянула на своего маленького спутника. Он тоже ничего не сказал. Его болезненное, бледное и некрасивое личико пряталось за очками, и свойственное ему выражение холодности и замкнутости словно служило защитой в радостные минуты.

Функ вспомнил, что мальчика привел с собой Бартош, которого он потом встретил у прилавка магазина в Западной зоне. Мальчик вряд ли помнил об этом случайном знакомстве. Но не было случайностью то, что связывало его с семьей Функа, и то, что он здесь остался.

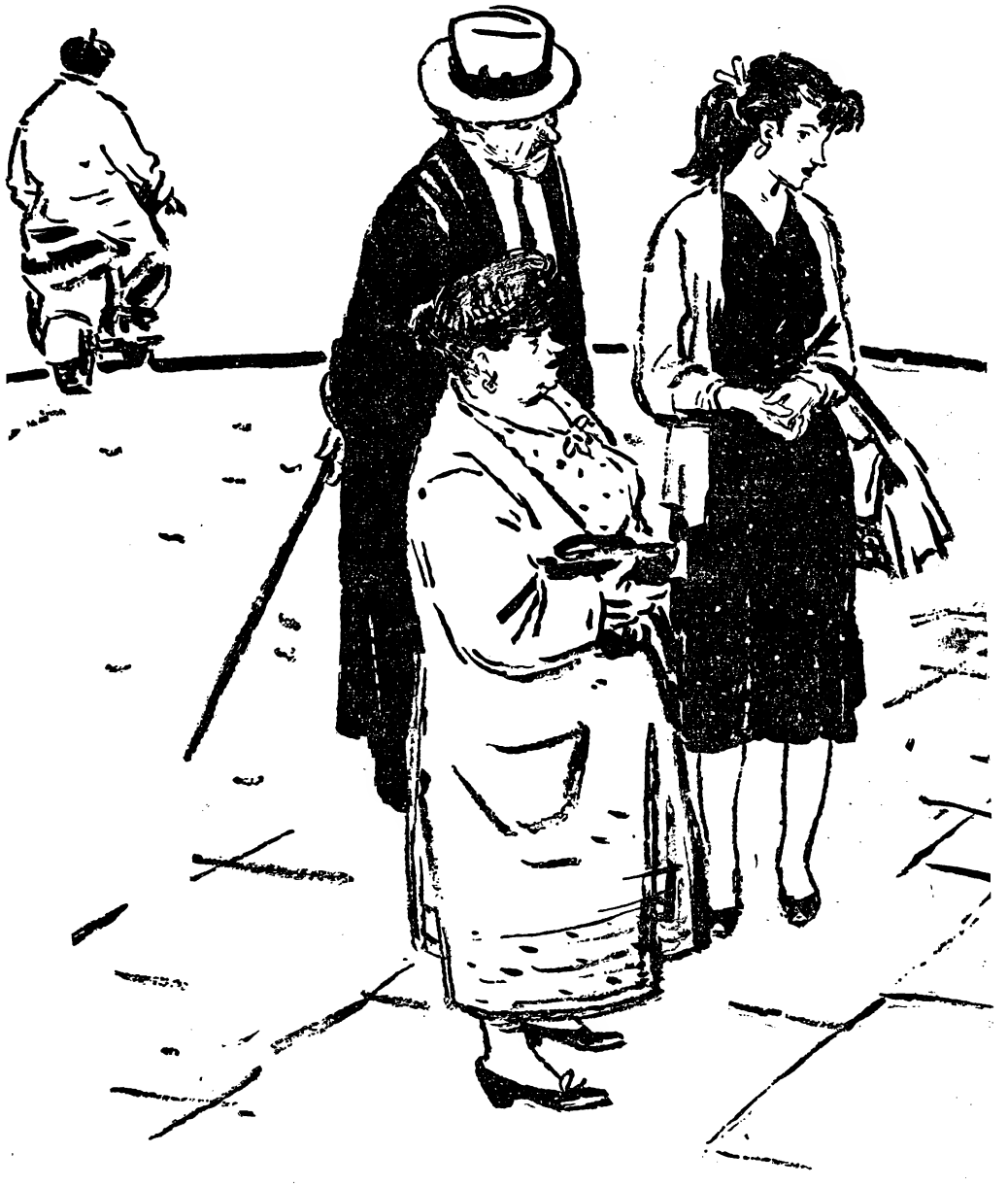
На заводе, в коридоре, Функ натолкнулся на директора Бергхольца. Тот остановил его и сказал:

— Хорошее предложение ты внес. Мы обсуждали его вчера. Инженер сделает чертеж и произведет расчеты. Ты должен ему еще раз все растолковать как можно лучше. Мы сами в прошлом году возились с этим делом. Наладили кое-что, как смогли. А ты подсказал нам мыслишку, которой как раз не хватало.

Он мельком взглянул на Функа, кивнул и ушел. Функ был доволен, но думал о том, как много времени он потерял. В ущерб самому себе и своему делу. Он не мог больше понять, зачем он, человек, у которого возникают такие полезные мысли, скитался так долго, не зная покоя.

Вечером, прежде чем пойти домой, он растянулся на траве. Земля в эти часы была безмолвна, как небо. Она казалась необитаемой, словно ее возделывали без людей. Без усилий и пота, без жадности и борьбы. Мирный покой, как солнце легкой сетью своих лучей, безмятежно обнимал травы, и пчел, и деревни. В эти часы дорога была пуста, если не

считать одинокой крестьянской телеги, которая вскоре свернула в поле. Но что-то суровое было в этой безлюдной и пустынной дороге. Словно она непреклонно стремилась к своей цели, хотя цель эта всегда опережала на один шаг идущего по дороге. Функ не мог сразу разобрать, была ли темная кайма за полем опушкой леса или тучей. Облака в одном месте слегка курчавились, словно кто-то, не обращая внимания на межи, захватил плугом огромное соседское поле.



«СЧАСТЬЕ В ВИТРИНЕ» *Рис. Д. Дубинского*

Альберто Моравиа

Из книги "ЭПИДЕМИЯ"

РАССКАЗЫ

Перевод с итальянского Г. Брейтбурда.

СЧАСТЬЕ В ВИТРИНЕ

Когда время близится к вечеру, пожилой чиновник в отставке Милоне выходит из дому, сопровождаемый своей супругой Эрминией, уже немолодой и дородной особой, и своей перезревшей дочерью Джованной, у которой с лица не сходит выражение подавленности и смущения. Семья Милоне, проживающая на площади Свободы, приноравливаясь к походке тучной Эрминии, медленно подымается по улице Кола ди Риенцо, разглядывая на ходу витрины магазинов. Дойдя до площади Возрождения, они переходят на другую сторону улицы и возвращаются к себе на площадь Свободы, не пропуская при этом ни одной витрины.

Длится такая прогулка около двух часов, и к концу ее подходит время ужинать. Милоне стеснен в средствах, и он сам, и его семья уже давно не бывали в кафе или кино. Прогулка стала их единственным развлечением.

Однажды они в обычное время вышли из дому и направились по улице Кола ди Риенцо к площади Возрождения. Почти у самой площади их внимание привлек новый магазин, словно по мановению руки возникший на том месте, где только вчера был пыльный забор. На расстоянии трудно было разглядеть выставленные за зеркальными стеклами витрин товары. Они втроем подошли к самому магазину и, не говоря ни слова, полукругом выстроились перед ним на тротуаре.

Теперь можно было хорошо разглядеть товар: в магазине продавалось счастье. Члены семьи Милоне, как и все люди на свете, много слышали об этом товаре, но до сих пор его не видали. О счастье ходили слухи, как о чем-то чрезвычайно, прямо баснословно редком, и многие даже сомневались, есть ли оно на свете. Правда, выходившие большими тиражами иллюстрированные журналы время от времени помещали фотоснимки и статьи, в которых говорилось, будто в Соединенных Штатах счастье хоть и не валяется на улице, но во всяком случае доступно. Однако все знают, что Америка далеко, а журналисты любят приврать. Говорят, что в старые времена счастье имелось в изобилии, но тот же Милоне, несмотря на весьма преклонный возраст, не может припомнить, чтоб он когда-либо его видел.

И вот сейчас любой мог приобрести этот товар в магазине, который продавал счастье, словно безделушку, выставлял его в витрине, как обувь или кухонную посуду. Легко понять удивление семейства Милоне, застывшего перед этой необычной магазинной витриной в полной неподвижности.

Нужно добавить, что обрамленная полированным гранитом витрина выглядела превосходно. Над ней красовалась вывеска в самом современном стиле, а для внутренней отделки был использован никелиро-

ванный металл. Внутри магазина все, включая и прилавки, было отделано по самой последней моде, а молодые и ловкие продавцы в хороших костюмах одним своим видом вызывали даже у наиболее нерешительных посетителей непреодолимое желание сделать покупки. В самой витрине различные виды счастья, подобно пасхальным яйцам, были расставлены в строгом порядке по размеру. Здесь можно было найти счастье на любой карман: маленькое, среднее, большое. Были в витрине и огромные эталоны счастья, но это, скорее всего, только бутафория, выставленная для рекламы. И каждый образчик счастья был снабжен изящной этикеткой, на которой красивым почерком выведена цена.

Старик Милоне решил, опираясь на свой авторитет, высказать общее мнение и в конце концов нарушил молчание:

— Что-что, но этого я не ожидал!

— Почему, папа? — наивно спросила дочка.

— Как почему? — с досадой произнес старик.— Вот уже долгие годы, как нам говорят, что в Италии нет счастья, что счастья нам не хватает, что ввозить его из-за границы обходится слишком дорого... И вдруг... открывают магазин, который только им и торгует.

— Должно быть, открыты новые, до сих пор не известные залежи,— заметила дочка.

— Но где? И как? — все больше кипятился старик. — Разве нам не твердили все время, что счастье нельзя обнаружить в недрах Италии, что у нас нет ни нефти, ни железной руды, ни счастья... Нет, такое дело не утаишь... Могу себе только представить положение наших газет: вчера такой-то, прогуливаясь в горах Кадре, наткнулся на залежи счастья высшего качества, площадь месторождений такая-то, глубина такая-то, запасов хватит... Можете себе представить!.. Ерунда все это... Ясно, что это импортный товар!..

— Ну и что же? — спокойно говорит мать. — Что в этом дурного? У них там слишком много счастья, а у нас его нет— вот они и вывозят. Что ж тут удивительного?

Старик в бешенстве пожал плечами.

— Бабьи россказни! А знаешь ты, что такое импорт? Ведь приходится тратить драгоценную валюту, на которую можно купить зерно... страна недоедает... зерно нам нужно до зарезу... так нет же, господа хорошие, стоит вам собрать немного долларов — и вы тратите их на этот товар, на счастье.

— Но ведь и счастье тоже нужно,— заметила дочь.

— Это излишество, — ответил старик. — Прежде всего следует подумать о еде. Сначала хлеб, а потом уж счастье... Но в этой стране все навыворот: сначала счастье, потом хлеб...

— Что тебя так за живое задело? — добродушно изрекла супруга.— Ну, ладно, тебе счастье не нужно... Но не все такие, как ты.

— Вот я, например...— осмелилась дочь.

— Ты, например,— угрожающим тоном произнес старик.

— Да, я, например,— почти в отчаянье закончила девушка,— охотно купила бы себе вот такое маленькое счастье. Так хочется посмотреть, из чего оно сделано.

— Пошли,— угрюмо и вместе с тем решительно промолвил старик. Женщины покорно дали себя увести.

Но Милоне окончательно потерял самообладание.

— От тебя, Джованна, я ничего подобного не ожидал!

— Почему, папа?

— Потому, что такие вещи покупают себе спекулянты с черной биржи, богачи, миллионеры. Государственный служащий не может и не должен мечтать о счастье. Ты захотела его купить — в лучшем случае это говорит о твоей несознательности... Еще бы, квартиру мы снимаем, сче-

та, слава богу, приходят в первых числах месяца... Нет, Джованна, ты меня прямо огорчаешь.

У дочери глаза наполнились слезами. Но тут вмешалась мать.

— Видишь, какой ты, только ее расстраиваешь. В конце концов, что она видела в жизни? Джованна молода, ничего удивительного, что ей захотелось счастья.

— Ерунда... Отец ее обходился без счастья, и она обойдется.

Они подошли к площади Возрождения. Но тут старик решил нарушить обычный порядок, и они повернули обратно, не переходя на другую сторону. Подойдя снова к магазину, старик остановился, пристально оглядел витрину и сказал:

— Знаете, что я думаю? Это поддельный товар.

— Как же так?

— Да, я как раз вчера прочел в газете, что вот такое малюсенькое счастье в Америке, не где-нибудь, а в самой Америке, стоит не одну сотню долларов... Ну, мыслимое ли дело, чтоб его здесь продавали по таким ценам? Одна перевозка дороже обойдется... Нет, это товар поддельный, эрзац, а не счастье... Я в этом убежден.

— Однако люди покупают,— робко заметила мать.

— Чего только люди не покупают... Принесут домой и через несколько дней сами убедятся... Мошенники!

Прогулка продолжается. Но Джованна, захлебываясь слезами, думает о том, как бы ей полюбилось счастье, даже поддельное.

ПЕРВОЕ ДОНЕСЕНИЕ С ЗЕМЛИ, ОТПРАВЛЕННОЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ, ПРИБЫВШИМ С ЛУНЫ

Удивительная страна. Она населена двумя резко отличными друг от друга как в моральном, так и, до известной степени, в физическом отношении расами: расой людей, называемых богачами, и расой людей, именуемых бедняками. Значение этих двух слов — «богачи» и «бедняки» — неясно, и наше недостаточное знакомство с языком страны не позволило нам его уточнить. Источником нашей

информации в большинстве случаев являются богачи, которые вступают в общение охотней, чем бедняки, отличаются большей разговорчивостью и гостеприимством.

Богачи утверждают, что бедняки — это люди, появившиеся неизвестно откуда и поселившиеся в стране с незапамятных времен. С тех пор бедняки только то и делали, что размножались, а их дурные нравы не претерпевали изменений. Лишь ознакомившись с характером бедняков, можно высказать свое суждение и признать правоту богачей. Прежде всего, бедняки не любят опрятности и красоты. Их одежда всегда грязна и в заплатах, их жилища мрачны, а домашняя утварь стара и уродлива. Однако, в силу странной извращенности вкуса, они как будто предпочитают лохмотья новой одежде, многонаселенные дома дворцам и виллам, дешевую мебель высококачественным стильным гарнитурам.

И в самом деле, спрашивает богач, может ли кто-либо утверждать, что ему доводилось видеть хорошо одетого бедняка, живущего в красивом доме, среди предметов роскоши?

Но этого мало: бедняки не ценят культуру. Трудно застать бедняка с книжкой в руках, встретить его в музее либо в концертном зале. В искусстве бедняки не разбираются. Они могут спокойно принять олеографию за картину великого художника, променять Праксителя на дешевую статуэтку и предпочесть прелюдии Баха вульгарную песенку. Если бы это зависело от бедняков, музы-утешительницы рода людского уже давно покинули бы наш мир. Богачи разъяснили нам, что развлечения бедняков отличаются исключительной грубостью: выпивка, посещение танцевальных площадок, игра в кегли или футбол, бокс и тому подобные низменные забавы. Отсюда, утверждают богачи, следует, что бедняки предпочитают невежество культуре.

Более того, бедняки ненавидят природу. В хорошее время года богачи обычно разъезжают, бывают у моря, на дачах, в горах, наслаждаются красотой голубых вод, чистым воздухом, одиночеством среди альпийских вершин; предоставляют отдых душе и телу. А бедняки ни за что не желают покидать зловонные кварталы городов, где они живут. Смена времен года оставляет их безучастными, они не ощущают потребности смягчить холод теплом, а жару прохладой, коммунальные бани они предпочитают морским купаниям, облезлые лужайки предместий дачным местам, а балконы своих домов горным курортам. Но как же можно, спрашивают богачи, не любить природу?

Если бы бедняки, оставаясь в городах, хотя бы вели светскую жизнь! Так нет же, создается впечатление, что всем иным местам, где собирается общество, они предпочитают так называемые заводы. Трудно представить себе что-либо уродливей этих заводов: мрачные коробки из стекла и железобетона, в которых установлены грохочущие и дымящие машины; в зимнее время там коченеешь от холода, а летом задыхаешься от зноя.

В числе бедняков есть и такие, которые живут не в городах, а среди затерянных полей. Единственное их занятие и, должно быть, единственное развлечение состоит в том, чтобы при помощи грубых и тяжелых орудий переворачивать пласты земли. Этому занятию они предаются от зари до зари, в любое время года, под палящими лучами солнца и под проливным дождем. А между тем, утверждают богачи, на свете так много других, гораздо более разумных и приятных занятий!

Особая разновидность бедняков с еще более странными вкусами предпочитает дневному свету вечный мрак, а голубизне неба — темноту подземелья. Эти бедняки спускаются на большую глубину в подземные галереи и развлекаются там добыванием камней или минералов. Такие места под землей называются шахтами. Конечно, ни одному богачу не придет в голову когда-либо спуститься в шахту.

Все эти свои занятия бедняки называют одним словом — работа. Значение этого слова для нас также является загадочным и не поддающимся расшифровке. Бедняки чрезвычайно привязаны к этой своей работе. Они собираются на площадях, протестуют, грозят волнениями и беспорядками, если по каким-либо причинам, в сущность которых мы не могли вникнуть, останавливаются заводы и прекращается работа в шахтах. Вот и пойми их, говорят богачи, ведь гораздо проще и приятней собраться в какой-нибудь уютной гостиной, зайти в хорошо обставленный клуб и там не спеша побеседовать друг с другом.

О кухне бедняков мы и говорить не станем. Для них не существует ни изысканных яств, ни старых вин, ни чудесных лакомств. Гораздо большее удовольствие им доставляет такая грубая еда, как фасоль, лук, репа, картошка, чеснок, черствый хлеб. Даже в тех редких случаях, когда они соглашаются есть мясо или рыбу, можно не сомневаться, что их выбор падет на самое жесткое мясо или такую рыбу, которая вязнет в зубах. Вино им нравится только кислое, либо разбавленное водой. Молодые овощи им вообще не по вкусу, и горох они начинают есть, только когда он становится похожим на тесто, артишоки — когда они превращаются в подобие соломы, а спаржу — когда она делается твердой, как дерево. Одним словом, им совершенно чужды радости хорошей кухни.

А что скажешь о табаке, который курят бедняки? Они настолько глупы, что относятся с пренебрежением к тончайшим изделиям Востока и к ароматным табакам Америки. Курят они какое-то черное и кислое зелье, оно вызывает кашель и не доставляет ни малейшего удовольствия. Ничего не смыслят они в хорошей гаванской сигаре, в душистой турецкой сигарете.

Или вот еще одна странность: бедняки совершенно не заботятся о своем здоровье. К иному выводу не придешь, наблюдая, как плохо они укрываются от непогоды и насколько небрежно относятся к лечению. Если им случается заболеть, они не покупают лекарств, не ездят в санатории и даже не соглашаются провести в постели столько времени, сколько требуется для выздоровления.

Богачи объясняют это пренебрежительное отношение бедняков к своему здоровью абсурдным стремлением не пропустить ни одного дня работы на заводе, на шахтах или на полях. Очень странно, но так оно и есть: причина именно в этом.

Можно до бесконечности говорить о бедняках и о том, как они держатся за свои вредные, грубые и странные привычки. Однако мы считаем более интересным рассмотреть мотивы их анормального поведения.

Богачи сообщили нам, что во все времена проводились серьезнейшие исследования расы бедняков. Ученые, грубо говоря, делятся на две категории: одни утверждают, что извращенность характера бедняков зависит от их доброй воли и что, следовательно, на них можно как-то влиять и перевоспитывать. Другие, напротив, утверждают, что средств к такому исправлению нет, потому что характер бедняков является врожденным. Первая категория ученых усиленно рекомендует применить убеждение и проповедь. Вторая категория ученых, отличающихся бо́льшим скептицизмом, рекомендует полицейские мероприятия. По-видимому, правы ученые второй категории, потому что до сих пор все проповеди о преимуществах чистоты, красоты, роскоши, культуры и отдыха, обращенные к расе бедняков, оставались безрезультатными.

Следует заметить, что, несмотря на все заботы, проявляемые богачами по отношению к беднякам, последние, являясь людьми неблагодарными, ненавидят богачей. Нельзя при этом не признать, что и богачам не всегда удается скрыть свое отношение к образу жизни бедняков.

Как и во время наших предыдущих поездок, мы пожелали выслушать также голос другой стороны. Мы обратились с расспросами к беднякам. Это было нелегко, поскольку они не знают других языков, кроме языка своей страны. Однако в конце концов мы смогли получить от них следующий ошеломивший нас ответ: оказывается, единственная причина различия между богачами и бедняками состоит в том, что богачи обладают некоей вещью, именуемой деньгами, которых почти всегда не хватает беднякам.

Мы пожелали увидеть, что же из себя представляют эти деньги, способные вызывать столь огромные различия. И нам удалось выяснить, что чаще всего речь идет о листках раскрашенной бумаги либо о кусочках металла круглой формы.

Исходя из хорошо известной склонности бедняков к искажению истины, мы имели все основания сомневаться в том, что эти так называемые деньги являются определяющей причиной столь странных явлений.

Вот почему мы повторяем: удивительная страна.

РИМСКИЕ РАССКАЗЫ

(Из второй книги)

Перевод с итальянского Г. Богемского

ПРОЩАЙ, ПРЕДМЕСТЬЕ

Неизвестно почему, эти кинематографисты, начав снимать фильм, вместо того чтобы использовать настоящие лачуги, которых в поселке Гордиани было полным-полно, взяли да и построили сами по всем правилам искусства посреди лужка новехонький маленький барак. Но разве кино не должно быть правдивым? А если оно должно быть правдивым, то им тогда свой барак надо было строить так же, как были построены много лет назад все бараки поселка: без высокого фундамента — так, чтобы, когда льет дождь, потоки желтой, со всплывшими тараканами воды затопляли весь дом; без уборной — ведь на соседнем пустыре есть общественный нужник; без кухни, потому что для стряпни

достаточно иметь старый бидон из-под бензина или горелку с газовым баллоном; со стенами из уложенного в один ряд полого кирпича или, еще лучше, из брикетов прессованной соломы, которые летом кишат насекомыми. Они же построили показательный, образцовый барак — если бы все лачуги в Гордиани были похожи на него, то этот поселок не был бы таким адом, как теперь. В Гордиани перед бараками в землю наподобие изгороди воткнуты палки, они как бы отделяют участки один от другого. За этими заборами протекает вся жизнь: стирают белье, готовят обед, моются и чистятся, делают домашнюю работу, беседуют.

Они тоже обнесли свой барак хорошенькой изгородью из кустов бузины. Но при этом не позаботились, чтобы за ней виднелся ручеек грязной, белой от мыльной пены воды, куча гнилого тряпья и заплесневелых от сырости старых сапог, облупленный ночной горшок, в котором растет кустик мяты, сохнущие на железной проволоке детские пеленки, белеющая среди грязи битая тарелка и многие другие мелочи такого же рода... Да и как бы они могли это сделать? Обо всем этом заботится сама жизнь, кино здесь бессильно. И кому удастся воспроизвести закопченную и осыпающуюся, некогда розовую штукатурку на стенах бараков? Эта штукатурка испещрена надписями: «Долой войну!», «Да здравствует Сталин!», «Вон немцев!», но теперь от дождей надписи выцвели и расплылись, как чернила на промокательной бумаге. Они в свой домик, разумеется, напихали все, что обычно стоит в бараках: широкую двуспальную кровать и маленькую детскую кроватку, комод с фигурками святых, два соломенных стула и так далее. Но эти вещи стояли там безжизненно, будто в лавке старьевщика. За версту было видно, что на этих кроватях никто никогда не спал, что этот комод пуст, что перед этими фигурками святых никто никогда не молился. А разве могли они воспроизвести запах бараков, запах приготовленного сегодня одного-единственного блюда — овощного супа или макарон с томатным соусом, — смешанный с запахом грязного белья и дымом? Впрочем, я совсем позабыл, что кино не передает запахов.

* * *

Чтобы придать фильму бóльшую правдивость, они, кроме того, наняли нескольких парней и одну девушку из Гордиани. Парней они выбрали из числа тех, что побойчее, но, по правде говоря, из-за недоедания в предместье гораздо чаще встретишь молодых людей, напоминающих своим сложением рыбу скорпена, нежели атлетов, и тут ничего не поделаешь. Из женщин они остановились на Джулии, которая — я говорю это не потому, что она была моей невестой, — несомненно, была красивее всех и действительно являлась настоящим исключением. Я не хочу сказать, что в поселке не было красивых девушек, но все они тяжко трудились и не следили за собой; их красота скорее угадывалась, но не бросалась в глаза. А Джулия была единственной дочерью у матери-вдовы, и мать, работавшая прачкой, души в ней не чаяла и ни в чем ей не отказывала. Так вот, Джулия, говорю я, казалась настоящей барышней. Высокая и стройная, с гладким лицом, выхоленными ручками, она больше всего отличалась от других девушек своими волосами, и не только потому, что они были рыжие, но и потому, что они у нее всегда были чистые, пышные, пушистые, блестящие, тогда как ее подруги ходили нечесаные и грязные. Да, Джулия ухаживала за своими волосами: нередко, проходя мимо ее барака, я мог видеть, как она, стоя у окна, приглаживала их щеткой, глубоко погруженная в это занятие, сосредоточенная, как кошка, вылизывающая свою шерстку. Так зачем же, спрашиваю я вас, было выбирать Джулию как типичную для окраины девушку? Это все равно что сфотографировать весной покрытое белым цветом сливовое дерево, которое росло

напротив ее лачуги, и сказать, что оно типично для Гордиани, тогда как всем известно: во всем поселке никогда не было и в помине ни одного настоящего дерева; а некоторые из тех, кто во время войны побывал в плену, даже утверждают, что предместье Гордиани как две капли воды похоже на концлагерь с той, однако, разницей, что в концлагерях было чище.

Я не хотел сниматься в фильме, потому что работал механиком в одном гараже на шоссе Казилина и не был в этом заинтересован. Более того, сначала я даже был недоволен желанием Джулии участвовать в этом фильме, который должен показать жизнь нашего поселка, так как, присутствуя на съемках, понял, что никакой правды в фильме не было, и не только из-за этого барака, который так не походил на наши жилища, но и из-за всего остального. Не будем уже говорить об исполнявшей главную роль актрисе, явившейся в поселок в манто из американской норки, наброшенном на полосатое ситцевое платьице, и о герое — похожем на большого теленка, откормленном молодом человеке с широкими бедрами, глядя на которого сразу видишь, что он никогда в своей жизни не трудился. Мне казалась неубедительной вся история их любви, начинавшаяся в поселке и кончавшаяся после крупного выигрыша по футбольному тотализатору на квартире в Париоли*. Подумаешь, какое геройство — отгадать результаты футбольных встреч. Лучше бы они показали, как один из жителей Гордиани поселился в Париоли, добившись этого своим трудом.

* * *

Однако я стал думать по-другому, когда однажды вечером, болтая о том и о сем с оператором, узнал, что они, закончив съемки фильма, собираются продать хорошенький барак, построенный посреди лужка. Цена: сорок тысяч лир. Признаюсь, с той минуты, как я об этом услышал, я словно был охвачен лихорадкой. Сорок тысяч лир я мог бы кое-как наскрести, соединив свои сбережения со сбережениями Джулии; мебель мы уже приобрели, она хранилась на складе у одного моего приятеля; сейчас был апрель, мы могли бы пожениться через один, самое большее два месяца. Я поговорил об этом с Джулией, и когда я кончил, она еле слышно сказала, что согласна: такой уж у нее был характер — она никогда не воодушевлялась, всегда спокойная и словно рассеянная, не знающая сильных душевных порывов. При этом она, однако, добавила:

— Будем надеяться, что и мы, как герои фильма, выиграем по футбольному тотализатору и тоже сможем переехать из твоего барака в Париоли.

Я не обратил внимания на эти слова, и, несомненно, это было ошибкой. Потом Джулия познакомила меня с администратором; короче говоря, фильм был снят еще только наполовину, когда я уже уплатил задаток, и барак, можно сказать, стал моим.

Так вот устроен человек. Для себя самого он не способен добиваться чего-нибудь, довольствуется тем, что имеет, и перебивается кое-как. Но едва только ему покажется, что он может что-то сделать для другого, например, для своей будущей жены, и в нем тотчас же пробуждается честолюбие, он становится энергичным и предприимчивым. Так было и со мной: внеся задаток, я сразу же с воодушевлением взялся за дело, и меня ни на минуту не покидала мысль о том, что я женюсь и должен побольше заработать. Я ушел из гаража, и мы вместе с приятелем открыли маленькую, но свою собственную мастерскую все на том же шоссе Казилина. Это было старое намерение, но до сих пор из-за лени и неверия в успех мы никогда не относились к нему всерьез. На этот раз я решился рискнуть, и — о чу-

* Аристократический квартал Рима.

до! — дела сразу же пошли очень хорошо. Я работал как сумасшедший, целыми днями, а когда возвращался домой в Гордиани, находил в себе еще силы доплестись до лужка, где кинематографисты при свете юпитеров продолжали съемки до поздней ночи. Они снимали все тот же барак, не похожий на бараки Гордиани, все ту же историю, которая не могла произойти в Гордиани, все тех же персонажей, которые с Гордиани не имели ничего общего, но теперь я знал, что скоро в этом бараке поселимся мы с Джулией, и фильм начал казаться мне не таким уж лживым. Режиссер вопил: «Тишина! Идет съемка!» — а в дверях барака, освещенного, как днем, юпитерами, появлялась моя Джулия со своими чудесными распущенными волосами цвета меди и лицом, покрытым слоем грима, делавшим ее еще красивее, и мне чудилось, что мы уже живем в своем бараке и что это Джулия выходит встречать меня, когда я возвращаюсь с работы.

* * *

Ну вот, съемки фильма наконец подошли к концу, двое главных героев должны были сказать «прощай» предместью Гордиани и переехать в Париоли. Чтобы отметить двойное событие — окончание съемок и переход барака в нашу собственность, мы решили устроить праздничный ужин у Джулии. Была суббота; киношники должны были работать до вечера; предполагалось, что после их отъезда мы сядем за стол и выпьем за нашу свадьбу, а по окончании ужина — так во всяком случае нам нравилось себе представлять — мы с Джулией, обнявшись, пойдем полюбоваться в лунном свете нашим стоящим посреди лужка бараком, который наконец-то освободился и теперь был в нашем полном распоряжении. Итак, ровно в половине девятого вечера, с бутылкой хорошего вина под мышкой, я пришел в барак Джулии. Ее матери не оказалось дома, но, по-видимому, она ушла куда-то недалеко, так как входная дверь была открыта. Я несколько раз постучал в дверь и покричал кого-нибудь, а потом набрался смелости и вошел.

Барак Джулии был такой же, как и все другие бараки в предместье, но, войдя в него, вы сразу замечали разницу. Здесь царил порядок, все сверкало чистотой, было старательно вымыто и вытерто, расставлено с той любовной заботливостью, на какую способны только женщины. На постели, где Джулия спала вместе с матерью, лежали две белоснежные подушки и красивое красное одеяло; между железных завитков на спинке кровати была воткнута освященная веточка оливкового дерева. Комод был покрыт вышитой салфеточкой, а на ней в строгом порядке были разложены щетки и гребенки Джулии. На полу лежал ковер; на маленьком окне висели занавески в голубую горошину и стояло несколько горшочков с цветами. В комнате не чувствовалось никаких запахов — кухня была в сарайчике на улице; точнее сказать, здесь чувствовался легкий и приятный аромат — это был аромат самой Джулии. Я огорчился, увидав, что стоявший у окна маленький столик не накрыт, и чуть было не подумал, что ошибся и надо было прийти на следующий день. В замешательстве, с бутылкой под мышкой, я прошелся по комнате, посмотрелся в зеркало, потом снял со щетки Джулии несколько ее волосков и намотал их на указательный палец, крепко-крепко, так, словно надел медное колечко. Но меня притягивала к себе постель — там спала Джулия. Я приподнял подушку и провел рукой по сложенной рубашке, лежащей под подушкой. Тут я наткнулся на что-то твердое, пошарил и вытащил коробочку. Сам не знаю почему, но я подумал, что это подарок, который Джулия приготовила к этому вечеру для меня, и открыл ее. Нет, это не был подарок для меня — это была пара бирюзовых сережек. Я не успел даже удивиться тому, откуда они у нее, потому что неожиданно услышал голос Джулии, разговари-

вавшей с матерью в сарайчике, где у них была кухня. Я поспешно сунул коробочку обратно под подушку. Затем Джулия вошла в комнату.

Она тут же сразу выпалила:

— Луиджи, мне очень жаль, но сегодня вечером я не могу быть с тобой. По случаю окончания фильма они решили устроить прощальный ужин в Риме, пригласили меня, и я не могу не пойти. Я хотела предупредить тебя, но ты был в мастерской, и поэтому я не смогла.

Я ей ничего не сказал, но, должно быть, лицо мое сказало многое. Нервы у нее не выдержали, и она добавила уже гораздо громче, чуть ли не с ожесточением:

— И вообще я предпочитаю сказать тебе все теперь же и перестать ломать эту комедию: мы не подходим друг другу, и лучше нам с тобой больше не видеться. Я думаю об этом уже целый месяц и понимаю, что должна была сказать тебе это сразу, чтобы ты не покупал этот барак.

Услышав эти слова, я сделал такой жест, будто хотел сказать: «Что мне за дело до барака!» — но она поняла мой жест совсем не так и поспешно добавила:

— Но ты не бойся, я уже поговорила с администратором, и ты, если хочешь, можешь получить задаток обратно. Однако я на твоем месте не отказывалась бы от барака — как бы там ни было, это дело выгодное, и ты, как и собирался, можешь хоть завтра переехать туда.

Итак, теперь она еще мне давала советы, готовясь сама, как героиня ее фильма, переехать в Париоли. Она советовала мне не отказываться от барака: кто знает, быть может, он еще когда-нибудь пригодится. У меня глаза наполнились слезами, и я хотел было ей ответить: «Да на что мне сдался этот барак!» — но в эту минуту я перехватил ее смущенный взгляд — он был устремлен мимо меня, на кровать. Я понял, подошел к изголовью постели, взял коробочку с серьгами и протянул ей, говоря:

— Ты искала ее, вот она.

Джулия смутилась и на мгновенье застыла с коробочкой в руках, смотря на меня. Потом повернулась на каблуках и вышла из комнаты.

* * *

Я тоже вышел. На асфальтированном шоссе, которое разрезает поселок на две части, стоял автомобиль помощника режиссера — наполовину желтый, наполовину красный. Было темно — в Гордиани ведь мало фонарей, но, не знаю почему, яркие цвета, в которые была окрашена машина, переливались в полутьме, словно фосфоресцируя. В машине горел свет, в ней было полно людей. Я увидел шедшую к машине Джулию — она двигалась не спеша, на ходу надевая серьги — сначала одну, потом другую, — и наклоняла при этом голову к плечу. Мне показалось, что ее встретили радостные голоса. Потом машина тронулась и помчалась, длинная и яркая, выхватывая из тьмы лучами своих фар низкие лачуги и заборы предместья.

Я смотрел вслед машине, пока она не скрылась вдали на шоссе, а затем ушел и сам. Я направился в противоположную сторону — к остановке автобуса, идущего в Рим. О бараке, задатке, даже о том, чтобы попрощаться с родными, я и не думал — успею сделать завтра. Теперь же мне хотелось лишь одного — как можно скорее покинуть эту окраину, освободиться от ощущения, что я — по-видимому, так считала и Джулия — составляю одно целое с вот этими лачугами, нищетой, оторванностью от мира... Своим невольным презрением Джулия убила во мне любовь, но пробудила самолюбие: я был готов ночевать на скамейке в каком-нибудь

парке, только бы не оставаться даже на одну ночь в поселке. Но у меня был родственник, живший в квартале Понте, и я решил отправиться к нему. Автобус, как обычно, был переполнен, и кондуктор нетерпеливо крикнул мне:

— Эй, паренек, поживей проходи вперед!

Его слова, подумал я, хорошее напутствие, ведь я молод и действительно должен идти вперед, у меня впереди еще много, много лет жизни, которые я могу прожить вдалеке от этого предместья.

СЕЙЧАС НЕ ВРЕМЯ

Вы не знаете, что значит смеяться, если вам не доводилось встречать Паолино, моего приятеля по ночным прогулкам. Теперь я давно уже не вожусь с Паолино, и как раз из-за его смеха, но должен признаться, что иногда начинаю скучать по нем, видя вокруг одни надутые рожи и никогда не улыбающихся фанатиков.

Паолино — парнишка примерно моих лет, маленького роста, с низким лбом, заросшим густыми кудрявыми волосами, и приплюснутым носом. Кажется, все мясо у него на лице собралось вокруг рта и челюстей. Челюсть у Паолино мощная, квадратная, выдающийся вперед подбородок напоминает ковш экскаватора — эту огромную пасть, которая в один присест сносит полхолма, а затем закрывается, поворачивается, вновь открывается над грузовиком и разом наполняет половину кузова. Кроме того, рот у Паолино очень большой, как говорится, до ушей, похожий на прорезь в копилке. Я не знаю, что находилось у Паолино в голове: по всей вероятности, какая-то очень чувствительная заводная машинка для смеха — ему было достаточно любого пустяка, чтобы распахнуть, как ворота, свой огромный рот и разразиться неудержимым смехом. Нахохотавшись вдоволь, Паолино не становился серьезен, как все люди; лицо его все еще продолжало смеяться, как продолжает пламенеть небо после солнечного заката, из глаз лились слезы, рот оставался открытым, к лицу приливала кровь, оно багровело, и на нем появлялось какое-то безумное выражение. Одним словом, Паолино смеялся так, как едят голодные,— без удержу, яростно. И нужно сказать, что вся его жизнь, видимо, состояла из сплошного смеха, ибо он, вспоминая что-нибудь из того, что с ним когда-то произошло, каждый раз говорил: «Ты помнишь, как мы тогда хохотали?» — или же: «Ну и славно же мы тогда посмеялись!» — совсем как умирающий с голоду перебирает в памяти те редкие случаи в своей жизни, когда ему удалось хорошенько поесть.

Впрочем, хватит об этом. Паолино был совсем неподходящим человеком, чтобы просить его пойти со мной вечером в праздник святой Епи-

фании на Пьяцца Навона, но, кроме него, я никого не нашел. В тот вечер я отправился на Пьяцца Навона не для того, чтобы, как все остальные, бесноваться там, а с совершенно определенной целью. Дело в том, что меня без всякой причины бросила Иоле, и я никак не мог застать ее ни дома, ни в парикмахерской, где она работала маникюршей: всякий раз ей как-то удавалось избежать встречи со мной; зная, что в этот вечер она пойдет на Пьяцца Навона, я решил отыскать ее там, объясниться и, быть может, основательно испортить ей настроение. Да, именно так, я ведь не похож на Паолино и смеюсь только тогда, когда действительно есть над чем посмеяться, что случается, впрочем, довольно редко. Я смотрю на жизнь серьезно, и у меня есть чувство собственного достоинства — короче говоря, я считаю, что если женщина меня разлюбила, то она должна ясно и определенно сказать мне об этом, а не прятаться по углам, не избегать меня и не заставлять выслеживать ее. Поэтому, когда мы уже вышли на Пьяцца Дзанарделли, я сказал Паолино:

— Знаешь, зачем я иду сегодня вечером на Пьяцца Навона? Вовсе не для того, чтобы дудеть в дудки и сходить с ума. Так не раздражай меня своим смехом.

— А кто же смеется? — сказал он, уже хохоча. Лицо у него побагровело, глаза наполнились слезами.

— Ты,— сказал я ему резко,— сейчас же прекрати.

Лицо его приняло серьезное выражение, но было видно, что сохранять серьезность ему стоило большого труда. Так мы подошли к Пьяцца Навона.

* * *

Выйдя на площадь, я сразу же понял свою ошибку — найти Иоле в этой толпе было невозможно, а приводить сюда Паолино было совсем незачем. В самом деле, у первого же лотка он купил себе свистульку, издававшую какой-то особенно дурацкий свист, и соломенную шляпу со спрятанной внутри пружинкой, превращавшуюся в высоченный цилиндр. Я раздраженно спрашиваю его:

— Почему это тебе так хочется строить из себя шута?

А он, захлебываясь от смеха, отвечает:

— Ох, ведь праздник Епифании бывает только раз в году.

И в эту самую минуту — подумать только, какая случайность! — я увидел Иоле, которая стояла прямо против меня у палатки электрического тира, в нескольких шагах от центрального фонтана. Я сказал Паолино:

— Послушай, я прошу тебя, прекрати смеяться,— и подошел к ней.

Иоле — одна из тех крашеных блондинок платинового оттенка, каких теперь довольно много; лицо у нее из-за густого слоя пудры белее, чем у покойника, губы бледные, а глаза густо обведены черной тушью. Она была в своем красном пальтишке и прижималась к американцу, которого я знал в лицо; звали его Ричардом и, как я уже давно подозревал, он, по-видимому, и был главной причиной ее охлаждения ко мне. На нем была очень короткая спортивная, в черно-зеленую клетку, куртка, волосы у него были ярко-рыжие, коротко подстриженные на манер Марлона Брандо, на голове — маленькая меховая шапочка. Одним словом, это был парень что надо и здоровенный, в особенности по сравнению со мной — я довольно невысок, — однако у него был один пренеприятный недостаток: безобразный, похожий на глубокую яму рот, из которого, когда он с тобой говорил, в лицо тебе фонтаном летела слюна.

Выставив вперед ногу, он поднял ружье и целился — щека на прикладе, глаза устремлены на мушку, — а Иоле, как и полагается девицам, которым нравятся мужественные парни, смотрела на него с восхищением.

Он стрелял в идущего по жестяному лесу жестяного медведя, которого преследовала жестяная собака, и каждый его выстрел точно попадал в цель, так что медведь не успевал от него прятаться. Ничего не скажешь, он был метким стрелком, но я пришел сюда не для того, чтобы восхищаться его ловкостью. Я подошел к ним с угрюмым лицом и, потянув Иоле за рукав, сказал:

— Добрый вечер. Послушай, мне нужно сказать тебе два слова.

Однако в это время Паолино, уничтожая весь эффект моего серьезного тона, заорал, давясь со смеху:

— Иоле, разве ты не знакома с Джиджи? Тогда разреши мне его тебе представить!

Она, услышав мой голос, обернулась, и вид у нее был такой, точно она меня никогда в жизни не видела и вообще не знала, а потом говорит:

— Но, Джиджи, сейчас не время, — и показывает глазами на американца.

Я настаивал:

— Но я должен с тобой поговорить.

Я знал, что сейчас, напротив, было самое время поговорить с ней, потому что, если я не воспользуюсь этим случаем, другой такой мне никогда больше не представится. Американец, который, должно быть, слышал наш разговор, вдруг обернулся и, смеясь, сказал:

— Джиджи, сейчас не время,— а потом, протянув мне ружье, добавил:

— Попробуйте теперь вы, посмотрим, как вы стреляете.

Я машинально взял ружье и несколько раз выстрелил, не попав в медведя, но это потому, что у меня от волнения дрожали руки. Тогда я швырнул ружье на барьер и сказал решительным тоном:

— Тебе все-таки придется меня выслушать, потому что мне нужно тебе что-то сказать. Идем отсюда,— и схватил ее за руку.

С видом оскорбленной важной дамы она негодующе отшатнулась и ледяным тоном повторила:

— Я ведь уже тебе, кажется, сказала, что сейчас не время.

В эту минуту я слышу позади себя хохот Паолино и его голос:

— Джиджи, сейчас не время.

Короче говоря, они надо мной насмехались; мрачный, не в силах уйти и оставить Иоле, которая вдруг решила также пострелять в цель, я притворился, что слежу за ее стрельбой. Она ни разу не попала. Американец с добродушным видом достал из кармана своей куртки пачку сигарет и предложил мне:

— Не угодно ли?

Я отказался, заявив:

— Я пришел сюда не курить, а поговорить с синьориной.

А он, водя из стороны в сторону указательным пальцем, шутливо ответил:

— Поговорить с синьориной? Но сейчас не время.

* * *

Между тем, Иоле надоело стрелять в медведя, и она перешла туда, где мишенью был целлулоидный шарик, подбрасываемый вверх струей воды. Они снова принялись стрелять; американец опять каждый раз попадал в цель, а я, расстроенный и взволнованный, уже совсем не в силах был владеть собой и вновь попробовал потянуть Иоле за рукав, бормоча вполголоса:

— Только два слова. Потом я уйду, и ты меня больше никогда не увидишь.

Но Иоле — казалось, теперь она говорит это нарочно — ответила мне, пожав плечами:

— Потом, потом. Ты видишь, сейчас не время.

Паолино поймал на лету эту фразу, как мяч, и заорал во всю глотку:

— Джиджи, сейчас не время!

Как раз в этот момент, трубя и свистя, нас окружила группа вовсю разошедшихся подростков из числа тех, что приходят на Пьяцца Навона шуметь и потешаться над прохожими. Услышав слова Паолино, они немедленно их подхватили; взявшись за руки, они повели вокруг нас хоровод, громко произнося эти слова на манер какого-то припева. Так эти бездельники плясали вокруг нас свою сарабанду и хором вопили: «Джиджи, сейчас не время!» Паолино, разумеется, хохотал до судорог и чуть ли не катался по земле, американец тоже смеялся, и даже Иоле, хотя и была зла, но не могла сдержать улыбки; только я один, серьезный, мрачный, скрестив на груди руки, неподвижно стоял, ожидая, когда кончится эта дурацкая потеха. Наконец, слава богу, эти мальчишки, не переставая орать: «Джиджи, сейчас не время!» — построились в колонну, встали в затылок и, положив руки на бока идущему впереди, ушли, сопровождаемые возмущенными возгласами гуляющих. Тогда американец посмотрел на часы и сказал:

— Сейчас время пойти что-нибудь перекусить. Идите и вы вместе с нами.

Я нехотя поплелся за ними в соседнюю тратторию.

Внизу все было занято: вокруг столиков, заставленных тарелками и полулитровыми графинами с вином, не оказалось ни одного свободного места; было так тесно, что яблоку негде упасть. Навстречу нам вышел хозяин и, видя наше замешательство, сказал:

— У меня есть еще маленький зал на втором этаже. Там устроили банкет трамвайщики, но вам ведь это, наверно, не помешает?

Паолино, который уже окончательно сорвался с цепи, ответил:

— Банкет в ночь Епифании? Но сейчас не время!

Трактирщик, метнув на него злобный взгляд, пошел вперед и, показывая дорогу, повел нас по лестнице на второй этаж.

Мы очутились в большой низкой комнате, наполненной, как всегда, дымом и кухонными запахами, шедшими снизу. До потолка можно было достать рукой: центр комнаты занимал большой стол, за которым сидели одни мужчины — дюжие дяди средних лет. Это были трамвайщики, устроившие здесь свой банкет. С первого взгляда было ясно, что они все здорово выпили: на столе стояло бесчисленное количество литровых и полулитровых графинов и оплетенных соломой больших бутылок с вином. Трактирщик накрыл нам столик в уголке, и мы заказали ему ужин — все тяжелые, настоящие римские блюда: лапшу с соусом, бычьи хвосты по-деревенски, молодого барашка, фаршированный свиной окорок. Вернее сказать, не мы, а они заказали, потому что у меня от волнения даже самая мысль о еде вызывала тошноту, и я сказал:

— Принесите бульон с зеленью.

Паолино сразу же, корчась от смеха, завопил:

— Бульон с зеленью в ночь Епифании? Но, Джиджи, сейчас не время!

В общем, они опять начали все сначала.

* * *

Нет ничего хуже какой-нибудь засевшей как гвоздь в мозгу идиотской фразы. Эту фразу: «Джиджи, сейчас не время!» — теперь повторяли каждую минуту: американец, не понимая в чем дело, произносил ее с чисто американским простодушием и чуть ли не с нежной заботливо-

стью; Паолино — лукаво и задыхаясь от смеха; Иоле — раздраженно, словно хотела сказать: «Как, ты еще существуешь на свете, сидишь здесь, с нами? Но, Джиджи, сейчас не время!» И протестовать было бесполезно, потому что эта фраза служила им ответом на все мои возражения. Я, например, говорил им:

— Прекратите, иначе, честное слово, дело кончится тем, что я вас поколочу.

А они:

— Поколотишь? Но, Джиджи, сейчас не время!

Или же, когда я совершенно спокойно начинал:

— Знаете, кто вы?

А они, прерывая меня:

— Ах, не говори этого, Джиджи, сейчас не время!

Я просто не мог больше вынести, окончательно выходил из себя. Пробовал сидеть, не раскрывая рта, но и это не помогало, потому что тогда они начинали меня дразнить:

— Почему ты такой грустный и молчаливый? Но, Джиджи, сейчас не время!

Принесли ужин, и они принялись за еду, а я почти ни к чему не притронулся — мне, как я уже говорил, не хотелось есть. Они же потешались надо мной, повторяя:

— Джиджи, ты решил поститься? Но сейчас не время!

Между тем, банкет за соседним столом подходил к концу. И вот встает со своего места один из трамвайщиков, огромный мужчина с красным лицом и черными усами, и поднимает стакан. Сразу же все сидевшие за столом начали кричать: «Тише! Тише!» Мы также замолчали и стали смотреть на них, ожидая, что будет. В одной руке у этого детины был стакан, в другой он держал листок бумаги. Путаясь и заикаясь — он выпил вина столько, что язык у него заплетался,— трамвайщик произнес:

— А теперь, дорогие, милые друзья, прошу минуту тишины, я хотел бы прочесть вам одно свое скромное, но искреннее стихотворение по случаю нашего банкета...

И тут у Паолино, который слушал его с лицом, побагровевшим от еле сдерживаемого смеха, уж не знаю как вырвалось:

— Стихотворение? Но сейчас не время!

Поэт, уже поднесший было к глазам свой листок, тотчас же обернулся и прошипел как змея:

— И это ты говоришь нам?

Сейчас было как раз самое время — употребляя опять эту проклятую фразу! — промолчать и сдержаться, потому что их было двадцать человек, а нас только четверо, и они были все под мухой, да к тому же еще недостаточно соображали и вряд ли могли понять эту шутку. К сожалению, однако, американец тоже уже давно был пьян. Поэтому он поспешил поддержать Паолино и закричал как одержимый:

— Конечно, мы это вам говорим: сейчас не время!

Все, что затем произошло, вы легко можете себе представить сами. Поэт, а с ним четверо других, самых здоровенных и самых пьяных трамвайщиков, с угрожающим видом подошли к нам, крича: «А вы кто такие? Чего вам здесь надо?» Потом я увидел, как Паолино вместе со стулом полетел на пол от мощного удара в грудь, которым его наградил поэт; четверо других напали на американца и на меня, хотя я был совсем ни при чем. В это время остальные, сидя за столом, свирепо вопили: «Мерзавцы, что здесь надо этим соплякам? Спустите их с лестницы!» — а испуганная Иоле кричала: «Помогите, они убьют друг друга, помогите!»

Снизу прибежали официанты, трактирщик, несколько посетителей и бросились в свалку, стараясь нас разнять. Теперь уже все трамвайщики

вскочили со своих мест и вопили: «Сопляки, мерзавцы!»; у поэта был в кровь разбит нос; американец рассвирепел и не глядя наносил удары направо и налево; я пытался вырваться из рук двух державших меня трамвайщиков, которые время от времени стукали меня по голове; а этот несчастный — я говорю о Паолино — спрятавшись под столом, продолжал оттуда выкрикивать: «Сейчас не время!»

Короче говоря, дело кончилось тем, что всех нас четверых, избитых и обруганных, выбросили из траттории. Когда мы, изрядно помятые, вновь очутились среди шума и толчеи, царившей на Пьяцца Навона, Иоле повисла на руке американца, который сразу же зашагал в сторону Пьяцца Дзанарделли. Там их ждала длинная, окрашенная наполовину в красный, наполовину в желтый цвет машина, и они собирались уже в нее сесть. Тогда с решимостью, которую придает отчаяние, я схватил Иоле за руку, говоря:

— Послушай, теперь хватит, хочешь или нет, но ты должна меня выслушать.

На этот раз она постаралась быть серьезной:

— Но, Джиджи, ты должен понять, это просто невозможно, сейчас не... — она немного поколебалась, а потом с недовольной гримасой закончила: — ...сейчас не время!

Американец уже сел в машину и включил мотор. Села также и Иоле; американец обернулся и, водя взад и вперед указательным пальцем, шутливо произнес:

— Джиджи, сейчас не время!

Потом машина умчалась как ракета, оставив нас двоих — Паолино и меня — посреди пустынной площади.

Взбешенный, я обернулся к Паолино и, ничего не говоря, схватил его за лацканы пиджака. Он повторял:

— Сейчас не время, Джиджи, сейчас не время...— и пытался вырваться.

Нас еле розняли несколько прохожих и двое прибежавших полицейских. И знаете, что сказал один из полицейских?

— Разве вам не кажется, что сейчас не время для драки? В ночь Епифании? Стыдитесь, ребята, а теперь марш по домам!

Таким образом, даже этот полицейский, сам не сознавая того, насмехался надо мной.

Но когда же будет в конце концов время?

СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК

Огородником был мой дед, огородником был мой отец, и только я первый нарушил эту семейную традицию. Повинен в этом Рим— он растет на глазах и каждый год пожирает кусок окружающей деревни для своих новых домов и широких улиц. Наш огород лет тридцать-сорок назад находился среди зарослей камыша на берегу Тибра. Потом Рим опять шагнул дальше, и перед огородом вырос ряд

домов; слева от огорода пристроилась траттория «У парома» с садом и видом на Тибр, хозяина ее звали Де Сантис, а справа появился гараж, принадлежащий соседу, с заправочной колонкой и светящейся неоновой вывеской. Однако мой отец, который был сильно привязан к земле, продолжал работать на огороде, отправляясь туда каждое утро на велосипеде, а я через некоторое время открыл на Виале Остиензе маленький магазинчик, где торговал всем, что может понадобиться автомобилистам. Но отец умер, а я, сделав попытку сдать огород в аренду и не найдя никого, кому он был бы нужен, позабыл о нем и думать: у меня хватало забот и без салата-латука и кочанной капусты. Так огород был заброшен, зарос сорной травой и стал служить свалкой для мусора — его тащили сюда чуть ли не со всего квартала. И превратился мой огород в земельный участок, годный для застройки, сплошь покрытый дикорастущим кустарником и усеянный кучами мусора.

С Плачидо, владельцем гаража, мы были друзьями, более того, можно сказать, почти братьями. В двадцать лет мы с ним были очень похожи — оба худые, беспокойные, непоседливые, с блестящими глазами, хохолком на лбу, яростные спортсмены, не дураки выпить. Я, можно сказать, остался почти таким, как и был, но Плачидо переменился; с каждым годом он становился все положительнее и солиднее и в конце концов стал совсем неузнаваемым. Его не только звали Плачидо, он и стал плачидо*. Изменили его деньги — те, что приносил ему его гараж, и те, что он зарабатывал, занимаясь посредничеством и перепродажей автомобилей. Изменился и его характер, но я этого не замечал, потому что увидеть перемены во внешнем облике человека очень легко — достаточно лишь поглядеть на него, а вот увидеть, как изменился внутренний облик человека, можно только тогда, когда сам он обнаруживает это в своих поступках. Я продолжал считать его своим лучшим другом, да так оно и было на самом деле, потому что я был заинтересован лишь в общении с ним, а это ему не стоило денег. Его же, как мне пришлось вскоре убедиться, теперь беспокоило только то, что стоит денег, и дорожил он только тем, на чем можно заработать.

* * *

У Плачидо разгорелись глаза при виде моего годного под застройку земельного участка, и в один прекрасный день он предложил мне следующее: я предоставлю свой участок, а он оплатит строительные материалы и работу, и мы совместно построим второй, такой же большой, как у него, гараж и будем его вместе эксплуатировать. Итак, мы с ним должны были создать акционерное общество, а в случае если у нашего общества дела пойдут плохо, Плачидо приобретет мою долю, оплатив мне стоимость земельного участка. Я тогда находился в затруднительном положении, не столько потому, что моя торговля шла не слишком хорошо, сколько потому, что собирался жениться, а женившись, мне надо было нанять более просторную квартиру. Жениться я собирался на девушке из своего квартала, дочери Де Сантиса — хозяина траттории «У парома» — Консолине, с которой, так же как и с Плачидо, я вместе вырос; все трое мы когда-то играли в прятки в густых зарослях на берегу Тибра. Консолина была что называется красивой девушкой — может быть, немного мала ростом, но ладно скроена, кровь с молоком; у нее было круглое маленькое личико, крутая шея и черная коса вокруг головы. Работала Консолина у отца за повара, и у нее были, как говорится, золотые руки. Я влюбился в нее, помню, однажды летом, когда закусывал с друзьями в саду траттории, под увитым зеленью навесом. Сидя на

* Плачидо — тихий, спокойный *(итал.)*.

стуле, я то и дело откидывался назад, и мне таким образом удавалось видеть Консолину, стоявшую на кухне перед плитой, в широком и длинном переднике, доходившем ей чуть ли не до пят. Своей обнаженной полной рукой она крепко держала над огнем угольного казанка то сковороду с жарким-ассорти, то вертел с надетой на него курицей. Нужно сказать, что Консолина, заметив мои взгляды, также принялась то и дело поглядывать на меня, в результате и жаркое, и курица изрядно подгорали, а ее отец начинал орать на нее, и их обоих окутывало облако густого дыма. Короче говоря, мы обручились, но отец Консолины смотрел на нашу женитьбу довольно косо, потому что Консолина была для него сокровищем — он знал, что ему нелегко будет найти другую такую хорошую повариху; к тому же Консолина была его единственной дочерью, и он был к ней очень привязан.

Скажем, в понедельник я подписал договор, который пожелал составить этот педант Плачидо, твердивший: «Никогда ничего нельзя знать наперед, мы с тобой друзья, но все же лучше заключить договор»,— а в среду отец Консолины, после очередного разговора о предстоящей свадьбе, сделал мне, в свою очередь, следующее предложение: я предоставлю свой земельный участок, а он за свой счет построит на нем домик для меня и Консолины и, кроме того, расширит садик своей траттории. Консолина же за это по-прежнему будет работать поварихой. А впоследствии, когда он состарится, я займу его место, и, таким образом, все останется в наследство мне и моим детям.

Это предложение мне понравилось — простое, выгодное, сделанное от чистого сердца, однако я не сразу согласился, сказав, что есть одно затруднение — договор, который я заключил с Плачидо. Отец Консолины спросил меня, начали ли мы уже строить, и, узнав, что еще ничего не сделано, воскликнул: «Ну, раз так, то пойди к Плачидо и попроси его расторгнуть договор. Черт возьми, ведь вы с ним друзья, а кроме того, он же ничего не теряет!» Я тоже так считал, и мои возражения касались не столько существа дела, сколько формы; Плачидо, как я полагал, не сможет отказать мне в такой просьбе.

* * *

Итак, я отправился к Плачидо. Когда я пришел, он, одетый в синий комбинезон, мыл машину. Увидев меня, он приветливо улыбнулся и закричал:

— Ну как, Серафино, скоро мы будем есть свадебные конфеты?*

Я ответил:

— Скоро, но, впрочем, все зависит от тебя.

Плачидо с изумлением взглянул на меня:

— То есть как? Почему это?

Вместо ответа я сказал, что мне надо с ним поговорить, и тогда он отложил шланг и, всем своим видом выражая дружеское участие, повел меня в маленькую комнатку за стеклянной перегородкой, где стоял письменный стол и два стула. Мы сели, и он спросил:

— Ну, так чем же я могу быть тебе полезен?

Я рассказал ему, в чем дело, и закончил так:

— Мне очень жаль, ты можешь подумать, что я не держу своего слова, но ведь, помимо всего, ты не чужой мне, а друг мой, и можешь понять, почему я обращаюсь к тебе с просьбой. Речь идет, как ты сам видишь, не о какой-то сделке, а о моем счастье.

---

* В Италии существует обычай извещать друзей о свадьбе, посылая им особый сорт конфет.

По мере того как я говорил, выражение его лица менялось: теперь на этом лице я видел не дружеское участие, а напряженное внимание, и в то же время оно сделалось каким-то далеким, словно я, все более уменьшаясь, уходил от него дальше и дальше, пока не стал совсем крохотным, как если бы он смотрел на меня в бинокль с обратной стороны. Он вертел в руках карандаш и, когда я кончил, медленно произнес:

— Короче говоря, ты хочешь, чтобы я аннулировал подписанный тобой позавчера договор?

— Ну да.

— Что ж, это можно сделать, — процедил он сквозь зубы, словно разговаривая сам с собой,— это можно сделать, дай-ка мне немного подумать.

Он быстро набросал карандашом на листке бумаги несколько цифр, потом откинулся назад и, полузакрыв глаза, поглядел на цифры издали, словно рассматривая картину, а затем произнес:

— Хорошо. Это можно сделать. Я тебе верну договор, а ты мне дашь пятьдесят тысяч лир.

Я открыл от удивления рот:

— Пятьдесят тысяч лир? За что? Ты ведь не истратил ни копейки, ты только подписал и...

А он в ответ:

— Вот именно, мы заключили договор на постройку гаража, ты предоставлял земельный участок, а я брал на свой счет строительство. Теперь гараж не будет построен, и я должен отказаться от определенного заработка, на который рассчитывал. Пятьдесят тысяч лир — это и есть компенсация за неполученную прибыль.

— Неполученную... что?..

— Неполученную прибыль. Если бы я захотел точно придерживаться условий договора, то сумма, несомненно, была бы больше. Но поскольку ты мой друг, я и отношусь к тебе по-дружески.

Я повторил:

— Неполученная прибыль. Так это называется?

— Да, так.

Я не мог больше сдерживаться и крикнул:

— Так вот что означает твоя дружба, Плачидо? Компенсацию за неполученную прибыль!

Но он решительно отрезал:

— Не будем путать разные вещи: дела — это одно, а чувства — другое. Никто не отрицает, что мы друзья, но договор есть договор.

Я все еще не чувствовал себя достаточно убежденным.

— Прибыль, но что вообще означает это слово?

— Как, разве ты не знаешь? Оно означает доход, заработок.

Трудно сказать почему, но слово «прибыль», которого я раньше никогда не слыхал, мне очень не понравилось. Это было одно из тех книжных слов, при помощи которых разные жулики пытаются сойти за приличных людей, это было слово-ширма.

Я сказал:

— Ну какой же это заработок, назовем это лучше — ростовщичество.

Но он ответил педантично и невозмутимо:

— Нет, компенсация за неполученную прибыль — это одно, а ростовщичество — совсем другое. Если бы я просил у тебя пятьдесят тысяч, как проценты за одолженные тебе деньги, тогда это было бы действительно ростовщичеством. А я прошу у тебя пятьдесят тысяч лир за то, что отказываюсь от дохода, который рассчитывал получить,— это и есть компен-

сация за неполученную прибыль. Ах, Серафино, каждое слово имеет свое значение, и нельзя вместо одного слова употреблять другое.

В довершение всего он еще читал мне лекцию о значении слов! Я понял, что делать мне здесь больше нечего, и поднялся, говоря:

— Молодец, Плачидо, ты был прав, когда заставил меня подписать договор. Ладно, я уплачу тебе пятьдесят тысяч лир, а ты отдашь мне договор. Не так ли?

— Совершенно правильно.

Странное дело, едва мы вышли из его клетушки, как он, опять став любезным и приветливым, спросил меня:

— Когда же свадьба? Теперь ведь все в порядке, и нет никаких препятствий.

Я был так поражен, что неожиданно для самого себя ответил:

— Свадьба в будущем месяце, пятнадцатого числа.

А он, похлопав меня по плечу, произнес:

— Поздравляю, Серафино, поздравляю!

* * *

Ну ладно, пошел я к своему будущему тестю и рассказал ему про компенсацию за неполученную прибыль. Он, как делец, не видел никаких оснований для возражений с моей стороны и, более того, чуть ли не одобрял поведение Плачидо: конечно, он мой друг, все это так, но, когда речь идет о деле, дружба ни при чем. Что же касается Консолины, то она, наоборот, обнаружила страшную неприязнь к Плачидо, о чем я даже и не подозревал: воспользовавшись случаем, она высказала, не стесняясь в выражениях, все, что думала о нем и о друзьях вообще,— все женщины ревнуют своих мужей к приятелям и, выйдя замуж, первым делом стараются создать вокруг мужа пустыню. Я выслушал ее, склонив голову, а потом, как только она замолчала — скорее чтобы перевести дух, а не потому, что у нее иссякли доводы,— постарался возвратиться к главному вопросу: обязан ли я платить компенсацию за неполученную прибыль? Мой будущий тесть продолжал оставаться безучастным — для него пятьдесят тысяч как бы то ни было оставались пятьюдесятью тысячами. Но Консолина стремительно вскочила, бросилась в свою комнату, выхватила из комода сберегательную книжку и, бросив ее мне в лицо, закричала: «Вот вам, жалкие скряги, пятьдесят тысяч лир, их заплачу я из собственных сбережений, все вы друг друга стоите!» На сей раз мой будущий тесть, увидев пылающие щеки и разгневанное лицо своей любимой дочери, сам растрогался и сказал, что деньги для уплаты неполученной прибыли даст он сам, а я при случае когда-нибудь ему их возвращу.

Итак, я опять отправился к Плачидо; он принял меня в высшей степени любезно и, пригласив сесть, начал рыться в толстой папке, отыскивая там наш договор. Сесть я отказался и ждал стоя, намереваясь швырнуть эти пятьдесят тысяч лир прямо ему в лицо. Однако, когда наступил подходящий момент, я был обезоружен его педантизмом. Плачидо развернул договор, перечел его и сделал приписку, в которой удостоверял, что я ему больше ничего не должен, поскольку внес компенсацию за неполученную прибыль, а затем подписал и передал перо мне, чтобы подписал и я. Я поставил свою подпись, а затем вяло, потихоньку протянул ему пятьдесят тысяч лир пятитысячными бумажками. Он все так же тщательно пересчитал деньги и поднял улыбающееся лицо, произнеся: «Ровно пятьдесят тысяч, все правильно»,— а затем сложил договор вчетверо и подал мне. Мы вышли вместе, и он, как и в прошлый раз, нежно обнял меня за плечи и спросил о дне свадьбы. Я сделал легкое движе-

ние, стараясь сбросить его руку со своего плеча, но он этого даже не заметил. Затем он, как обычно, пожелал мне счастья, и мы расстались.

Короче говоря, мы с Консолиной поженились, и при этом, к счастью, поженились в Нарни — городке, откуда родом Де Сантисы, благодаря чему смогли не приглашать на свадьбу Плачидо. Не то чтобы я на него действительно был зол, как Консолина, — дело обстояло еще хуже: у меня внутри словно лопнула какая-то пружина, и искреннее, сердечное отношение к нему начисто исчезло. Стоило мне его увидеть, как со мной происходило то же, что случается, когда хочешь открыть дверцу машины и нажимаешь на ручку, а она не открывается, потому что лопнула пружина: у меня больше не открывалось сердце и даже рот не раскрывался. Я стоял перед ним, будучи не в силах произнести ни одного слова, не зная куда девать глаза, более смущенный, чем если бы у него на лице вскочил огромный прыщ и я бы это увидел, но не хотел показать ему, что вижу.

А он ничего не понимал. Об этом свидетельствует хотя бы то, что едва только мы после свадьбы вернулись в Рим, он, как ни в чем не бывало, начал по-прежнему приходить в сад траттории. Время было летнее, и за столиками, уставленными полулитровыми графинами с вином, кто-нибудь всегда играл в карты. Чего только я ни делал, чтобы за картами не оказываться партнером Плачидо: он был сильнее меня, я даже не мог взглянуть ему в лицо; я сгорал от стыда, будто шутку с компенсацией за неполученную прибыль сыграл я с ним, а не он со мной. Я дошел до того, что совсем перестал играть и бродил между столиками, заглядывая в карты то к одному, то к другому игроку. В конце концов он все-таки это заметил. Однажды вечером, когда он сидел за столиком один, а я проходил мимо, он остановил меня и искренне, дружески сказал:

— Ты, Серафино, с некоторого времени совсем переменился. Мне кажется, ты на меня обижен, и я даже знаю, за что.

Я ответил растерянно и слегка раздраженно:

— Если ты знаешь, тогда скажи мне, и мы увидим, прав ли ты.

Тут он говорит:

— За то, что я не сделал тебе свадебного подарка. Но вы отпраздновали свадьбу потихоньку и даже меня не пригласили. Сознайся, поэтому ты на меня дуешься?

Тогда я, не в силах больше сдерживаться, ответил:

— О чем ты в самом деле говоришь, ведь ты же сделал мне подарок. Разве ты не помнишь?

— Я тебе сделал подарок?

— Ну да, разве ты позабыл? Компенсацию за неполученную прибыль.

ЕСТЕСТВЕННО

В три часа пополудни на Виа Лунгара пустынно — не видно даже родственников тех, кто сидит в тюрьме Реджина Чёли. Весной в это время дня улица очень красива — по одну сторону, насколько хватает глаз, выстроились в ровный ряд дома, по другую из-за каменных оград вздымаются кроны деревьев, а солнце на тротуарах светит так ласково и ясно, что хочется закрыть глаза и идти зажмурясь. И вот однажды, около трех часов пополудни, проходя по залитой солнцем Виа Лунгара, я обратил внимание на шедшую впереди меня пару. Он, по-видимому, не был хорош собой, во всяком случае, если судить, глядя на него со спины: лоснящаяся от бриллиантина черноволосая головка, коротенькое полупальто с откинутым капюшоном, пара худеньких кривых ножек, обтянутых узкими брючками. И почему это мужчины с кривыми ногами всегда производят такое жалкое впечатление? Кто знает... Как бы то ни было, эти кривые ножки я видел впервые, а вот спина женщины была мне знакома.

Представьте себе античную женскую статую, нагую, с бедрами из мрамора, плечами из мрамора, ногами из мрамора; потом наденьте на эту статую черное платьице, но наденьте его небрежно, не одернув подол, чтобы оно прикрывало эти пышные, округлые мраморные формы кое-как, и вы получите представление о ее фигуре.

Голова у нее тоже была, как у статуи, но статуи гораздо меньших размеров, чем та, которой принадлежало тело. Словом, это была голова девочки-подростка, приставленная к торсу вполне созревшей женщины. Подобное несоответствие я уже видел как-то раньше, и вдруг узнал эту женщину: да ведь это Пупа — «ребеночек», «детка», прозванная так потому, что хотя она и выглядела даже старше своих восемнадцати лет, по уму ей можно было дать от силы годика четыре. Она была из Риети, в Рим приехала совсем недавно и работала где-то машинисткой; у нее не было ни жениха, ни возлюбленного, и вообще она считалась серьезной девушкой. Я на нее давно как-то обратил внимание, и меня с ней даже познакомили, но знакомства с нею я не продолжил: мне нравятся женщины с лукавинкой, даже, пожалуй, немного кокетки, а Пупа была простовата, что называется, ни рыба ни мясо.

* * *

Всем известно, как это обычно случается. Ты видишь женщину изо дня в день, и она ничего не говорит твоему сердцу; потом ты неожиданно где-нибудь встречаешь ее и, кто знает почему, в нее влюбляешься. Так случилось и тогда на Виа Лунгара. Я подумал: «Нет, поглядите-ка, она ведь в самом деле красива, очень красива», — и вдруг почувствовал, что готов кусать себе локти от досады, как я этого не заметил раньше, тем более, что парочка — насколько я мог судить — находилась в близких отношениях и место уже — увы! — было занято. Но вдруг произошло нечто такое, на что я даже не мог надеяться: парень одной рукой схватил Пупу за плечо, а другую занес словно для удара. Пупа отшатнулась от него, увидела меня и сразу закричала: «Синьор Паолино, синьор Паолино!»

Я не какой-нибудь отчаянный драчун, наоборот, характер у меня мирный, об этом можно судить даже по моей внешности — я невысокого роста и, к сожалению, несмотря на молодость, уже имею брюшко. Но брюшко это все же менее смешно, чем кривые ноги. Так или иначе, но крик о помощи, вырвавшийся из уст Пупы как раз в ту минуту, когда я обнаружил, что она красива, меня наэлектризовал. Я сразу же подбежал к ней: «Вы зовете, синьорина Пупа?» Теперь я оказался лицом к лицу с кривоногим парнем и увидел его разозленную длинную рожу с красным носом, свисающим прямо в рот. Пупа обратилась ко мне:

— Синьор Паолино, скажите этому типу, чтобы он меня оставил в покое. Он меня просто преследует. А теперь еще руки пустил в ход.

Убедившись в том, что мой соперник далеко не Геркулес, я крикнул ему, охваченный яростью:

— Чего тебе надо?

— Да я...

— Можно узнать, чего ты хочешь?

— По правде говоря, я...

— Убирайся, не то я за себя не ручаюсь!

— Ладно, ладно...

Он бросил на меня взгляд, значение которого я в тот момент не совсем понял, и ушел, стараясь держаться поближе к домам.

Теперь мы остались одни. Я чувствовал себя сильным и смелым, ибо это, пожалуй, был первый случай в моей жизни, когда я обратил кого-то в бегство. И я почувствовал себя еще более сильным и смелым после того, как Пупа, широко раскрыв большие черные глаза, сказала мне своим нежным детским голосом:

— Синьор Паолино, вы были великолепны. Если бы не вы, просто не знаю, что бы я делала.

В общем, мы, болтая, пошли вместе по направлению к Порта Сеттимиана; потом я предложил зайти в кафе, и она согласилась. Заметьте, что все это происходило самым естественным образом, без всякого заранее обдуманного намерения: встреча, крики Пупы, крупный разговор, предложение зайти в кафе — все произошло как будто совершенно случайно. В кафе в тот час было совсем пусто; у самого входа, греясь на солнышке, умывалась кошка; тихонько играло радио. Звонким голосом я заказал две чашечки кофе покрепче, а затем, все так же совершенно естественно, пригласил ее в кино. Она сделала огорченное лицо:

— Ах, как жаль... Но мне надо идти домой, я жду междугородного вызова — должна звонить из Риети моя мать.

Я растерянно пробормотал, что мы могли бы увидеться на следующий день. Но она заявила самым естественным тоном:

— Знаете, что мы можем сделать? Вы зайдете ко мне и составите компанию, пока я буду ждать телефонного звонка.

* * *

«Итак,— снова подумал я, идя рядом с ней в направлении церкви Сан-Козимато,— все продолжает оставаться вполне естественным: ей приятно мое общество, не хочется расставаться со мной, она приглашает меня зайти к ней». Поднимаясь по лестнице, я схватил ее руку и поднес к губам — что могло быть в конце концов естественнее?

— Ах, синьор Паолино, вы так предприимчивы, я вовсе этого не знала, — прошептала она, но руки не отняла.

Так, рука в руке, мы поднялись на четвертый этаж, она чуть впереди, я несколько позади, потому что лестница была узкая. Дойдя до четвертой площадки, Пупа позвонила, и вот в дверях показалась, с еще более естественным видом, чем у Пупы, квартирная хозяйка — пожилая женщина в черном; лицо ее было усеяно волосатыми родинками, а на груди болтался медальон с выцветшей фотографией какого-то дорогого для нее покойника.

— Синьорина, вы же знаете, что приводить домой мужчин не полагается!

— Но ведь это мой двоюродный брат. Мы с ним посидим в передней, совсем недолго, только дождемся телефонного звонка из Риети.

— Ну ладно уж, проходите.

И вот мы сидим в передней, я — на деревянном сундуке, она — в плетеном креслице. Передняя была пуста и погружена в полумрак; в нее выходили две плотно прикрытые двери, а в глубь квартиры вел коридор. Некоторое время мы сидели молча, глядя друг на друга. Я ей улыбнулся, она мне тоже. Я набрался смелости и вновь взял ее за руку. Она и на этот раз не отняла руки и только вздохнула. Я спросил:

— Отчего вы вздыхаете?

Она ответила:

— Синьор Паолино, мне бы тоже хотелось не думать ни о чем, кроме любви. Но разве можно думать о любви, когда у тебя столько забот?

Тон, которым она произнесла эту фразу, я не мог бы назвать иначе как естественным. Да, в своей прелестной наивности простой и искренней девушки Пупа была совершенно естественна. Я ей нравился, она от меня этого не скрывала, однако у нее на душе, к сожалению, было нечто такое, что мешало ей выслушать меня. Я шепотом просил ее сказать, в чем дело; но на этот раз она заставила себя упрашивать. Она сидела, опустив голову на грудь, и, как я ни пытался, взяв ее за подбородок, заставить говорить, она упрямо отвечала, что все это никак не может меня интересовать. Наконец она решилась и все так же естественно, тоном огорченной и немного упрямой девочки, сказала:

— Хозяйка сегодня устроила мне страшную сцену из-за того, что я вовремя не уплатила за комнату. И знаете, о чем я сейчас намерена говорить с моей матерью? Хочу сообщить ей обо всем. Завтра же я уезжаю из Рима и возвращаюсь в Риети.

— Но я не хочу, чтобы вы покидали Рим, — воскликнул я как нельзя более галантно.

А она, польщенная, исполненная благодарности, сказала с легким оттенком недоверия:

— Неужели, синьор Паолино, вы действительно не хотите, чтобы я покинула Рим?

Здесь уместно сообщить, что хоть я и не богат — у меня маленькая переплетная мастерская,— но всегда ношу с собой пять-десять тысяч лир, которые могут понадобиться во многих случаях жизни. В моей руке покоилась ее рука, доверчивая, слабая, нуждающаяся в защите. И я произнес:

— Послушайте, Пупа, я не богат, но если дело идет о маленькой сумме, я мог бы вам ее одолжить.

* * *

Мне показалось, что Пупа вдруг плохо себя почувствовала, потому что она резко поднялась и, не сказав ни слова, исчезла в коридоре. В за-

мешательстве спрашивал я себя, не обидел ли я ее, предложив деньги, и продолжал ждать, по-прежнему сидя на деревянном сундуке, который был для меня так высок, что мои ноги болтались в воздухе. Тем временем из глубины коридора послышались приглушенные голоса — там происходил, по-видимому, очень оживленный разговор: один из собеседников что-то быстро-быстро говорил, а другой так же быстро отвечал ему. Вся квартира, казалось, была наполнена этим шепотом. Но вот, наконец, снова появилась Пупа: исполненная достоинства, величественная, строгая, она уселась на довольно порядочном расстоянии от моего сундука. Я заметил это, но ничего не сказал. Она произнесла извиняющимся тоном:

— Мне очень жаль, синьор Паолино, но до сих пор с междугородной не звонят,— и я истолковал эти слова как молчаливый отказ от предложенных мной денег.

Но вдруг появилась квартирная хозяйка. Она выглянула из-за двери, выставив свой черный бюст с болтающимся медальоном. Не глядя на меня, она сказала Пупе:

— Синьорина, вот ваш счет. Прежде чем уйти, вы должны оплатить его. Я не могу больше ждать.

Рука хозяйки, державшая счет, повисла в воздухе. Тут я почувствовал, что, следуя логике естественного хода событий, которые, чередуясь, привели меня в эту прихожую, я должен был взять счет, вынуть деньги и оплатить его. Я должен был это сделать и сделал это. Счет был на сумму немногим больше десяти тысяч лир. Я достал из бумажника десятитысячную ассигнацию, обернул ее в счет и вложил в руку хозяйке, важно и высокомерно проговорив:

— Хорошо, хорошо, вот вам, а теперь уходите.

Пупа с благодарностью воскликнула:

— Ах, синьор Паолино, вы не должны были...

Квартирная хозяйка сухо сказала Пупе:

— Ну, раз так, остальное вы заплатите мне, когда вам будет удобно,— и исчезла.

Теперь я чувствовал себя как никогда смелым, кровь во мне играла, словно я вышел из-под сильного душа, — словом, я испытывал то, что испытывают все люди после того, как совершат какой-нибудь благородный поступок. С негодованием я произнес:

— Однако, что за ведьма эта ваша хозяйка!

Пупа поднялась и исчезла в коридоре.

* * *

И вот я снова один, снова покинут, и опять так же безмолвно, неожиданно, необъяснимо. Прошло, быть может, полчаса — за это время до меня несколько раз доносились из глубины коридора приглушенные звуки разговора, который быстрым шепотом вели между собой два человека; затем прошло еще полчаса в абсолютной тишине, точно в квартире остался один я. Все мое тело ныло, как от пытки, я не мог больше высидеть на этом высоком и твердом сундуке, слез с него и начал прохаживаться взад и вперед. Затем, словно меня толкала на это сама естественность обстановки, я рискнул, идя на цыпочках, углубиться в коридор. Из-за какой-то неплотно прикрытой двери в коридор проникало немного света; я осторожно приоткрыл ее и заглянул внутрь комнаты. Это была типичная меблированная комната — бедная, с голыми стенами, с обычной в такого рода помещениях старой мебелью, совершенной рухлядью. На окне не было никаких занавесок, сквозь него лился печальный и спокой-

ный свет. А на железной кровати я увидел Пупу, она лежала на спине и читала какой-то иллюстрированный журнал. Читала так, как обычно читают малограмотные — впрочем, она и была малограмотная, — сосредоточенно, хмуря брови, наверно, чуть ли не по складам разбирая каждое слово. Сказать по правде, в первую минуту я остолбенел от удивления: я сижу и жду в передней, а она в это время преспокойно развлекается «комиксами»! Наконец я опять обрел дар слова:

— Но как же это так, я сижу в передней, жду вас, а вы...

Она вскочила и поспешно сказала:

— Ради бога, синьор Паолино, уходите, если нас увидит хозяйка, мне влетит.

— Но ваш междугородный телефонный разговор...

— Возвращайтесь в переднюю, я сию минуту приду.

Мне хотелось спросить ее: «Ты что, сошла с ума или это я рехнулся?» — но у меня не хватило решимости. Я вернулся в переднюю и снова принялся ждать. Сначала прошли те законные десять минут, против которых, естественно, никто не станет возражать, если он ждет женщину, потом прошло еще десять дополнительных, а затем еще десять, уже совершенно излишних, и за ними еще десять сверх всякой нормы. Меня бросало то в жар, то в холод; мне казалось, что я вырастаю из своего костюма, что у меня сами собой развязываются ботинки; я уже ничего больше не понимал. Но вот, наконец, опять появляется хмурая хозяйка:

— Кого вы ждете?

— Синьорину Пупу.

— Она ушла.

— Как ушла, разве она не ждет вызова междугородной?

— Она уже поговорила и ушла.

— Но где же она прошла, ведь я все время находился здесь?

— У нас есть черный ход, вероятно, она им и воспользовалась.

* * *

Я вышел из этого заколдованного дома совершенно обалделый, ничего не видя вокруг себя, как выходишь в Луна-парке из «комнаты ужасов», полной призраков, скелетов, страшных воплей и стонов. Все попрежнему оставалось вполне естественным, без всякого нажима, шло гладко, как по маслу, однако теперь я понимал, что все это не было очаровательным и естественным любовным приключением, а самым естественным надувательством. Буквально еле держась на ногах, я дотащился до Пьяцца Мастаи, вошел в бар и заказал кофе.

Вдруг я вижу, что на меня уставился какой-то тип, облокотившийся на стойку; я на него смотрю и узнаю в нем парня с кривыми ногами. Я ему смущенно говорю:

— Извините меня, если я недавно... Я должен был сразу понять...

— Что вы должны были понять?

— То, что у вас были вполне серьезные основания поколотить эту девицу.

— Как, разве вы тоже?..

Короче говоря, мы рассказали друг другу то, что с нами произошло, и все полностью совпадало: междугородный вызов по телефону, отсутствие денег, хозяйка со счетом в руках, ожидание, исчезновение. Единственное различие состояло в том, что он устроил засаду на улице и, когда Пупа наконец вышла из дому, набросился на нее с кулаками. В заключение нашей беседы он печально сказал мне:

— Я пытался предупредить вас, но вы мне не дали рта раскрыть.

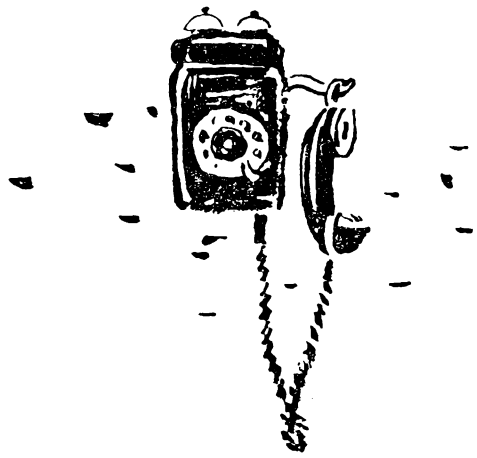
Конечно, вам хотелось покрасоваться перед Пупой. Но если бы вы меня выслушали, то сэкономили бы десять тысяч лир.

Я с негодованием возразил:

— Меня окликает девушка, взывает ко мне о помощи... Каждый поступил бы так на моем месте. Разве нет?

А он говорит с готовностью:

— Разумеется, это вполне естественно.



«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

Рис. П. Пинкисевича

Декстер Мастерс

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

РОМАН

Перевод с английского Н. Галь и Н. Треневой.

ЧАСТЬ V

ЧЕТВЕРГ, НОЧЬ: КОМНАТА С ОКНОМ В САД

1.

С того дня, как началась война, Тереза ни разу не была у Бисканти, хотя она тогда обещала скоро вернуться и думала сдержать слово. В сущности, она не раз хотела вернуться и нередко мечтала об этом или даже совсем уже готова была поехать, но так и не поехала. А потом появилось чувство неловкости от того, что она до сих пор не собралась, и тогда сделать это стало еще труднее. Так прошло почти семь лет.

И вот в четверг, теплым и душным майским вечером — едва ли не в тот самый час, когда Педерсон явился к Бийлу в бар отеля в Санта-Фе — Тереза пошла посмотреть, существует ли еще дом Бисканти, и жив ли еще сам Бисканти, и помнит ли он ее, и придется ли ему по душе то, что она задумала. Замысел этот, родившийся из чувств и воспоминаний, разбуженных ее письмом к Луису, был несложен: они с мужем пообедают у Бисканти и проведут в его доме вечер и ночь, как бывало не раз, когда они еще не были женаты. Это будет только через месяц, а то и позже, но сговориться можно заранее — и чем раньше, тем дольше она будет наслаждаться предвкушением, а кроме того, все, что связано с Луисом и что можно сделать не откладывая, само по себе волнует и требует внимания. Так думала она, когда незадолго до полудня сошла с чикагского поезда и проходила по вокзалу, где они провели те памятные часы мучительного ожидания в первый день войны.

Прямо с поезда она отправилась к себе, почти весь день никуда не выходила, и все же ее не оказалось дома, когда позвонили с телеграфа, чтобы прочитать телеграмму, только что полученную на ее имя из Санта-Фе. Она как раз забежала в маленькую мастерскую за углом и, разговаривая с хозяйкой, ждала, пока ей прогладят ее огненно-красную юбку: юбка вельветовая, самой ее гладить страшновато. Тереза не надевала ее с воскресного вечера, когда они были у Улановых; тогда она надела эту юбку потому, что так хотел Луис, а теперь наденет ее в честь сегодняшнего визита.

Тереза могла бы по телефону выяснить, есть ли смысл отправляться к Бисканти, но ей это и в голову не пришло. Быть может, Бисканти куда-нибудь переехал или даже просто не узнает ее — такова жизнь; и, однако, в глубине души она не сомневалась, что найдет Бисканти на старом месте и что он охотно ей поможет,— ведь любовь побеждает все.

Окончание. Начало см. в №№ 4 и 5.

Только об этом и были ее мысли, когда она вышла из своего старого, недавно отремонтированного дома и шла по улице в огненно-красной юбке.

Дом Бисканти стоял на прежнем месте целый и невредимый.

Дети играли на ступеньках крыльца, как играли здесь другие дети семь лет тому назад.

Она позвонила, чего никогда не делала прежде. Бисканти удивится, он подойдет озадаченный к двери и...

— Да это моя маленькая леди! — воскликнул Бисканти.

В голосе его была радость, лицо сияло улыбкой, и он отталкивал непослушную дверь, мешавшую ему протянуть Терезе обе руки.

Три часа она просидела в садике за домом, пока Бисканти бегал взад и вперед, разговаривая с посетителями. Но едва улучив свободную минутку, он подсаживался к столику Терезы, и они все обсудили: без сомнения, это будет чудесный вечер, еще один в придачу ко многим чудесным вечерам, которые она провела в этом доме, и к тому чудесному, но и печальному, к тому удушливо жаркому последнему вечеру в канун войны...

— Нет, не семь лет назад,— сказала она.— Шесть и три четверти... почти точно — шесть и три четверти.

— Срок немалый,— заметил Бисканти.

— Зато на этот раз никто не будет в саду болтать о войне,— сказала Тереза.— И вам не придется никого выбрасывать на улицу.

Она с нежностью улыбнулась ему, и он смутился.

Сад Бисканти был не сад, а насмешка: под ногами асфальт, над головою тент, со всех сторон дощатый забор. Позади высился огромный доходный дом, с боков садик теснили щербатые и закопченные глухие стены. А все же между верхним краем забора и нижним краем тента был просвет в какой-нибудь фут шириной, и за ним стояла ночь, и в свете, падавшем из окна, виднелось какое-то деревцо. Жарким душным вечером в саду Бисканти могло показаться, что вы и впрямь на свежем воздухе. И в тот душный вечер в канун войны, за расставленными в строгом порядке столиками, человек шесть наслаждались этой иллюзией, обливаясь потом, заканчивали свой обед, вертели в руках стаканы и говорили о войне.

Почти все они были завсегдатаями ресторанчика Бисканти с первых дней его существования. А он открылся году, примерно, в тридцатом, и с тех пор в нем ничего не изменилось — те же обеды, те же вина, та же мебель (простая, спокойная и не новая с самого начала), да и посетители почти все те же. В Нью-Йорке десятки, а то и сотни таких уголков. После 1933 года некоторые из них закрылись, но многие, в том числе и ресторан Бисканти, уцелели и по-прежнему кормили своих посетителей, которых теперь приводил сюда не только голод, но и тоска по родине. Заведение Бисканти стояло на тихой улице, застроенной старыми домами из бурого песчаника, за квартал от Грэмерси-парка. С Третьей авеню доносился грохот поездов надземной дороги, звонили колокола шведской лютеранской церкви, стоявшей в полуквартале отсюда, детишки играли на тротуарах, кричали и шумели, пока их не отсылали спать. Но все это почти не нарушало покоя маленького садика, где в тот вечер посетители сидели и говорили о войне.

Высокий, стройный человек лет сорока трех, подняв стакан и прищурясь, залюбовался игрою света в вине. Он говорил через плечо толстяку, сидевшему с женщиной за соседним столиком:

— Вам следовало бы лучше знать историю, Джонни. Такие союзы заключаются постоянно. Это политический маневр, просто маневр, не более того. Так на это и смотрите.

Высокий поставил свой стакан на стол и повернулся к толстяку и его спутнице.

— Я знал, что этим кончится,— пожаловался толстяк.— Я ведь говорил, уже раза три говорил, я знал, что этим кончится. Все они одинаковы, черт подери, я уж знаю. И все же я поражен... просто тем, как это произошло... уж очень все неожиданно.

— Для русских нет ничего святого,— заметила женщина.

— А для кого есть? Для англичан? Для французов? Не смеши меня. Все они тут замешаны, у всех рыльце в пушку, вот подожди, увидишь. Верно, Гобб?

Высокий кивнул, но он уже снова погрузился в созерцание своего стакана. Толстяк еще некоторое время смотрел на него. Потом обернулся к женщине.

— Ты, Джонни, известный циник,— сказала она, прищелкнув языком.

Они продолжали разговаривать, толстяк отер платком лицо.

Всех в саду разморило от жары, и разговор не клеился, случайная фраза повисала в воздухе и оставалась без ответа. Но так как все здесь были знакомы друг с другом и тема всех занимала, порою вновь возникало некоторое оживление. Разговор то вспыхивал, то гас, становился общим и вновь замирал. И стороною, сама по себе, не заглушая голосов, из старого маленького радиоприемника струилась музыка — упрямый, никем не замечаемый ручеек; но время от времени она прерывалась, и тогда все смолкали и прислушивались к самому последнему сообщению, которое почти не отличалось от предыдущего. Дикторы изо всех сил старались дать понять, что у них в запасе есть новости поважнее, ибо к девяти часам вечера 31 августа 1939 года сообщения радио, всячески подогревавшие интерес слушателей, начали приедаться. Из того, что каждый видел и слышал, чувствовал в воздухе, в отзвуках грозы, долетающих через океаны и континенты, ясно было, что известия, куда более важные, уже и в самом деле получены и будут оглашены, как только придет разрешение свыше. А пока, в ожидании, только и оставалось, что предаваться невеселым размышлениям, взвешивать, рассчитывать, вздыхать и многозначительно качать головой.

Но вот музыка смолкает, и все оборачиваются к приемнику. Последние известия: возможно, Гитлер назначит заседание рейхстага на утро. На этот счет поступили сообщения, пока, впрочем, не подтвердившиеся.

— Все еще остается неясным, перейдет ли Гитлер в наступление, — заключает диктор.— В Польше обстановка крайне напряженная. Слушайте нас на той же волне через несколько минут. Мы сообщим вам последние известия...

Опять зазвучала музыка. Высокий покачал головой.

— Вопрос не в этом, совсем не в этом. Разве мы ждем, чтоб нам сказали, собирается ли Гитлер занять Польшу? Что мы, сами не знаем? Захочет, так займет, а по всему видно, что он этого хочет. Вопрос в том, намерен ли кто-нибудь хоть как-то этому помешать. А кому же вмешаться, как не Англии? Но кто может сказать наверняка, что она вмешается?

Высокий обвел взглядом присутствующих, но ясно было, что он еще не все сказал, и никто не стал прерывать его.

— Итак, Англия на днях подписала договор с Польшей. Хорошо, очень хорошо, прекрасно. Но сейчас неблагоприятное время для договоров. И потом, что такое договор? Стоят за словами действительные намерения, или это только политический маневр? Кто знает? Во всяком случае, вопрос в том, будет ли Англия драться, вот в чем вопрос.

— Не станет она драться,— сказал молодой человек, одиноко сидевший в углу сада, — да и никто другой не станет. А если кто и попытается

что-нибудь предпринять, ничего хорошего не выйдет. Войны не будет. А чем это плохо?

Этот молодой человек за весь вечер не произнес ни слова, притом он был новичком у Бисканти, его здесь никто не знал. И сейчас все взгляды обратились на него. Это был самый обыкновенный молодой человек, он сидел в кресле очень прямо, и когда замолчал, на его лице ничего нельзя было прочесть.

— Прошу прощенья,— вновь заговорил он минуту спустя.— Я не хотел прерывать вашу беседу. Мне показалось, что вы намерены сказать примерно то же самое.— Он смотрел на высокого.— Разве я ошибся?

— Ну, знаете ли, уж очень просто вы рассудили. На самом деле все куда сложнее...

— Да что ж тут сложного? Либо война будет, либо нет. Весь вопрос, как вы сами сказали, в том, ввяжется ли Англия в драку.

Тут высокий начал перебирать все «за» и «против», заговорил о факторе времени и других факторах. Бисканти остановился в дверях, что вели в сад из комнатки, составлявшей вторую половину его ресторана, и слушал. Бисканти и сам, как видно, не знал этого молодого человека, но под конец тоже вмешался в разговор.

— Вы, кажется, сказали, что если Англия не выступит против Германии, в этом нет ничего плохого. Что ж теперь, пускай Гитлер вытворяет что хочет? По-вашему, так и надо?

— Дело не в том, плохо это или хорошо,— возразил молодой человек. — Просто лучше избежать войны, чем воевать. Гитлер сделал Германию сильной. И бороться сейчас с Германией нелепо, потому что она слишком сильна, — он подчеркнул свои слова жестом. — А Англия слаба. Так же, как и Франция.

— Это мы уже слышали,— сказал Бисканти, не сводя глаз с молодого человека.— Год назад тоже так рассуждали. Но если рассуждать по-вашему, надо весь мир отдать Гитлеру. Вы этого хотите?

— Ну, знаете ли, оттого, что я так рассуждаю, Гитлер не завоюет весь мир. У каждого из нас есть свое мнение о надвигающихся событиях, не так ли? Я высказал свое мнение, только и всего. Если бы Англия была сильна, а Германия слаба, все мы, разумеется, думали бы иначе.

Бисканти и его собеседник находились в противоположных концах садика, и во время этого разговора присутствующие поворачивались то к одному, то к другому. Приемник, ютившийся на стойке между графином с водой и миской с маслом, продолжал гудеть. Бисканти энергично замотал головой.

— Нет, этим еще не все сказано. Не говоря уже о том, что вы, может быть, ошибаетесь по существу, это неправильно с точки зрения нравственной. Вот вы сейчас сказали, что перед силой надо склоняться всегда и на вечные времена. Когда он остановится, этот Гитлер? Или его уже не остановить? Я думаю, на это нужно время, какая бы ни была сила. Вы не согласны?

Все головы снова повернулись, все взгляды обратились на молодого человека. Он посмотрел вокруг, потом ответил:

— Во времена великой слабости — в такое время, как сейчас,— сила, может быть, и есть высшая добродетель.

Один из посетителей собрался уходить; он остановился в дверях, уплатил по счету и обменялся несколькими словами с Бисканти. Высокий, которого отделял от молодого человека один незанятый столик, все время сидел с отсутствующим видом; теперь он обернулся к молодому человеку и, ни словом не упоминая о предыдущем разговоре, снова принялся разъяснять, чем хорош и чем плох этот сложный исторический момент.

А потом разговоры оборвались, потому что музыка, звучавшая по

радио, которую все, если и не слушали, то ощущали, опять смолкла. Новое сообщение по-прежнему относилось к заседанию рейхстага, которое все еще не было назначено. Минута прошла в молчании. Потом разговор возобновился.

Из садика стеклянная дверь вела в ресторан — небольшую комнату, еще меньше, чем садик. Там стояли шесть или семь столиков, и на каждом несколько бутылочек: прованское масло, уксус, горчица. Все столики пустовали, кроме одного. Единственный занятый столик стоял у оконного проема, тоже выходившего в сад. За этим столиком сидели мужчина и женщина, они провели здесь уже часа полтора, а то и два — с тех пор, как в саду появился первый посетитель. Через незастекленное окно они могли слышать все, что происходило в саду. Но они почти все время негромко разговаривали или просто сидели молча, по-видимому всецело поглощенные друг другом.

Бисканти отошел от дверей и направился к этой парочке. Он был высокий, грузный, с крупной, массивной головой, его обвисшие щеки вздрагивали при каждом шаге. Но походка у него была легкая, казалось, он движется на цыпочках. Он шел немного наклонясь вперед, сложив руки на животе. В нескольких шагах от столика он остановился, склонил голову набок и спросил, улыбаясь:

— Ну, как вы себя чувствуете?

Мужчина за столиком улыбнулся в ответ:

— Как нельзя лучше. Кто этот ваш приятель? — прибавил он, кивком показывая в сад.

Улыбка исчезла с лица Бисканти, он медленно покачал головой.

— Вы слышали, что он говорил? Как вам это нравится? Представить себе не могу... Но я не знаю, кто он такой, не знаю, кто такой. Однако что позволите вам предложить? — Он уже снова улыбался.

Рука девушки лежала на краю стола, мужчина прикрывал ее ладонью. Теперь он отнял руку и слегка выпрямился.

— Знаете что,— сказал он: — Давайте-ка сюда три сабайона, и поужинаем на прощанье втроем — Тереза, вы и я. Ведь завтра...— он махнул рукой.

Девушка, которая все время не отрываясь смотрела ему в лицо, подняла глаза, поглядела на Бисканти и похлопала ладонью по стулу, стоявшему рядом. Она была очаровательна — вся подалась вперед, голова откинута, ладонь протянутой руки все еще раскрыта — и шаловливо, и просительно. А мужчина все смотрел на нее и вдруг снова положил руку на ее ладонь, и она слегка сжала ее, все так же оживленно глядя на Бисканти.

— Ну, пожалуйста, мистер Бисканти! Сегодня уж такой особенный случай. Садитесь с нами.

Мистер Бисканти, очень польщенный, все же колебался. Нет, право, ему никак нельзя. Ему придется поминутно вскакивать. Да и им приятнее побыть вдвоем. Но девушка настаивала.

Он медленно наклонил массивную голову.

— Что ж, ради такого случая... — он слегка поклонился, прижав руки к животу. — И притом в обществе такой прелестной леди... — он поклонился мужчине: — Да и наш добрый друг... нам будет сильно недоставать его, — лицо Бисканти омрачилось. — Очень грустно, что вы должны уехать, мистер Сакел, очень грустно. Мы так привыкли к вам за это время.

— *Доктор* Сакел, — укоризненно поправила девушка. — Вы уже забыли.

— Да, да! — воскликнул Бисканти.— Никак не запомню! Это очень хорошо для нашего друга, но очень печально для нас. Все время он был

просто мистер... сегодня он становится доктором, а завтра уезжает. — Бисканти внимательно посмотрел на девушку: — Вы будете скучать.

Луис Сакел хлопнул ладонью по столу. Вид у него был немного смущенный.

— В качестве новоиспеченного доктора физики, да еще почетного и отбывающего гостя, а главное — в качестве человека, который ждет... но ближе к делу, я вижу, мне следует высказаться определеннее... Мистер Бисканти, как насчет сабайонов и вашего приятного общества? Мы и не заметили, час уже поздний.

Бисканти, как он и предсказывал, приходилось поминутно вставать из-за стола, потому что посетители начали расходиться. А в промежутках шел тот разговор, что всегда ведется в час встреч и разлук, разговор, когда многое угадывается с полуслова, чрезмерно оживленный, с неожиданными переходами и минутами внезапного молчанья.

— Помните...— начинал Бисканти.

— Да, а потом...— перебивал его Луис и припоминал какую-нибудь подробность.

— А как вы думаете?..— заговаривала о будущем Тереза.

О войне они не говорили. Война заполняла минуты молчания, когда в окно вливался разговор из сада. Но сами они о ней не упоминали. О войне все уже было переговорено, все трое знали, что думает каждый.

— Кажется, это было только год назад,— сказала Тереза.

Бисканти вспомнил, как Луис впервые пришел к нему однажды вечером, измученный блужданьями по окрестным кварталáм в поисках свободной комнаты. Читая книгу, он чуть ли не три часа просидел в саду за обедом.

— Ну и толстенную же книгу он тогда читал,— вспоминал Бисканти.— Вот с этого и начинался доктор, а? Но тогда я этого не знал. Зато я выяснил, что молодой человек ищет комнату. Он сидел так долго, что все посетители разошлись, и наконец мы разговорились. Помните, мистер Сакел?

— А я вам не рассказывал,— продолжал Бисканти, который рассказывал это уже десятки раз,— что именно в тот день, в то самое утро я решил сдать каморку наверху? Я еще даже не успел вывесить объявление. Удивительное дело!

Больше года Тереза чуть ли не все время проводила в этой каморке, из окна которой видна была задняя стена огромного доходного дома и краешек Грэмерси-парка. Здесь она заботилась о Луисе Сакселе в болезни и в здоровье, как подобает жене. Она читала ему вслух, когда он лежал в постели с закрытыми глазами, вытянув ноги и запрокинув голову; а бывало и так, что лежала она — и Луис, сидя за маленьким столиком, читал ей вслух. Комнатка была крохотная, для того, чтобы жить здесь вдвоем, надо было быть идеальной парой. Когда она расчесывала волосы перед зеркалом, висевшим над письменным столом, Луис уже не мог пройти из ванной к гардеробу. Иной раз ему приходилось стоять и ждать, и она краешком глаза видела его в зеркале; или же он садился в ногах постели, которая тоже загораживала проход, рассеянно изучал узор ковра или шевелил пальцами ног — и машинально поднимался, когда она давала ему пройти. Ей приходилось уносить с собой щетку и гребень. Но в ванной оказывались еще мелочи. И с полдюжины всяких вещиц в ящике стола. Их хватало на небольшой сверток, она упаковывала все это и уносила утром к себе. Да, у нее был и свой дом тоже. Эта мысль заставила ее улыбнуться.

Все еще улыбаясь, она вспомнила, как неожиданно он порой засыпал. Она лежала с ним рядом, опершись головой на руку, и при смутном свете городских огней, проникавшем в единственное окно, изучала каждую черточку его худощавого лица, смягченного темнотой и сном; взглядом,

а иногда — чуть касаясь пальцами, она обводила мускулы его ног, выступающие под гладкой кожей. Чего бы она ни дала, чтобы снова вдохнуть запах этой кожи, ощутить рядом это упругое влажное тело... коснуться его... А эта его привычка рассеянно шевелить пальцами ног... Неужели это было так давно?

— Он-то, конечно, сказал, что ему просто хочется быть поближе к сабайонам,— говорил меж тем Бисканти.— Что ж, не спорю, довод веский.

— Вы меня покорили своей солидностью,— сказал Луис.

— И тем, что недорого спросили за комнату,— сказала Тереза, и все трое рассмеялись.

— Да уж я видел, что с него много не возьмешь. Он был такой... — И Бисканти стал рассказывать, как тогда выглядел Луис.

С сабайонами было покончено; болтовня в саду не смолкала; неумолчно гудело радио. Луис вдруг крепко прижался коленом к колену Терезы; в этом было какое-то отчаяние, и Тереза удивленно вскинула на него глаза. Но тотчас, опустив руку, коснулась его ноги и тихонько ее сжала. Бисканти поднялся. Но тут вошел новый посетитель и направился к их столику со словами:

— Что я слышу? Великое событие, а? Мистер Бисканти сообщил мне новость. Итак, вы уже доктор, и теперь уезжаете, покидаете нас... Добрый вечер, мисс!

Луис не мог вспомнить, как зовут этого человека.

— Вы уже встречались с мисс Сэвидж? — сказал он, и Тереза с улыбкой поздоровалась.— Подсаживайтесь к нам.

— Не могу,— ответил тот, неопределенно кивая в сторону кучки людей в прихожей.— Но все равно, очень вам благодарен. Стало быть, вы теперь доктор? А по какой части? Будете прописывать пилюли или резать руки и ноги? — Он улыбнулся Терезе и продолжал лукаво доверительным тоном: — Очень уж молод для таких дел, скажу я вам. Но будет отличным доктором по любой части. Согласны?

Тереза сказала, что согласна, а Луис начал объяснять, что он вовсе не такой доктор. Но собеседника это не очень интересовало, и Луис замялся и умолк, не кончив.

— Ну, все равно, лишь бы вы добились чего хотели. Это главное.— Он уже собрался было идти, но снова обернулся к ним: — Как вам нравится, что они устроили, эти русские? Как, по-вашему, будет теперь война?

Луис развел руками и кивнул в сторону садика, где еще оставалось человек пять-шесть.

— Вот они там все это решают,— сказал он.

— Еще бы! Ну, еще бы! Ха! А вот я пари держу, что мы не будем воевать. Видите ли, все забывают об одном...

Рука Терезы все еще лежала на бедре Луиса, и она почувствовала, как напряглись его мускулы, когда он наклонился к окну. Музыка, звучавшая по радио, опять смолкла, и смолкли разговоры.

— Все еще нет официального подтверждения сведений, сообщенных ранее по нашим радиостанциям, будто Гитлер назначил заседание рейхстага на завтра, в десять часов утра.

Она подумала о войне и о каморке наверху, о предстоящей ночи и о том, что будет после.

— ...Таким образом... (Он меня любит)... видимо, нет оснований... (Нет, не любит)... отказываться от данной ранее оценки возможных последствий этого заседания... (Любит)... если оно действительно состоится.

Рано или поздно, подумала она, музыка оборвется и голос диктора скажет то, что написано на всех лицах, что все знают и чувствуют.

— ...может начаться, по его мнению, и без формального объявления войны рейхстагом, всецело зависящим, разумеется, от воли Гитлера.

Голос ворвется к ним, в их комнатку, сокрушит эту их последнюю ночь, издеваясь над их любовью. Может быть, им так и не придется поговорить о том, о чем надо бы говорить... а надо сказать так много... И ничего у них не будет... и чувства так и не найдут выхода... Она закрыла глаза, вновь прислушалась к голосу диктора, и вдруг ощутила прилив злобы.

— ...слушайте нас на той же волне...

— Да-а,— протянул знакомый Луиса, все еще не отходя от их столика.— Не знаю, не знаю... Ну, мы еще увидимся. Приходите в музыкальную комнату, я вам спою.

Он приветливо кивнул и отошел.

— Разве мы с ним еще увидимся? — спросила чуть погодя Тереза.

Музыкальной комнатой называлась старомодная гостиная на втором этаже, где изредка Бисканти и его приятели играли в покер. И музыку тоже слушали — все одни и те же оперные арии на заигранных, исцарапанных пластинках. Иногда они и сами пели. Раза два Тереза и Луис присоединялись к этой компании, и было очень весело. Но сегодня весело не будет, подумала Тереза; время бежит слишком быстро. Пора встать из-за стола, пора подняться в комнатку Луиса.

— Разве мы с ним еще увидимся? — спросила она и вдруг нашла слова для того, что так давно хотела сказать: «Мы ведь проведем вдвоем этот последний вечер?» Но слова эти остались несказанными; их смыл внезапный прилив злости. И вместо этого она спросила:— Что будем делать дальше, Луи?

Уже второй вопрос она ему задает, а он все не отвечает. Не отвечает, потому что сам не знает, чего хочет. И, не отвечая на ее вопросы, сидит молча и медленно вертит в руках стакан. Он чувствует на себе взгляд Терезы. И ощущает в ней перемену: пока она говорила, она вся подалась к нему, придвинулась совсем близко, а теперь ее мышцы ослабли и она откинулась на спинку стула, все еще не спуская с него глаз. Но ведь сегодня он одержал победу, он молод, завтра он едет домой, всем существом он ощущает неповторимость этого вечера, и его неодолимо влечет к Терезе; и все это мешает ему говорить, ибо он сам толком не знает, чего хочет, он лишь ничего не хочет утратить — и ему совестно и своей жадности, и своей нерешительности.

Пытаясь понять его молчание, Тереза отчасти угадала это. И потянулась, было к нему, чтобы коснуться его руки и снова спросить о том же, но уже другими словами, на которые проще ответить. Но тотчас отдернула руку. Он сидит с таким напряженным лицом, надувшись, как ребенок, а я буду утешать его, точно маленького? И это мой возлюбленный, с ним я проведу сегодня ночь? Смешно, и трогательно, и зло берет.

И они сидят за столиком. В комнате душно, кожа вся покрылась испариной, от шума, доносящегося из сада, от разговоров, от радио у обоих гудит в ушах.

Эта нелепая пауза была не так уж длинна, как им обоим казалось, но и не так коротка — минуты две, три. Потом Луис решительно отодвинул стакан.

— Я... — начал он, пристально глядя на руку Терезы, куда-то повыше локтя,— я боюсь прощальных вечеров. Не могу тебе сказать, чего мне хочется, сам не знаю. Сегодня я боюсь тебя... и себя... и того, что будет утром...

Он покачал головой и, помолчав минуту, продолжал:

— Я веду себя как дурак, двух слов связать не могу. Но я буду вести себя лучше, когда мы останемся одни, обещаю тебе.— Он с улыбкой

посмотрел ей прямо в глаза. — Обещаю тебе, хотя мужчины слабы, а женщины...

Как трудно ему выговорить простые слова, подумалось ей. Но она думала об этом не впервые, уже привыкла к этой мысли... во всяком случае, она почти всегда знает, что он чувствует и чего не умеет сказать! Сегодня она не так в этом уверена, но ведь сегодня она не уверена и в себе самой. Что такое прощальный вечер? Слезы, рыдания, исступление и опустошенность — или умолчание, сдержанность, ради того, чтобы не сразу начались слезы и все остальное.

В саду теперь остались четверо. Говорил молодой человек — вернее, он поучал. Он рассуждал о силе, о добродетели, о германском гении, о евреях и поляках, о Версальском договоре, о том, что кое-кто из окружения Гитлера действительно впадает в крайности, и, наконец, о том, что сам Гитлер, несомненно, избранник судьбы.

— Я не раз замечал, что такие избранники редко внушают людям добрые чувства,— заявил он.— То есть в том смысле, что все мы относимся к ним недружелюбно, будто они не такие же люди, как наши приятели и соседи, да и как мы сами, ну, и тому подобное. По крайней мере, это верно в отношении большинства, которое наблюдает такого избранника со стороны, знает о нем и его делах только понаслышке или по газетам. Что́ им призвание такого человека,— то есть, конечно, если они не получают при этом никакой личной выгоды. А потому... Разумеется, для немцев все это по-другому. Гитлер — избранник судьбы. Кто может в этом сомневаться? И немцы преклоняются перед ним, во всяком случае, большинство немцев. У меня лично,— он бросил взгляд на толстяка,— поскольку я не немец, нет никаких чувств к Гитлеру, совершенно никаких, но я понимаю, что он — избранная натура, а это, как ни говорите, не может не вызывать уважения. Разве я неправ?

Толстяк заерзал на своем стуле.

— Все это больно хитро, на мой взгляд, — проворчал он. — Газетная болтовня, только и всего. Гитлер, может, и избранный, как вы выражаетесь, но только он — избранный сукин сын, так это один черт.

— Наверно, англичане говорили то же самое про Вашингтона.

— Ну, ну, бросьте! Еще чего — сравнивать Гитлера с Вашингтоном!

— Да не в том дело. Издалека, да еще во времена больших потрясений всякого вождя можно изобразить в ложном свете. Это еще не значит, что все они одинаковы.

Толстяк вздохнул: тебя, мол, не переспоришь. Этот молодой человек в начале вечера почему-то ни слова не вымолвил, но стоило ему раскрыть рот — и оказалось, что это настоящая говорильная машина. Всем прочим оставалось только слушать его да задавать вопросы или вставлять что-нибудь вроде: «Одну минуту...» — или: «Но вы забываете...» Что касается высокого, он в душе соглашался со многим из того, что доказывал молодой человек,— но уж очень он рубит сплеча, очень уж распинается... Высокий считал, что молодой человек чересчур резок.

Итак, он с пренебрежительной усмешкой смотрел на толстяка, но не находил что сказать — и вообще все это не доставляло ему удовольствия. Он бросил взгляд на дверь столовой. На пороге стоял Бисканти; Луис Сакс и его спутница подошли к нему и, видимо, прощались. В эту самую минуту Луис посмотрел в садик и встретил взгляд высокого. Они, собственно, не были знакомы, но нередко встречались за обедом и всякий раз обменивались несколькими словами. Луис издали помахал ему рукой, кивнул и толстяку и его соседке — с ними он тоже часто встречался здесь. И тут высокого словно что-то толкнуло, и у него вырвались необдуманные слова:

— Эй, Саксл, — окликнул он, вставая из-за стола, — идите-ка сюда! У нас тут объявился настоящий наци и такого наговорил... Идите сюда. Вы ведь еврей? Вот потолкуйте с ним.

Не успев договорить, он уже устыдился своей выходки. Потом подумал: Саксл — еврей, то, что я сказал, вполне разумно, я только не совсем удачно выразился. Но вдруг его снова обожгло стыдом, и он виновато посмотрел на тех троих у порога. Позади него раздался голос молодого человека:

— Не к чему обсуждать это с евреем.

Высокий не обернулся, он по-прежнему стоял у своего столика. Несколько мгновений слышно было одно только радио; все застыли, никто не двигался, только Тереза стиснула руки, живые глазки толстяка перебегали с одного лица на другое, а его спутница опустила голову. Луис Саксл не шевельнулся. Спокойно, почти задумчиво он смотрел на молодого человека, и тот тоже молча смотрел на него.

«И зачем только я это сказал, не надо было так говорить», — твердил себе высокий. А толстяк думал: «И черт его дернул выскочить... а все-таки, мне кажется, есть тут доля правды». В Бисканти закипала ярость, и он еще не нашел слов, чтобы дать ей выход, а Тереза была не в силах вымолвить ни слова, ее переполняли волнение, ненависть, любовь.

Луис быстро взглянул на Терезу, на Бисканти и подавил вздох. Молодой человек, в сущности, говорил без особой враждебности, и голос его прозвучал почти бесстрастно. Таким рассудительным тоном обычно утверждают истину или устанавливают исторический факт. Вот это-то и главное: в этих людях нет живой, личной злобы, в них вообще нет ни намека на живое, личное чувство. Заметил ли это кто-нибудь? — думал Луис. Понял ли кто-нибудь, что это — квинтэссенция происходящего, того, что настигает тебя и за морями и океанами? В нем вспыхнуло желание объяснить это всем и каждому, но не менее сильно было и желание сказать им, чтобы они забыли этот разговор.

Прошли секунды — восемь или, может быть, десять, но это очень долго, когда несколько человек не в силах прервать молчание,— и все эти долгие секунды Луис смотрел на молодого человека, по крайней мере, не отводил глаз. Тот тоже смотрел на Луиса, и лицо его ничего не выражало, как будто он давным-давно ни о чем не думал и ни слова не говорил.

Внезапно молчанию настал конец: ярость Бисканти вырвалась наружу. Он сошел по двум ступенькам, ведущим в сад, и обратился к молодому человеку:

— Уходите отсюда. Вставайте из-за стола и уходите. Прошу.

Молодой человек вскинулся было...

— Вам не следовало так говорить,— с упреком начал Бисканти, и вдруг громовым голосом: — Вон отсюда!

Луис тоже спустился в сад, предостерегающе протянул руку. Лица у всех стали испуганные. Бисканти, ни на кого не обращая внимания, глядя только на молодого человека, у которого теперь лицо было такое же испуганное, как у остальных, двинулся к нему. Тот поднялся и медленно попятился за столик. Бисканти наступал: он протянул руки и взял молодого человека за плечи. Тот запротестовал, но вяло и безуспешно. Попробовал вырваться, но хватка у Бисканти была железная. По-бычьи наклонив огромную голову, Бисканти повел перед собой пленника к дверям.

Почти уже у порога молодой человек попробовал высвободиться — не то чтобы очень резко, скорее — просто чтобы удобнее было подняться по ступенькам. Напрасная попытка. Бисканти ринулся вперед, негромко повторяя: «Нет... нет, нет! Нет... нет, нет!» — словно творя заклинания.

Молодой человек с размаху налетел на стойку, где стояли радиоприемник, миска с маслом и графин с водой: приемник подскочил, заскрежетал и умолк.

Миг — и пленник снова стал пленником; весь красный, явно возмущенный, он, однако, не сопротивлялся. Бисканти заставил его подняться по ступенькам, выпроводил через ресторан в прихожую и дальше, к двери, ведущей на улицу. Луис, Тереза и остальные, сбившись в кучку у входа в сад, как завороженные смотрели на все это. Они видели, что Бисканти распахнул парадную дверь, и услышали его голос:

— А теперь, прошу покорно, уходите и не приходите больше, я не желаю видеть вас у себя.

Молодой человек заколебался, оглянулся на них. И всем им на миг стало его жаль.

Высокий — больше для отвода глаз, а толстяк — чтобы выразить свое восхищение,— жаждали многое сказать об этом изгнании, о том, как выглядел молодой человек в такую-то минуту, а мистер Бисканти — в другую. И возвратившийся тем временем Бисканти, смущенно улыбаясь, тоже вступил в этот разговор. Все складывалось так, что можно было и не упоминать о преступлении, которое повлекло за собою такое наказание. В сущности, стало даже весело, воинственный марш Бисканти всем принес облегчение. Но Луису было не по себе: опять всё запуталось, теперь уже потому, что все так милы... Скорей бы уйти отсюда, но как это сделать? Наконец Тереза сказала несколько ласковых слов Бисканти — и, обменявшись улыбками, рукопожатиями и добрыми пожеланиями, выслушав еще несколько анекдотов и воспоминаний о грозном гневе мистера Бисканти, после многих напутствий и обещаний не забывать, Луис и Тереза откланялись.

Они поднялись во второй этаж, миновали музыкальную комнату. Обе двери приотворены; в комнате человек пять сидят за большим круглым столом, но они поглощены игрой, никто не поднял глаз. Луис и Тереза на цыпочках проходят мимо, поднимаются по лестнице в комнатку Луиса — и дверь закрывается за ними.

Прошло около часа, и свет в комнатке погас. А в это время в большом доходном доме, что за садиком Бисканти, в комнате напротив зажегся свет, какой-то человек отошел от окна, сел за стол и включил радио. В эту самую минуту тяжелый германский крейсер «Шлезвиг-Гольштейн» рассекал воды Балтийского моря, медленно двигаясь сквозь ночь к замершему в ожидании городу Данцигу. Но сведения об этом не были еще получены, и человек у радиоприемника узнал не больше того, что слышали раньше посетители сада, где сломанный приемник молчал, притаившись в темноте между миской с маслом и графином с водой.

2.

— Вот что,— сказал теперь Бисканти Терезе: — Поднимитесь наверх и поглядите сами.

Каморка в верхнем этаже пустовала уже года два, а то и больше; в ней еще стояла кое-какая мебель, хотя и не совсем та, что при Луисе,— письменный стол, например, вынесли,— и там сложены ненужные вещи, но все это можно будет убрать.

— Подите поглядите,— сказал Бисканти, кивая Терезе.— А потом скажете мне, что делать. Да и вообще, может, вам приятно поглядеть.

И Тереза взбежала по лестнице, миновала музыкальную комнату — сегодня там было тихо и темно — и поднялась наверх, к той маленькой комнатке, тоже тихой и темной. Остановилась на пороге, нащупала на стене выключатель и повернула его. Она успела уже забыть, как мала

эта каморка, забыла, как она выглядит,— и теперь, стоя на пороге, заново все узнавала. Она прошла и села на край постели. Тут же поднялась, подошла к окну. Потрогала занавески — они были грязные. Медленно отошла в другой угол. Потом прислонилась головой к стене.

— Ты возвращаешься, это правда? — тихо сказала она.— Скорей бы уж!

Так она постояла минуту, другую.

Потом окинула комнату беглым взглядом, мысленно отметила, что нужно сделать, снова повернула выключатель и быстро спустилась по лестнице, чтобы уговориться обо всем с Бисканти.

Она возвращалась к себе в двенадцатом часу. Думала пойти пешком — до дому было кварталов десять,— но мимо проехало такси, и она окликнула его. Пока ее не было дома, приходил почтальон; он опустил ей в ящик извещение о телеграмме всего через несколько минут после того, как она отправилась к Бисканти. Но весь вечер детвора вихрем носилась взад и вперед по тесной прихожей, и когда Тереза вернулась, листка с извещением в почтовом ящике уже не было.

Войдя к себе, она тотчас разделась. Расстегнула юбку и готова была снять ее, да так и застыла, наклонив голову, совсем как недавно в старой комнатке Луиса. Потом дала юбке соскользнуть на пол. Подобрала ее, встряхнула и перекинула через спинку стула, сняла и туда же повесила блузку. Прошла в ванную и провела там с четверть часа: вымылась, постирала белье и чулки, смазала лицо кольдкремом и втерла его в кожу, расчесала волосы перед зеркалом в ванной; туалетного столика у нее не было. Покончив со всем этим, она вышла в свою комнату. Стало еще более жарко и душно, чем прежде, и она ничего на себя не надела, даже не сунула ноги в домашние туфли. Комната была невелика, но потолок высокий, и по одной стене два окна в глубоких нишах, с занавесями. Она казалась больше, чем была на самом деле, тишина и прохлада наполняли ее; Тереза вскинула руки, с наслаждением потянулась, приятно было ощущать и эту комнату, и свое тело. Она подошла к высокому зеркалу в тяжелой старомодной раме, висевшему в простенке между окон. Провела ладонями по бедрам, придвинулась ближе к зеркалу, приподняла груди и поглядела на них в зеркале. Привстала на носках и, повертываясь то в одну сторону, то в другую, критически себя осмотрела. Наконец взглянула прямо в глаза своему отражению и улыбнулась себе немного смущенно, но еще более — иронически.

— Скорей! — сказала она беззвучно, одними губами. Потом отошла от зеркала, лениво, как человек, которому некуда спешить. Зажгла сигарету и, медленно двигаясь по комнате, машинально замечая места, где больше набралось пыли, пока она ездила в Лос-Аламос, раздумывала над тем, сколько разных оттенков в этом слове — скорей. Присела на старый диван в углу комнаты, заметила, как напряглись груди, и снова поднялась.

— О, черт,— сказала она и со злостью расплющила сигарету о большую стеклянную пепельницу. Но тут же засмеялась, тряхнула головой. И потом, не обращая внимания на духоту, принялась вытирать пыль и наводить порядок. Только далеко за полночь она сняла со старого дивана золотистое покрывало и наконец легла. Она лежала в темноте, и письмо, написанное в поезде, не давало ей покоя, и она думала о том, что надо было написать по-другому, или вовсе не надо было писать, и многое можно бы добавить. Она задремала и вдруг проснулась, как от толчка, ей послышались слова, которых — она знала — никто не говорил, она ясно видела в темноте каждый уголок комнаты Луиса и, засыпая снова, всем существом ощущала его рядом.

— Ты возвращаешься, это правда?

Луи лежал без движения, он даже не шелохнулся, словно и не слышал. А может быть, она не сказала этих слов, только подумала, но так отчетливо, как будто произнесла их вслух. Она повторила их еще раз, чуть повернувшись, чтобы видеть Луи всего, с головы до ног. Она долго лежала, приподнявшись на локте, и смотрела на него. Рука, на которую она оперлась, затекла, но Тереза не меняла позы. Прошло минут пятнадцать, а Луи все не шевелился, лишь слегка поднималась и опускалась ровно дышавшая грудь. Отсвет городских огней едва проникал в окно его каморки, но Терезе и этого было довольно, а чего не различали ее глаза, то она и так знала наизусть. Луи лежал обнаженный, как и она сама, тела их покрылись испариной и даже простыня стала влажной, такая жаркая и душная была эта ночь. Губы Луи чуть приоткрылись, и слабый шелест его дыхания был для нее в ночи слышней всех других звуков. Почти бессознательным движением она подняла свободную руку и потянулась к нему, кончиками пальцев тихонько провела по изгибу его бедра, по втянутому животу, коснулась мягкой впадины под ребрами, потом ребер. Он не шевелился. Она подняла голову, тряхнула волосами, помахала затекшей кистью руки. И снова лежала, опершись на локоть, и разглядывала Луиса; смотрела на него чуть сверху, порою касалась его рукой или слегка прижималась к нему. Она лежала так еще добрую четверть часа, потом опустила голову на подушку, поддавшись усталости, но сон был по-прежнему далек от нее.

Он лучше всех на свете, и я буду его женой, сказала про себя Тереза. Сказала, как песню спела. Она запрокинула голову и увидела, что тусклый свет едва сочится в окно за ее спиной. Тихо, очень тихо. Пожалуй, третий час или, может быть, уже три. Прогудел автомобиль. И едва различимый, из чьей-то другой комнаты, откуда-то из соседнего дома донесся металлический голос диктора. Хотела бы я знать, что там сейчас, по радио, подумала она. Хотела бы я знать, сказал ли уже кто-нибудь что-нибудь определенное. Она откинула голову на подушку и снова легла навзничь. Вытянула ногу и тронула пальцами ногу Луиса. Закрыла глаза, потом открыла; согнула ногу в колене и выпрямила; смахнула что-то с ресниц, полежала неподвижно, тихонько вздохнула и вдруг почувствовала себя совсем одинокой, словно все живое на земле уснуло, и лишь ей одной нет покоя. О том, что произошло в саду, она не позволяла себе думать. Попробовала сосредоточиться на событиях в Европе, но это ей не удавалось; о войне она будет думать завтра или послезавтра. Но неужели послезавтра они уже не смогут быть вместе? Она никогда не заговаривала о расставанье, в глубине души едва ли допускала, что это возможно, и не сомневалась, что Луису это и в голову не приходило. Но ведь неизвестно, когда кончится эта их разлука, не назначен день новой встречи. «Разлуке нет конца» — страшные, зловещие слова; но это несомненно разлука, а где ей конец?.. «Ты возвращаешься, это правда?» — не то сказала, не то подумала она.

Луи зашевелился во сне, кашлянул, повернулся было на другой бок, но тотчас опять лег, как прежде, и еще теснее прижался к ней. Бессознательным движением Тереза легонько потрепала его по спине, отвела со лба чуть влажные волосы.

Однажды он зашел в книжный магазин, где она служила прошлым летом. Ей было тогда двадцать лет, она училась в университете. Она получала в магазине двадцать два с половиной доллара в неделю, и это были для нее немалые деньги.

Он застенчиво взглянул на нее и спросил, нет ли у нее случайно книги под названием «Жалость тирана», ее написал некий Ганс Отто Сторм, инженер по профессии.

Она никогда не слыхала ни об этой книге, ни об ее авторе.

— Может быть, вы ее еще и не получали,— сказал он.— Она только что вышла. Это роман, нечто вроде романа. Не помню, кто издатель. Обложка такая желтая.

В минуту Тереза нашла название по каталогу. Она с удовольствием закажет для него этот роман. Он попросил два экземпляра. Вспомнив, что он говорил про обложку, Тереза спросила, читал ли он уже эту книгу. Он сказал, что да, читал, и они минут десять поговорили о ней, хотя за это время их трижды прерывали другие покупатели. Потом он ушел, а в конце дня Тереза уговорила управляющего заказать три экземпляра.

Когда книги пришли, она взяла одну и весь день не расставалась с ней. Она прочла объявление издателя, который предсказывал, что «очень скоро все, кого радует появление нового таланта, внесут это имя в список своих открытий». Она тоже почувствовала, что сделала некое открытие, вспомнила Китсова «Гомера», с чувством собственного превосходства смотрела на покупателей, которые интересовались одними модными новинками, и время от времени упрекала себя за глупые мысли. Но украдкой заглядывая в книгу, она находила еще и еще интересные места и к концу дня уже спрашивала покупателей, слышали ли они о замечательной новой книге. Никто не слыхал и никто не купил ее, и, возмущенная таким равнодушием, Тереза почувствовала, что книжка уже не просто интересна ей, а и дорога.

Дня через два Луис зашел за своими двумя экземплярами. Она как раз подняла глаза, когда он отворил дверь, и смотрела, как он шел к ее прилавку. Он был ниже, чем она думала, почти одного роста с ней. Он казался гибким и сильным, волосы у него были каштановые, глаза карие, и коричневый костюм им в цвет; все прекрасно сочеталось одно с другим. Кажется, он еврей, подумала она, а может быть, и нет. Он неуверенно улыбнулся ей, зубы у него были неровные. За несколько шагов от нее он вдруг остановился.

— Вы меня помните? — спросил он.

— Да... да, конечно... Здравствуйте! Книги пришли, я уже прочла. Это замечательная книга.

Их без конца прерывали, и все же они с полчаса проговорили об этой книге, и о других книгах, и о разных других вещах. Под конец они уже знали что-то друг о друге, и каждый про себя отмечал и запоминал какие-то мелочи: форму уха, движение руки. Они не называли друг друга по имени, ни разу не коснулись друг друга, и после этого они две недели не виделись.

Бывали в жизни Терезы волнующие встречи, но все они давали ей куда меньше, чем она ждала. Ей много надо было от человека, и это всех отпугивало. Молодым людям, которым нравилась Тереза, не нравилось это властное стремление завладеть ими, они не понимали, что это такое, не умели почувствовать за этим преданность и силу или, быть может, пугались того, что чутьем угадывали. Три года изучения гуманитарных наук не отняли у нее способности чувствовать, и ум ее оставался живым и деятельным. Она старалась понять, что и как думают люди, которых она встречает, и одним досаждала ее пытливость, другим была не по плечу ее требовательность. Иными словами, она была более зрелым человеком, чем ее друзья и знакомые. Но в то лето у нее еще не хватало зрелости, чтобы порвать с ними или еще немного подняться над ними.

К тому же это была приятная компания, вдвойне приятная потому, что Тереза была хороша собой и очень обаятельна. И если ее внутренняя сила повергала в смятение и трепет осторожных молодых людей, так ведь она же будила и страсть. Их волновали ее задорные груди, но отпугивал незаурядный ум, они готовы были для нее на любую жертву, но терялись,

если им случалось провести вечер в ее обществе. Они водили ее на танцы, катали на лодке, бродили с ней вечерами по набережной и угощали пивом в добропорядочных ресторанчиках по соседству. Она жила, как все ее подруги, и оставалась целомудренна телом и душой. Но эта жизнь давала ей то, что было ей нужно или казалось нужным, во всяком случае ничего другого у нее не было. Итак, она брала то, что было под рукой, но хотелось ей большего, и больше всего хотелось давать, как часто бывает с теми, кому много надо.

В ту пору Тереза жила вместе с подругой, девушкой на два года старше ее, служившей где-то в конторе. Тереза мало виделась с нею, да и, по правде говоря, у них было мало общего. Но эта жизнь вне семьи много значила для Терезы. Она упрямо добивалась права на такую самостоятельность, опрокидывая одну преграду за другой: она сумеет заработать достаточно для того, чтобы жить отдельно, доказывала она родным; ей ничто не грозит; она любит своих близких и будет постоянно с ними видеться, но ей необходимо чувствовать себя независимой. Почему необходимо — этого она объяснить не могла даже себе самой — и, добившись своего, выиграла не так уж много.

Правда, она стала независима, у нее была комната, наполовину ее собственная, и достаточный заработок, но в остальном ее жизнь не изменилась. В новой обстановке она встречалась со старыми друзьями. Работа в книжном магазине, которую она получила в начале лета, пока еще ничего нового не принесла ей. В ту пору, как она встретилась с Луисом, Тереза все сильнее ощущала недовольство собой и убеждалась — или воображала, — что ей не на что надеяться.

Первые две встречи с Луисом встряхнули ее. И, однако, не так сильно было задето чувство и не так много сил пришло в движение, чтобы покончить с неудовлетворенностью или принести что-то взамен. В глубине души она снова и снова возвращалась к тому, что видели ее глаза, слышали уши, что ощущала она всем своим существом, но причины и следствия были еще слишком свежи, чтобы признать их или хотя бы дать им доступ в высшие, запретные области сознания. Порою она рисовала себе облик Луиса. Однажды целый вечер просидела у окна, глядя на людную, оживленную улицу, вместо того чтобы пойти погулять с подругами. Жизнь казалась ей еще более пустой и бессодержательной, чем прежде, друзья — еще более чужими и далекими, и она даже забыла на время об отчаянии и безнадежности, пытаясь разобраться, почему же это так. Эти загадки занимали ее недели две. И когда в книжный магазин вошел Луис, она поднялась со своего места и побежала ему навстречу.

А потом день ото дня ее все сильнее тянуло к нему — и жизнь, казавшаяся такой пустой, стала полна через край, так что трудно было вынести. Ведь с каждым днем они все больше были вместе, хотя день для них начинался лишь тогда, когда Тереза кончала работать, и вечера их были не слишком долгими. Луис почти каждый вечер занимался дома, готовясь через год получить ученую степень, или работал в лаборатории в верхнем этаже здания физического факультета. Он показал ей свои окна — и порой из окна своей комнаты, за пять миль от него, Тереза смотрела на север, в ту сторону, где он работал, и мысленно видела одинокое окно, упрямо светящееся во тьме, и за ним — жаркое пламя творческой мысли.

Но каждую свободную минуту они проводили вместе, и только ночи — врозь. Внешние условия их жизни были, в сущности, не столь строги, чтобы помешать большей близости, время шло, и их все сильней влекло друг к другу; и все же у обоих хватало сдержанности, которую разрушить мог только взрыв, но время шло, а взрыва не было. Тереза убедилась: то, что она готова отдать — все ее сердце без остатка,— он способен принять и сохранить, и ничем не ранить, и ничего не побояться. Тем охот-

нее она отдала ему сердце. Он принял ее дар и обращался с ним бережно, на этом, как будто, все и кончилось. Но если она видела плотину, она ощущала и напор сдерживаемой стихии, и дни и ночи одинаково были полны нарастающей страстью и борьбой с нею.

Оказалось, он знает тысячи вещей, которых не знает она. То, что он рассказывал ей о своей работе, научило ее немного разбираться в природе материального мира, а из того, как он об этом рассказывал, она узнала кое-что и о человеческой природе и даже о себе самой. Это было ясно как день: когда он говорит, в нем говорит человеческое достоинство, дух пытливый, проницательный и скромный. Озаренный ярким светом, открывался Терезе его внутренний мир, и хотя нередко ее занимало то, что оставалось скрытым в тени, она упрекала за это одну себя; она не удовлетворена, но тому виной его благородство, и она горда тем, что он так благороден. Тем уголком души, где жила страсть, она понимала, как опасен такой компромисс. Но, в конце концов, что же тут можно поделать? И, хоть страсть оставалась страстью,— а тем временем Тереза начала понимать природу слоя Хевисайда, и всю важность нейтрона, открытого Чедвиком, и разницу между наукой и техникой. Они часто говорили о своем детстве, о том, как они росли — один в округе Сэндридж, штат Иллинойс, другая на Риверсайд-драйв в Нью-Йорке; о том, чем схожи и чем несхожи их детские годы; о том, что люди всюду те же, и жизнь одна и та же; и о том, что же такое жизнь. Но когда они начинали говорить о своем сегодня, разговор становился иным, менее свободным и непринужденным, они то и дело умолкали — и смысл этого молчания им было бы куда труднее истолковать, чем смысл жизни.

В первый раз Луис пришел к Терезе домой вечером, месяца через два после того, как они начали встречаться. Ее товарки не было дома, и они поговорили о ней. У Луиса начались каникулы — поговорили и об этом. Прошел час, они чувствовали себя все более напряженно и неловко. Они беспокойно двигались по комнате, посидели на диване, поднялись, поглядели в окно и снова затихли. Луис опять сел на диван, а Тереза легла на пол, закинув руки за голову, вытянув ноги. Им довольно было протянуть руки, чтоб коснуться друг друга, но рассудок все еще сдерживал их. Они говорили о чем придется, перебирая множество тем, одна другой случайнее, и вдруг Терезе вспомнились какие-то стихи, и она произнесла строчку вслух. Луис сказал, что один раз он и сам сочинил стихи. Она стала упрашивать его прочесть их, но он долго отказывался. Она настаивала, он колебался. Она снова стала просить, и снова он стал уверять, что не может. Тогда она замолчала и только смотрела на него снизу вверх. Потом слегка подвинулась, и голова ее оказалась у самых ног Луиса; она оперлась о них головой и долго лежала так. Потом опять попросила: «Прочтите мне эти стихи». И он наконец уступил и прочел негромко, срывающимся голосом:

Коль скажет Смерть: «Тебе несу
Покровом — дерн, венцом — росу,
Слиянье с тайнами корней,
Любовь цветений и стеблей
На луговинах и в лесу,
И у озер»,— охотно я
Вступлю под кров ее жилья.
Но Смерть мне говорит: «Пора,
Завершена твоя игра.
Молчанье. Омут забытья.
Недвижность. Жизни больше нет.
Забудь навеки розы цвет
И от лучей и звуков прочь

Пойдем со мной во тьму и в ночь».
Пойду. Пути иного нет.*

Луис говорил — и все дальше откидывался на диване, волнение и застенчивость душили его; с последними словами он откинулся навзничь, совсем задохнувшись. Лежа так, он не мог видеть Терезу, он вообще видел только потолок; но он чувствовал, что она по-прежнему лежит не шевелясь.

— Чудесные стихи. Чудесные,— сказала она наконец. Но так и не пошевелилась.

Луис промолчал. Шли долгие минуты.

— Какой вы странный,— снова заговорила Тереза. Потом поднялась и села рядом с ним на диван. Он лежал, вытянув руки вдоль тела, раскрытая ладонь словно ждала, и Тереза накрыла ее своей. Они нередко ходили под руку, старались коснуться друг друга или стать так, чтоб плечи их соприкасались,— почти так же и по той же причине обнюхивают друг друга звери. Но хотя на этот раз оба смутно надеялись, что этот вечер увенчает их желания, ни Тереза, ни Луис, взявшись за руки, больше не шевелились. Теперь, когда они думали, что свершение близко, им хотелось немного дольше ощущать этот трепет и звон в ушах.

— Как это вы написали такие стихи? — спросила Тереза.

— Ну... каждый пишет стихи о смерти или, по крайней мере, придумывает про себя, особенно в юности, а я был совсем мальчишкой, когда написал это. Но ведь это не настоящие стихи, знаете? Это просто фокус, стихи-задача. Я их написал, чтобы посмотреть, сумею ли с этим справиться. Вы заметили, в чем тут задача?

— Задача уже в том, чтобы написать стихи, но вы ведь не это имели в виду, а что-то другое.

— Да, но написал я, просто чтобы посмотреть, выйдет ли у меня. Просто я хотел написать лирические стихи, понимаете ли, чувствительные стихи, но без всяких чувствительных слов — одни существительные и глаголы, никаких эпитетов. Вот я и написал. Тут нет ни одного эпитета. Это не настоящие стихи, а просто решение задачи.

Рука Терезы не оставляла его руки, их пальцы переплелись и жили своей отдельной беспокойной жизнью. Но мысль ее следовала за его словами, и на миг пальцы замерли без движения; она подняла на Луиса серьезный и в то же время смеющийся взгляд, пытаясь прочесть по его лицу, правду ли он говорит.

— Но зачем вам это понадобилось — писать чувствительные стихи без чувствительных слов?

Прежде чем он успел ответить, она рассмеялась и, пользуясь этой передышкой, прижалась к нему, но тотчас снова выпрямилась.

— Все ясно! — сказала она. — Именно так и должен писать стихи ученый. Нет, не то, ведь это настоящие стихи, самые настоящие. Так пишет поэт, который в то же время и ученый. «Коль скажет Смерть...» Прочтите мне их еще раз, Луис.

— Нет, нет, Тереза, это не настоящие стихи, в них нет ничего хорошего.

— «Коль скажет Смерть: «Тебе несу покровом — дерн...» — а дальше как? Луис, я хочу услышать это еще раз, я хочу запомнить.

Они повторили стихи вместе. Тереза достала карандаш и бумагу, они вместе повторяли стихи, и она записала их.

— А теперь надо проверить, правда ли, что это лучше, когда в стихах нет ни одного эпитета.— Она засмеялась: — Забавная выдумка, забавный способ писать стихи! — И опять серьезно: — Это хорошие стихи,

* Перевод А. Голембы.

Луис, милый, а никакой не фокус, и вы должны обращаться с ними как с настоящими стихами, и если им не хватает какого-нибудь эпитета...

— Это не те стихи, в которых нужны эпитеты,— возразил Луис.— Эпитеты совсем для других стихов.

— Нет, сэр, в вас говорит ученый, а не поэт. Но вы написали стихи, и они теперь живут сами по себе, неужели вы не понимаете? Они уже существуют сами по себе, и вы только можете помочь им жить более полной жизнью.

Она наклонилась, чуть коснувшись губами, поцеловала его и сейчас же снова выпрямилась.

— Понимаете?

Никогда еще она не целовала его; но чувство, вызвавшее этот первый поцелуй, было еще не тем, что могло бы вести их дальше по этому пути. Тереза наклонила голову над листком бумаги, где записаны были стихи, и, беззвучно шевеля губами, перечитала их. Ее поцелуй горел на губах Луиса, ему трудно было дышать, и все же он лежал не шевелясь, смотрел, как она перечитывает его стихи, и ждал, что она еще о них скажет.

— Знаете, эта строчка не очень хороша,— сказала она немного погодя. — Вот эта: «На луговинах и в лесу». Может быть, так... Какие там еще рифмы к «несу»?

Луис пошевелился.

— Ваша правда,— сказал он,— эта строчка неудачная. У меня сперва была другая: «И розы нежную красу». Но там был эпитет. Я ее выкинул.

— Как глупо! — Тереза сердито посмотрела на него.— Вы пишете стихи и обязаны пользоваться такими словами, какие для них требуются. Эта прежняя строчка мне больше нравится, сейчас я ее впишу.

Не сводя с нее глаз, он покачал головой:

— Вы испортите все дело. Тут самое главное — соблюсти правило, условие задачи, а если вы нарушите условие, весь смысл пропадет. Не станете же вы прибавлять лишнюю строку к сонету просто потому, что вам пришла в голову неплохая строчка, правда? Тогда никакого сонета не получится.

— Почему нет? — возразила Тереза.— Во всяком случае, правила бывают разные. По-моему, можно сделать вот так:

...Слиянье с тайнами корней,
Познанье листьев и стеблей
И розы нежную красу»,—

она прочла эти строки еще раз и одобрительно кивнула. — Вы еще, пожалуй, придумаете правило, чтоб у вас были слова только с буквой «и» или, наоборот, без буквы «и». Это тоже будет правило, только не очень умное. Что важнее — стихи или задача?

— Что лучше,— спросил Луис,— удачный опыт или третьесортные стишки?

— Первоклассные стихи лучше всего.

— Но эти стихи не первоклассные.

— Тогда и опыт неудачный. А мы сделаем их первоклассными.

— Я не поэт.

В конце концов преданное сердце взяло верх над упрямым рассудком. Они переделали стихотворение — впрочем, не так уж сильно; в нем появились эпитеты, и Тереза громко и торжествующе прочла его вслух:

Коль скажет Смерть: «Тебе несу
Покровом — дерн, венцом — росу,
Слиянье с тайнами корней,
Познанье листьев и стеблей
И розы нежную красу»,—

Охотно я войду в ее
Необозримое жилье.
Но Смерть мне говорит: «Пора,
Земная кончена игра,
Молчанье. Омут забытья
И вечность. Розы больше нет.
Забудь ее красу и цвет
И от лучей и звуков прочь
Иди со мной во тьму и в ночь».
Пойду. Пути иного нет.

Дочитав до конца, она присела на край дивана, повернувшись к Луису, отложила стихи в сторону и серьезно посмотрела на него.

— Вы должны гордиться, что написали такие стихи, Луис, милый.

— Но это не мои стихи, а наши общие,— ответил он и отчаянно смутился: в том, что он сказал, ему померещилась какая-то сентиментальность. Смущение сделало его грубым; внезапно он привлек ее к себе и поцеловал в губы, поцеловал крепко до боли, но она ничем не выдала, что ей больно. Миг — и смущение прошло, а с ним исчезла и грубость. Тереза лежала навзничь, закрыв глаза, и чуть улыбалась про себя, вспоминая свой недавний вопрос: «Что важнее — стихи или задача?» Пожалуй, задача — ее собственная, не та, не словесная... Ее задача — вот где настоящая поэзия, и все очень, очень хорошо.

Милый, родной мой!

И вот она проснулась — и сквозь звучание стихов, которые она слышала и читала когда-то на этом самом диване, сквозь едва различимый голос радио, сквозь слабый шелест дыхания Луиса (оказалось, дышит она сама, и комната эта — ее комната, и время — не прошлое, а сегодняшний день) — сквозь все это ей вспомнилось, как ранним утром того дня, когда началась война, Луис разбудил ее, едва к ней, наконец, пришел сон. Они оделись, неслышно спустились по лестнице и через весь затихший дом Бисканти прошли в сад. На стойке у двери стоял радиоприемник, Луис повернул ручку, и они ждали, глядя друг на друга сонными глазами. Шкала осветилась, но не слышно было ни звука. Вдруг вспомнив о вчерашнем, Луис повернул приемник обратной стороной и заглянул внутрь; вынул лампу, легонько постучал по ней пальцем и вставил на место; еще всмотрелся, потом вытащил что-то, повисшее на проводе.

— Отлетел вывод сетки,— сказал он. Потом пробормотал: — Где дают волю чувствам, там точности не жди.

Он выключил радио и тщательно приладил деталь на место, потом снова повернул ручку. Шкала опять осветилась, и через минуту раздался характерный треск. Секунду-другую больше ничего не было слышно. Луис хотел было придвинуть Терезе стул и, отвернувшись от приемника, уже протянул руку, как вдруг голос диктора произнес:

— Час назад немецкий военный корабль, как предполагают — тяжелый крейсер «Шлезвиг-Гольштейн», обстрелял Данциг. Войска перешли границу.

Прошло шесть лет и девять месяцев, подумала Тереза. Только через месяц война кончится для нас. Мы опять рано утром сойдем вниз и включим радио, и будем слушать музыку, и сообщения о погоде, и все такое.

А завтра уже пятница, подумала она. Может быть, я получу от него весточку, может быть, он написал мне, прежде чем уехать на Бикини.

Еще одно препятствие, только одно — а там конец разлуке. Да, так. До чего все сложно и запутанно в жизни, и как ужасна и благословенна эта путаница. Она дает и отнимает, и обещает так много — в ней всегда это есть и почти всегда было: обещание, надежда.

ЧАСТЬ VI

1939: ДОРОГИ В ДЕБРЯХ

1.

В тот день, 1 сентября 1939 года, когда началась война, Эдвард Висла сидел в кресле заведующего кафедрой физики Нью-Йоркского университета, задрав ноги на стол и уткнувшись носом в газету. Еще несколько газет лежали на столе и на полу рядом с креслом. Время от времени Висла отрывался от газеты и, опустив ее на колени, медленно качал головой, барабанил пальцами по ручке кресла или просто смотрел в одну точку. И каждый раз он опять брался за газету и снова и снова перечитывал то, что сказано было о начале войны. Было раннее утро, еще и восьми не пробило, и доктор Плоут, в чьем кресле восседал Висла и на чей стол он задрал ноги, еще не приходил.

— Раньше половины девятого я его и не жду,— объяснила секретарша. — Вчера вечером он выступал с речью. Будьте как дома. Может быть, хотите кофе?

— Ладно,— согласился Висла.— Что вы на это скажете? — он помахал газетой.

— Я слышала радио. Ужасно, правда? Доктор Плоут этого не ожидал.

Она налила ему кофе и вышла. И Висла сидел и ждал и читал все, что тут можно было прочесть,— не так-то много, если не считать самого главного: что война началась. О том, как и почему это произошло, Висла знал куда больше, чем могли сообщить ему газеты, и об этом он тоже думал ранним утром, дожидаясь Плоута.

Висла был австриец, человек еще молодой — ему и тридцати трех не было — с внешностью пухлого младенца и весьма скромными манерами. Но порою он забывал о скромности и вдруг начинал вести себя необычайно развязно и напористо, будто вырядился коммивояжером и решил держаться соответственно. В этих случаях он громко смеялся и острил, хлопал собеседника по спине, старался погуще пересыпать свою речь непривычными жаргонными словечками — и вообще приводил в недоумение всех окружающих, а заодно, кажется, и себя самого. Замечательный ученый Вальтер Нернст, чьим учеником был Висла в 1920 году, сразу узнал бы, откуда такие повадки, и позабавился бы всласть этим зрелищем.

Висла два года учился у Нернста в Берлине и, как большинство его учеников, видел в Нернсте совершенство и образец для подражания. Нернст знал все и всех; выдающийся ученый, притом человек весьма энергичный и остроумный, он немало потрудился ради блистательного расцвета, которого достигли в Германии химия и физика за четверть века; сам кайзер благословил его, выступив в роли покровителя научных изысканий, а теперь последние остатки этого великолепия едва мерцали, задыхаясь в туманах фюрерова расизма. Кайзера интересовали война и экономика, и он покупал не столько людей науки, сколько самые их открытия, которые должны были служить его целям. В таких условиях ученые могли делать свое дело, оставаясь при этом порядочными людьми. Их работу император Вильгельм II оплачивал за счет немецких промышленников, которых вознаграждал приглашениями на торжественные приемы и которым открывал доступ в заповедники общегосударственных интересов.

Планы императора потерпели крах, но с планами ученых этого не случилось. Сверкающий гений Эйнштейна, которого при содействии Нернста

в 1913 году уговорили перебраться из Цюриха в Берлин, а также совещания физиков Берлина значительно расширили в двадцатых годах пределы человеческого знания об окружающем мире. Один из виднейших немецких физиков и химиков, Нернст был постоянным участником «Берлинского семинара», поставил некоторое количество интереснейших опытов и завоевал, как и многие его коллеги, Нобелевскую премию: в ту богатую открытиями пору германские и австрийские ученые получили добрую половину всех Нобелевских премий, а их ученикам досталась чуть ли не вся вторая половина. В качестве своего рода рачительного землепашца на ниве науки он поддерживал мир в среде своих собратий. Он был хорошим учителем, блестящим собеседником и оратором, бывал на званых обедах и в театре. Многие ученики Нернста в какую-то пору своей жизни всячески старались походить на него, а это была натура то широкая и независимая, то увлекающаяся и тщеславная, но всегда, во всех своих проявлениях непростая. Висла, подражая Нернсту, казался чудовищной карикатурой на него, но, как видно, впечатление, которое он производил, доставляло ему некое мрачное удовольствие; так или иначе, повадки, которые он когда-то перенял, давно уже вошли у него в привычку.

Однако Нернст не только подхлестнул в своем ученике склонность к некоторым причудам, он предложил ему бесценные дары — и тот принял их и нашел им достойное применение. Висла изучил всю гамму экспериментальных ухищрений, при помощи которых отдельные наблюдения и домыслы пытливых умов проверяются, сопоставляются, истолковываются, обдумываются, подгоняются друг к другу и сводятся воедино, образуя систему законов, по которым живет вселенная. Отличавшая Нернста неподдельная страсть, стремление познать, объяснить глубоко скрытые взаимосвязи явлений природы, обострили в Висле инстинкт ученого. Едва ли еще где-нибудь он мог бы научиться столь многому во всех отношениях: в большинстве научных центров сверх меры увлекаются как раз всяческими ухищрениями, а в очень и очень многих забывают о взаимосвязи. Даже в Берлинском университете двадцатых годов Висла мог бы получить куда меньше, чем получил; ведь та прямая, что со всей несомненностью вела от Бисмарка к Гитлеру, проходила не только по улицам за стенами университета, но и по его коридорам, и наряду с Нернстом и его ближайшими коллегами, которым свойственны были и чутье, и душевный жар, и даже известная широта взглядов, существовали хладнокровные белобрысые личности, подходившие к науке, да и ко всему на свете с типично прусской узколобой прямолинейностью. Висла, в сущности, воспринял кое-что и от тех и от других, и в нем постоянно боролись своеобразная терпимость с некоторой черствостью и чопорностью, точно так же как скромность и почтительность прерывалась внезапными приступами откровенного хамства.

Закончив курс в университете, Висла некоторое время вел здесь кое-какие изыскания, потом вернулся в Австрию, преподавал в Вене и каждый свой день, каждый час отдавал исследованию потаенного мерцающего мира радиоактивности. Ничем другим он не занимался, ни о чем, кроме своей работы, не думал долгие годы. За это время он опубликовал десяток научных сообщений; над рабочими Вены учинили свирепую расправу — он почти и не слыхал об этом. В Германии и в Италии, где решилась судьба Австрии, с почтительным интересом читали его сообщения. Во Франции они привлекли внимание некоторых сотрудников Института Кюри — и Висла получил оттуда приглашение.

Он поехал во Францию в 1936 году и провел там год. Самой г-жи Кюри уже не было, она умерла за два года до того, но Институт все еще оставался международным учреждением, каким сделала его она, —

здесь работали, постоянно приезжали и уезжали студенты и ученые со всех концов Европы. И в этом климате дало ростки зерно, посеянное Нернстом, — учение о взаимосвязи явлений наполнилось новым смыслом. Когда же, наконец, и для Вислы пришла пора гражданской зрелости, она у него, как это нередко бывает с людьми, чье развитие запоздало, приняла необычайно бурные формы. Однажды вечером в кафе некий ученый, по происхождению чех, пораженный невежеством Вислы во всем, что касалось событий в Австрии, кое-что порассказал ему о том, как постепенно затягивается подлая петля на шее его родины. И Вислу, с двухлетним запозданием, обожгло гневом и стыдом при мысли об убийстве венских рабочих. За время пребывания в Париже он прослушал немало такого рода лекций по текущей политике, и его работа изрядно страдала от столкновения с ними. Одно время он хотел сейчас же оставить Париж и вернуться в Вену, чтобы сражаться за свободу, строить баррикады, добраться до злодеев, отделить церковь от государства и еще много чего. Умудренность его коллег оказалась той скалой, о которую разбился его пыл. Они подзуживали его, дразнили, поднимали на смех, но в конце концов, понимая куда лучше, чем сам Висла, всю серьезность причин, пробудивших этот пыл, они пускались рассуждать и философствовать со своим собратом и, сперва взвинтив его до крайности, затем понемногу успокоили. К концу года Висла уже не горел гневом и возмущением, а только вздыхал, и работа у него пошла лучше; однако он узнал много такого, чего не знал раньше, усвоил все это накрепко, и его мысли и чувства уже не были в разладе друг с другом.

Через несколько месяцев после возвращения из Парижа он решил съездить в Зальцбург. Никаких особых причин для этой поездки не было; просто оказалось немного свободного времени, Висла сильно устал и хотел выбраться за город, подальше от людей, отдохнуть немного. Он подумывал даже, не съездить ли в Берхтесгаден — всего двадцать миль лишних, — не заглянуть ли в логово Гитлера. Но так далеко забраться ему не удалось. В день своего приезда в Зальцбург — это была суббота двенадцатого февраля — прямо на вокзале он увидел канцлера Шушнига. Висла встречался с ним несколько лет назад, когда Шушниг был министром просвещения, и с тех пор его не видел. Он не знал, что Шушниг только что был у Гитлера и возвращался после этого приема разбитый, потрясенный, едва держась на ногах. Висла увидел его, когда сошел с венского поезда. Шушниг сидел в автомобиле, его окружали человек шесть и что-то говорили ему. Сзади вытянулись в ряд еще три или четыре парадные машины, и человек шесть из личной охраны канцлера, забыв о своих обязанностях, подошли к его автомобилю и прислушивались к разговору. Несколько десятков местных жителей тоже собрались вокруг, на почтительном расстоянии, и внимательно наблюдали за происходящим.

Шушниг был бледен как привидение. Он слушал, переводя взгляд с одного лица на другое, но сам не говорил ни слова. Губы его приоткрылись, и он как будто не замечал этого. Он сидел, слегка наклонясь, в руке у него была сигарета. Висла видел, как он бессознательным движением отбросил ее и так же машинально полез в карман за новой сигаретой.

Висла огляделся по сторонам. Все молчали, кроме тех, кто был подле машины Шушнига, а что они говорили, Висла не мог расслышать. И вдруг охрана отошла от автомобиля и стала разгонять толпу, оттесняя ее в нескольких направлениях, уговаривая и размахивая руками. В эту минуту Шушниг посмотрел прямо на Вислу — сначала случайным, невидящим взглядом, потом лицо Вислы как будто показалось

ему знакомым, и он явно старался припомнить, кто же это, или всмотреться пристальнее. Висла улыбнулся и слегка поклонился. Когда он поднял голову, канцлер все еще смотрел в его сторону, но искорка воспоминания угасла, взгляд снова был невидящий и лицо — безжизненное, ошеломленное. А потом один из охраны подошел к Висле и махнул рукой, предлагая отойти подальше.

Шушниг был почти невменяем, в таком состоянии не следовало бы никому показываться на глаза, но его видели десятки людей, и через час эта весть облетела весь Зальцбург. Висла узнал о его встрече с Гитлером, слышал десятки рассказов о случившемся — и все время перед глазами у него стояло бледное, ошеломленное и испуганное лицо канцлера. В тот же вечер, сам изрядно напуганный, он выехал поездом обратно в Вену. Там тоже обо всем было известно, как ни старались официальные круги все и всегда хранить в тайне. Висла разыскал своих друзей и рассказал о том, чему был свидетелем, а они сказали ему, что́ это, по их мнению, означает. Все они то и дело обменивались многозначительными взглядами и были необычно скупы на слова. Так Висла провел три дня: ждал официальных сообщений, гадал на кофейной гуще, за работу не принимался и все спрашивал себя, что будет, если... Он и сам не знал, что тогда. У него было множество знакомых, все больше жители Вены. Он не был ни евреем, ни профсоюзным деятелем, не был ни социалистом, ни коммунистом. Жизнь его складывалась так, что ему не приходилось подписывать петиции, произносить политические речи или бывать на каких-либо собраниях и митингах, которые могли бы вызвать чье-либо недовольство. Он спрашивал себя, что с ним будет, независимо от того, что будет с Австрией. И самый этот вопрос заставил его понять, что с ним уже что-то неладно.

В среду из утренних газет Висла узнал, что Шушниг отдал нацистам основные посты в своем кабинете, многих нацистов распорядился выпустить из тюрем, короче говоря — капитулировал. Висла читал эти газеты в кафе неподалеку от университета — здесь завтракали преподаватели, несколько студентов и таких же научных работников, как он сам. Все они тоже читали газеты, а когда разговоры возобновились, тревога, закравшаяся в душу Вислы за эти последние дни, и гнев, жегший его в первые месяцы жизни в Париже, — все сплелось воедино и обрушилось на него, как удар хлыста. Искаженное страхом лицо, которое он видел в Зальцбурге, всплыло в его памяти и так и стояло весь день перед глазами, заслоняя все. В тот вечер он решил уехать из Австрии. Он вернется в Институт Кюри. Или уедет в Англию. Можно поехать даже в Соединенные Штаты. Он и раньше переписывался с несколькими университетами. Можно написать еще и в другие города.

Решив уехать, Висла так радовался предстоящему путешествию, что его уже не огорчала необходимость покинуть родину. Ему и в голову не приходило, что тысячи людей покидают ее не с радостью, но с отчаянием: как только он принял решение, недавняя тревога и гнев отступили куда-то, как и все, что он оставлял здесь. Дела, которые надо было переделать, люди, которых надо было повидать, документы, которые надо было оформить, и кое-какие мысли, которые надо было додумать, — все это, по крайней мере физически, включило его в непрерывно ширящийся поток несчастных и преследуемых европейских беженцев. Пока он сталкивался с ними, смотрел им в глаза, проверял, как они решают задачи, встающие и перед ним, он так и не заметил, что между ним и этими людьми — пропасть. С середины февраля до середины марта хрупкие опоры австрийского государства с треском подламывались одна за другой, и Висла прислушивался к этому едва ли не с

удовлетворением: стало быть, мудро он поступает, в самом деле надо уезжать!

И все же случившееся ранило его, и боль осталась. Висла был у радиоприемника, когда рушилась последняя опора и волны сомкнулись над Австрией. Он слышал, как обессилевший, перепуганный канцлер объявил, что настал конец, в таких словах не могло не быть какого-то достоинства, и от них разрывалось сердце. «Итак, я прощаюсь с австрийским народом словами, идущими из глубины души, истинно немецкими словами: «Боже, храни Австрию». После этого в темпе похоронного марша исполнен был австрийский национальный гимн, а затем вступительные такты Седьмой симфонии. И потом три часа кряду, если не считать редких перерывов, когда передавались краткие советы и указания народу или армии, голоса из славного прошлого отпевали Австрию: Бетховен, Шуберт, Моцарт, Штраус... Три часа кряду Висла сидел и слушал. Порою музыка всецело завладевала им, и ни о чем другом он не думал. Но вдруг вспоминал, почему она звучит в эфире, и сердце его сжималось. То на него находило уныние — и он весь ослабевал от грусти и нежности, то страшно ему становилось, то вдруг радостно. Его ждет блестящее будущее, ведь он — сын великого народа! А потом бодрость изменяла ему, и он видел себя презираемым, бездомным, безвозвратно погибшим. Жалость к самому себе растворялась в музыке, а потом закипала в душе ярость.

Близилась полночь, когда по радио грянул гимн Хорста Весселя. Нацисты заполнили улицы и дворец канцлера; Шушниг был арестован. Висла вышел из дому. Он устал от одиночества и жаждал увидеть дружеское лицо; семьи у него не было, только старик отец, но их разделяла сотня миль и пропасть между двумя поколениями. Висла зашел в три дома, где жили его друзья, но никого не застал. Он побрел дальше и почти уже в центре города столкнулся с одним студентом-медиком, который прежде помогал ему в некоторых исследованиях. Студент уставился на него во все глаза:

— Я думал, вы уехали. Почему вы не выбрались отсюда?

Висла объяснил, что у него уже есть билет, послезавтра он едет в Париж. Студент покачал головой, все так же удивленно глядя на него:

— Вы слышали, что случилось с профессором Баумгартеном? Сегодня ночью он покончил с собой, и он и его жена. Говорят, Эгон Фриделл тоже покончил самоубийством. Видели, что нацисты творят с евреями перед отелем Бристоль? Уезжайте, бегите со всех ног, пока еще можно.

— Но ведь я не... — начал Висла и умолк.

— Да, я знаю, — сказал студент. — Надеюсь, никакой ошибки не произойдет. И надеюсь, что послезавтра еще будут поезда.

Он еще мгновенье смотрел Висле в лицо, потом повернулся и быстро пошел прочь. И Висла, постояв минуту, тоже повернулся и зашагал к дому. В начале второго он уже был на Южном вокзале, а через два дня — в Париже.

Старые коллеги приветливо встретили его, засыпали вопросами, а под конец вспомнили, что для него есть письмо. Письмо оказалось от д-ра Теодора Плоута, из Колумбийского университета: он звал Вислу в Нью-Йорк, предлагая работу у себя на кафедре. «Здесь у нас и Бэйли, и Кардо, — писал Плоут. — У нас интереснейшие планы... Я уверен, вы нам очень поможете... Очень сожалею, что не могу предложить более высокий оклад...» В середине апреля 1938 года Висла уже работал в Колумбийском университете. Здесь было человек шесть ученых, приехавших из Европы, и в других американских университетах их было тоже немало,

все они повидали не меньше, чем Висла, а многим пришлось куда тяжелее; и в следующие месяцы прибывали еще и еще беженцы...

Висла достает из кармана часы. Без четверти девять. Он все быстрей барабанит пальцами по ручке кресла и со злостью смотрит на дверь. Какого черта не идет этот Плоут? Болван. Нам надо поторапливаться... Надо поторапливаться. Тут он слышит за дверью голос Плоута и вскакивает.

— Теодор! — кричит он.

Дверь открывается и входит Плоут; очень высокий, он, как многие чересчур высокие люди, старается держаться возможно скромнее и незаметнее. На вид он моложе Вислы, в действительности — на семь лет старше; глаза у него усталые, но на лице ни морщинки. На Плоуте спортивного покроя костюм из пестрой английской шерсти, и вообще он старается выглядеть спортсменом, в подражание англичанам, которыми восхищается. Притом, в спортивном костюме он выглядит еще моложе, и это доставляет ему истинное удовольствие.

— Где вы были? — сердито спрашивает Висла. — Вы что, газет не читаете? Нам нельзя терять ни одного дня.

Плоут улыбается и, перейдя кабинет, садится в кресло, с которого только что вскочил Висла.

— Ну, ничего, ничего. Не так уж все плохо.

Висла холодно смотрит на него.

— Ученые бывают разные,— говорит он,— в том числе даже администраторы и руководители кафедр. Скромные исследователи, вроде меня, не могут сделать все на свете, но разве от нас не ждут, что мы сделаем все? И даже подумаем о том, что и у науки должна быть своя политика! Вы там не были, Теодор. Рассказать вам все как было?

Висла шагал взад и вперед по комнате, театрально вскидывая голову и размахивая руками.

— Эйнштейн три недели тому назад написал письмо президенту. Но Гитлер прекратил продажу чехословацкой урановой руды уже два месяца тому назад. Что сейчас делает Вейцзекер? Что делают Гейзенберг и Ган? Видели вы в последнее время немецкие физические журналы? Что говорят газеты тому, кто умеет читать? Мистер Гитлер орет на весь свет, что проекты, относящиеся к расщеплению уранового ядра, усиленно разрабатываются. Закрываю кавычки. Когда будет передано по назначению письмо Эйнштейна? У кого оно сейчас?

— У человека, хорошо знакомого с президентом, — сказал Плоут.

— У человека, хорошо знакомого с президентом. Понимаю. А часто ли этот человек встречается с президентом? И читает ли он газеты?

— Вы его знаете, — сказал Плоут. — Это мистер Закс. Он увидится с президентом при первой возможности и, смею сказать, газеты он читает.

— Нельзя ли ускорить это дело, Плоут? Я говорю в высшей степени серьезно. Польша, может быть, и пустяк, но это, пожалуй, последний пустяк. Я был очень глуп, Плоут... Теодор... я многого не понимал... Но теперь мне ясно как день, что и в самом деле больше нельзя терять ни минуты. Кто знает, до чего уже доискались немцы? Сам Эйнштейн может только догадываться. А вы как думаете?

Минуту оба молчали; Висла стоял перед столом Плоута, и лицо у него было точь-в-точь как у студента, который ответил на экзамене и с нетерпением ждет отметки. Потом он снова заговорил:

— Может быть, все мы ошибаемся, и немцы, и все мы. Очень возможно. Может быть, ничего из этого и не выйдет. Хотя что-то непохоже.

Но чтобы доискаться до нужного результата, еще потребуются громадные усилия. Не знаю, удастся ли нам... На это нужно очень много денег и, понятно, очень много людей.

2.

В то утро Луис вышел из дома Бисканти и отправился в университет, к доктору Плоуту. Он вошел в приемную без нескольких минут десять. Ему нужно было проститься, выслушать несколько слов похвалы за проделанную работу и кое-какие советы на будущее. Деловой, но приятный визит: доктор Плоут — вполне порядочный человек, не говорит о том, чего не понимает, и — что особенно важно, если думать о будущем, — действительно старается найти подходящую работу для подающих надежды молодых людей, которым при его участии присуждена ученая степень.

— Какой он? — спросила однажды Тереза; в ту пору она лишь недавно познакомилась с Луисом и расспрашивала его обо всем и обо всех.

— В университете некоторые говорят, что за работу по рассеиванию света кристаллами он должен бы получить Нобелевскую премию. Во всяком случае, это работа из тех, которые вполне заслуживают Нобелевской. Ну, теперь ему, понятно, приходится руководить кафедрой.

— А как Плоут? — спросила Тереза недели три тому назад, когда Луис рассказывал ей о Висле, Кардо и еще кое о ком из выдающихся университетских физиков.

— Плоут — другое дело. Слово «ученый» в применении к Плоуту означает совсем не то, что в применении к Висле. Они вращаются по разным орбитам. Плоута занимает тысяча самых разных проблем, а Висла по уши погружен в одну-единственную. Плоут стоит во главе кафедры, он руководит всей научной работой. Вот почему он больше не ученый... или ученый другого типа. Любопытно знать, почему он пошел на это.

— Вероятно, из честолюбия.

— Нет, мне кажется, как раз наоборот. А чего бы ты хотела — чтобы я стал руководителем кафедры или получил Нобелевскую премию?

— У тебя будет и то и другое, — сказала Тереза.

И вот Луис сидит в приемной Плоута, как сидел часом раньше Висла, читает и перечитывает всё одни и те же газетные сообщения, слышит гуденье голосов в кабинете. Он задает секретарше Плоута тот же вопрос, что задал прежде Висла, и выслушивает тот же ответ.

— О чем они там толкуют, Лили?

— Понятия не имею.

— А ведь мне надо успеть на поезд, у меня осталось только семь часов.

— Скажите, вы очень волновались на защите, когда вам надо было выступать? — спросила Лили.

— Нет. Хотя сначала, пожалуй, было страшновато. Но потом Плоут... А какое отношение это имеет к моему нынешнему свиданию с Плоутом?

На столе у секретарши зазвонил телефон, а Луис отошел к окну, прислонился головой к раме и поглядел с пятого этажа вниз, на ровный газон лужайки; лужайку разрезали извилистые, посыпанные гравием дорожки, и Луис от нечего делать стал изучать их причудливые извивы, пытаясь найти в них какой-то определенный узор. По одной из дорожек шли двое — молодой человек и девушка: они шли рука об руку, старательно шагая в ногу. «А вы читали газеты?» — мысленно спросил их Луис. И за них ответил: «Ну разумеется. Но что же, по-вашему, мы должны делать?» Не поворачивая головы, он окликнул Лили:

— Когда же меня примут? У меня осталось только шесть часов пятьдесят пять минут.

Лили все еще разговаривала по телефону.

— Луис Сакел говорит, что у него до поезда осталось только шесть часов пятьдесят пять минут, — сказала она в трубку. Потом засмеялась и положила трубку на рычаг. Луис отвернулся от окна, и в эту минуту дверь кабинета отворилась и на пороге появился Плоут.

— Простите, Луис, я заставил вас ждать. Входите, входите.

Разговор шел главным образом о том, что теперь следует делать Луису; Плоут сидел за своим столом, Луис — сбоку, на стуле с прямой спинкой, на том самом месте, где он сиживал не раз за эти годы; Висла беспокойно ходил по комнате, изредка вмешиваясь в их беседу, а чаще молчал, занятый своими мыслями. «Что же это у него на уме? — подумал Луис. — Хотел бы я знать, о чем они тут говорили до моего прихода».

— Будь вы химиком, Луис, — говорил Плоут, — мы бы обратились к Дюпону, или к Истмену, или к Дау, или еще к кому-нибудь, и вы немедленно получили бы место на три с половиной, а то и на четыре тысячи в год. Но специалист по ядерной физике! Промышленники даже не знают, что это такое. Знаете, Эд, сколько в Америке химиков?

— Не меньше, чем в Европе воробьев, — буркнул Висла.

— Так вот, — продолжал Плоут. — Я могу предложить вам тут у нас тысячу двести долларов, Луис, и я очень хотел бы, чтобы вы согласились. Будь у меня хотя бы вакансия ассистента... Я был бы очень рад, если б вы остались у нас. Конечно, всего-навсего тысяча двести... Впрочем, вы ведь не женаты. Или, может быть, собираетесь жениться?

— Может быть, — улыбнулся Луис.

— Ну, да, — сказал Плоут. — Так что же делать молодому человеку, Эд? А это у нас не просто обыкновенный молодой человек. Это доктор физики — самый настоящий, такого не часто встретишь. С отличием окончил университет, и у нас тут проделал первоклассную работу, одну из лучших — занял третье или четвертое место, а соперников у него было немало, и тоже все не слабенькие. И воевал в придачу. Сколько времени вы пробыли в Испании, Луис? Полгода?

Луис пожал плечами:

— Четыре месяца. Да это и неважно.

— Так что же я могу для него придумать? Место лаборанта здесь у нас. Место преподавателя в Монтане — это один из наших западных штатов, Эд, — там он получит на шестьсот долларов больше. И еще кое-что в том же роде, все мелочь.

— Блаженны воробьи, они наследуют землю — так, что ли? — сказал Висла и обратился к Луису: — А почему бы вам не остаться тут?

«Мистер Висла, — хотел ответить ему Луис. — Начать с того, что я и сам не знаю, почему бы мне не остаться. Я уже два года не был дома, но разве это довод для вас, ведь вы свой дом и свою родину оставили навсегда. А я хочу съездить домой и там поразмыслить о двух вопросах мудреца Гиллеля: «Если я не за себя, то кто же за меня? Но если я только за себя, то зачем я?» Хочу снова пожить в захолустном городке, в моем городе, посидеть на пороге моего родного дома. И дам, наконец, отцу удобный случай предложить мне войти с ним в дело. Я, конечно, откажусь, и он это знает, но я должен сам сказать ему об этом. И, может быть, там, на расстоянии тысячи миль, а не протянутой руки, мне станет, наконец, ясно, почему я до сих пор не женился на девушке, которую люблю. Мне надо понять, почему я уезжаю, — и, может быть, я это пойму, когда уеду. А что до тысячи двухсот долларов — это, конечно, маловато, но не в этом суть».

Но вслух он сказал только, что уже два года не был дома и хочет побыть немного с родными и подождать — может быть, подвернется что-нибудь получше.

Висла вежливо выслушал, кивнул в знак согласия и, повернувшись спиной к собеседникам, отошел к окну.

— Прекрасно придумано, — сказал он куда-то в окно. — И почему это у разумных людей всегда являются такие разумные мысли? Дурак не уедет, он останется и на тысячу двести долларов. Если он и не получит кафедру, что ж, зато он будет открывать новые, неизвестные физические элементы. Сколько нейтронов выделит при расщеплении такой-то квадрат стекла в церковном витраже? Самое простое дело, задача для дураков.

Висла повернулся и снова зашагал из угла в угол, ни на кого не глядя.

— Ведь вот что забавно: неведомое, доподлинная неизвестность, никем еще не открытая истина всегда продается задешево. А за солидные деньги, скажем, за десять тысяч долларов она тебе и кончика ножки не покажет. За шесть, за семь тысяч разве что приподнимет юбчонку до колена — а уж большего не жди. Ничего серьезного, так только — пощекотать нервы богачу. А несчастному дураку, у которого всего-то жалких две тысячи, — если он все их готов отдать, — пожалуйста, ему откроется и округлость бедра, по крайней мере на расстоянии. Уж во всяком случае, какое-то обещание счастья. Но за тысячу двести долларов — за эти гроши, на которые едва можно просуществовать и не помереть с голоду,— бог ты мой, вот она стоит перед тобой нагая — приди и возьми!

Висла неожиданно поднял голову и пресерьезно посмотрел на Плоута, потом на Луиса. И вдруг громко захохотал, быстро подошел и похлопал Луиса по спине:

— Ну, ну, не сердитесь! Я пошутил!

Он еще посмеялся, потом умолк и опять отошел к окну.

— А впрочем, все верно, — сказал он.

Луис не знал, что ответить. Ну и наговорил! И не так смешно это слушать, скорее досадно. Он поежился и вопросительно взглянул на Плоута.

— Мистер Висла хотел бы получить авансом несколько сот тысяч долларов для разработки кое-каких милых его сердцу проектов, — пояснил Плоут. — Такие деньги сразу не достанешь, вот он и принялся восхвалять бедность. Это явление нередко наблюдается среди религиозных мистиков, разочарованных физиков, австрийцев и прочих им подобных.

Висла промолчал.

— И притом он хочет выиграть войну, в которой мы еще не участвуем, — прибавил, вставая, Плоут.

Висла пожал плечами и буркнул что-то невнятное.

— Вы — старый вояка, Луис, как, по-вашему: это уже начало? — спросил Плоут.

— Думаю, что да, — сказал Луис.

— Ха! — насмешливо отозвался Висла.

— Вы думаете, Англия будет воевать? — допытывался Плоут.

— Думаю, будет.

— И что тогда?

Висла повернулся к ним со словами:

— Понимаете ли, этот болтун спрашивает, захватит ли и нас — то есть вас — эта война? Вмешаются, по-вашему, американцы?

Что же тут все-таки кроется? — подумал Луис. Это все только отголоски, а где же суть? Они тут, видно, крупно поспорили о чем-то, а он попал в самый разгар стычки, и теперь неизвестно, как держаться и что сказать.

— Да, — ответил он Висле, — мне кажется, все говорит за то, что Соединенные Штаты вмешаются...— И, чуть помолчав, прибавил: — Возможно, тем самым решится и моя судьба.

Плоут как бы смахнул это замечание со счетов, а Висла словно и не слышал.

— Конечно, вы можете вмешаться слишком поздно, — сказал он. — Конечно, может оказаться, что даже и сейчас уже слишком поздно. Вероятно, мы должны сказать за это спасибо неким весьма благодушным людям, которых не стоит называть по имени?

И он чопорно поклонился Плоуту и при этом улыбнулся. Трудно было понять, прикрывает ли он насмешку злостью или злость — насмешкой.

— Вы умница, мистер Саксл. Сам Плоут это говорит. Да я и так это знаю. Кроме того, он только что сказал, что вы воевали в Испании. Этого я не знал. Вы что же, так прямо и поехали туда добровольцем, а?

Нет, объяснил Луис, не совсем так. Сразу же по окончании университета он поехал в Барселону, на одну научную конференцию: дед оставил ему в наследство немного денег, чтобы он мог пополнить свое образование, счел он нужным пояснить. И вот, пока он был в Барселоне, разразилась гражданская война. Он остался в Испании, надеясь быть там полезным, но что касается серьезного участия в боях...

— Да, да, понятно, — сказал Висла. — И вы, конечно, видели там немцев.

— Нет, не видал.

— Не видали! — воскликнул Висла с такой злостью, что Луис невольно засмеялся.

Нет, он не видел в Испании ни одного немца, но много слышал о них и видел немецкие самолеты — их-то там было сколько угодно.

— Ладно, хватит и этого, — сказал Висла. — Так какое ваше мнение, мистер Саксл? Допустим, германские войска вступили в Польшу, прошли по Франции, потом захватили Англию — неважно, каким именно способом, тут все возможно — вторжение, капитуляция, бомбежка... тем самым Германия завладеет всей Европой, так? И предположим, что в руках у нее появится средство, при помощи которого она могла бы разгромить Америку тоже. Как, по-вашему, станет она колебаться или возьмет да и пустит это средство в ход?

Что за нелепость, подумал Луис, зачем надо было громоздить всю эту цепь предположений, чтобы прийти к тому, что с полной очевидностью вытекает из всех недавних событий. И почему я оказался в центре такого внимания? Но Висла задал свой вопрос серьезно, торжественно, чуть ли не с дрожью в голосе, и Луис ответил без обиняков:

— Думаю, что она не будет колебаться ни минуты. Она нападет на любое государство, которое станет ей поперек дороги.

— Весьма вам признателен за ясный и недвусмысленный ответ, мистер Саксл, — и Висла отвесил низкий поклон. — Между нами говоря, все это совершенно очевидно. Кстати, а вы не знакомы с президентом?

— Так как вся ваша ирония обращена против меня, разрешите поблагодарить вас за это представление, — вдруг сказал Плоут. Потом добродушно рассмеялся: — Бросьте, Эд, успокойтесь, мы все вас нежно любим. А вы, Луис, вот что... вы не воображайте, что война — это конец вашей работе. — Он обнял Луиса за плечи; теперь все трое стояли. — Вы молодчина, милый друг, знаете? Просто молодчина! Слышали бы вы, Эд, как он защищал диссертацию — кстати, почему вы не бываете на защитах? Ну, неважно. Так вот, Бэйли заставил этого молодого человека рассказать о поглощающем эффекте при подсчете мягких бета-частиц, и он блеснул на славу. Потом старик Мак-Грегор... я подозреваю, что он ни черта не смыслит в этих вещах... словом, он задал вопрос о конечных точках, и Луису пришлось вдаться в самые элементарные объяснения. Старику просто хотелось показать, что и он не зря тут сидит.

Плоут добродушно посмеивался и, все еще обнимая Луиса за плечи, зашагал с ним по кабинету; они шли в ногу, и Луису вспомнились юноша и девушка на дорожке внизу под окном.

— Видели бы вы физиономию Мака, когда Сакел ему отвечал! Я и сам с трудом мог уследить за его объяснениями. Ему довольно было бы и десяти слов, а говорил он добрых десять минут. Никогда я не слыхивал от него таких длинных речей, но ведь известно, что́ творится с людьми на защите. Короче говоря, у вас есть голова на плечах, милый друг, отличная голова, ее жалко терять. На вашем месте я в точности так и поступил бы, как вы хотите. Посидел бы немного дома, собрался бы с мыслями... Это просто необходимо, если у вас есть такая возможность, и весьма желательно, если даже у вас ее нет. А я, с вашего разрешения, еще немного для вас постараюсь. Тут, может быть, получится одна штука... особенно если вам не слишком к спеху... вы ведь не в таком положении, чтобы хвататься за любую работу? Так вот, может быть, получится одна штука... Не теряйте со мной связь, ладно? Не предпринимайте никаких шагов, пока не спишетесь со мной.

Плоут снял руку с плеча Луиса и отступил на шаг.

— Ну, Луис...

Они пожали друг другу руки.

Луис и Висла вышли из кабинета вместе. Но Луис задержался, чтобы попрощаться с Лили, а Висла, не сказав ни слова, прошагал дальше, в коридор. И уже поворачивая к столу секретарши, Луис подумал — не пойти ли с Вислой? Висла замечательный человек. И не так уж это обязательно — прощаться с Лили. Но он тотчас устыдился такого снобизма и, искупая свою вину, до того уж неофициально распрощался с секретаршей, что она от изумления широко раскрыла глаза. Он крепко потряс ее руку, послал ей воздушный поцелуй и, вдруг сообразив, что еще может догнать Вислу, кинулся к двери. Висла стоял за дверью.

— Вот что я думаю. Вы домой поедете через Чикаго, да? Вы ведь из Иллинойса?

— Да, я...

— Вы, конечно, знаете Неймана?

— Да, то есть мне, разумеется, знакомо это имя.

Висла кивнул, словно утвердясь окончательно в какой-то своей мысли.

— Ну разумеется. Так вот, когда будете в Чикаго, зайдите к нему. Скажите, что это я вас направил. Надо полагать, ему известно кое-что получше этой вашей Монтаны. Итак...— Висла осклабился, поклонился и протянул руку, — всего наилучшего!

Он повернулся и быстро пошел по коридору. Луис медленно двинулся следом.

С пятого этажа, из окна своего кабинета, Плоут видел, как Луис вышел из дверей и пересек лужайку. Но думал Плоут в это время о Висле и обо всем, что с ним связано; гладкое, без единой морщинки лицо его оставалось неподвижным, а под этой гладкой поверхностью, в мелководье сознания беспорядочно кружились, разбегаясь и снова сходясь, выброшенные течением обрывки, обломки мыслей:

...что за ребяческую сцену он разыграл! Вреда от этого не будет, я полагаю, но пользы уж наверно никакой...

...и ведь сам больше всех заинтересован в том, чтоб эта затея с ураном не просочилась наружу. Сам же говорит: ни слова, никаких сообщений в печати...

...положим, газеты и так болтают об этом по милости Жолио-Кюри с его статьей. Любой школьный учитель теперь может разобраться в этих вещах, если только пожелает...

...экий безобразный крик поднял Висла из-за того, что Жолио опуб-

ликовал эту статью... да и не один Висла. Разумеется, Жолио имел полное право ее напечатать...

...интересно знать, верно ли, что он даже сильнее в физике, чем была его теща. Кто-то уверял, не помню кто, будто Эйнштейн сказал, что Лиза Мейтнер тоже более крупный физик, чем Мари Кюри. Может быть, он это и говорил, не знаю, не слыхал...

...милое имя — Лиза...

...Резерфорд — вот кто был настоящий гигант. Что за человек! Стране, которая способна была породить Резерфорда и Ньютона, да и Черчилля, никакая опасность не страшна!

...англичане знают на этот счет больше нашего, а немцы, наверно, больше всех. Висла, конечно, не зря волнуется...

...впрочем, и у нас есть неглупые люди, не хуже того же Вейцборна. Оттобергер — первоклассный физик, но при всем том он чванливый осел. Впечатление производит, но симпатий отнюдь не вызывает...

...Висла хочет невозможного. По-моему, никто еще не добыл больше микрограмма урана-235, а он говорит о фунтах...

...он очень способный человек. Все эти немцы, австрийцы, венгры — их можно понять. Хотел бы я только знать, в какой мере в нем говорит физик, а в какой — человек, которому пришлось покинуть родину. Наверно, это не так-то легко дается. По правде говоря, мне бывает очень даже не по себе с этими эмигрантами...

...и потом, нам нужны тонны замедлителя, идеально очищенного, без всяких примесей, иначе нечего и приступать к цепной реакции.

...$93^{239} \longrightarrow 94^{239} + \beta$; Z^2/A, при этом достаточно велик. Хотел бы я знать, прав ли Бор. А что если практически это верно только для микроскопических количеств вещества?

...если то, если это, если бы да кабы... Если Германия поступит так, а Англия этак, и если — самое главное «если» — цепная реакция, ведущая к взрыву, действительно возможна... Все это очень возможно, но, господи боже ты мой, как он разговаривает, этот Висла!

...да, уж эти мне эмигранты. Иногда командуют, как будто они здесь хозяева, а иногда жалки, как жалок бездомный пес. Наверно, это не так-то легко дается...

...но они знают свое дело, черт побери. Старик Мак-Грегор вдвое старше, а куда ему до Вислы. А ведь Мак-Грегор талантливей всех в Чикаго, кроме Неймана...

...моя беда в том, что я могу только чувствовать, какими путями идет физика за последние десять-двенадцать лет, но не могу придумать ничего нового; беда в том, что как физик я никогда не мог подняться выше заурядных математических расчетов. У меня попросту нет вкуса к теоретическим построениям. А может, и уменья не хватает...

...есть в этих построениях особая суровость — она воспламеняет умы определенного склада. Есть экономность и даже красота, а вот здравому смыслу здесь нечего делать. Как сказал Уайтхед, кризис в физике тем и объясняется, что теория опередила здравый смысл, — а он знает толк в этих делах.

...но дело не только в складе ума. По крайней мере, у американцев нет надежды достигнуть чего-либо в области теоретической физики, — разве что у тех, кто в основном учился уже после 1925 года и кому теперь не больше тридцати пяти. А настоящий гений обычно дает о себе знать, когда ему еще и тридцати нет...

...до мировой войны в Америке вообще не существовало теоретической физики, разумеется, если не считать работ старика Гиббса, а великие теоретические открытия еще и сейчас приходят к нам из-за границы...

...их привозят такие вот кабинетные теоретики, как Висла, а здесь их подхватят мальчики вроде Саксла, если только мы не ввяжемся в войну, а тогда нам всем придется стать экспериментаторами и механиками...

...вот тут американцы на высоте. Полученные нами Нобелевские премии почти все достались экспериментаторам. Впрочем, Оппенгеймер из университета в Беркли, кажется, действительно первоклассный теоретик. А вот Нобелевскую получил в нынешнем году Лоренс за чисто экспериментальную работу. Любопытно, как они это проделывают там, в Беркли...

...теоретическая возможность взрывной реакции производит огромное впечатление, но тут потребуется черт знает сколько самой обыкновенной механической работы. Кажется, довольно мухе проползти по стене — и все взлетит к дьяволу, даже оглянуться не успеешь...

...нагрев — может быть, но взрыв... возможно — вероятно — едва ли возможно — невозможно...

...на что можно надеяться... Эйнштейн установил свой закон тридцать пять лет тому назад, но Чедвик обнаружил нейтрон только семь лет назад...

...конечно, Резерфорд предвидел это...

...Эйнштейн говорит, что бомба — как это он выразился? — представляется ему возможной... По правде сказать, я в этом сомневаюсь, а Висла, в сущности, чудак. Даже Рузвельт не выложит такие огромные деньги на подобную затею. Не представляю себе, что думали в морском министерстве, когда Ферми пытался предложить им этот проект: чисто интеллигентская затея; очень интересно, держите нас в курсе; и не дали ни гроша.

...Ферми удивительный человек, необыкновенный. Висла тоже — но что он говорит!

...для мальчишки, который способен шевелить мозгами, вполне законно и естественно увлекаться детским конструктором,— сказал Висла,— но для взрослого человека, способного шевелить мозгами, не такое уж законное и естественное занятие — варить пластмассы. Почему это меня так взбесило?

...я слышал, Бэйли сказал тому члену правления, как бишь его, почти что то же самое, но старик ничего не понял...

...Висла слишком горячится...

...миллионная доля грамма, черт, скорее стомиллионная...

Такие мысли подскакивали и кружились на мелководье сознания Плоута, когда он вновь остановил взгляд на Луисе. Луис стоял посреди лужайки и оглядывался по сторонам. Талантливый мальчик, подумал Плоут, и очень славный. Если из этой затеи и впрямь что-нибудь получится, нам нужны будут сотни таких, как он. Пожалуй, я мог бы добиться для него места ассистента, но, черт возьми, пришлось бы нажимать изо всех сил, а когда мне с этим возиться? Если бы еще он не был еврей да вдобавок замешан в испанскую историю...

Стоя посреди лужайки, Луис поднял глаза, увидел в окне Плоута и махнул ему рукой. Плоут помахал в ответ, улыбнулся и кивнул, и смотрел вслед Луису, пока он не завернул за угол и не скрылся из виду.

3.

Тереза надела розовое платье с пышным рюшем у ворота и широкополую соломенную шляпу. Она стоит одна на улице против ресторана, где они с Луисом условились встретиться в час дня, а теперь уже ровно час. В воздухе больше не чувствуется духоты, он полон свежести, как несколько дней назад, когда они были на Всемирной выставке. Тереза стоит на оживленной улице, в нескольких минутах ходьбы от вокзала. Надо бы

войти в ресторан, но Терезе нравится это оживление и толчея, и она стоит на виду у всех, радуясь обращенным к ней взглядам, и так смотрит на проходящих мужчин, что они не могут не улыбаться ей. Она не замечает Луиса, пока он не оказывается рядом с нею, — тогда она обеими руками пригибает к себе его голову и целует его и смеется над его смущением.

День сегодня особенный, и во время завтрака они спрашивают шампанского и пьют за здоровье друг друга, пьют весело, и каждый рад, что другой не пытается высказать вслух то, о чем говорит поднятый бокал. Луис рассказывает, как мил и любезен был Плоут, и пробует наглядно изобразить Вислу. Они гадают, о чем это могли спорить Висла с Плоутом, а тем временем веселье понемногу стихло и медленно, по капле ушло, просочилось меж пальцев.

Прошло уже около часу, а ресторан почти пуст; кроме Терезы и Луиса, тут еще только трое мужчин у стойки, возле выходной двери. Сидя в глубине, Луис и Тереза слышат жужжанье их голосов — говорят больше о бейсболе и немного о войне, — привычные стертые слова и все на одной ноте, совсем как бусы, нанизанные на одну нитку. Тереза сидит молча, только и отдается в ушах это однообразное бормотанье, доносящееся с другого конца длинной комнаты, и понемногу ею овладевает безотчетный ужас.

Но спустя некоторое время они выходят на улицу — шум, движение и толкотня охватывают их и освежают, точно душ. Они снова могут без труда и напряжения говорить о пустяках, они изучают витрины магазинов; долго смотрят, как в окне «морской» закусочной человек открывает устрицы; громко и дружно кричат, когда над ними с грохотом проносится поезд надземной дороги; идут под руку, держась все ближе, все в новом ритме сжимая руки, и на ходу каждый все время, всем своим существом чувствует рядом другого, любой его шаг, любое движение.

С полчаса они ходят по улицам вокруг вокзала, но все еще только половина четвертого. Нельзя было хуже придумать, как провести этот день: до поезда целых полтора часа, за это время их натянутые нервы не выдержат напряжения и сердца устанут биться слишком сильно. Нет, это не может продолжаться еще полтора часа — но ни Тереза, ни Луис не умеют придумать ничего другого. И вот они ходят по улицам, останавливаются у витрин, разглядывают автомобили и ручные часы, белье и книги, смотрят, отворачиваются и идут дальше, и говорят какие-то слова, которые опять подбираются с трудом и лишены всякого смысла. Они больше не встречаются взглядами, руки уже не так тесно сплетены, едва соприкасаются, но и этого довольно, и волнение не отпускает их. На каком-то перекрестке Тереза раньше времени сходит на мостовую — и Луис, не сводя глаз с надвигающегося автомобиля, рывком отдергивает ее назад и поворачивает к себе. Он чувствует на миг ее упругую грудь; губы Терезы приоткрылись, запрокинув голову, она целует его. Десятки пар глаз обращены на них, и Луис снова смущен, но в нем говорит не одно смущение, и на минуту они застывают, не в силах сделать ни шагу. Окружающие не знают, как отнестись к этой сцене; эти двое слишком явно захвачены страстью, над ними так просто не посмеешься. Одни глазеют на них, другие отворачиваются, перекресток совсем сбит с толку.

Они могли бы пойти и снять комнату в каком-нибудь отеле, но оба неопытны в таких делах. И в четверть пятого они уже на вокзале, измученные телом и душой, почти злые, и каждый в отчаянии пытается найти хоть какое-то спасительное слово или жест, чтобы все не кончилось вот так, раздражением и усталостью. Они прислушиваются к заполняющей вокзал толпе в надежде ухватиться за что-нибудь извне, за какой-нибудь загадочный и бессмысленный обрывок чужого разговора, — быть

может, неведомо кем оброненное слово поможет им вновь прояснить свои собственные чувства. Но они слишком погружены в себя, случайное слово уже не дойдет до них, а если и дойдет — не поможет.

В половине пятого отъезжающие начинают собираться у выхода к поезду, которым уедет и Луис, и они с Терезой идут в камеру хранения за вещами. У Луиса два чемодана, он несет оба, в руках у Терезы — газеты, журналы и большой пакет обсахаренных кукурузных зерен, которые она ему купила шутки ради. Они присоединяются к остальным. Вскоре двери распахиваются, и толпа медленно выливается из-под сводов огромного вестибюля через узкий проход на перрон, где под низко нависшей крышей мирно ждут поезда. Тереза должна бы остаться за дверьми, но она так мило спрашивает контролера, нельзя ли ей пройти, что он, понимающе улыбнувшись Луису, пропускает ее. От этой маленькой сценки, несложной, но вполне законченной, обоим становится легче. Понемногу Терезу и Луиса охватывает возбуждение, всегда нарастающее в толпе, и вид поезда, вытянувшегося вдоль платформы, наконец заставляет их отвлечься от мыслей о том, как все у них усложнилось и запуталось, ибо, попросту говоря, уже нет времени в этом разбираться.

Они отыскивают нужный вагон, кладут вещи Луиса на место и опять выходят на платформу, курят, разглядывают других пассажиров и негромко переговариваются — все о каких-то пустяках. Тереза расправляет ему галстук, он приглаживает ее волосы, выбившиеся из-под широкополой шляпы. Потом целует ее, крепко прижав к себе; а потом пассажиров просят занять места, и люди поспешно проходят мимо Терезы и Луиса в вагоны.

— Возвращайся скорее, милый,— шепчет Тереза.

Так они расстались.

4.

Поезда, отправляющиеся на Средний Запад с нью-йоркского Центрального вокзала, первые сто двадцать пять миль идут прямо на север, по низкому и ровному берегу реки Гудзон. Из окон, выходящих на запад, видна река, и на другом берегу — сначала величавые крутые склоны Палисейдс, а за ними более мягкие очертания Кэтскиллских гор (где некогда, по свидетельству Дарвина, бродили огромные быстроногие волки); за окнами раскрывается деятельная жизнь реки, покрытой баржами, парусниками и грузовыми судами, на берегу тут и там жмутся друг к другу городишки, во множестве раскинулись большие имения, а порою промелькнет и настоящий дворец. Эта часть пути больше всего радует глаз, но житель Среднего Запада, возвращающийся домой, полагает, что его путешествие еще и не начиналось, пока эти места не останутся позади и поезд, повернув на запад, не пересечет реку, чтобы пуститься в глубь материка. Расписание для скорых поездов составляется так — по крайней мере, составлялось прежде,— что в долгие летние дни они оказываются у поворота на запад как раз в сумерки. Они обычно немного задерживаются у моста и затем неторопливо проходят по нему, устремляясь из дня в ночь, с северовосточной окраины страны на ее огромные просторы. Тут поезд сразу же останавливается в Олбэни, и путешественник может выйти и размять ноги или, высунувшись в окно, смотреть, как все ярче разгораются в густеющей тьме огни города. Словом, кто давно не бывал на Западе, тот именно здесь, в Олбэни, впервые вновь чувствует себя дома — и все, что он видит, слышит, ощущает в воздухе, ему родное.

В ту самую минуту, как поезд загремел по мосту, Луис наконец отыскал себе место в переполненном вагоне-ресторане. Было уже около

половины восьмого, но в Джорджтауне, на девятьсот миль западнее, до захода солнца оставался еще час, и Луис подумал, что его родные сейчас тоже садятся обедать. Они уже, конечно, получили его телеграмму, и сестренка Либби так и сыплет вопросами. Забывшись, он неподвижным взглядом смотрел в окно, на вокзальную платформу; через стекло слабо доносился грохот багажных тележек, крики продавцов, шипение пара, но гораздо явственней Луис услышал голос отца: «Ну, что, сынок, не так уж плохо дома, а?» И голос матери: «Вот если бы он мог остаться с нами... конечно, я понимаю, он не может, но...»

В Джорджтауне мистер Бенджамен Сакслер запер свою контору на лесном складе, постоял минуту, глядя вокруг, потом спустился с трех ступенек крыльца и медленно пошел по улице; до дому надо было пройти кварталов семь. Старик Сакслер шел по улице и думал о торговле лесом, о предстоящем приезде сына, о последних новостях с театра военных действий и о том, что сегодня будет на обед. По дороге он здоровался с многочисленными друзьями и знакомыми — одни, как и он, возвращались домой после рабочего дня, другие сидели на крылечке или поливали газон перед домом. Они поздравляли его с успехами сына, потому что все прочитали коротенькое сообщение, которое составила его жена, а сам он передал по телефону в редакцию местной газеты. Потом они переставали улыбаться и перекидывались с ним двумя-тремя словами о войне; почти все были того мнения, что война кончится прежде, чем Соединенные Штаты окажутся втянутыми в нее; хорошо это или плохо и чем вообще все кончится, Бенджамен Сакслер и его собеседники не очень задумывались, ведь отзвуки, долетающие через моря и океаны, куда менее ощутимы в воздухе прерий.

Старик Сакслер шел дальше, и люди, глядя на него, думали, что он хороший человек и заслуживает того, что у него вырос такой хороший сын, с большим будущим, и им приятно было смотреть на его крепкую фигуру и спокойное приветливое лицо, которое только слегка обрюзгло в его пятьдесят слишком лет. И они говорили:

— А ведь он и словом не обмолвится о том, что сделали с евреями в Германии.

— Верно, и я от него ничего такого не слыхал.

— И все-таки это его, должно быть, угнетает. Должно быть, страшно об этом думать, если ты и сам еврей.

— Бен Сакслер очень хороший человек. Хоть и не еврею впору.

Но его это не так уж угнетало. Именно потому, что об этом страшно было думать, он и не думал. Жена его думала. Он знал, что она посылает деньги разным нью-йоркским организациям, участвует в сборах и пожертвованиях, но редко говорил с ней на эти темы. Как и все, он считал, что Гитлер — изверг и чудовище, и очень сочувствовал живущим в Европе евреям, чехам, а теперь и полякам. Но за далью он лишь смутно различал эти события, не представлял себе ни размеров эпидемии, ни ее опасности, и евреи были ему не ближе, чем поляки. В этом он походил на своих соседей, им лишь казалось, что он должен быть другим.

Он раскланивался со знакомыми, улыбался им и, как всегда, ощущал тихое довольство этого часа, когда по мирной улице сходятся к дому все члены семьи. За квартал от дома он увидел дочь,— яростно нажимая на педали велосипеда, она неслась ему навстречу. Черные волосы ее развевались, руки и ноги покрывал смуглозолотистый загар, который красиво оттеняли ослепительно белые трусы и оранжевый свитер. Ей минуло четырнадцать, но можно было дать и все шестнадцать, а держалась она, порой, совсем как взрослая, ибо ее бурному воображению казалась слишком

пресной их небогатая событиями жизнь. Сегодня у себя в комнате, перед зеркалом, знавшим ее наизусть, она репетировала роль нежной сестры своего брата,— и у этой роли появились оттенки, которые скорее подошли бы для возлюбленной. Но сейчас, на улице, она просто радовалась приезду брата да больше обычного нежничала с отцом, чьими достоинствами ради такого торжественного дня особенно восхищалась. Она еще издали крикнула ему, что только минуту назад пришла телеграмма от Луи, маме передали ее по телефону. Луи будет дома ровно через двадцать один час — это она сама подсчитала! Она соскочила с велосипеда и, ведя его за руль, танцующей походкой пошла впереди отца к дому.

В этот вечер, когда была перемыта и убрана посуда после обеда, семейство Саксл собралось на веранде, шедшей вдоль фасада и огибавшей дом. Здесь, к углу веранды, были подвешены на цепях качели, тут же стояли несколько плетеных кресел, маленькие столики, подставки для цветов; больше на веранде ничего не было, если не считать велосипеда Либби, сломанной качалки, ждущей, когда ее наконец починят, да в стороне сложены были кое-какие садовые инструменты. Мистер Саксл первым вышел на веранду, придвинул к себе самое большое кресло, постоял, глядя вдоль улицы, потом подтянул на коленях брюки и сел. Через несколько минут появилась Либби, на сей раз тихая и задумчивая; она держала на руках котенка, ласково гладила его и что-то ему нашептывала. Она села на край качелей и уставилась в потолок. Уже почти стемнело. Где-то на другой веранде хлопнула стеклянная дверь, на миг донеслись чьи-то голоса. Из дома вышла миссис Саксл, постояла минуту на пороге, потом быстро пошла к качелям. Она была крупная, рослая женщина, выше и плотнее мужа; маленькие ноги, стройные и тонкие в щиколотках, казались слишком хрупкой опорой для такого большого тела и придавали движениям женщины своеобразное неловкое изящество. Она наклонилась к дочери, погладила котенка и села, сложив руки на коленях.

Мимо прошел подросток, коротко, вопросительно свистнул. Либби повернула голову в его сторону, но ничего не сказала.

— Что это за мальчик прошел? Кажется Армстронг?— спросила мать.

Либби пожала плечами.

— Луи пойдет на войну?— в свою очередь спросила она.

— Боже упаси! Надеюсь, что нет. Не думаю. Надеюсь, у нас никому не придется идти.

Мать вздохнула, пошевелилась, качели скрипнули.

— Может быть, через год его убьют,— сказала Либби.

— Либби! Не смей так говорить!

— А что, могут убить, если он пойдет на войну.

Отец приподнял руку — движение почти не было видно, скорее угадывалось в темноте.

— Он не пойдет на войну, детка. Через год война кончится.

— Один раз он уже воевал.

— Тогда было совсем другое дело. В сущности, он не...

— И его ранили,— сказала Либби.

— Да...— отец чиркнул спичкой и зажег сигару, которую все время держал в руке. Огонек осветил и лицо миссис Саксл; слегка выпятив нижнюю губу, сочувственно и немного растерянно смотрела она на мужа.— Да, его ранили,— подтвердил мистер Саксл.

Минуту все молчали, думая о том, что Луи был ранен; алел в темноте огонек сигары, поскрипывали качели. Либби опустила котенка на пол; он постоял у ее ног, не зная, как быть дальше, потом, грациозно переступая лапками, сделал несколько шажков и свернулся в клубок под качелями.

— Я никогда не видела покойника, — сказала Либби каким-то отрешенным голосом.

— Да что с тобой сегодня?— рассердилась миссис Саксл.— Брат завтра приезжает домой, а ты уже его похоронила! И что это на тебя нашло? — с досады она повысила голос, потом продолжала спокойнее: — Такой чудесный день, хороший обед... нам всем было так весело, особенно тебе... и вдруг — война, смерть. Ах, Либби, Либби! Не будем говорить об этом, не надо сейчас об этом говорить. Поговорим лучше о том, что будет завтра и что надо сделать. Господи боже, у нас столько дел на завтра — и у тебя не меньше, чем у других, имей в виду.

Она замолчала. Либби не шевельнулась, не произнесла ни слова. Неожиданно мать сказала:

— А кроме всего, ты уже видела покойника. Твоего дедушку.

— Нет, не видела. Я на него не смотрела.

Мистер Саксл опять слегка приподнял руку.

— Ну, дорогая, вот уж это совсем лишнее.

Жена засмеялась мягким грудным смехом: ну да, конечно, наговорила лишнего. Либби расхохоталась. И они стали строить планы на завтра. Либби испечет печенье. Может быть, устроить небольшую вечеринку? Пригласить друзей Луиса? Чего бы ему самому хотелось? И что еще можно придумать?

Мимо прошла девушка, остановилась, потом направилась к веранде.

— Вы дома? Можно к вам? Скажите, это правда, что написано в газете?

С нею приветливо поздоровались. Саксл поднялся, потом опять сел в кресло. Либби взяла гостью за руку.

— Приятно на тебя посмотреть, Элис,— сказала миссис Саксл.— Луи будет в восторге. Какая она хорошенькая, правда, Бен? Ну, ну, ты и сама это знаешь. И Луи всегда был того же мнения. А как мама поживает?

Да ничего, спасибо, мама очень занята, у нее столько хлопот. Им хотелось бы устроить обед в честь Луи, только захочет ли он? Как думают миссис и мистер Саксл, надолго он приезжает?

— Прямо страшно, знаете,— сказала она под конец.— Он ведь теперь ученый. Даже не знаю, как я буду с ним говорить.

Позже, когда они остались вдвоем, миссис Саксл спросила мужа:

— Ты уверен, что мы не ввяжемся в эту войну?

Он стал объяснять, почему он в этом уверен, но доводы его были не новы для миссис Саксл и нисколько ее не убедили.

— Я совсем разочаровалась в этих русских. Несмотря ни на что, я думала... а теперь неизвестно, что и думать. Я так боюсь за Луи... и за всех них боюсь, Бен. Они совсем дети. А вдруг война еще надолго, и она коснется...

Она была уверена, что так и будет, но мужу нечего было сказать на это — и она не стала спорить. Многое вот так оставалось недосказанным между ними, но она уже к этому притерпелась.

— Не представляю себе, какие у него планы, он об этом ни слова не пишет,— заметил мистер Саксл, уклоняясь от дальнейших разговоров о войне.— Хорошо бы ему прочно осесть и устроиться. Но боюсь, в Джорджтауне...

Нет, мистер Саксл не знал, какие у Луи планы. Ведь сын вырос вдали от него. И чем вообще занимается доктор физики? Преподает? Но захочет ли Луи быть учителем? И устроит ли его такой заработок? А если нет? Может быть, он все-таки войдет в отцовское дело? Надо будет поговорить с ним, и поскорее. Что-то он скажет?

— А может быть, его возьмут в университет штата? Говорят, при новом ректоре другие порядки. Когда-то у меня был там знакомый...

а впрочем... Однако становится уже поздно,— сказал в заключение мистер Саксл.

Он поднес к глазам часы и старался разглядеть их при свете лампы, падавшем из окна гостиной.

— Половина одиннадцатого... ну что ж...

Он поднялся и подошел к жене. Зевнул, почесал бок, постоял, глядя на нее сверху вниз, потом ласково потрепал ее по щеке.

— Пойдем?

В гостиной миссис Саксл включила радио, покрутила ручку. Но последние известия еще не начались, доносились обрывки музыки, пение, речь, смех...

— Сколько еще до известий? — спросила она.

Муж снова посмотрел на часы:

— Шесть минут... нет, семь.

В глазах его не было ни искорки интереса, и она выключила радио.

— Утром послушаем.

— Да,— повторил Саксл.— Послушаем утром.

Когда поезд ушел, Тереза побрела по 42-й улице, одинокая и несчастная, не зная, куда себя девать. В конце концов она пошла в кино и сидела неподвижно, почти не глядя на экран, где сменяли друг друга детектив, хроника и мультипликация. Снова оказавшись на улице, она вспомнила, что надо бы пообедать, собралась зайти в ресторан, но тут же раздумала и подошла к киоску, где торговали горячими сосисками. Несколько минут она следила за электрическими буквами, бегущими по карнизу здания «Таймс»: непрерывно сменяющиеся световые строчки сообщали о продвижении германских войск в Польше, о заседаниях английского кабинета, о состязаниях в бейсбол и о погоде. Мало что дошло до сознания Терезы, а то, что дошло, только повергло ее в еще большее уныние. Какой-то прохожий заговорил с нею — и она улыбнулась и не оборвала его, до того ей было тоскливо; он оказался совсем желторотым птенцом, мямлил, не находил тем для разговора; огорошенный ее безучастностью и не встречая поощрения, он отстал от нее, а она, кажется, этого и не заметила. Потом в глаза ей бросилась огромная реклама фильма «Грозовой перевал», и она вдруг решила, что пойдет домой и перечитает роман Эмили Бронте. С полгода назад они читали его вместе, понемногу, на сон грядущий.

Дома она, не зажигая огня, подсела к окну и долго сидела, глядя на улицу. Потом разделась, отыскала книгу и легла у самого края дивана, словно оставляя место для Луиса. Но слова скользили мимо сознания или вновь и вновь отдавались в мозгу, ничего ей не говоря. Она небрежно листала страницы, то забегая вперед, то возвращаясь к началу, в поисках места, на котором задержалось бы внимание. И вдруг ей попались на глаза страшные строки:

«Я ощутил в своей руке чьи-то тоненькие пальцы, они были холодны как лед! Безмерный ужас, ужас кошмарного сна, охватил меня; я попытался отдернуть руку, но ледяные пальцы не выпускали ее, и бесконечно печальный голос, в котором звучали слезы, произнес: «Впустите меня в дом... впустите...» — «Кто ты?» — спросил я, все еще стараясь высвободить руку. «Кэтрин Линтон! — отвечал дрожащий голос. — Я пришла домой; я заблудилась в зарослях вереска». И тут я смутно различил лицо девочки, заглядывающей в окно. Страх сделал меня жестоким: видя, что я не в силах вырваться от страшного создания, я прижал кисть ее руки к краю разбитого стекла и дернул несколько раз вверх и вниз, так что кровь брызнула и полилась на белые одежды. Но пла-

чущий голос все повторял: «Впустите меня!», и цепкие пальцы по-прежнему сжимали мою руку. Я едва с ума не сошел от страха. «Как же мне тебя впустить? — сказал я наконец.— Сначала отпусти мою руку, если хочешь, чтобы я открыл дверь». Пальцы разжались, я торопливо отдернул руку и заткнул уши, чтобы не слышать стенаний, доносящихся через разбитое стекло. Так прошло, наверно, не меньше четверти часа, но когда я отнял руки и прислушался, жалобный плач все еще не умолкал. «Уходи прочь! — крикнул я. — Я не впущу тебя, даже если ты будешь просить двадцать лет!» — «Двадцать лет прошло,— отозвался скорбный голос. — Уже двадцать лет я не нахожу пристанища...»

Читая, Тереза так крепко стиснула книгу в руке, что пальцы ее онемели. Любовь, одиночество, жалость к себе, приступ истерической злости — все взметнулось в ней как вихрь, голова кружилась. Она уронила книгу и залилась слезами.

Потом она встала с дивана и села к столу. Прежде, вся во власти тоски и одиночества, она не в силах была писать Луису, но теперь, выплакавшись, как будто ожила и принялась за письмо.

«Как же мне назвать тебя? — писала она. — Ведь за все дни и ночи, что мы были вместе, нам никогда еще не приходилось переписываться, и это — мое первое письмо. Милый?! Может быть, так и назвать тебя, словно ты здесь, со мной? Но если б ты был здесь, разве я остановилась бы на этом? Мои руки сказали бы тебе, что я думаю и чувствую, и я охотнее доверила бы это твоему телу, чем глазам. Целая вечность прошла с тех пор, как ты уехал, и впереди еще целая вечность, даже если это считаные дни. Хочешь, я буду описывать день за днем, как я живу без тебя? О чем тебе писать, чего тебе хочется?»

Она исписала несколько страниц, часто останавливаясь, чтобы перечитать написанное или глянуть через окно на улицу. Она то изливала в письме свою страстную тоску, то принималась болтать о всяких пустяках. Наконец, пожелав ему доброй ночи, подписалась, вложила письмо в конверт и заклеила его. Не удержалась и поставила в углу под маркой крохотный крестик, чувствуя себя совсем глупой девчонкой. Потом вернулась к дивану, посидела на краешке и тогда только погасила свет и легла. Ей вспоминались слова и отрывки из письма, и она мысленно исправляла и переделывала их, заново взвешивая смысл и значение каждой строки.

Поезд, увозивший Луиса, миновал Джениси-вэли и подходил к Буффало; в салон-вагоне дребезжало радио, его заглушал громкий стук колес. В одиннадцать часов началась передача последних известий, и один из пассажиров, прислушавшись, перевел свои часы; другой подошел к приемнику и повернул регулятор звука на полную мощность. Игроки в покер за одним из столов насторожились, кто-то приставил ладонь к уху, чтоб лучше слышать, некоторые придерживали свои стаканы, чтобы прекратить непрерывный легкий звон стекла. Луис сидел в стороне и читал. Продолжая держать перед глазами книгу, он слушал, что говорит диктор об успехах германского наступления, о том, как немецкая авиация разрушает польские города, о начавшейся бомбежке Варшавы.

На этом они набили руку в Испании, подумал Луис. Ему вспомнилась зенитная батарея в одном из западных предместий Мадрида, близ Университетского городка. Не исключено, что как раз ему в тот солнечный день 19 сентября 1936 года удалось сделать так, чтобы сегодня в польском небе было одним вражеским самолетом меньше.

Он сказал Висле, что не видел тогда в Испании ни одного немца, но внезапно среди разнообразных картин, которые всплывали у него в мозгу под голос диктора, возникло лицо немца, когда-то им виденное и забытое. Это был пилот легкого бомбардировщика, в который стреляли однажды Луис и все зенитчики его сектора, но никто не попал, все кляли летчика на чем свет стоит и невольно им восхищались. Он отделился от своей тройки, летевшей на большой высоте, спикировал и стремительно пронесся над самыми крышами. И потом добрых пять минут носился взад и вперед и кружил над их сектором, а один раз круто развернулся прямо над батареей Луиса. Он летел так низко, что Луис мог хорошо рассмотреть его, и казалось, он с любопытством зеваки-туриста оглядывает все сквозь прозрачные стенки своей кабины. Зенитки палили вовсю, но их было слишком мало и почти все — старые, никуда не годные. Зенитчики стреляли наугад, в надежде, что кто-нибудь да попадет в фашиста, но ни один выстрел не задел его. Он улетел, проделав на прощанье целую серию самых фантастических «бочек», потом поднялся крутым штопором и скрылся из глаз, на весь день испортив им настроение. Столько небрежности и вместе с тем хладнокровия было в этом вызывающе смелом, мастерском полете, что Луис почувствовал себя неуклюжим и беспомощным, и даже сейчас, при одном воспоминании, в нем снова всколыхнулось это чувство.

Мало того, оно росло, это чувство, оно усиливалось от всего, что он слышал сейчас по радио. Нечеловеческий голос диктора размеренно перечислял под грохот и стук колес все новые и новые победы германских войск, и Луису стало казаться, что весь германский воздушный флот описывает в небе над Польшей какую-то гигантскую «бочку», попутно сбрасывая бомбы, попутно убивая людей и разрушая города, с любопытством глазея, что из этого получается, и в нужную долю секунды с безукоризненной точностью проделывая нужный поворот — тоже попутно, между прочим. Он почувствовал себя бессильным и беспомощным и обозлился на себя за это.

Много лет назад в Спрингфилде, на ярмарке штата Иллинойс, он раза два видел представления бродячего цирка и машинально прикидывал про себя — хватит ли у него силы и ловкости, чтобы проделать те же трюки? Нет, едва ли! Он чувствовал себя неуклюжим, никчемным и уходил с таким чувством, как будто провалился на экзамене. Даже герои прочитанных книг или кинофильмов, которые он смотрел, нередко вызывали у него это чувство собственной несостоятельности. Очень редко у него бывало противоположное ощущение, почти всегда чужой подвиг оказывался ему не по плечу, и всегда он к нему примерялся — а я сумел бы так? Мальчишкой, вычитав в энциклопедии деда, что Шелли, величайший поэт, какого знала история, был еще и химиком, он пришел в восторг: он, Луис Сакс, тоже писал стихи и хотел стать ученым, только не знал еще, каким, но его смущало, что одно с другим как будто не сочетается. И вдруг — Шелли! Это открытие на миг словно бы утвердило Луиса в его намерениях, а затем отняло у него всякую надежду.

Из ощущения собственной неловкости и никчемности вырастал гнев — и нередко кончался взрывом яростного самобичевания: он романтик, он слишком чувствителен и навсегда останется мальчишкой. Или: его собственное «я» непомерно разрослось и в конце концов задушит его. Или, напротив: у него вообще нет никакого «я», и он беззащитен в этом мире. Но в последние годы это чувство не возникало, за работой Луис его не знал,— и вот теперь оно вернулось и мучило его.

Последние известия кончились, по радио зазвучала музыка, и в вагоне там и сям завязались разговоры, но Луис в них не вступал, он

по-прежнему сидел, заслонясь книгой, хоть и не читал ее. Каковы бы ни были его мысли и чувства, но сидел он такой тихий, незаметный, даже застенчивый, что ближайшие соседи скоро перестали обращать на него внимание. Расставанье с Терезой далось ему нелегко, но, измученный и огорченный, он все же рад был войти в вагон: впереди ждали те по-особенному спокойные часы наедине с самим собой, когда ешь, спишь, сидишь один, никому не знакомый среди незнакомых тебе людей,— а это тоже наслаждение, если оно не навязано тебе против воли. Но теперь радостное возбуждение прошло, он чувствовал усталость — и только. Мысль описывала медленные круги — от Нью-Йорка и Эдварда Вислы к Нейману в Чикаго, снова в Нью-Йорк, к Терезе, потом в Джорджтаун, к родным, — переходя от прошлого к настоящему, от Испании к Польше, от ночи к утру. В Америке полночь, внезапно сказал он себе. А это значит, что в Европе дело идет к рассвету — хотя бы только по часам. Лицо немецкого летчика вновь всплыло перед ним — Луис видел его так ярко и живо, как ничье другое из всех вспоминавшихся лиц. Он поднялся и пошел по узким, качающимся коридорам — ему надо было пройти три вагона, чтобы попасть к себе. Потом он разделся, и жгучее чувство одиночества охватило его, и вновь вернулась тоска, которая мучила его днем, пока они с Терезой так нелепо бродили по улицам.

А потом он опять поймал себя на мысли — из-за чего же это разругались сегодня Висла и Плоут? Наверно, это как-то связано со всей этой шумихой вокруг расщепления уранового ядра, да, несомненно. Можете не сомневаться, если сейчас где-либо сойдутся вместе два физика, они уж непременно заспорят о расщеплении урана: это самая волнующая тема для разговора в 1939 году — и не без оснований... да, конечно, не без оснований... Луис погасил маленькую лампочку над головой, поднял шторку и долго смотрел в темноту за окном. Да, пожалуй, в области расщепления атома сейчас происходит много такого, что ему и не снится... очень даже возможно. Ведь это факт, что за последний год докторскую степень получали только те, чья работа так или иначе связана с этим. Ядерные изомеры... что ж, если кому угодно узнать, что это такое, — пожалуйста, с удовольствием могу посвятить вас в суть дела. Луис вдруг улыбнулся воспоминанию: однажды, много месяцев назад, он весь вечер не мог ни о чем говорить, кроме ядерных изомеров, до смерти надоел Терезе, и у них вышла забавная стычка.

— Иногда я думаю, что Ортега прав,— неожиданно сказала Тереза.

— Ортега? — переспросил он, настораживаясь в ожидании атаки. Он слишком мало был знаком с испанским философом, а потому не очень доверял и познаниям Терезы, во всяком случае, тогда (теперь-то можно признаться: зря он тогда разобиделся).

— Ортега сказал, что современному ученому грозит опасность стать современным варваром,— сообщила Тереза с таким видом, будто ее просто-напросто заинтересовала теория, никакого касательства к ним обоим не имеющая. — И это потому, что работа в узко специальной области приводит его к крайней однобокости и полной невразумительности — кажется, так у него сказано.

Но они больше говорили о политике, чем о физике, подумал он, снова вспомнив Вислу и Плоута. Может быть, просочилось что-то новое о работе немецких физиков над расщеплением атома? Разумеется, существует множество самых разных путей и возможностей. Ах, черт, неужели они подозревают, что кто-нибудь... неужели и впрямь уже теперь кто-то чего-то добился?

В ...ском Центре — одном из лагерей, устроенных французами для испанцев, перешедших границу в конце гражданской войны, из длинного, низкого, обветшавшего от дождей и непогоды строения, казавшегося почти черным в слабом предутреннем свете, вышел человек и медленно направился к чахлым кустам, растущим напротив. Там он расстегнул брюки и помочился; сначала глаза его были опущены, потом он поглядел на восток, где уже начинало бледнеть предрассветное небо, обвел взглядом пространство, открывавшееся за кустами, — там был песок и камень, и спутанные пучки и плети сорных трав, и эта пустыня тянулась сколько хватал глаз, до самого Средиземного моря. Но моря не было видно.

Спустя минуту-другую еще один человек вышел из барака и направился к первому. Не дойдя, он окликнул негромко:

— Это ты, Густавито?

— Я.

Второй был ниже ростом; он ничего больше не сказал, просто подошел к первому и стал рядом. В нескольких шагах от них виднелась покосившаяся изгородь из колючей проволоки, поставленная для того, чтобы эти двое и две тысячи их соотечественников не могли выйти отсюда. Изгородь была не нужна, и никто ее не чинил: у людей не осталось ни документов, ни денег, ни надежды, и они уже не знали, кто им друг и кто враг.

— Вот ты говорил вчера насчет войны, Густавито... у меня это не выходит из головы. Ведь ты не прав.

— Вот как? А что я такое говорил?

— Ты сказал, что ничего не случится.

— Ничего пока не случилось, вот что я сказал. А если и случилось, так еще очень мало. Да и что, собственно, случилось? Что мы знаем наверняка? Что Советский Союз и фашистская Германия подписали пакт? А откуда ты знаешь, что это правда? От кого ты это слышал? Что еще ты слышал из тех же источников, от тех же самых людей?

— Все говорят...

— Да ладно, брось. Охотно верю, что есть такой пакт. Верю даже, что фашисты вторглись в Польшу. Конечно, это не пустяк. Тысячи людей погибнут. А ради чего? Если уж погибать, так пусть, по крайней мере, будет война — не для того, чтобы гибли люди, но для того, чтобы остановить убийц. Как же иначе? Неужели же так ничего и не будет?

— Спроси об этом своих русских.

— Ох, мои русские. У меня из-за них сердце болит. Не потому, что они подписали пакт, а потому, что им пришлось пойти на это.

— Густаво, ты говорил, что ничего не случится. Так и сказал. Стало быть, фашисты захватят Польшу, а англичане и французы пальцем не шевельнут, и Америка тоже. Но ты...

— Америка? А чего ты от нее ждешь?

— Я... ну, рано или поздно, если дело зайдет уж очень далеко, она проснется.

Густаво с нескрываемым презрением посмотрел на собеседника.

— Неужели ты это всерьез? — Он помолчал, в упор глядя на товарища. — Да, видно, так оно и есть, несмотря ни на что. Удивляешь ты меня, но уж, видно, так оно и есть. — Он тяжело вздохнул.— Ах, черт! Америка потакает фашистам, на все закрывает глаза, она пальцем не шевельнула за все эти годы, чтоб им помешать, а теперь... теперь... Ты что думаешь, она спала? От чего ей просыпаться? Тебе, видно, хоть кол на голове теши — ничего до тебя не доходит. Сам-то ты когда проснешься? Кто стрелял в твоих друзей? А чьей марки были снаряды? На чьи деньги куплены?

Невысокий собеседник Густаво явно не впервые выслушивал от друга такие речи. Он подобрал с земли камешек и, подкидывая его на ладони, искоса поглядывал на Густаво, но не возражал ни слова. А Густаво упорно не смотрел на него.

—Что ни говори,— сказал, наконец, невысокий,— а я все это знаю не хуже тебя. Кто этого не знает? Только ты, видно, забыл про тех американцев, которые нам помогали, а их было несколько тысяч. Да еще несколько миллионов нам сочувствовали. Америке до сих пор везло, удачливая страна и далеко отсюда. И молодая, и наивная, что ни говори. Ей не проснуться надо, а подрасти. На это требуется побольше времени.

— Слишком много,— сказал Густаво, все так же глядя в сторону.

И вдруг оба насторожились: в небе возник едва уловимый звук. Они подняли голову и, наконец, отыскали самолет, но на такой высоте невозможно было разобрать, чей. Он летел со стороны солнца, но под таким углом, что крылья не отсвечивали. То белый, то серый на фоне белых облаков и голубого неба, он летел в вышине, упорно, неуклонно стремясь к какой-то своей цели. Они провожали его глазами, пока он не скрылся из виду, и прислушивались, пока далекий рокот мотора не замер окончательно. За все это время оба не вымолвили ни слова, только невысокий все подкидывал и подкидывал камешек на ладони, даже не глядя на него.

— Да, — сказал он наконец, — помню, в первые дни повстречался я с одним пареньком. Вот это как раз было то самое, про что ты забываешь, а ведь ты тоже встречал таких. Хотя его ты навряд ли знаешь. Его звали Саксл. Не то чтобы он нарочно приехал в Испанию воевать, просто там был какой-то съезд, съехались ученые и еще разный народ, и профессор Нарваэс там был. Уж, конечно, ты слыхал про Нарваэса, он великий человек, был великий, — теперь-то его, может, уже и на свете нет. Я его часто видел, хоть и не был с ним знаком. Еще у него левая рука была короче правой. Но он был великий человек, с этим никто спорить не станет.

— Кто же не знал Нарваэса.

— Ну, вот, когда те прохвосты подняли мятеж, как раз шел этот съезд. Там было много приезжих из-за границы, не один этот Саксл. Он был студент, без всякого положения, а вообще-то это был важный съезд, с разными докторами и профессорами и из Франции, и из Англии. Так вот, почти все они сразу разъехались. Тогда еще можно было уехать, в первые дни, а Саксл, про которого я рассказываю, американец, совсем еще мальчишка, он не уехал, хоть и мог. Лет двадцати паренек, может даже девятнадцати, и собой хорош. Американцы — они такие, иной раз по лицу и не поймешь, сколько ему лет. Так вот, он остался в Испании и помогал воевать с прохвостами. Никто его не заставлял, он мог уехать, а он взял и остался. И знаешь, что он сделал?

Густаво присел на торчащий из земли камень. Он все глядел в сторону, поверх изгороди, на пески, уходящие вдаль, к морю, и, казалось, больше ничего не слушал и не слышал. Но все же отозвался:

— Что сделал?

— Стал зенитчиком. Подумай. Ты это должен понять, ты же всегда понимал такие вещи. Он бы тебе понравился, этот Луис Саксл, прямо жалко, что вы с ним не встретились. Не очень-то разговорчивый, да, кстати, и не такой уж меткий стрелок. А все-таки раза два попал, возможно, что попал. Сам знаешь, тут наверняка сказать трудно. Кое-кто из нас считал, что не надо было ему идти в зенитчики,— и не потому, что он сбил мало самолетов, всем нам надо было еще учиться... но ведь он был настоящий ученый, из него и готовили ученого, а даже

в то время жаль было тратить силы ученых людей на такие дела, хоть нам и приходилось туго... А все-таки, если можно этого избежать... Так вот, мы об этом иногда спорили, и он сказал занятную вещь, это его собственные слова: «Нет,— сказал он,— я и в этой лаборатории тоже кровно заинтересован».

— В лаборатории? В какой лаборатории? — спросил Густаво, не оборачиваясь и по-прежнему глядя в сторону.

— Да при Мадридском университете. Разве я тебе не говорил? Там проходил этот съезд. Теперь-то ее уже нет, Густавито.

— Вон что... А кто он был, этот парень?

— Да разве я тебе не сказал? Химик или, может быть, физик. Американский физик.

— Ну, и что такого в его словах?

— Для американца-то? Для мальчишки от силы лет двадцати двух? Он ведь не для того приехал, чтоб попасть под бомбы, он ни о чем таком и не слыхал. А все-таки он быстро вырос и поумнел, прямо, как говорится, за одну ночь. Так что, сам видишь...

— А что с ним потом стало? — перебил Густаво, по-прежнему глядя в сторону.

— Франкисты сбросили бомбу совсем рядом, и его ранило осколком. Он лежал в госпитале, а потом его отправили на родину.

— Кто отправил?

— Военное министерство, по предложению командования противовоздушной обороны Университетского сектора, а командованию это предложил профессор Нарваэс и еще человека четыре.

— А почему? Что он, совсем вышел из строя?

— Да на время, пожалуй, вышел, но не в том причина. Причина была в том, что он ведь не испанец. И профессор Нарваэс сказал, что он должен заниматься своим делом. И потом, он мог рассказать всем в Америке...

— А рассказал?

— Ну, этого я не знаю. Да не в том суть. А вообще... Ты и сам видел таких американцев.

— Верно, видел,— сказал Густаво.— Видал я и бомбы, которые не взрывались, и пчел, которые не жалили. Всегда приятно, когда такое случается, а все-таки я подыхаю тут, а Испания подыхает там, — он махнул рукой вдаль,— и никакие молодые ученые с возвышенными идеями не мешают прохвостам делать свое дело. И те, что торгуют с прохвостами, тоже не мешают. Это мы с тобой должны были остановить прохвостов, а мы издыхаем тут на песке, как рыба после шторма. — Он поднялся на ноги, но тотчас опять сел. — Убирайся ты отсюда со своим молодым профессором Сакслом. Уж конечно, он достойная личность. Только оставь ты меня в покое, уйди, не мозоль глаза, после поговорим.

Невысокий постоял минуту, глядя на Густаво. В руке он все еще держал камешек, но уже не подкидывал его вверх, а просто покачивал на ладони. Медленно пошел он прочь, к бараку, откуда они оба вышли, — теперь, в ярких лучах утреннего солнца, барак был грязно-серый. А Густаво остался на месте, он не посмотрел вслед товарищу, он все смотрел поверх ограды, на пески, уходящие вдаль, смотрел сосредоточенно, не отрываясь, словно перед ним совершалась мистерия, некое чудо...

Еще с полчаса вокруг бараков никого не было видно. Наконец из дверей стали выходить люди, мужчины и женщины; были здесь и дети, одни бегали и прыгали, другие слонялись без цели. Появился и приятель Густаво, он направился к большой стоячей луже, поодаль от бараков, возле которой уже собрались человека три-четыре. Он все еще держал

камешек и, разговаривая, то катал его на ладони, то подбрасывал, то взмахивал рукой. Потом разговор иссяк. Тогда он кинул камешек в воду, раздался слабый всплеск, и маленькая кучка людей молча смотрела, как расходились круги по гнилой, стоячей воде.

Миновав Буффало, поезд обогнул озеро Эри и покатил по скучной равнине, усеянной одинаковыми городишками; каждый городишко состоял из одной-единственной улицы, и все они были окутаны тьмой и тишиной, только звонили колокола у переездов. В Нью-Йорке Тереза уже спала, но порою пальцы ее руки тихонько вздрагивали, словно поглаживая лежащую рядом пустую подушку. В Нью-Йорке спал Плоут и спал Бисканти, но Висла не спал, он спокойно читал при свете лампы допоздна у себя в комнате. В Джорджтауне спало семейство Саксл, а во французском концлагере испанцы стояли и смотрели, как поднимается в небе солнце. Погасив верхний свет, Луис то спал, то просыпался на своей полке, а поезд уверенно пересекал равнину, направляясь к Иллинойсу.

5.

На третий день после того, как Луис приехал из Нью-Йорка в Джорджтаун, он получил письмо от Неймана:

> Дорогой мистер Саксл! Я очень рад, что Вы мне позвонили. Вам известны планы создания в нашем университете циклотрона. Это дело огромной важности. У нас, очевидно, будет возможность предложить Вам место с окладом 1500 долларов в год, к сожалению, не больше. Мистер Висла сообщил мне, что Вы намерены поехать в Монтану. Я уверен, что наша работа интереснее. Полагаю, что Вы предпочтете пойти к нам, и на этот случай посылаю для заполнения необходимые анкеты и бланки; они пояснений не требуют. Мы приступаем к занятиям 1 октября. Буду чрезвычайно рад Вас видеть.
>
> Искренно Ваш
>
> Конрад Нейман.

Стало быть, Висла рекомендовал его Нейману. Очевидно, так, ведь сам Луис говорил с Нейманом всего несколько минут по телефону, в промежутке от поезда до поезда, и ни словом не упомянул про Монтану. Ну, конечно же, Висла говорил о нем Нейману или, может быть, написал: в письме Неймана так прямо и сказано, только он сразу не заметил. Почему Висла это сделал, понять невозможно. Тот загадочный разговор в кабинете Плоута в день отъезда? Но все равно, это ничего не объясняет. Руководители научных учреждений и темпераментные светила науки вечно затевают что-нибудь сложное и необыкновенное; а может быть, это как-то связано с тем, что им нужны деньги? Руководители научных учреждений вечно стараются раздобыть денег. Должно быть, в этом вся суть... Но в глубине души Луис не сомневался, что суть здесь в чем-то другом. И, наверное, это не имеет ко мне никакого отношения, решил он, хотя чувствовал, что имеет, да еще самое прямое. Ну и храбрые же люди! Мой декан, Плоут — и тот не понимал, куда меня направить, а ведь Висла меня почти не знает, а Нейман и вовсе в глаза не видел. Нет, должно быть, это просто счастливый случай, повезло, и все тут. Какой же может быть тайный смысл в исследователь-

ской работе за 1500 долларов в год? Стоит ли за это браться? Как быть?

Первую неделю дома Луис провел, в сущности, ничего не делая. Вид сломанной качалки на веранде оскорблял его любовь к порядку — и Луис починил качалку. Но там, где люди живут мирно и уютно долгие годы, скопляется немало вещей, которые ждут починки, и мать вспомнила, что одни очки у нее совсем разболтались. Тут была работа потоньше, чем с качалкой, и Луис провозился с оправой полдня, сидя рядом с матерью на веранде.

— Красивая наука, — бормотал он, осторожно пробуя большими щипцами прочность ослабевшего крохотного шарнирчика.

— Что такое, Луи? — переспросила мать.

— Венец всей философии, только благодаря ей могут расцветать и другие науки.

— Не понимаю, о чем ты говоришь?

— Об оптике, о зрении, о прекрасной науке Роджера Бэкона. Это его слова. В моем кратком и примитивном пересказе. Вот, держи.

— Неужели это мои старые очки?! Я бы их никогда не узнала,— и мать с нежностью посмотрела на Луиса. — Мой мальчик и в самом деле многому научился, правда?

Она именно так и думала, и еще думала, что ей не так уж интересно, чему именно он научился, важен самый факт. Пусть он говорит, пусть расскажет ей о красивых науках, обо всем, что он думал, говорил и делал все эти годы, пока жил вдалеке от родного дома, а она, не слишком прислушиваясь к его словам, будет без помехи следить за тем, как меняется выражение его лица, разглядывать форму головы, ловить каждое движение руки — и, вглядываясь, вспоминать, и вместе с ним возвращаться к прошлому... Но как раз потому, что ей так сильно этого хотелось и так сильна была ее любовь и нежность, она потерпела неудачу. Луис был еще не настолько уверен в себе, а быть может, ему и не суждено было обрести эту уверенность, он не умел выслушивать такие слова и отвечать на них. Он либо умолкал, либо смотрел на мать с плохо сдерживаемой досадой, либо, в лучшем случае, пробовал отшутиться — и потом все равно умолкал.

Вечерами на веранде разговаривать становилось легче, легче понимать друг друга. В темноте слова становились более вескими, исполненными значения, — и потому их произносили более к месту или уж вовсе не произносили. Под поскрипыванье качелей, под смутные шорохи листвы и приглушенные голоса, доносящиеся с соседних веранд, восхищенные слушатели Луиса по кусочкам, по обрывкам узнали довольно, чтоб получить некоторое представление о Терезе, о Висле и о Бисканти, о жизни университета и, насколько они поняли, о жизни Гринич-вилледж, о физических науках, как их изучали в конце тридцатых годов нашего века, и о том, как бесконечно далеко, в силу обстоятельств и собственных склонностей, ушел от них сын и брат.

— Но все равно, ты по-прежнему мой маленький сыночек, — говорила миссис Сакс.

В темноте Луису удавалось ответить достаточно ласково, и он возвращался к тому, о чем говорил раньше.

— И ты очень ее любишь? — спросила она о Терезе.

— Да, — сказал Луис.

— Вероятно, ты собираешься на ней жениться?

— Да, я уже думал об этом.

— И, по-твоему, из этого что-нибудь получится?

— А почему не получится? Потому что я еврей, а она нет? Ни ей, ни мне это не мешает.

— Да, конечно. Но надо и еще кое о чем подумать.

— Так ведь вы с папой не станете возражать, правда? Все мы, как будто, люди не слишком религиозные.

— Что касается меня, я ничего не могу сказать. Ведь я ее в глаза не видела.

— Я не о том говорю, как ты понимаешь. Принципиально вы не возражаете?

— Ничего не могу тебе сказать, сынок. Мне случалось видеть ужасно несчастливые смешанные браки... Помнишь Эрни Пеннокс, Бен? Там было наоборот — он американец, а жена еврейка, но это все равно. А иногда получается и очень удачный брак, очень счастливый. Конечно, это зависит прежде всего от них самих, но... ох, не знаю... еще от очень многого зависит.

— Ну, а если Луи ее любит? — сказала Либби.

— О, господи, напрасно мы завели этот разговор при Либби. Поди, дочка, погуляй... Ты долго жил в Нью-Йорке, — продолжала миссис Сакс, — там на все смотрят не так строго. Наверно, когда кругом столько народу, уже не так важно, что люди скажут. Но ты должен хорошенько подумать, мало ли, где еще тебе придется жить, с какими людьми сталкиваться.

А однажды, когда мистер Сакс и Либби куда-то ушли и они остались на веранде вдвоем, миссис Сакс спросила:

— Скажи мне, Луи, ты жил с этой девушкой?

Луис помолчал минуту, потом улыбнулся матери:

— Я думаю, ты и сама это знаешь, и я уверен, относишься спокойно.

— Откуда мне знать, ты ведь ничего мне не говорил. В самом деле, Луи, ты очень мало рассказывал о своих отношениях с этой девушкой. Луи, ты вел себя с нею как порядочный человек?

Луис не ответил; мать пристально посмотрела ему в лицо, вздохнула и продолжала:

— Если хочешь знать, я не отношусь к этому спокойно. Во всяком случае, мне еще не приходилось встречаться с подобными вещами, и здесь, в Джорджтауне, есть люди... Господи, если бы они знали! Ты никому об этом не рассказывал, надеюсь? Но рано или поздно до них, конечно, дойдут слухи, и мне очень жаль бедную девушку. Мужчин такие вещи не задевают, но это может выплыть наружу и через десять лет, а для женщины это тяжелый удар. Боюсь, что ты об этом не подумал, а следовало бы.

Но разговоры на эту тему быстро обрывались, никому не принося удовлетворения. Та же судьба постигала и разговоры о лесном складе. Время от времени, делая вид, будто он просто делится впечатлениями за день, мистер Сакс заводил речь о своей фирме и спрашивал мнения Луиса по тому или иному поводу; или рассказывал какую-нибудь историю, выгодно освещавшую, на его взгляд, ту или иную сторону его любимого дела. В действительности все эти попытки были лишь вступлением к церемонии, через которую отцу и сыну предстояло пройти с начала до конца, хотя оба прекрасно понимали, насколько она бесплодна. Лет семь-восемь тому назад мистер Сакс нимало не сомневался, что настанет день, когда сын войдет в фирму помощником и компаньоном. Пока Луис учился в университете, отец начал терять в этом уверенность, а в последний год уже хорошо понимал, что этому не бывать. Ни разу ни словом об этом не обмолвился, и однако, всегда считал, что когда-нибудь, рано или поздно, надо будет серьезно, по всем правилам предложить сыну войти в дело. Это — необходимое звено в той цепи со-

бытий, которая начинается рождением человека, — звено, предшествующее женитьбе или следующее непосредственно за нею.

Но в первые дни по возвращении Луиса домой этот предмет почти не затрагивался; он, так сказать, был втихомолку, на пробу, положен на краешек стола, его можно было видеть, можно было, пожалуй, коснуться, а там, глядишь, оба понемногу и привыкнут к нему.

Однажды Луис шел по улице и столкнулся со своим школьным товарищем Чуркой Брэйли; они зашли в бар, остановились у стойки, оглядели друг друга с головы до ног и подивились тому, как все можно заранее предвидеть на этом свете.

— Мне виски, Генри, — заказал Чурка. — А ну-ка, лей, не жалей! — Он хлопнул Луиса по плечу. — Помнишь старика Кольмана? Он всегда это приговаривал. Бородка у него была, прямо как у дядюшки Сэма на картинках. Ну, брат, рассказывай. Ты там был поближе — что слышно в высоких сферах? Как насчет войны? И какие у тебя дальнейшие планы? Сам-то ты уже устроился? Доктор физики и все такое прочее?

Луис коротко сказал о письме Неймана и обещанном жалованье.

— Паршивых полторы тысячи! — с истинным ужасом воскликнул Чурка. — Фу, черт, да ты пойди у нас в Джорджтауне учителем старших классов — и то не меньше получишь! А у солидной фирмы — наверняка! Пошли их к черту, Луи! У тебя ума хватит, ты вдвое и втрое заработаешь, если будешь служить в хорошей фирме. Вон как Капитан Сиго.

— А что Капитан, как он живет? Он был парень с головой! Мы вместе с ним строили планы на будущее...

— Капитан был с головой, он и сейчас с головой, так ведь и твоя голова не хуже. Он-то процветает, скажу я тебе. Ты еще с ним не повидался? Вы же были друзьями!

— Я еще никого не видал, Чурка. Все только собираюсь — сам знаешь, как это бывает. Капитана я не видел, пожалуй, лет пять. Он что, все еще в Компании измерительных приборов?

— Измерительные приборы! Милый друг, да неужели ты не слыхал, чем он теперь занимается? Нет, тебе определенно следует с ним повидаться. Поехали сейчас, хочешь?

Брэйли пошел звонить по телефону и через минуту вернулся с известием, что мистер Сиго будет очень рад их принять. Еще через несколько минут они уже выехали в автомобиле Чурки за черту города, туда, где их встретит... но на этот счет Чурка ограничивался самыми туманными намеками.

Туда, думал Луис, пока Чурка, не дожидаясь ответов, что-то болтал про всех и каждого в Джорджтауне, где их встретит идол и повелитель его детских лет, тот, кто дал ему ключ к стольким тайнам в тихие вечера, когда они сидели на бульваре или под старым тополем, что рос на лужайке перед домом Сиго. Позднее, в годы юности, Луис не раз вспоминал Капитана. Но в эту неделю дома он почему-то ни разу про него не спросил. Почему? Непонятно.

Чурка ткнул его в бок:

— Смотри, брат, смотри. Приехали.

— Что это?

— Дом. Читай вывеску.

Но Луис не видел вывески. Он увидел только на редкость живописную, покрытую идеально ровным газоном площадку, словно зеленый остров среди моря кукурузных полей, обступавших дорогу, и в дальнем конце этого острова — здание, сложенное из белого кирпича.. Оно было

совершенно белое, такой белизны, что сверкало и искрилось на солнце, низкое, прямоугольное и словно высеченное из одного куска, только ровная линия окон опоясывала его лентой из стекла и стали. Четкий узор темно-зеленых кустов, посаженных перед зданием, выделялся на светлой зелени газона. И нигде ни одной двери. Но автомобиль медленно объезжал эту странную зеленую прогалину, и вот за углом здания показалась автомобильная стоянка, где теснились машины, и Луис впервые заметил, что от шоссе отходит белеющая гравием дорога; она неприметно скользила по дальнему краю поляны, словно зодчим этого храма казался недостойным такой способ приблизиться к нему, и потому они постарались, насколько возможно, скрыть ее. Сбоку дороги виднелась небольшая четкая вывеска, белые буквы на темно-зеленом фоне: «ХИМИКАЛИИ КЕЙБОТА».

— Химикалии Кейбота, — прочитал вслух Луис.

— Это милое местечко обошлось «Химикалиям Кейбота» в полмиллиона монет, — сказал Чурка. — Говорят, пять тысяч в год уходит только на то, чтоб подстригать газон. — Он круто свернул с шоссе на белую дорогу, ведущую к белому зданию, и под колесами автомобиля захрустел гравий. — Недурно, а? Да так и должно быть. На вывеске ты этого не прочтешь, но тут помещается филиал компании «Лоу и Уотерсон», которая занимается всем на свете. Это экспериментальная лаборатория, только недели три как достроена. Директора прислали из Нью-Йорка, а как по-твоему, кто тут первый помощник директора, его правая рука? Мистер Вернон Сиго, наш с тобой друг-приятель.

— Черт меня возьми! — сказал Луис, и Чурка одобрительно кивнул. — А с чем они тут экспериментируют?

— С пластмассами, — ответил Чурка и, описав плавный полукруг, остановил машину рядом с остальными, перед изящной белой оградой.

Только заехав в тыл экспериментальной лаборатории «Химикалии Кейбота» — филиалу великой Объединенной компании Лоу и Уотерсон, — можно было обнаружить кое-какие нити, связывающие ее с миром труда. Тут была товарная платформа, заставленная ящиками и корзинами; у одного конца платформы стояли два грузовика; от нее отходила железнодорожная ветка, и аккуратная насыпь, изогнувшись дугой, терялась в полях. Строители и планировщики столь искусно сделали свое дело, что всей этой прозы нельзя было увидеть с шоссе, она казалась приглушенной, мало заметной даже с того места, где на минуту замешкались Брэйли и Луис, прежде чем подойти к простой и красивой темно-зеленой двери, очевидно, единственному входу в здание, так как других дверей нигде не было видно. Дверь эта вела в маленькую комнатку, где не было ничего, кроме идеальной чистоты; за нею оказалась другая комната, побольше, где находились несколько стульев светлого дерева с темно-зеленой обивкой в точности того же цвета и оттенка, как темно-зеленые кусты перед домом, а также — светловолосая молодая девушка, встретившая посетителей приветливой улыбкой.

— Итак? — сказала она.

— Что «итак»? — спросил Чурка Брэйли.

— Вы условились здесь с кем-нибудь встретиться?

— Нет, знаете, мы просто пришли повидать вас.

— Кажется, я вас знаю. Да, вспомнила, вы — друг мистера Сиго. Он вас ждет?

Сейчас явится юный паж и проводит нас пред лицо более высокой особы, подумал Луис, но девушка, удостоверясь, что их действительно ждут, сделала это самолично. Они прошли по сверкающему чистотой белому коридору, выстланному темно-зеленым линолеумом, и остановились перед простой деревянной дверью.

— Это здесь, — сказала девушка и снова улыбнулась им. — Видите, мы еще даже не повесили таблички с именами. Нам их должны выслать из Нью-Йорка. — Она отворила дверь и сказала кому-то в комнате: — Фрэнси, тут два джентльмена к мистеру Сиго.

Но мистер Сиго сам вышел им навстречу. Он сердечно поздоровался с ними, взял их под руки и провел мимо Фрэнси к себе в кабинет, не слишком большой, но очень светлый, золотисто-белый с зеленым; из четырех окон открывался вид на шелковистую зеленую гладь перед домом, за нею сверкало под солнцем шоссе, а за шоссе тянулись поля, и на полях нескончаемые стройные шеренги кукурузы. Школьные товарищи сели и улыбнулись друг другу, и стали задавать подобающие случаю вопросы, с живейшим интересом выслушивая ответы, и припомнили былые приключения, — их оказалось не так-то много, — и старательно делали вид, что они ничуть не изменились. Сиго, который за эти годы стал худощавым, самоуверенным, но нервическим молодым человеком с резкими морщинами вокруг рта (врач, едва взглянув на него, предсказал бы ему неминуемую язву желудка), явно гордился своим положением в этом храме среди кукурузных полей и безуспешно напускал на себя скромность в ответ на восторженное подзадориванье Чурки Брэйли. За разговором собеседники то вставали, то снова садились, прохаживались по кабинету, поглядывали в окна и курили сигарету за сигаретой.

— Послушай, — спросил Чурка, глядя в окно, — а это верно, что одна только стрижка газона вам влетает в пять тысяч?

Сиго досадливо поморщился:

— А черт его знает. Это ведь тоже своего рода реклама, так почему бы и нет?

В углу на стене одиноко висел небольшой квадратик картона в рамке, и Луис наклонился к нему. «Никогда не говори; это невозможно. Как бы кто-нибудь не прервал тебя словами: а я это сделал», — напечатано было на табличке, а ниже чернилами — подпись: Кейт Джессап. Луис обернулся и встретился глазами с Сиго, на лице которого так забавно боролись смущение и циническая усмешка, что Луис расхохотался.

— Громко сказано! А кто такой этот Джессап?

— Наш босс, — объяснил Сиго. — Он и в самом деле умница, господь его прости, славный парень, работать на него одно удовольствие. Да и вообще чудной народ эти инженеры, особенно когда им приходится действовать в качестве администраторов. С учеными тоже так, Луи? Наверно, то же самое. Ходячие предрассудки и квинтэссенция пошлости — в том мире, в котором они по-настоящему не живут, зато в своем мире это тончайшие аналитики. И Джессап...

Он оборвал себя на полуслове. Минута прошла в молчании.

— Да, похоже на то, — сказал, наконец, Луис. — Для какого же анализа вы забрались сюда, в такую даль?

Сиго с улыбкой пожал плечами,

— Когда смотришь с дороги, странно все это выглядит, правда? На Востоке немало развелось таких вот карликовых заводиков; есть один такой же в северной части штата, но он принадлежит не нам. Как тебе сказать... впрочем, для этого есть причины. Такая компания, как наша, может пойти на риск. Большие компании умеют кое-чего достигнуть, с этим не поспоришь. Причины самые разные. Мы тут интересуемся кое-какими продуктами силоса, кое-какими возможностями в смысле синтетических веществ. Из этого, может быть, что-нибудь получится, а может быть, и не получится. Что ж, Лоу идут на риск. Во всяком случае, они построили перерабатывающую фабрику возле Чикаго, и в наше правление входит директор здешней железной дороги...

— В Джорджтауне поговаривают, что Лоу, пожалуй, переберутся с этой фабрикой сюда, — сказал Чурка, — подальше от профсоюзов.

— Не смеши меня. Что же, по-твоему, профсоюзы не могут сюда перебраться? Они только и делают, что тянут жилы из Лоу и из всех на свете, с тех самых пор, как Рузвельт стал президентом. Вот кого я не выношу. А ты, наверно, от него в восторге, Луи?

— Я рад, что он сейчас президент. Вдруг бы на этом месте сидел Кулидж!

Сиго не ответил. Он качался на стуле и разглядывал карандаш, медленно вертя его в пальцах, потом, не поднимая глаз, обратился к Брэйли:

— Я говорил Эдди Брикерхофу, что ты сегодня приедешь. Он хочет тебя видеть.

— Ладно, я загляну к нему.

Сиго поднялся и с благосклонной улыбкой проводил Чурку до двери.

— Ты ведь знаешь, где его кабинет. Он сейчас у себя. Я еще минутку потолкую с доктором физики. — Он распахнул дверь. — А ты мне тут ни к чему.

Он пропустил Чурку, дружески дал ему пинка, потом медленно отошел к окну.

— Чурка мне сказал по телефону, что ты ищешь работу и что тебя приглашают в Чикаго на полторы тысячи. Не знаю, какие у тебя мысли на этот счет, но по-моему, если человек защитил докторскую, да настоящую, на серьезную тему, а не про то, как сэкономить шаги для тех, кто топчется на кухне, так он заслуживает побольше, чем полторы тысячи в год. Если хочешь знать, это одна из трагедий двадцатого века, что ученому платят такие гроши. Не понимаю, почему. Одно время я и сам собирался защитить докторскую, и это одна из причин, почему я раздумал. Я, может быть, всю жизнь буду жалеть, что не получил ученой степени, зато жить буду в достатке. Может, мы с тобой разные люди. Может, тебе это все равно. А может, и не все равно. И я говорю тебе все это, потому что первым делом хочу понять — как тебе, все равно или нет?

Сиго говорил очень легко и непринужденно, даже плавно, и все время смотрел в окно; но при последних словах он обернулся и посмотрел в глаза Луису. Теперь он был вполне уверен в себе, все следы нервозности исчезли; Луису показалось, что он говорил, будто по шпаргалке, и повернулся при тех самых словах, когда требовалось по шпаргалке. Жест был хладнокровный, точно рассчитанный и все же внушительный, и Луису почудилось, что и для него в шпаргалке имеются надлежащие слова и движения, да только он их не знает; опять, как тогда в поезде, он почувствовал себя нелепым, ни к чему не способным и, неловко поежившись в своем кресле, закинул ногу на ногу.

— Да как тебе сказать, в общем, конечно, не все равно. Ты же знаешь, в университетах везде платят мало. Разбогатеть я никогда не разбогатею. Ты хочешь знать, огорчает ли это меня? Пожалуй, нет, не огорчает, потому что... потому...

— Да и я не собираюсь разбогатеть, и уж конечно, я не настолько к этому стремлюсь, чтобы забыть обо всем, ради чего работаешь и что по-настоящему хочешь делать... — Сиго замолчал и улыбнулся, улыбка была открытая, дружеская; он начал неторопливо расхаживать по кабинету. — Трудно говорить начистоту, да еще со старым другом, с которым когда-то обсуждал великие загадки бытия. Признаться, Луи, ты меня немного смущаешь. Я очень уважаю тебя за то, что ты сделал и чем стал, пожалуй, даже чуточку завидую тебе. До меня порой доходили слухи... Знаешь, люди о тебе самого лестного мнения. И я непрочь бы послушать побольше об Испании, там, наверно, было очень интересно, но... Ты там, надеюсь, не

связался с этими красными? Некоторые считают, что у тебя там что-то было. Я им говорил...

— Это потому, что я поехал в Испанию?

— Нет, потому, что ты там остался. Да это и не важно, ты ведь не единственный, кто не в восторге от Франко. Кстати, сколько тебе тогда было — двадцать один? Или двадцать?

— Двадцать два, — сказал Луис достаточно сухо, чтобы это не укрылось от Сиго. — Но ты меня этим не оправдывай. Я остался в Испании, потому что оттуда было трудно выбраться, но потом я был очень рад, что остался. И дело не столько во Франко, сколько в немцах, тех же самых, что и сейчас.

Сиго внимательно посмотрел на него, но ничего не ответил. Во взгляде его промелькнуло что-то вроде сочувствия, по крайней мере, так показалось Луису, и он обозлился. Знаю я, что означает это сочувствие. Сколько раз уже на меня смотрели такими глазами, и всегда это означало одно и то же: ты говоришь так потому, что ты еврей... А сейчас это значит, что он «понимает», почему я остался тогда в Испании.

— Я вовсе не хочу этим сказать, что Франко многим лучше, — прибавил он вслух.

— Я знаю, что́ ты должен чувствовать, — сказал Сиго. — Я нисколько тебя не осуждаю.

Он снова заходил по комнате.

— Но это и не важно, Луи, для такого человека, как ты, это не имеет значения. Милый мой, ты только что окончил один из самых серьезных факультетов, какие только есть на свете. Плоута я знавал, он преподавал в Урбане еще прежде, чем переселился на восток, и уж то, что ты от него получил, продать можно. Не отдавай это даром, не держи под спудом и не хорони в какой-то паршивой дыре с жалованьем в полторы тысячи, откуда ты вовек не выберешься. — Сиго опять улыбнулся своей ласковой и вкрадчивой улыбкой. — Послушай премудрого дядюшку Вернона, — сказал он и, круто повернув, уселся в кресло против Луиса. — Есть одно обстоятельство. Могу я поговорить с тобой откровенно?

Луис улыбнулся, отвечая на улыбку Сиго, и кивнул в ответ на его вопрос. Что ж, поговорим откровенно... но при этом будем держать порох сухим.

— В сущности, я почти не знаю, каким ты стал теперь, — продолжал Сиго, — но мальчишкой ты был толковым. Мне бы хотелось, чтоб ты работал у нас. Я уже замолвил на этот счет словечко Джессапу, и он тобой заинтересовался, да еще бы ему не заинтересоваться, черт возьми! Эта лаборатория его детище, и он на ней делает карьеру. Да и я, кстати, тоже, — могу тебе это прямо сказать. Надо подобрать сотрудников, а толковые парни на улицах не валяются. Кое-кого пришлют, но за каждого, кого мы подыщем сами, особенно на технические должности, нам скажут спасибо, — Сиго снова поднялся. — Я говорю с тобой начистоту, Луи, и звучит это не так уж романтично, но все может быть, все может быть. «Лоу и Уотерсон» — огромная махина, наша лаборатория — только небольшая частичка ее, но и это недурная точка опоры, если только она себя оправдает. Я отказался ради своего теперешнего места от прекрасного положения в Компании измерительных приборов, — правда, без особенных потерь, — но пока это еще не бог весть что. Если мы провалимся, нас выставят за дверь, зато если мы покажем класс...

Он остановился у своего стола и минуту молча водил пальцем по очертаниям какого-то рисунка, подложенного под стекло. Вот настоящие джунгли, подумал Луис, следя за ним, точка опоры в джунглях... Ох, где-то он, старый тополь и та мирная лужайка... У Луиса перехватило горло; он пошевелился в своем кресле, и что-то слегка зашуршало у него в кар-

мане пиджака: письмо Неймана. Луис и сам не знал, почему таскает его с собой, но сейчас... до чего забавно, что оно сейчас при нем, необыкновенно забавно! Он подумал о письме с нежностью. «Это дело огромной важности»... Он снова пошевелился в кресле и вопросительно посмотрел на Сиго.

— Луи, если ты хочешь, чтобы твоя работа имела значение, твое будущее — здесь. В большой, мощной фирме, где достаточно возможностей для начинаний самого широкого масштаба и достаточно воображения, чтобы довести их до конца. Разумеется, я только предполагаю, а Джессап располагает. Однако ему ясно, что здесь нужны и полезны вот такие молодые способные люди, как ты. Но есть одно обстоятельство. Так вот, пойми меня правильно, малыш...

«Я очень рад, что Вы мне позвонили... наша работа интереснее...»

— Джессап... м-м, видишь ли, он инженер... человек он практический, немножко ограниченный в некоторых отношениях, немножко... м-м... не стану скрывать от тебя, Луи, Джессап терпеть не может евреев. Он способен сказать какую-нибудь гадость. Он не слишком разбирается в этих вещах и способен ляпнуть невесть что. И, в сущности, ничего плохого не имеет в виду. Я уверен, ты ему понравишься. И он тебе понравится, когда ты узнаешь, какой он на самом деле. Но он может что-нибудь такое сболтнуть сдуру. Ты как... с такими вещами справляешься, Луи?

Луис полез в карман за сигаретами, но почувствовал, что рука его дрожит, и снова сунул сигареты в карман.

— Луи?

— Понимаю, Капитан. Я знаю, как это бывает.

Сиго потрепал его по плечу.

— Молодец, малыш, всегда думай прежде всего о том, что всего важнее. Я просто хотел подготовить тебя к разговору с Джессапом. — Сиго слегка наклонился и внимательно посмотрел Луису в глаза. — Ты меня хорошо понял, Луи? Поверь, в нашей фирме нет таких настроений, просто у самого Джессапа такой заскок.

— Да, я понимаю.

Луис встал и остановился перед своим креслом. Скользнув взглядом по лицу Сиго, он обвел глазами комнату, посмотрел на окно, на дверь... Сиго что-то говорил, Луис слышал его голос, но не воспринимал слов. Он все еще стоял не шевелясь.

— ...завтра, самое позднее послезавтра...

— Это будет превосходно, Капитан. — Ему пришло в голову, что где-то в этом здании, наверно, есть интереснейшая аппаратура. Любопытно было бы взглянуть на нее. Но он хочет одного — поскорей убраться отсюда.

— Что-нибудь не так, Луи?

С минуту он обдумывал эти слова, не придавая им значения, но потом их смысл дошел до него и, казалось, разом привел в ясность все, что перемешалось у него в голове.

— Нет, нет, я просто задумался. Я еще некоторое время побуду в Джорджтауне. Нет, Капитан, я понимаю. Мы еще как-нибудь потолкуем об этом... А где же Чурка? — Он подошел к двери, отворил ее, и они вместе вышли в холл.

В машине на обратном пути Чурка все пытался выяснить, сперва окольными путями, а потом и в лоб, до чего же они с Капитаном договорились. Луис был очень спокоен, отвечал уклончиво, и Чурка решил, что Сиго не спешит приглашать его на работу. Чурка пожалел об этом; мельком он подумал — может быть, компания вообще настроена против евреев? Надо будет разузнать. А он-то надеялся выведать через Луиса кое-какие подробности, которыми можно бы блеснуть в разговоре, показывая

свою осведомленность! Чурка был и огорчен и разочарован, но это быстро прошло. Болтая о том, о сем, он привез Луиса к себе, и они закончили день, как начали, потому что к этому времени Луиса тоже вновь охватило тепло детских воспоминаний.

6.

Назавтра был чудесный день, в сухом воздухе уже ощущалась близость осени, но солнце сияло и грело, и ветерок доносил запах земли и зреющих хлебов. Одеваясь, Луис все смотрел в окно и решил, что в такой день не мешает прогуляться; за завтраком он попросил у отца позволения взять машину и предложил Либби прокатиться до университета. Надо проехать около шестидесяти миль, стало быть, немногим больше часа по превосходной дороге, а в этой части штата Иллинойс дороги почти все ровные и прямые, как стрела. Человек пять или шесть, знакомых Луису по Чикаго и по Нью-Йорку, учатся или преподают в здешнем университете. Приятно будет провести с ними часок-другой, а может быть, удастся заодно узнать что-нибудь про Чикаго. Впервые с отъезда из Нью-Йорка он затосковал по привычной обстановке, по разговорам, какие услышишь только в университетских стенах; дико даже, сказал он себе и не стал додумывать эту мысль до конца, не связывая ее со вчерашним разговором.

Дорога к университету вела от Джорджтауна в сторону, противоположную той, куда ездили накануне Луис с Чуркой, но местность выглядела совершенно так же. Изредка — небольшой уклон, холмик, отлогий подъем, но по большей части вокруг, насколько видит глаз, тянется плоская равнина. Всюду — прямые и стройные ряды кукурузы, на стеблях которой уже торчат крепкие початки и серебрятся султаны; кое-где, на большом расстоянии друг от друга, стоят дома и хлева, как правило — белые, под красными черепичными крышами; порою заметишь и фермера, он стоит во дворе и что-нибудь мастерит или чинит, куры клюют у его ног, вдалеке пасутся коровы. На пути всего четыре или пять маленьких городишек, каждый извещает о своем названии и числе жителей белой придорожной вывеской: «Уайт Холл, 1800»., «Плезент Плейнс, 900»., «Менард, 2200». Дорога рассекает их, бежит несколько минут под кронами деревьев, мимо старых домов, перед которыми зеленеют широкие газоны, мимо чистеньких магазинов и запыленных автомобилей, съехавшихся к ним со всей округи, а там снова тянутся пастбища и кукурузные поля.

Все это было хорошо знакомо Либби, поэтому она уселась с ногами на сиденье машины и всю дорогу не сводила глаз с брата. Она была не менее болтлива, чем Чурка Брэйли, вдвое любопытнее — и в восторге от того, что сейчас увидит университет, да еще в сопровождении такого знаменитого физика. Она напевала какой-то трагический романс, которому выучилась у школьных подруг, сплетничала про учителей и одноклассников, на все лады пробовала выведать побольше про Терезу и то и дело ошарашивала Луиса чрезмерной смелостью взглядов, — ничего подобного он за ней в прошлый свой приезд не замечал и готов был поклясться, что сам в четырнадцать лет вовсе не был так осведомлен. Как быстро они растут, думал он, но тут сестренка вдруг говорила что-нибудь уж вовсе по-детски наивное и начисто сбивала его с толку.

Из аптеки на окраине города Луис по телефону вызвал физический факультет университета и спросил, нельзя ли поговорить с Юджином Фоссом. Фосс был родом венгр, года на три старше Луиса; как и многие европейцы, он эмигрировал еще в тридцать четвертом году, около года работал в Англии, затем перебрался в Соединенные Штаты, где и получил ученую степень годом раньше Луиса. В Нью-Йорке они много бывали вме-

сте, хотя возможности для этого были ограниченные, потому что Фосс терпеть не мог кино, театр, всякие сборища и вечеринки, — словом, все те места, где приходилось молчать или разговаривать о пустяках; при этом он вечно был без гроша и возможность работать над диссертацией получил только благодаря щедрой стипендии, какие раздавал дальновидный попечительский совет, прекрасно понимая, что таким способом легче всего заполучить искрометные таланты, непрерывным потоком притекающие из Европы. Фосс работал как одержимый и говорил не умолкая, с величайшей бережностью брал в руки каждую мелочь в лаборатории и громовым голосом излагал всякий домысел, всякую самую невероятную гипотезу, какая только приходила ему на ум. Он развивал ее с полнейшей серьезностью, искусно подбирал доводы, а убедившись, что она ничего не дает, весело отказывался от нее и немедленно выдвигал другую. Был он долговязый, нескладный, волосы редкие, длинный нос и острые, проницательные глаза — самая подходящая внешность для такого человека.

Услышав голос Луиса, Фосс пришел в восторг, условился через полчаса позавтракать с ним и тотчас же спросил, видел ли Луис статью Бора и Уилера в «Физическом обозрении». Луис статьи не видел. «Это новая веха, — сказал Фосс. — Только вчера напечатано. Подожди, я тебе принесу. Великолепная вещь!» Кроме того, он обещал привести с собой приятеля: отличный малый, Дэвид Тил его зовут. Они с Луисом созданы друг для друга.

И вот немного спустя трое молодых ученых и Либби уселись за крохотный столик в углу битком набитой комнаты: в передней ее части помещалась аптека, позади — закусочная, а в целом это было обычное место встреч для друзей и знакомых. Громкие голоса, звон посуды, дребезжанье музыкального автомата — все сливалось в оглушительный гул; между столиками почти не оставалось прохода; посетители и официантки сталкивались друг с другом, пробираясь взад и вперед. Либби была разочарована. Она ждала, что они позавтракают в тихой комнате с высоким потолком и красиво ниспадающими занавесями на окнах, выходящих на теннисные корты и на тенистые аллеи, где занимаются студенты и студентки, парами склоняясь над книгой. Она заказала салат из цыпленка за пятьдесят центов, самое дорогое блюдо, какое можно было обнаружить в слепом, отпечатанном на стеклографе меню, и приготовилась наблюдать за братом и его друзьями, пока они разговаривают, а о чем — это, наверно, будет не слишком интересно.

Фосс быстро наскучил Либби, как и она ему. Он поздоровался с нею, вежливо и почтительно пожав ей руку, как будто перед ним была тридцатилетняя женщина, и тотчас о ней забыл. Он понятия не имел, о чем с нею разговаривать, — и, не желая ломать голову над этой задачей, предпочел вовсе за нее не браться; Либби почувствовала то же самое, — ей и в голову не пришло заговорить с этим человеком или прислушаться к его словам. Вот Дэвид Тил — другое дело.

Прежде всего, он был хромой. Он ходил, опираясь на толстую узловатую трость, и казалось, что хромота как-то зависит от этой трости; он был ниже среднего роста и довольно хрупкого сложения, но мешковатый костюм скрывал изящество его фигуры. Хромота, трость, слабое тело в широкой свободной одежде — все это в первую же минуту произвело впечатление на Либби, все это было ново для нее, а потому интересно, но все это отступило на задний план, как только она, здороваясь, пожала ему руку и улыбнулась в ответ на его улыбку. В улыбке его была не простая вежливость, но сама сердечность, теплым, сердечным был и взгляд и, как показалось девочке, даже наклон головы — прекрасно вылепленной головы, которую он слегка склонил перед Либби, взяв ее за руку и опираясь другой рукой на трость.

— Вы одеты в университетские цвета, — сказал он ей, — как это мило!

Потом он говорил что-то Луису, а Либби тем временем думала, что в его словах заключено не одно только значение, перебрала их все, и все они были ей приятны. Он, видно, очень старый, даже старше Луи. Зато она одного роста с ним, ничуть не ниже, а это как-то сглаживает разницу лет. Либби ждала, что Тил сразу же отстранится от нее, как того требует присущая взрослым кастовая замкнутость, которую они нарушают лишь для того, чтобы поздороваться с младшими или мимоходом с ними пошутить, — но этого не случилось. Пока они шли к столу и пока завтракали, Дэвид Тил не забывал о присутствии Либби, то и дело заговаривал с нею и даже иногда, говоря с остальными, обращался и к ней тоже. Она видела, что он немного нервничает, когда заговаривает с ней, но это бывало со всеми взрослыми мужчинами, кроме ее отца (а иногда и с ним тоже), и она не обратила на это внимания. Посреди завтрака она подумала, что неплохо бы выйти замуж за этого Тила. Обычно ее размышления на тему о браке ограничивались немногим: за этого хорошо бы выйти замуж, а за того — нет, а за этого — не знаю, мне все равно. Но теперь Либби не ограничилась этими привычными расчетами. И тихонько ковыряя вилкой цыпленка, поглядывая искоса на соседей по столу и отвечая, когда с ней заговаривали, Либби прикидывала про себя, как это будет звучать — «мистер и миссис Тил», и подсчитывала, сколько букв совпадает в их именах. Интересно, чем он больше всего любит заниматься? А дети у них тоже будут хромые?

— Меня злит до смерти, что мы столько времени не могли понять, чем же это мы занимаемся, — говорил Фосс. — Я помню статьи Ферми, они были напечатаны четыре года и пять лет назад, я тогда был еще в Риме.

— Зато сейчас страсти разыгрались вовсю, — сказал Луис. — Но кто мог тогда предвидеть...

— Всякий мог предвидеть. Ученые уже тогда развязали энергию и высвободили нейтроны. Надо было только, чтобы кто-нибудь, отказавшись от предвзятости, внимательно присмотрелся к тому, что они сделали. Я никого не осуждаю. В конце концов, я же читаю газеты. Это слишком грандиозная штука, чтоб так легко ее принять. Но что происходит в Германии? Насколько далеко они ушли, помимо того, что просто согласились с установленным фактом? Поверьте мне, это слишком важно, пора над этим задуматься.

— Ты рассуждаешь совсем как Висла, — сказал Луис.

— Он и сам немного похож на Вислу, — вставил Тил. — Если не считать того, что он венгр и не может походить ни на кого, разве только на какого-нибудь другого венгра. Есть такая теория: марсиане, жители древней, умирающей планеты, пожелали узнать, что творится на Земле. И несколько тысяч лет тому назад они направили своих агентов в Венгрию. Вот откуда взялся и странный язык, не похожий ни на один язык в мире, и странные, талантливые люди, вроде нашего Фосса, постоянно появляющиеся среди венгров. И вот объяснение тому, что они выдвигают иногда странные идеи, дерзкие, блестящие и враждебные миру на Земле.

Фосс выслушал все это, улыбаясь, но и не без нетерпения. Ему хотелось узнать от Луиса во всех подробностях, что думают и предпринимают в Нью-Йорке и что там собираются предпринять в ближайшее время. Он, видимо, не сомневался, что Луис в Нью-Йорке входил в ареопаг тамошних физиков и обсуждал с ними пункт за пунктом все насущные вопросы. Над чем работает сейчас имярек? Подумали ли о такой-то возможности? А об этой?

— Вы умеете водить машину? — обратился Дэвид к Либби.

Она взглянула на него. Правда ли, что ему это интересно? Пожалуй, правда.

— Умею. Только мне не позволяют. Сегодня вела не я, а Луи.

— Вот что нужно установить немедленно, — говорил Фосс: — до какой степени тяжелые изотопы будут мешать расщеплению легких изотопов. Кто-нибудь пытается это выяснить?

— Даннинг пытался составить пробу, обогащенную ураном 235. Он пользовался для этого масс-спектрографом, но когда я уезжал, работа была еще не закончена, — ответил Луис.

— Уговорите брата, пусть повезет вас смотреть футбольные состязания, — говорил Дэвид. — В хороший осенний денек приятно будет прокатиться по равнине. А потом, на стадионе...

— Кое-кто здесь думает, что не удастся добыть достаточное количество изотопа, — сказал Фосс. — А я с этим не согласен.

Дэвид и Либби заговорили о ее школьных занятиях. Либби рассказывала о преподавателе физики, мистере Гарримане:

— Он нам говорил, что в молодости ему часто приходилось ездить в двуколке туда, где жила миссис Гарриман, только тогда она еще не была миссис Гарриман. Стоял ужасный холод, и он сперва заворачивался в газету, а уж потом надевал рубашку, чтоб не замерзнуть дорогой. Он нам про это говорил, чтобы объяснить, что такое изоляция.

— Это Висла сказал?! — в волнении воскликнул Фосс. — Постарайся, Луис, вспомни его точные слова. Неужели не вспомнишь?

— Вот что я вам советую, — говорил Дэвид. — В следующий раз на уроке мистера Гарримана попросите, чтоб он вам показал Мэбиусову ленту. А чтобы вы знали, что это такое, на случай, если мистер Гарриман вам не покажет, вот, смотрите. — Он вынул из кармана лист бумаги, оторвал узкую полоску, перегнул ее по оси, словно собираясь скрутить спиралью, потом сложил вместе концы, завернул их и загладил складку. — Вот видите, — продолжал он, — у этой полоски бумаги две поверхности и два края, как у всякого порядочного листа бумаги. Но проведите-ка пальцем по любой стороне и по любому краю и посмотрите, что получится?

Либби начала пальцем обводить бумажную полоску.

— Но послушай, Юджин, — возражал Фоссу Луис, — ты говоришь о том, чтобы получить взрывную реакцию при помощи быстрых нейтронов, а ведь никто еще не знает наверняка, удастся ли нам хотя бы поддерживать тепловую реакцию с медленными нейтронами. Ты слишком забегаешь вперед.

— Вопрос в том, не опередили ли нас немцы. После первого сентября теорию расщепления атомного ядра нельзя обсуждать независимо от политики и войны. Я полагал, раз ты только что из Нью-Йорка, где главным образом и ведется эта работа...

Либби убедилась, что у бумажной полоски теперь только одна сторона и один край, и улыбнулась — фокус ей понравился.

— У вас случайно нет при себе ножниц? — спросил Дэвид. — Ну, все равно. Когда вернетесь домой, разрежьте полоску вдоль, по самой середине, чтобы стало две полоски, и посмотрите, что получится. А потом разрежьте еще раз.

— А что... — начала было Либби, но тут ее перебил Фосс.

— Дэвид, — сказал он громко, — вы умный человек, я всегда это говорю. А вот наш друг Сакс — он тоже умный человек, но откуда у него эта слепота? Может, вы с ним потолкуете? Прямо безобразие! Ему говорят о том, что творится на свете, а его это ни капельки не трогает.

Дэвид рассмеялся и понимающе взглянул на Луиса. И в то же время, взяв из рук Либби свернутую кольцом бумажную полоску, столовым но-

жом начал разрезать ее посередине — нож был тупой, и Дэвид резал медленно и осторожно, чтобы не порвать бумагу.

— Юджин хочет втолковать мне, что процесс расщепления — это не просто лабораторная задачка, — сказал Луис. — Что дело, мол, не в том, чтоб дать классификацию изотопов или при помощи игрушки под названием циклотрон отщипывать по кусочку от атомного ядра. Он думает...

— Прошу прощенья, все это весьма почтенный труд, и ничего подобного я не говорил. Я так скажу: это работа чистая, а мы пришли к чему-то нечистому. И мы должны прекратить это, пока грязь и зараза не распространились. Не знаю, почему немцы начали войну именно теперь — потому ли, что русские устали, или потому, что они поступились интересами человечества, или в чем их там еще обвиняют, или в чем они сами могут обвинить других; а может быть, война началась потому, что какие-то немцы, вроде того же Гана или Гейзенберга, решили, что они могут добиться непрерывной цепной реакции. Вот я и говорю Саксу, Дэвид: вопрос не в том, верно или не верно, что расщепление можно преобразовать в поддающийся контролю и управлению взрыв, — я говорю только, что немцы поставили нас перед необходимостью выяснить, можно это сделать или нельзя. Сейчас нет ничего важнее. Объясните ему, Дэйв!

Дэвид почти уже разрезал бумажную полоску, осталось не больше дюйма. Все трое следили за ним — Фосс смотрел ему прямо в лицо и едва ли замечал, что у него в руках, с которых не сводила глаз Либби, а Луис смотрел то на Фосса, то на Дэвида.

— Вы, как будто, хотите одного, — сказал Дэвид: — чтобы кто-то еще согласился с вами, что работа с ураном сейчас важнее, чем когда-либо, потому что немцы начали войну... А это все равно, что сказать: эта работа имеет военное значение. Что ж, вполне возможно. Я с этим согласен. — Он кончил резать бумажную полоску, она разделилась на два кольца, и одно из них повисло на другом, получились как бы два звена одной цепи. Либби протянула руку, и Дэвид отдал их ей.

— На самом же деле вы добиваетесь большего, — продолжал Дэвид. — Вы хотите, чтобы с вами согласились, будто наука, по крайней мере, определенная отрасль науки, стала теперь составной частью международных отношений. Для вас самое главное — остановить нацистов, самое страшное — что их работа над ураном приведет к открытиям, после которых нацистов уже ничем не остановишь. А значит, ничего нет важнее, чем опередить их в подобных открытиях. Иными словами, вы хотите — не так ли? — чтобы наука работала на войну, притом на войну, которая нас еще и не коснулась. Вы не сказали этого прямо. Но ведь именно это вы имели в виду, правда?

— Можете говорить что угодно и называть это как угодно. Но если немцы из Польши двинутся на Францию и если...

В точности те же предположения высказал недавно Висла в кабинете Плоута, и теперь слова Фосса показались Луису эхом. А может быть, слова Вислы были всего лишь эхом, которое Луис услышал до этих, сейчас произнесенных слов? Ибо то, что у Вислы звучало загадками, Фосс сказал напрямик.

— ...теоретически ничто не опровергает такой возможности. И если немцы этого добьются, они пустят свое открытие в ход. Неужели вы сомневаетесь, что к этому они и стремятся, пока мы тут сидим и рассуждаем? — Фосс вздохнул, помолчал. — Сам я не подсчитывал, какова может быть сила такого взрыва, точно не скажу, но вы представляете себе это не хуже меня. Мы уже создавали эту огромную энергию десятки раз — в лабораторных условиях, в миниатюре. Ну, а если то же самое проделать с другим количеством вещества? Скажем, с унцией? Или с фунтом?

«Невеселая тема для разговора в летний день в тихом и мирном уголке, далеко-далеко от войны, — подумал Луис. — А сколько еще народу в самых разных местах рассуждает сейчас об этом?»

— Трудности предстоят огромные, — тихо сказал Дэвид и покачал головой.

— Не в этом суть. Суть в том, чтобы выяснить, возможно ли это.

— С вами не поспоришь, поскольку фашисты такие, как они есть. И однако, если ваша точка зрения победит...

— То она победит в ущерб науке, да? Вы это хотите сказать? Может, мы еще скажем, что ученый должен высоко ценить науку и ему не к лицу первому уводить ее с прямого пути? Слыхал я такие разговоры! Это что же значит — что наука может в конечном счете куда-то свернуть и тогда ученый будет решать, по дороге ему с наукой или не по дороге? И таким образом он, по-вашему, соблюдёт чистоту своих риз? Великолепно! Блестящая мысль! Стало быть, истинное назначение ученого в том, чтобы вести разведку Неведомого на одиноких аванпостах разума — так, что ли? — а не идти впереди тех, кто хочет предотвратить чудовищную угрозу, нависшую над цивилизацией? Правильно я цитирую — кого, бишь, я цитировал, Дэвид? По-вашему, я циник? Но я говорю в высшей степени серьезно.

В серьезности Фосса сомневаться не приходилось. Глаза его сузились, он весь подался вперед, обеими руками стиснул края столика, и что-то в его лице напомнило Луису сказанные самим же Фоссом за несколько минут перед тем слова о чистом и нечистом. И еще что-то есть знакомое во всем этом, но что? Он силился припомнить. Что-то такое, что было давно и совсем в другой обстановке... Слушая Фосса, Луис краешком сознания пытался понять, что же это за воспоминание не дает ему покоя; предполагалось, что, по просьбе Фосса, Дэвид что-то ему разъяснит, но об этом в пылу спора забыли. Он поглядел на Либби — она встретилась с ним глазами и улыбнулась, словно говоря: ничего, я потерплю.

— Угроза войны существует почти всегда, — сказал, наконец, Дэвид, — и нередко она бывает поистине чудовищна. Вы цитировали меня — не спорю, — и еще очень многих известных вам людей, и даже самого себя, по крайней мере, кое-какие ваши собственные мысли. В конечном счете все, что может быть использовано для войны, будет использовано во время войны. Вы же иногда рассуждаете так, как будто забываете, что война всегда — зло, зло для ученых и для науки, точно так же, как для земледелия и землепашцев, для семьи и для детей. Война может быть неизбежным злом, а может и не быть, то есть она не всегда неизбежна. На этот счет не стесняйтесь цитировать меня — я далеко не уверен, что война — зло неизбежное. Помнится, двадцать пять лет назад английское правительство обратилось к Резерфорду, предлагая ему отложить исследование атома и разработать способы защиты от подводных лодок. А он ответил, что если его исследования окажутся успешными, они будут куда важнее, чем война.

— Его счастье, что война не была проиграна, а то еще неизвестно, что бы было, — сказал Фосс.

— Да, но успеха-то он добился, и очень возможно, что он был прав, а ведь он всего-навсего превратил в своей лаборатории частицу азота в кислород. Господи боже, чего только мы с тех пор не достигли! Если уж вы ударились в романтику с вашими одинокими аванпостами, так я тоже ударюсь в романтику. Мы видим свет на дороге, вот уже полвека он продвигается все вперед и вперед. По-моему, это чудесно, тут и в самом деле есть от чего стать романтиком. И мне страшно думать, что этот светоч будет погашен или попадет в холодные, равнодушные руки, или в грязные

руки тех, кто фабрикует бомбы. Я не желаю, чтобы произошло что-либо подобное, если есть хоть малейшая возможность этого избежать.

Дэвид умолк, слегка пожал плечами и вдруг, подняв глаза на Луиса, прибавил:

— Разумеется, возможно, что эта война — совсем другая, чем та, которая была во времена Резерфорда. В этих делах Фоссу и книги в руки, нам с вами остается только слушать, хотя мне и очень неприятно слышать то, что он говорит.

Опять наступило молчание. Фосс не воспользовался случаем вставить слово; все время, пока Дэвид говорил, он смотрел ему в лицо, а теперь быстро взглянул на Луиса, опустил глаза, снова поглядел на Луиса — и снова уставился на скатерть.

— Видите ли, — сказал Дэвид, словно это ему только что пришло в голову, — ведь все, что мы находим там, на этих самых аванпостах разума, тоже рано или поздно обернется какими-то сугубо практическими достижениями. Подумайте, сколько таких достижений появилось благодаря тому, что открыл три четверти века назад Максвелл, а за ним Генрих Герц. Кино, радио, телевидение... страшно даже подумать, какое огромное будущее у телевидения, а все-таки мне куда интереснее то, что сделал Максвелл, скажем так — качество того, что он сделал; а ведь, ей-богу, телевидение поражает меня не меньше, чем поразило бы его. Ну-с, и разрешите мне привести в подтверждение моих мыслей цитату, ибо нет ничего такого, что не было бы уже сказано до нас. Мистер Фосс со мною согласится. «И все ремесленники разразятся криками ликования, ибо наука становится Дианой-покровительницей ремесленников, и она будет превращена в заработную плату рабочих и прибыль капиталистов», а также и в славу военных, да будет мне позволено прибавить это к словам Томаса Хаксли.

«Настоящую проповедь произнес, — подумала Либби. — А как красиво это звучит: Диана ремесленников, Диана ремесленников...»

— Медея — покровительница военных, — вдруг сказал Дэвид.

Фосс нетерпеливо мотнул головой. Дэвид спросил, что будет дальше делать Луис.

Луис рассказал им о письме Неймана и о вмешательстве Вислы, — впрочем, об этом только вскользь, потому что в глубине души был польщен вниманием Вислы и боялся, что они это заметят, а тогда ему будет очень неловко. А что известно им обоим насчет Чикаго? Там действительно затевается что-то из ряда вон выходящее?

— Да у них там сейчас и ученых-то настоящих нет, — сказал Фосс, — только один Нейман. Но сейчас они строят новый циклотрон, и им нужна дешевая рабочая сила.

За свои последние два с лишним года в Нью-Йорке Луис занимался главным образом проблемой ядерных изомеров; для этого ему требовалось множество разнообразных изотопов, которые он добывал при помощи университетского циклотрона; занимаясь этим, он провел несколько счастливейших часов, отыскивал вместе со специалистами уязвимые места в вакуумной системе, где все снова и снова обнаруживалась утечка нейтронов, и вообще помогал циклотронщикам чем только мог.

— Фосс говорит, что вы — великий мастер чинить неисправные циклотроны, — сказал Дэвид.

«Диана и циклотрон, Диана на циклотроне, Диана — анна — циклотрон», — повторяла про себя Либби.

— Дело, наверно, в том, — сказал Фосс, полностью оценивший упоминание Луиса о Висле, — что Висла подбирает людей для своего великого проекта. Я думаю, он хочет иметь тебя под рукой.

— А что за великий проект?

— Да вот то самое, о чем мы говорили, — он хочет соорудить новый циклотрон и получить ядерную взрывчатку. Ты ведь знаешь, что Эйнштейн писал Рузвельту?

— Ничего не знаю.

— Господи, да ведь ты же только что из Нью-Йорка, ты был в самом центре событий! Чем ты там занимался, книжки читал?

Так Луис узнал о письме Эйнштейна и о том, что готовит миру гитлеровская Германия, — он и не подозревал, что это так серьезно. На минуту сознание чудовищной иронии происходящего взяло в нем верх над остальными чувствами, и он слушал Фосса с чуть заметной улыбкой, с которой не в силах был совладать. Перед лицом всех этих тщательно продуманных предположений — если то, если другое, если десятое, если эта свирепая и беспощадная фашистская военная машина навалится на великие страны и раздавит их и если хозяева этой машины поймут, какая огромная мощь у них в руках, — перед лицом всего этого независимый ученый Эйнштейн, в недавнем прошлом обладатель загородного именья близ Потсдама и квартиры в Берлине, лишившийся и того и другого, садится за свой письменный стол в простом стандартном домике в Принстоне, поправляет очки, сквозь которые смотрят его ясные глаза, берет лист бумаги и начинает: «Дорогой господин президент...»

Луис подумал еще и о другом листке бумаги, попавшемся ему под руку, когда он дня через два после приезда в Джорджтаун полез зачем-то в ящик стола в своей старой комнате. На этом листке, сунутом в ящик вместе со всякими памятными заметками, вырезками из газет и даже школьными сочинениями, были стихи, которые он написал в этой самой комнате в один из приездов домой на каникулы, года четыре или пять тому назад. Он перечитал их про себя и поджал губы, немного смущенный, но не слишком.

Возблагодарим за убийства—ведь еще не дошло до резни,
За то, что убийц поспешность чуть сдержана ветхой уздою,
За то, что еще не вовсе в зверей обратились они,
За то, что неверный сумрак не стал непроглядной тьмою.
Дела их черны, но их планам покамест не вышел срок,
Поэтому мешкает, медлит нависший над нами клинок.
Нелепо мечтать о грядущем, пока не обуздан зверь,
О землях обетованных мечтать на земле кровавой.
Возблагодарив, молитесь (рыдать не стоит теперь),
Чтоб ненависть в нашей руке клинок укрепила правый!*

Эту мрачную молитву он написал, когда в Германии начались преследования евреев; он никогда никому не показывал эти стихи; они были какой-то отдушиной для его чувств, но в этот раз, перечитав их, он медленно порвал листок в клочки. Быть может, после вестей из Польши слова, которые он написал в восемнадцать лет, зазвучали по-иному — теперь они звучали не столько холодно и зло, сколько напыщенно.

И теперь, мельком вспомнив эти стихи, он ощутил одно только смущение. И насмешливое чувство, вызванное письмом Эйнштейна, — все равно, будет ли от этого письма толк или нет, — тоже казалось сейчас легковесным и немного стыдным. Смешно другое...

— Он и в самом деле упомянул о бомбе? Так прямо и сказано — бомба?

— Ну конечно. Он понимает, что есть такая возможность.

...нет, не смешно, а трагично, — Луис обернулся, встретился глазами с Дэвидом. Верно, и Дэвид чувствует то же, во всяком случае, он понимает... «Мы видим свет на дороге, вот уже полвека он продвигается все вперед и вперед», — да, он движется по этому пути уже долгие века —

* Перевод А. Голембы.

понемногу, рывками, то останавливаясь, то вновь устремляясь вперед, звено за звеном соединяясь в одну непрерывную цепь, и, быть может, достигнет цели, о которой не дерзали даже мечтать минувшие поколения. Но, разумеется, уран, беккерелевский уран — вот краеугольный камень всего двадцатого века; атомы урана — больные атомы, они рождены непрочными и обречены на распад и гибель. Ладно, на сегодня хватит!

— Ну, знаете, от письма до великого проекта еще далеко. Ведь нет еще ничего определенного. Так что же это за проект?

— Он осуществится, — сказал Фосс, и снова Луис заметил, что он вцепился обеими руками в край стола. — Непременно осуществится, иначе быть не может.

Либби не сиделось на месте. Она опрокинула стакан с водой, и официантка подошла убрать.

Они вышли из аптеки. Фоссу надо было еще подготовиться к занятиям, но, взглянув на часы, он убедился, что у него уже не остается времени — дай бог поспеть к началу, — и он, наскоро попрощавшись, чуть не бегом пустился по улице. Дэвид Тил предложил поводить их немного по университету, прежде чем они двинутся в обратный путь, и через несколько минут они оказались в большом, не слишком опрятном помещении, в дальнем конце которого громоздилось какое-то сложное устройство: металлические громады и трубы, всевозможные измерительные приборы...

— Чудны дела твои, господи! — воскликнул Луис. Он даже руками всплеснул и весь просиял от удовольствия. Поглядел на Дэвида, рассмеялся — и вдруг, забыв обо всем на свете, подошел к аппарату и сосредоточенно, во всех подробностях начал рассматривать его.

— Что это? — спросила Либби.

— Это называется циклотрон. Он разрушает атомы, — объяснил ей Дэвид, в то же время наблюдая за Луисом. — Это вроде микроскопа для таких вещей, которые и в микроскоп не увидишь. Только этот циклотрон очень старый.

— Музейный экспонат, — сказал Луис. — Музейная древность.

Музейной древности было около четырех лет. Это был третий циклотрон в мире, созданный человеком для того, чтобы измерять частицы, не имеющие измерений, взвешивать невесомое, видеть невидимое. Профессор вместе с двумя студентами-выпускниками, которым время от времени помогали три-четыре механика, сконструировали его, потратив на это около года, работая и ночами и по воскресеньям, потихоньку заимствуя листовую латунь, измерительные приборы и бакелит из запасов химических лабораторий, снабжавшихся в те дни куда лучше, чем лаборатории по ядерной физике. В целом изготовление этого исторического аппарата четырехлетней давности обошлось всего в тысячу долларов с небольшим, искусно выкроенных из других статей университетского бюджета.

Трудности, вставшие перед специалистами по ядерной физике на каждом шагу, когда им надо было добывать необходимые для их работы орудия и материалы, объяснялись тем — тогда это казалось непреложным, как закон природы, — что никто, ни один самый пылкий или, напротив, самый хладнокровный исследователь тайн атомного ядра не мог сказать, будет ли от его работы и его исканий хоть малая толика чисто практической пользы. Несмотря на революцию, совершившуюся в двадцатых годах в математике, специалисты по ядерной физике не знали толком, какова цена тому, что они делают, ибо не могли в точности определить, что же ими сделано; новые уравнения дали возможность обходиться без свидетельства наших пяти чувств в тех областях, куда этим чувствам нет доступа, и отказаться от старой удобной теории строения атома, как солнечной системы в миниатюре; они многое объясняли и многое предска-

зывали, но сами были не так доступны, чтобы завоевать физикам большое количество сторонников. Даже после великих открытий начала тридцатых годов, когда найдены были дотоле неизвестные частицы атома, никто по-настоящему не мог предвидеть, к чему это поведет, разве что значительно расширятся пределы нашего познания вселенной; все ядерщики во всем мире волновались и торжествовали, но всевозможные административные инстанции — попечительские советы учебных заведений, государственные деятели, исследовательские отделы больших промышленных фирм — остались равнодушны к этой перспективе.

Луис любовно и почтительно обследовал этот небольшой памятник, свидетельствующий о важности вопросов, задаваемых не во имя практической пользы. Глядя на него и мысленно возвращаясь к разговору за завтраком, Дэвид Тил вдруг вспомнил утро, которое ровно год назад, за три месяца до того, как ученым удалось расщепить атомное ядро, он провел в правлении одной из крупнейших электрических компаний Америки. Вместе с тремя исполненными надежд коллегами он попытался заинтересовать компанию новым, весьма многообещающим типом циклотрона и получить на его постройку тридцать тысяч долларов. Директор фирмы очень любезно выслушал их и, почти не раздумывая, покачал головой: «Физика этого рода слишком мало обещает в практическом отношении,— сказал он. — Это не окупится...» Дэвида поразили слова «физика этого рода», он подозревал, что директор постеснялся сказать «ядерная физика», опасаясь, как бы это не прозвучало слишком манерно и изысканно.

— Я вижу, вы тут пользуетесь ацетоном для обнаружения течи, — сказал Дэвиду Луис. — Что же, это вернее, чем спирт?

Они поговорили еще немного о циклотроне, и Луис вспомнил, что в Чикаго понадобится дешевая рабочая сила. Они вышли на улицу, и Дэвид помог Либби забраться в машину; брату и сестре пора было возвращаться домой.

— Так какого вы все-таки мнения об этом проекте Вислы? — спросил Дэвида Луис.

Дэвид кончиком трости коснулся оси автомобильного колеса и машинально стал обводить ее.

— Трудно сказать, — ответил он наконец. — Пожалуй, что-нибудь и получится, найдутся же в правительстве люди, которые решат, что нужно действовать. В обычных условиях, конечно, от такой вещи, как открытие Гана, практических результатов не дождешься и лет через пятьдесят. Но сейчас все с головой ушли в эти изыскания. За последние восемь месяцев в области... скажем, физики особого рода... сделано столько, что хватило бы и на десять лет. Трудно сказать... Я очень уважаю Рузвельта, хотя правительство не внушает мне особого доверия... любое правительство. Просто без этого не обойдешься, а заполучить в правительство такого Рузвельта — это уже, можно сказать, нам повезло. Похоже, что он любит людей. Ну, а если любишь людей, станешь ли фабриковать бомбу, которая в минуту снесет с лица земли целый город?

— Можем ли мы сказать, что президент настолько дорожит наукой, что не пожелает увести ее с прямого пути? — произнес Луис голосом Юджина Фосса.

Дэвид расхохотался.

— Фосса нетрудно опровергнуть наполовину, но не до конца, — сказал он. — А может быть, как раз наоборот.

— Ну, хорошо, а существует ли вообще такая возможность? — спросил Луис. — Больше всего на свете я хотел бы, чтоб из этого просто-напросто ничего не вышло. Я могу придумать десяток причин, почему ничего не должно выйти, но боюсь, что на самом деле выйдет. Взрывная реакция, только это я имею в виду. Только! Ах, черт!

— Вы слишком многого требуете от нашей матери природы, — сказал Дэвид, дружелюбно глядя на Луиса, но в голосе его прозвучала едва заметная ироническая нотка. — Давай нам одни розы, но избавь нас от шипов. Для этого она чересчур строптива. У меня есть знакомый, который может доказать, как дважды два, что взрывной реакции не получится. Как вы и я, он родился и вырос в Соединенных Штатах. А вот Ферми, и Сцилард, и Висла, и Вайскопф, и Теллер, и еще многие, кто приехал к нам сюда отнюдь не по собственной воле, как видно, думают, что она получится, судя по тому, что я слышал и читал. Так вот, видите ли, природа всегда на одни и те же вопросы дает одинаковые ответы. Но, может быть, человек, бежавший из концентрационного лагеря, иные вопросы задает более настойчиво, или лучше их формулирует, или просто внимательней выслушивает ответы.

Дэвид выпрямился, посмотрел в один конец улицы, потом в другой и, казалось, уже готов был пойти своей дорогой.

— Нет, это несправедливо, — сказал он вдруг. — Я рассуждаю как социолог, а это по меньшей мере неуместно. Да, я думаю, взрывная реакция получится. А если получится, нацисты ею воспользуются, а в этом случае и мы будем вынуждены воспользоваться ею. Короче говоря, я согласен с Фоссом, и да помилует нас бог! Остается только одна надежда — что ни они, ни мы не поспеем вовремя. Будем надеяться!

Либби дала гудок. Они распрощались. Луис сел за руль.

— Кланяйтесь от меня Чикаго! — крикнул вдогонку Дэвид.

По дороге домой Луис, наконец, сообразил, кого напомнило ему напряженное лицо Фосса за завтраком: испанцев и тех, кто из разных стран приехал в Испанию сражаться, — многих из них он знал и одно время жил с ними бок о бок. Вот такая же энергия и суровость и знание чего-то, ему, Луису, неведомого, проступали на их лицах, как сегодня на лице Фосса. Глядя на них, чувствуешь себя размазней, — впрочем, прожив среди этих людей четыре месяца, он уже не чувствовал себя таким размазней или, может быть, меньше замечал выражение их лиц, — и что-то от этого чувства вдруг ожило в нем сегодня во время разговора с Фоссом. Умом прекрасно можно разобраться и в этом выражении лиц, и в собственном ощущении, а вот с чувствами не так-то легко справиться. В лицах испанцев он видел ненависть, а с нею и мужество, и красоту, и страсть, и порой невыразимую горечь и скорбь, — много всего можно было прочесть на этих лицах, но вот как с этим сочетается ненависть, он понять не мог, потому что сам никогда ее не испытывал. И сегодня в сложной смеси чувств на лице Фосса он различал ту же ненависть. Смесь, думал он, примесь... два разных значения, несчетное множество оттенков, то, что делает нечистым и что скрепляет в единое целое... Как странно, в сотый раз подумалось ему, очень странно...

Но почему же сам он неспособен ненавидеть? Даже в Испании не было у него этого чувства. Может быть, ненавидишь то, чего боишься, а есть ли что-нибудь такое, чего он по-настоящему боится? Или же его обуяла гордыня — смертный грех? Разве он не боялся в Испании бомб и пуль? Да, но не настолько, чтобы их ненавидеть. Ну, хорошо, но ведь боялся же он тех, кто стрелял и бросал бомбы? Да, но не настолько, чтобы их ненавидеть. Хорошо, черт возьми, тогда почему же я сам стрелял в них? Да просто чтобы остановить их. Остановить их! Ты, видно, забыл, что сестру Фосса замучили фашисты? Нет, я помню. Фосс такой же еврей, как я. И у него сестра, вот как у меня — Либби. Да. Так, может быть, ненависть для тебя не пустой звук? — спросил он себя. Да! Тогда в чем же дело? Видишь ли, ненависть — как примесь, тут нужен самый строгий кон-

троль, иначе она все погубит. Но как раз контролю-то она и не поддается. Разум не в силах ею управлять. Ее-то и нужно опасаться больше всего на свете.

Впереди лежала ровная, прямая дорога. Либби уснула, ей снились велосипеды и свадьба. Машина шла легко и уверенно, со скоростью шестьдесят миль в час, по одной из богатейших сельских местностей Северной Америки. Промелькнул Менард, 2200 жителей... Плезент Плейнс, 900... Уайт Холл, 1800... Мимо проносились живые изгороди из тутовых деревьев, которыми разрезаны были на части залитые солнцем поля. Коровы смотрели на бегущий по дороге автомобиль; куры кидались врассыпную; фермеры, подъезжавшие к шоссе по тихим проселкам, останавливались за милю, пропуская машину Луиса. Смутно было у него на душе.

Густаво. Густавито.

Помнит ли он человека, которого звали Густаво или Густавито?

Да, помнит.

Этот Густаво, с которым он не был знаком, но которого ему однажды показали, работал когда-то в шахте, во всяком случае, так рассказывали. Но в начале осени 1936 года он был уже не шахтером, а летчиком. Как это получилось, одному богу известно; должно быть, он и раньше был летчиком, потому что в ту пору, когда Луис впервые услышал о нем, а это было всего через месяц или два после начала испанских событий, он уже летал так часто и так уверенно, что слава о нем пошла по всем республиканским войскам, защищавшим Мадрид. У правительства почти не было самолетов, а мятежникам с первого же дня войны и даже до того, как она началась, поставляли вдоволь юнкерсов и хейнкелей, савойя и фиатов. Временами у республиканцев не оставалось ни одного истребителя, во всяком случае, так бывало под Мадридом. Тогда пилоты, летавшие на бомбардировщиках, — по большей части это были не самолеты, а какие-то калеки, собранные по частям из остатков уже негодных машин и вооруженные пулеметами, выпущенными еще до первой мировой войны, — обходились без прикрытия, полагаясь только на облака, на счастливый случай да на собственное чутье, подсказывающее, когда войти в облака и когда из них выйти. Густаво прославился именно такими полетами. Судя по рассказам других летчиков, он летал на этом старье так мастерски и так бесстрашно, что все только диву давались; не раз его считали погибшим, но он всегда возвращался; он разбомбил великое множество автоколонн противника.

Луис считал, что если бы этого Густаво не было на свете, его надо было бы выдумать, а может быть, его отчасти и выдумали. Несомненно, в ту пору рассказы о подвигах Густаво вдохновляли людей не меньше, чем самые подвиги. Но ведь рассказы эти исходили от тех, кто сражался с ним рядом, — и пусть они преувеличивали факты, но, значит, он все же вызывал восхищение.

— Видишь, это Густавито, не летчик, а чудо! — сказал, указывая на него Луису, знакомый боец. Летчик стоял возле своей машины — старого, покрытого заплатами бреге. Он был очень высок, но его словно делала ниже ростом и как-то сковывала тесная кожаная куртка. Он разговаривал с двумя другими пилотами. Нетерпеливые, энергичные движения и весь облик сразу выдавали человека незаурядного, в нем чувствовались живой ум и внутренняя сила.

А спустя два дня случилось то, что Луис отчасти узнал по рассказам, а отчасти видел собственными глазами. Он видел, как старый бреге поднялся в воздух в сопровождении двух собранных по кусочкам машин-гибридов; с ними был и эскорт — два истребителя, летевших впереди и выше их. Дороги на запад от Мадрида в те дни были забиты фашистски-

ми грузовиками с боеприпасами; предполагалось, что от Толедо движется колонна грузовиков; словом, не было недостатка в целях, по которым могла нанести удар жалкая маленькая эскадрилья республиканских самолетов. Но они не успели поразить ни единой цели. Луис увидел, как разорвались в небе несколько зенитных снарядов, потом еще и еще — никогда до того часа он не видел, чтобы в небе сразу появилось столько этих белых клубков, и все — в точности на той высоте, на которой шли старые машины, чуть впереди них. Самолеты начали снижаться — и снаряды тоже стали рваться ниже. Это было нечто новое — зенитная стрельба с точным прицелом.

— Электронные вычислители. Десятки. Только что прибыли на фронт, — пробормотал один из товарищей Луиса по зенитной батарее. У республиканских войск таких приборов не было.

Самолет, шедший за бреге слева, покачнулся и вошел в штопор; потом рухнул вниз, переворачиваясь в воздухе и оставляя за собой хвост черного дыма. Остальные два летели, окруженные разрывами, — белые облачка вновь и вновь появлялись со всех сторон, как раз на уровне их полета. Уже не удавалось различить самолеты в сплошной сети разрывов, и когда еще одна сбитая машина рухнула вниз, нельзя было понять, которая это из двух. Но через минуту из черного дыма вынырнул бреге; он возвращался. Каким-то чудом в него не попали — видно, счастье и на этот раз не изменило летчику; но Густаво возвращался, не сбросив бомб. А двенадцать его товарищей, если не больше, погибли: ни один парашют не раскрылся.

Ах, сволочи, сволочи! В ту минуту он не подбирал для ненависти изящных выражений, не так ли?

Некоторое время спустя ему рассказали, что Густаво после этого случая уже не летал. Никто, в сущности, не осуждал его за то, что он отступил тогда перед стеною огня, но человек, который вернулся, отступив, был уже не тот, что поднялся в воздух. По слухам, он утратил не мужество, а веру; один из товарищей Луиса видел его, говорил с ним — и передавал потом, что, судя по всему, Густаво совершенно отчаялся и ни во что больше не верит: ведь он все время сражался, глубоко убежденный, что правый всегда побеждает... и вот...

Это все, что помнил Луис о Густаво; кстати, он уже вспоминал о нем однажды, несколько месяцев назад, в марте, когда газеты сообщили об окончательном разгроме испанских республиканцев франкистами с помощью немецких фашистов... тех же самых, что и сейчас, как он сказал накануне Капитану.

Он включил в машине радио — чуть слышно, чтобы не разбудить Либби. Несколько миль он ехал, слушая музыку, потом — беседу на агрономические темы. Ненадолго вернулся к мыслям об испанцах, которых он знал, и о Густаво, с которым так и не пришлось познакомиться, о Фоссе и Висле, об Эйнштейне и о своем новом друге Дэвиде Тиле.

Наконец стали передавать последние известия. Варшава пала, и волна гитлеровского нашествия захлестнула всю страну.

Потом он подумал, что, насколько ему известно, никому еще не удалось добыть большого количества свободного от примесей урана — разве что каких-нибудь несколько граммов. Уран ведь почти не применяется в промышленности, только в производстве керамики и стекла, да и там — в ничтожных дозах. А рано или поздно придется добывать его из многих и многих тонн руды, понадобятся тонны и тонны ее, чтобы добывать металл в достаточном количестве и свободный от примесей, а главное, надо будет выделить легкий изотоп — тот, который обещает дать нужную реакцию... это будет гигантская работа, ничего подобного еще не бывало, и, пожалуй, вернее бы держаться обычной смеси. Придется, видимо, до-

бавлять тонны какого-нибудь замедлителя — углерода, кислорода, может быть, дейтерия, это можно будет выяснить только опытным путем, предстоит прорва работы... и потом, какая должна быть степень чистоты? Одна миллионная? Достижимо ли это? Тут слово за химиками. И, конечно, все это предполагает бесчисленное множество лабораторных подтверждений одной очень смелой теории, благодаря которым, помимо всего прочего, будут заполнены два-три пустых места в периодической системе элементов. Неужели все это возможно? Просто не верится — а все же?

А все же интересно послушать, что об этом скажет Нейман.

С Неймана мысль его перешла на новый циклотрон, — и впервые с той минуты, как они повернули домой, напряженное лицо его смягчилось. Он улыбнулся про себя, растолкал спящую Либби, и остаток пути они болтали обо всем на свете.

7.

В тот же вечер Луис заполнил анкету и бланки, присланные Нейманом из Чикаго, и на утро отослал их с письмом, в котором сообщал Нейману, что приедет. В тот же день пришло письмо из Нью-Йорка, от Терезы: она целую неделю носила его с собой, прежде чем отправить.

Он написал Терезе, перечитал написанное и порвал в клочки.

Дома он почти все время был озабочен и молчалив, — но вдруг на него нападала разговорчивость, и он охотно рассказывал о чем угодно, только не о себе.

Мать решила, что его расстроило письмо Терезы, ведь как раз с того дня, когда пришло это письмо, он так переменился. Но спросить его не смела. Оставалось надеяться, что за этим не кроется никаких серьезных неприятностей; каких именно — кто знает? А очень хотелось бы знать, что же произошло. Она всей душой сочувствовала сыну, а его, видно, раздражало малейшее проявление сочувствия. Что ж, это только подтверждало ее догадку...

Что до Бенджамена Саксла, он все ждал случая поговорить с сыном о деле, а тем временем понемногу, урывками узнавал кое-что о его намерении поехать в Чикаго и о том, какого рода работу ему там предлагают. Отец не разбирался в этих делах, однако относился к ним с уважением. Как бы то ни было, такими вещами и занимаются доктора физических наук.

Не зная, что такое недостаток взаимопонимания, и даже не подозревая, что им его не хватает, родители Луиса, как и многие родители, жили догадками, которые подсказывала им любовь к сыну. Они находили подтверждение своим домыслам в каком-нибудь случайном слове, брошенном в разговоре, в мимолетных замечаниях, принимаемых за некое откровение, а чаще всего — просто в том, что Луис ничего не отрицал и не опровергал. Когда сын и вовсе молчал, они принимали как должное, что такова уж родительская участь — не все знать о взрослых детях. И под конец мистер Сакслл почти поверил, что разговор о деле уже состоялся.

Луис написал Терезе новое письмо и отослал его. Письмо дышало любовью. И еще оно дышало волнением, которое родилось из встречи с Фоссом и Дэвидом Тилом, удвоилось от последующих раздумий и с Терезой связано не было. Он хотел высказать и любовь свою и волнение, и, прочитав письмо, она поняла и то и другое. Но Луис сам не знал, что в нем сильнее — любовь или это волнение, — Тереза почувствовала и это.

Она много думала об этом в последующие недели и все не отвечала Луису, а тем временем бывала в гостях или в театре с другими знакомыми мужчинами, но, возвращаясь домой, вновь начинала думать о том же. Потом однажды вечером Луис позвонил ей из Чикаго. Разговор вышел

пустой и бессмысленный, от него ничего не осталось, кроме досады и разочарования. И после этого долгие месяцы они не переписывались.

А потом Тереза написала ему, потому что у нее умерла мать и горе и тоска оказались сильнее гордости. Луис получил письмо и назавтра примчался в Нью-Йорк. Они и часа не пробыли вместе, как Тереза убедилась, что месяцы разлуки и молчания, показавшиеся ей вечностью, пролетели для него незаметно. Это открытие совсем сбило ее с толку, а пока она размышляла в поисках объяснения, обида утихла.

Странная это была встреча, на всем лежала тень несчастья, вновь их соединившего, и все освещала радость быть вместе, и на каждом шагу вполне разумные сомнения опровергались бесспорными истинами, которые поначалу казались невероятными. Но все сомнения, как и неверие, возникали у одной Терезы, и ей пришлось отказаться от них перед лицом этих истин, из которых первая и важнейшая была та, что Луис на свой лад любит ее так же сильно, как прежде.

И только после того, как Луис опять уехал в Чикаго, Тереза додумалась до объяснения: вопреки старой поговорке, что коня можно пригнать на водопой, но пить насильно не заставишь, бывают, видно, и такие, которые пьют охотно, но лишь когда сами окажутся у воды... Какая грубость, какой цинизм! — вознегодовала она. Он необыкновенный, подсказало ей сердце, человек одного призвания, одной страсти. К кому? — спросил рассудок. — Или к чему хотя бы? И потом, —сказало сердце, — один час с ним лучше, чем год с любым другим. Тогда, — сказал рассудок, — тебе придется решать нелегкую задачу. И пусть! — сказало сердце. — Да, да, пусть так!

Но сердцу легко говорить, а что же ей все-таки делать? Луис живет в одном городе, она — в другом. И уже известно, что если не написать ему, сам он тоже не напишет, с него станется. Но уж когда она пишет ему, он отвечает сейчас же. И в следующие полтора года, помогая отцу примириться с утратой, сама она примирилась с ожиданием, а пока что из Нью-Йорка в Чикаго и из Чикаго в Нью-Йорк летело письмо за письмом.

Письма Луиса по-прежнему были взволнованны и нежны, любовь и волнение переплетались все теснее, но из его слов Тереза все меньше понимала, что же его волнует. В сущности, он никогда не говорил прямо о своей работе; но уже не оставалось сомнений, что работа поглощает его всего без остатка, его больше ничто и никто не занимает, — разве только она, Тереза. Об этом неопровержимо свидетельствовали его письма и те часы, когда они бывали вместе, — шесть коротких встреч за полтора года, — ибо Луис не мог и не умел притворяться.

В одну из встреч, говоря о будущем, он сказал почти мимоходом: «Когда мы поженимся...» Они лежали рядом, Тереза повернулась и поцеловала его. «Спасибо, — сказала она, — я согласна». Так или иначе, она по-прежнему была очень влюблена, но постепенно стала относиться ко всему с философским спокойствием, — это далось не легко и означало только, что рассудок ее перестал спорить с сердцем.

А потом больше трех лет, с тех самых пор, как Америка вступила в войну, они не виделись ни разу. Тереза по газетам и по радио следила за вестями с фронтов, переменила две или три службы, на которых и она могла быть полезна фронту, и писала Луису, но ответные письма приходили уже менее аккуратно. Он сообщил ей новый адрес: Санта-Фе, штат Нью-Мексико, почтовый ящик 1662 — но ничего при этом не объяснил. В иных письмах, в которых ей чудилось скрытое отчаяние, он вспоминал разные случаи из прошлого, те счастливые часы, когда они были вместе. Он расспрашивал, как она живет, о чем думает, ему хотелось знать все, до мельчайших подробностей. Миллионы женщин получают теперь такие

же письма, думала Тереза, и пожалуй, Луис тоже как-то участвует в войне. Но неизвестно, что говорить о нем друзьям и знакомым. Сомнения и тревоги одолевали ее, и всякий раз, поборов их, она чувствовала, что еще сильней любит Луиса, еще беззаветнее верит в него. Она строила бесчисленные догадки, и все они рухнули 6 августа 1945 года, когда в газетах появилось страшное известие.

Вскоре после этого Луис писал ей:

«Я часто задумываюсь над двумя вопросами мудреца Гиллеля: «Если я не за себя, то кто же за меня? Но если я только за себя, тогда зачем я?» Не так-то легко ответить на эти вопросы, подчас трудно понять, что же я — кто я такой? Тереза, родная моя, любимая, боюсь, что совершилось страшное дело. Быть может, этого не хотели, быть может, просто не все было додумано до конца... Возможно, что это был не столько сознательный умысел, сколько своего рода несчастный случай. Но теперь и то и другое одинаково опасно, теперь у нас даже и несчастные случаи равносильны злому умыслу».

ЧАСТЬ VII

ПЯТНИЦА И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДНИ: ТЕПЕРЬ ЭТИ ДОРОГИ ЗАГЛОХЛИ И ОДИЧАЛИ

I

— У Луиса золотые руки, вот что,— говорил Домбровский.— Очень он чисто и тщательно работает. А как быстро! Я ведь видел его еще в Чикаго, когда там собирали циклотрон.

Джерри Домбровский и Дэвид Тил стояли друг против друга в углу мастерской, обслуживавшей лос-аламосский циклотрон. На верстаке между ними стоял аппарат, изготовленный Домбровским для Луиса. Аппарат был совсем закончен, хоть сейчас отсылай в больницу, а Домбровскому все не хотелось с ним расставаться. Он непрочь бы придержать машинку, еще немного с ней повозиться, кое-что доделать и усовершенствовать и даже просто полюбоваться, поглядеть, как она действует, и продемонстрировать это всякому, кто такой штуки еще не видал. Идея принадлежала Дэвиду, человек пять-шесть внесли в нее разные изменения и добавления, но смастерил-то машинку он, Домбровский.

— Я что хочу сказать, — продолжал Домбровский: — У него есть нюх. Он сразу видит, где непорядок и что надо делать. Вообще-то, по-моему, лучше ученым людям заниматься своей теорией, а к машинам не соваться. У них никакого нюха нет.— Он вдруг фыркнул.— В Чикаго было такое дело — хотели ученые что-то наладить сами, да и возьми для ионного зонда мягкий припой. Что тут началось! В таком пекле он, понятно, расплавился и заляпал все внутри... ну и, понятно, весь пучок пошел к черту.

Домбровский осторожно тронул ножную педаль, управляющую аппаратом; он не нажал педаль до конца, только проверил, как она работает.

— Никто и не понял, что стряслось,— рассказывал он дальше.— Поняли только, что дело неладно. Вот они сидят, чешут в затылках — и ни с места. Тут приходит Луис, поглядел, поглядел — и говорит: а кто-нибудь, случаем, не брал для этого зонда мягкий припой? Вот про это я и говорю. И пришлось мне разобрать всю эту музыку на части и как следует почистить. Такая была пачкотня!

Домбровский дружески улыбнулся Дэвиду. Он был гораздо старше Тила, ему шел шестой десяток, и он ведал механической мастерской — одной из десяти или пятнадцати специализированных мастерских, размещенных в Технической зоне Лос-Аламоса. По размерам, по количеству оборудования и по числу работающих там людей все эти мастерские вместе взятые едва ли равнялись одной главной мастерской, расположенной в самом центре зоны. В этой большой мастерской решались самые обычные задачи, изо дня в день одни и те же: здесь от начала до конца отделывали основные части бомбы, чинили стандартное оборудование и выполняли всевозможную повседневную работу, которая, как правило, требовала большой сноровки, но почти не требовала настоящего мастерства. Специализированные же мастерские сталкивались с задачами сложными, каждый раз новыми, которых нельзя было предусмотреть заранее,— и надо было иметь под рукой настоящих искусных мастеров; здесь выдували стеклянные трубки и сосуды, вручную формовали металлические части вакуумных аппаратов, конструировали отдельные части для машин, в принципе действия которых надо было разобраться. Лучшие мастера работали в мастерской, примыкавшей к циклотронной; Домбровский занимался этим делом уже шестнадцать лет — с тех пор, как Эрнест Лоренс собрал первый циклотрон; свои инструменты, доставшиеся ему в наследство от отца, он хранил в полированном сундучке красного дерева — сундучок этот смастерил его дед в Польше, полвека тому назад.

— Все они такие,— сказал Домбровский.— Одно исключение — Луис да, может, еще вы отчасти,— он подмигнул Дэвиду.— Ну и еще парочка найдется... Ах, черт, скверная с ним штука получилась, скверная штука...— Все еще поглаживая педаль, он обвел рассеянным взглядом мастерскую: доски, сверла, пилы, фрезерные станки, и среди всего этого беспорядка —человек семь-восемь, занятых каждый своим делом.— Исключений мало, — повторил Домбровский и, словно сделав над собой усилие, опять посмотрел на Дэвида.— Приезжал к нам раза два этот самый Бор. Мне сказали, что он важная шишка. Сразу видно было, что он фрезерного станка от штамповального пресса не отличит, но это ничего не значит. Он и не притворялся, что разбирается в таких вещах. Он смотрел, как я готовил одну детальку для той махины,— Домбровский мотнул головой, показывая на смежное просторное помещение: за широко раскрытыми дверями виднелся закругленный бок циклотрона

Нажав ладонью на ножную педаль, Домбровский включил крохотный электромотор аппарата. И сейчас же взгляды обоих обратились к пюпитру на другом конце, в четырех футах от педали; шестеренка начала вращаться, приводя в движение передачу, и покрытая резиной механическая «рука», скользнув справа налево вдоль верхнего края стоявшей на пюпитре книги, перевернула страницу.

— Ну, вот, — пробормотал Домбровский. — Вам, наверно, пора идти. Передайте Луису, мне ужасно жаль, что с ним такое стряслось. Мы с ним почти три года вместе работали в Чикаго да тут сколько времени. Скверная история! Все-таки есть надежда, Дэви?

Вопрос застал Дэвида врасплох, и он ответил не сразу. Поднял трость, концом ее легонько ткнул в гаечный ключ, торчащий из-за края верстака. Потом покачал головой и взглянул на Домбровского.

— Надежды мало,— сказал он.

— Жалко его. Я один раз видел, как он проделывает этот опыт, давно уже, месяцев пять назад. Поглядеть на него, так и вправду подумаешь, что это пустяки, но все равно, это — преступление.— Домбровский наклонился к собеседнику и поверх разделявшего их аппарата пытливо заглянул Дэвиду в глаза.— По-моему, и Луис тоже так считал. За-

чем он только брался, Дэви? Все у них было кое-как, на живую нитку сметано — такие вещи годились только для военного времени, это же каждый понимает. Почему после войны ничего не изменили?

Дэвид негромко фыркнул.

— Луис пытался добиться, чтобы изменили, мистер Домбровский. Да и не он один. Наверно, вам будет приятно узнать, что теперь все сразу изменится.

— Вот это хорошо! — Домбровский выпрямился. — Очень хорошо, верно? Уж не взыщите, только я не очень верю, что этого добивались. По крайней мере, не верится, что сам Луис Сакел чего-то добивался. На него не похоже. Я уж вам говорил, я один только раз и видел, как он это проделывает. Но в прежние времена в Чикаго, да и здесь тоже поначалу я много с ним работал. И все были такие дела, что хочешь — не хочешь, а справляйся, да поживее. И инструмент-то негодный, а сделать надо. Вроде как под давлением. Сам ты под давлением, а внутри у тебя вроде как встречное давление — ну и справляешься. Сколько я дел переделал самой обыкновенной ручной пилой — но уж только если крайняя необходимость. А вот Луис по-другому работал. Если так и надо делать этот опыт, как его делали у нас, так ведь не станешь добиваться, чтобы что-то изменили, верно?

— Можно и так рассуждать,— заметил Дэвид не без досады; ему не по душе был такой оборот разговора или, может быть, просто хотелось его прекратить.

— Да, сэр, — сказал Домбровский, в свою очередь раздосадованный словами Дэвида.— Можно так рассуждать. И вот что я вам скажу: раз крайней необходимости не было, кто-нибудь мог добиться, чтоб это все изменили, да видно никто не добивался по-настоящему. И не спорьте вы со мной. Я бы не взялся делать этот опыт, как Луис делал, можете мне поверить. Я всякий инструмент уважаю и не стану губить его понапрасну — и людей то же самое, и себя в том числе, если уж на то пошло. А Луис все продолжал по-старому. Уж наверно, он спрашивал себя — чего ради я делаю подневольное дело, когда больше ничто на меня не давит, надобности-то больше такой нет? А все-таки продолжал по-старому. И потом, есть у меня такое подозрение,— он знал, что когда-нибудь да ошибется. Непременно должен был знать.

— Вы тут много всякого наговорили.

— А вы можете это понять по-всякому. Но только вопрос, поняли ли вы, что я-то хотел сказать.

Домбровский потер ладонью нос, потрогал косматые брови. Он сердито поглядел на Дэвида, но тотчас отвел глаза, и лицо его смягчилось; а Дэвид все время смотрел в пол, не поднимая глаз.

— Так что же вы хотели сказать? — тихо спросил он Домбровского.

— Дэви, сейчас не время про это говорить, и не во всем я уверен. Я только про то говорю, что Луис еще очень молод и вообразил, будто нет на свете ничего невозможного — то есть для него. А может, он расстроился из-за разных там вещей, и ему стало на все наплевать... сам не знаю, Дэви. Лучше не будем больше про это говорить. Я только думаю, Луис столько учился, не надо было ему сюда ехать. Ему здесь не место. Здесь место людям не ученым или уж таким, кому чего-то другого надо. А машинку я ему отправлю. Ну, идите. Идите.

Домбровский повернулся и пошел в глубь мастерской.

2.

Выйдя из мастерской, Дэвид пересек небольшой двор; навстречу ему попалось человек пять-шесть, направлявшихся из одной мастерской в

другую; Дэвида все знали, каждый заговаривал с ним, и он всем отвечал. Потом он миновал узкий проход между двумя длинными, низкими строениями и вышел на другой двор; в дальнем конце двора были ворота — один из входов в высокой стальной ограде, окружавшей Техническую зону. В воротах у Дэвида проверили пропуск. Оказавшись за оградой, он некоторое время шел вдоль нее, пока не попал на улицу, ведущую к центру города; у аптекарского магазина он остановился и стал рассматривать выставленные в витрине резиновые ласты, — у аптекаря, видимо, явилась блестящая идея заработать на испытаниях в Бикини. Было уже около полудня и, как всегда по пятницам, хозяйки заполнили магазины, запасая все необходимое на субботу и воскресенье. Две женщины подошли к стоявшему у витрины Дэвиду, и он обменялся с ними несколькими словами. Потом пошел дальше, мимо других магазинов, и вот, наконец, штаб-квартира лос-аламосского военного командования. Одноэтажное здание, построенное в виде двойного Н, выкрашено в мертвенный серо-зеленый цвет; перед ним, на квадратике превосходно ухоженного газона, высится флагшток; с обеих сторон выстроился в ряд десяток служебных машин. Дэвид прошел прямо в приемную командующего. Секретарша в форме Женского вспомогательного корпуса поздоровалась с ним и сняла телефонную трубку. У полковника посетители, сейчас он освободится. Может быть, мистер Тил подождет минуту? Почти тотчас отворилась внутренняя дверь, вышел молодой офицер, и Дэвид прошел в кабинет.

Поскольку полковник Хаф занимал пост командующего лос-аламосским гарнизоном, на полу его кабинета был разостлан ковер, у стены стоял жесткий диван, обитый коричневой кожей, а рядом — глобус на подставке орехового дерева. В кабинете его заместителя не было глобуса, и ни у кого из остальных военных чинов в Лос-Аламосе не было дивана, хотя ковры кое у кого имелись. Помимо этого реквизита власти, в кабинете не было ничего примечательного: небольшая комната, самый обыкновенный письменный стол, выкрашенный серо-зеленой краской, конторские шкафы вдоль стены. Помимо дивана, имелись еще три или четыре кресла для посетителей,— полковнику за день приходилось принимать немало народу.

В ту минуту, когда молодой офицер уже вышел из кабинета, а Дэвид еще не вошел, полковник Хаф поглядел на глобус и подумал: недаром я всегда говорю, что у нашей атомной станции — два хозяина, это святая истина! Он не обманывал себя относительно того, который из них важнее, и существование второго хозяина не вызывало в нем ни особой ревности, ни зависти, не уязвляло самолюбия. В славную пору недавнего прошлого, во время войны, когда Оппенгеймер, что ни день, а нередко и по ночам, добивался от людей безумного напряжения всех сил и поистине героических свершений, каждый понимал: два хозяина существуют только на бумаге, а на деле хозяин один. Кто-то однажды сказал, что законы физики —это веления самой судьбы; но Хаф не разбирался в законах физики и, как вполне достойную замену им, принимал предписания Оппенгеймера, тем более что точно так же поступал нередко и сам генерал Мичем.

Разумеется, если смотреть на вещи с другой точки зрения, то хозяин только один: ведь во главе всего дела стоит генерал Мичем. Но беда в том, что генерала Мичема в кои-то веки здесь увидишь, а кроме того, ученые явно не желают становиться на эту точку зрения.

Можно взглянуть еще и по-другому, и тогда окажется, что хозяевам счету нет, — вот один из них появился в дверях. Впрочем, теперь многое стало проще, хотя и обыденней, чем в славные дни войны: те, кто поглавнее, уже возвратились в свои университеты или даже в другие страны, к себе на родину; а сейчас и того проще, потому что сто пятьдесят сильнейших работников из числа оставшихся отправились на Бикини.

Проще всего было бы,— поскольку это необходимо и он не хочет брать на себя всю ответственность,— обратиться к директору по научной части: именно с ним при нормальном положении вещей пришлось бы говорить о мерах вроде запрещения отправить уже оплаченную телеграмму, или о том, как унять полоумного конгрессмена и как составить сообщение, которое должно будет появиться во всех американских газетах. Правда, директор по научной части в отъезде, в Вашингтоне, где обсуждаются вопросы, связанные с предстоящими испытаниями на Бикини. А все же пора признаться себе, что это пустая отговорка: во-первых, директор завтра уже возвращается, а во-вторых, он оставил заместителя, вот с ним-то и следовало посоветоваться.

Но этот заместитель несноснейший тип, с ним не сговоришься. Может, оттого, что он химик? Почему-то химики вечно препираются с физиками, и кто-то из физиков так это объяснил: химия самая тупая из наук, а химики — самые тупые ослы из всех ученых, потому что их наука лишена математической основы, им не на чем проверять свои новые идеи, а их старые идеи отягощены ветхими традициями. Очень может быть. Кто их там знает. Но этот заместитель по научной части ужасно сварливый и несносный, и говорить с ним о делах — одно мученье.

— Хэлло, Дэвид,— сказал полковник, поднимаясь из-за стола и идя навстречу вошедшему.— Что нового?

Он задал этот вопрос по привычке, почти машинально — и вдруг, еще не договорив, отчаянно смутился. Сегодня он проспал, поднялся поздно и еще не звонил в больницу. Доктора говорят о скрытом периоде, но что, если... если и в самом деле уже есть что-то новое?

— Есть какие-нибудь новости? — спросил он с тревогой.

— Нет,— сказал Дэвид.

Со вздохом безмерной усталости он опустился на жесткий диван. Он побывал в больнице перед тем, как пойти к Домбровскому, а до того разговаривал с Вислой, а еще раньше — с Берэном и Педерсоном. Можно бы кое-что и ответить Хафу, но не так это просто. Можно бы сказать: нет, нового ничего, все уже старо, очень, очень старо. Не надо громких слов, мелькнула мысль. Не заводи пустых разговоров,— отозвалась другая.

— Нет, — повторил он и, помедлив, прибавил. — Мне говорили про этого конгрессмена.

— Так я и думал. Наверно, вам Уланов сказал.

— Нет, не Уланов. Вот что: есть ли хоть тень опасности, что кто-нибудь проведет его в больницу?

— Его уже и нет здесь. Он уехал обратно в Вашингтон.

— Прекрасно. Кроме того, говорят, вы задерживаете телеграммы. Я думал, военная цензура с декабря отменена.

Полковник тщательно изучал глобус; в истории с телеграммой он, пожалуй, перестарался. Попробуем уладить это по-дружески.

— Послушайте, Дэвид, я не мог иначе. Я понимаю, что вы сейчас думаете, я понимаю ваши чувства, но мы просто не можем допустить, чтобы всякий распространял разные слухи на этот счет. В конце концов, тут у нас пока еще военный объект. Попробуйте поставить себя на наше место, Дэви.

Дэвид улыбнулся; казалось, теперь и он внимательно изучает глобус.

— Да, я знаю. Живи и жить давай другим. Превосходная теория, хорошо бы и военным ее усвоить. Но все же...

Трость Дэвида лежала у его ног на полу. Он слегка развел руками.

— Можно попросить вас о великом одолжении? Раз уж вы задержали телеграмму два дня назад, сделайте милость, распорядитесь, по крайней мере, чтобы ее вовсе не отправляли. Нельзя ли позаботиться, чтоб она не проскочила теперь, если на военные власти вдруг найдет раскаяние?

— Ну конечно, Дэви. Ситуация мне ясна.

— Без дураков?

— Без дураков.

— Так ситуация вам ясна?

— Ну да... то есть...

— Вы знаете, что семью Луиса сегодня нужно известить? Может быть, это придется сделать вам. Берэн и Моргенштерн считают, что это ваша обязанность.

— Не возражаю. Хотя не могу сказать, что это приятная обязанность.

— Так вы говорите, ситуация вам ясна?

Полковник кротко улыбнулся.

— Дэви, я тут вчера начерно составил текст сообщения для газет и продиктовал его жене. Я старался, как только мог, все принял во внимание. Сейчас мой набросок в отделе внешней информации. Я им дал сегодня утром, чтобы они поправили. С минуты на минуту его принесут. Может быть, вы подождете? Я дал бы вам посмотреть.

— Хорошо, — сказал Дэвид. — Я подожду.

И оттого, что надо было сидеть и ждать, они, как почти всегда бывает с людьми, чего-то ждущими, почему-то решили, что говорить пока нужно только о вещах посторонних; а может быть, они ничего и не решали, просто так уж вышло.

Таким способом им удалось убить несколько минут; полковник рассказал о том, как подвигается постройка новой дороги, ведущей на плато: дорога эта будет на семь с половиной миль короче старой, совсем разбитой и без толку петляющей по горам и ущельям, и срежет несколько трудных и опасных поворотов. Потом оба вспомнили, что зима была сухая, без снега и без дождей, и покачали головами: не пришлось бы опять мучиться из-за нехватки воды; сейчас ведется разведка, сказал полковник, пробуют рыть новые колодцы, может быть, и посчастливится найти воду. Все кругом жалуются, что молоко очень плохое, сказал Дэвид, нельзя ли разведать и насчет новых молочных ферм тоже? Надо надеяться, что через неделю-другую нам опять доставят свежую говядину, сказал полковник. Дэвид попросил передать миссис Хаф его извинения: он очень сожалеет, что ворвался к ним в такую рань; пустяки, ответил полковник, она ничуть не в обиде, она всегда рада видеть Дэвида.

Наступило молчание.

Полковник встал, прошелся взад и вперед по комнате, потом сел на край стола.

— Дэвид, — сказал он. — Что же, все-таки, случилось? Можете вы мне объяснить, почему на этот раз опыт не вышел? Что вам удалось установить?

Некоторое время Дэвид, казалось, обдумывал ответ; он снова устремил пристальный взгляд на глобус, и лицо у него было застывшее, отчужденное. Наконец он сказал, что полковник, вероятно, не вполне ясно представляет себе, в каких условиях производился опыт. Да, по-видимому, согласился полковник, разве что в самых общих чертах.

— Так я и думал, — сдержанно сказал Дэвид, наклоняя голову.

Полковнику, так же как и всем здесь, продолжал он, разумеется, известно или, во всяком случае, должно быть известно, что очень многие лабораторные эксперименты высвобождают или используют ядерную радиацию, а стало быть, люди, работающие в лабораториях, в какой-то мере подвержены облучению. Но степень радиации при этих опытах, как правило, невелика. Так, например, циклотрон всегда пропускает некоторое количество нейтронов, но оно не так велико, чтобы повредить человеку, который пройдет мимо. С другой стороны, тот, кто постоянно работает возле циклотрона, может за определенный период получить настолько большую

дозу облучения, что она способна ему повредить; поэтому он носит при себе то или иное контрольное приспособление — скажем, кусочек фотопленки, которая постепенно чернеет, либо какой-нибудь карманный дозиметр, отмечающий интенсивность излучения. Пройдет день или, скажем, неделя, и человек обнаружит, что подвергся облучению в большей мере, чем это допустимо, — тогда он на некоторое время прекратит работу, и все придет в норму; если соблюдать осторожность, организм не пострадает.

Короче говоря, в этих случаях интенсивность облучения невелика, а срок длителен, и эти два условия обеспечивают безопасность. Все это разумно и элементарно, остается лишь перевернуть формулу, переставить части — и вы получите формулу экспериментальной работы у нас в каньоне.

Впрочем, прибавил Дэвид, к этому пункту необходимо сделать примечание. Нельзя упускать из виду, что все это характерно лишь для конечной стадии опыта. Без сомнения, полковнику известно, что при нормальном течении опыта лучевая энергия находится в скрытом состоянии, а затем в очень короткий срок — столь короткий, что его даже измерить нельзя, и в такие неизмеримо малые доли секунды даже ни один человек не в силах что-либо предпринять, — эта энергия может внезапно и бурно вырваться наружу, но только при условии, что конечная стадия опыта, его критический предел уже достигнуты. Существенная и интересная сторона опыта состоит в том, что для достижения критического предела довольно сделать один только лишний шаг в нормальном ходе опыта, в точности такой же шаг, как и все предыдущие. Разумеется, существуют сигналы, предупреждающие о том, что предел уже близок, и, если экспериментатор прислушивается и следит очень напряженно, если он зорок и бдителен и во всех отношениях держится начеку, — а зоркость, точность и быстрота тут требуются почти сверхчеловеческие,— тогда с задачей вполне можно справиться. Два дня назад я подсчитал, прибавил Дэвид: оказывается, Луис шестьдесят три раза успешно провел этот опыт. Неплохо, правда?

Что касается предупредительных сигналов, словно в скобках заметил Дэвид, то это и само по себе интересно. Он имеет в виду всевозможные счетчики, измерительные, контрольные и прочие приборы, чьи показания во всех подробностях позволяют следить за ходом опыта. Некоторые из них, в сущности, ни о чем не предупреждают, они только регистрируют уже совершившиеся факты; их-то показания и помогли понять, что же произошло, и установить точную меру облучения, полученную Луисом и остальными. Но все, вместе взятые, они действительно могут предупредить о чем-то, хотя, как видно, этого предупреждения иногда бывает недостаточно. Беда в том, что, при самых лучших намерениях, человек, много раз проделавший этот опыт, постепенно привыкает к показаниям приборов и потому, быть может, в какие-то мгновенья становится чуть менее внимателен к ним, а этого не должно быть никогда, ни на миг, иначе приборы ему уже ничем не помогут.

Замечал ли когда-нибудь полковник Хаф, что первобытные племена в своих обрядах охотно наделяют неодушевленные предметы чертами и свойствами живых существ, одевают их, как людей, относятся к ним, как к людям, и обращаются с ними, как с людьми? Здесь, в окрестностях Лос-Аламоса, в индейских поселках часто можно наблюдать подобные обряды,— Хаф, вероятно, тоже их видел. Они заслуживают внимания, ибо кое-что проясняют: ведь, опять-таки, стоит это перевернуть — и вы получите положение, характерное для опыта, который проделывал Луис. Индейцы наверняка заинтересовались бы этим опытом, он был бы для них неожиданным и новым во многих отношениях, и в частности в том, о чем сейчас идет речь.

Нет, он вовсе не хочет сказать, что опыт Луиса в этом смысле единственный, заверил Дэвид Хафа. Можно бы привести и еще подобные примеры: думается, люди и организации, посвятившие себя какой-то одной цели, склонны обращаться с человеком, как с вещью; да иначе и быть не может, если их задача — подчинять и властвовать. А ведь бесспорно, что крайняя однобокость и стремление властвовать часто неразлучны — ведь человек-то, как правило, не однобок, он не однодум, он соединяет в себе множество разнородных чувств и стремлений. Правда, принято считать, что односторонний человек достигает наилучших результатов в своей области, но еще вопрос, верно ли это. Помнится, в раннюю пору существования атомной станции, когда впервые определена была критическая масса урана, нескольким физикам из Лос-Аламоса случилось поехать в Ок-Ридж, где производилось разделение изотопов урана, и так же случайно они заметили, что бруски металла, того самого изотопа, который способен расщепляться, здесь складывают в кучу. Забавно, в Лос-Аламосе люди уже знали предел, дальше которого небезопасно накапливать этот материал в одном месте, а в Ок-Ридже не знали. А все потому, что установленные военными властями порядки, крайняя разобщенность и засекреченность не позволяли кому-либо в Ок-Ридже это знать; разумеется, такой порядок завели в интересах безопасности, и все же это была чрезмерная однобокость, ограниченность почти фантастическая. Так вот, один из лос-аламосских физиков, человек отнюдь не однобокий, попросту нарушил все порядки и запреты и сказал им — и как раз вовремя! Конечно, по букве закона человек этот предатель — еще бы, ведь он сообщил секретные сведения лицу или группе лиц, которым этого знать не полагалось. А все же, как кажется, этот ненадежный человек, этот предатель сделал небесполезное дело. Впрочем, ладно, не стоит в это углубляться. Было еще немало подобных случаев, незачем о них сейчас вспоминать. Кстати, одна из причин, почему многие ученые уже уехали или уезжают из Лос-Аламоса, как раз и кроется в проводимой военными властями бездарной и близорукой политике крайнего засекречивания, разобщения во имя «безопасности über alles». Для научной работы такая политика во всяком случае непригодна, хотя для бегства ученых было немало и других причин. Вот, к примеру, несмотря на многочисленные официальные заявления о том, что великая новая энергия облагодетельствует человечество, принесет ему свет и изобилие, откроет новую Эру Духа,— несмотря на все эти заявления, работа станции по-прежнему сводится почти исключительно к одному — к производству бомб. Итак, с одной стороны, все и всюду осуждают гонку вооружений и, в частности, накопление атомного оружия, ибо это по сути дела ведет к самоубийству, а с другой стороны, то, что производится в Лос-Аламосе, — причем только здесь и больше нигде,— в огромной мере усиливает гонку вооружений и никакой иной цели не служит. А вывод из этого один: что-то тут не так, допущен какой-то грубый просчет, гибельный для честной научной работы, да и для многого другого.

— Я стараюсь, как умею, ответить на ваш вопрос, Хаф, — сказал тут Дэвид, — но вопрос ведь очень сложный и требует тщательно обдуманного ответа, так что вы уж, пожалуйста, потерпите.

Может быть, полезно, продолжал Дэвид, опять прибегнуть к сравнению — хотя бы с той же гонкой вооружений. Точно так же, как гонка вооружений есть процесс постепенного накопления, наращения ступень за ступенью, так и наш опыт был подобного рода процессом. Когда сбросили бомбы на Хиросиму, это было в какой-то мере началом эксперимента — полтораста тысяч человек убито либо так или иначе искалечено с первого же шага,— так и в нашем опыте, когда впервые пущен был в ход расщепляющийся материал, последовал распад. Но, если не считать той катастрофы, какую означает для человека распад и гибель живой ткани, а для

атома распад ядра, ничего непоправимого тогда не случилось ни в нашем мире, ни в атомном котле; на этом еще можно было остановиться; подлинные опасности ждали впереди.

Но незачем перечислять все подряд. Безусловно одно: производить бомбы — значит усиливать гонку вооружений, ведь другим странам тоже придется делать бомбы, во всяком случае они сочтут, что у них нет иного выхода, — и, конечно, они сумеют с этим справиться, это лишь вопрос времени — да и не так уж много времени им понадобится. То же самое и с опытом Луиса: складывая в одну кучу все больше расщепляющегося материала, вы тем самым усиливаете процесс ядерного распада. И в обоих случаях в конце концов достигаете уровня, непосредственно предшествующего критическому пределу.

И тут нельзя упускать из виду одно обстоятельство первостепенной важности. Распад ядра урана — это процесс, не поддающийся человеческому вмешательству, человек не может пресечь его в корне или вызвать, замедлить или ускорить, — можно лишь научиться создавать благоприятные условия, чтобы так или иначе направить этот процесс. Но похоже, что неизбежная, так сказать, извечная неустойчивость урана порою магнетически действует на людей и отвлекает их от главного. Нельзя забывать, что это свойство урана ставит перед людьми громадной важности вопросы, и на эти вопросы нужно ответить. И нельзя забывать еще одного: не тем по-настоящему опасна эта сила, что люди могут утратить власть над нею, но тем, что, распоряжаясь ею, они могут потерять власть над собой.

Последние два дня я много думал об этом нашем опыте, говорил Дэвид, и мне кажется бесспорным, что кое-кто сейчас действительно потерял самообладание. Стремясь во что бы то ни стало запасти как можно больше бомб, эти люди забывают, что есть много других людей, которые считают войну оконченной и пытаются жить и работать в мирной обстановке и ради мира. Например, Луис.

Не знаю, известно ли вам, продолжал Дэвид, постукивая тростью по ботинку, что этот опыт мы проделывали отчасти и ради использования атомной энергии в мирных целях. Но это так, хотя в каких именно целях он был проделан два дня назад, сейчас не существенно. Важно то, что не в этом его прямое назначение, что ставится он здесь не ради мирных целей, а ради производства бомб. Стоит присмотреться к нему поближе — и невольно думаешь о войне, о бомбах и прочем, а сверх того — о поразительной однобокости мысли и действий, которую порождает война и которая для большинства людей кончается, как только кончается война. А вот в нашем каньоне, для нашей атомной станции война не кончена. Враг побежден, но наша работа все та же, что и прежде. Она и прежде была опасна, но все время, пока шла война, опасность и риск были людям по плечу. Существовало известное равновесие, все силы человека сосредоточивались на одной цели — и тогда он мог противостоять атомному котлу, тоже предназначенному для одной-единственной цели.

И вот война кончилась, а человек снова приходит в лабораторию и проделывает все ту же работу, но равновесие уже нарушено. У работы, которую он должен выполнять, по-прежнему одна-единственная цель, у человека — нет. Если он мысленно не продолжает воевать,— есть и такие люди, но их немного, и уж конечно, Луис не из их числа, — душа его внезапно откроется всем зовам жизни, и в нее хлынут тысячи мыслей, которым он не давал воли в годы войны,— в том числе и нелепые, и случайные, всё, что ранит или волнует, всё, что он любит и на что надеется, а если он и ненавидит что-нибудь, то по-другому и не так сильно, как прежде. Самые разные вещи приходят на ум. Таково многомыслие мирного времени. Самые разные вещи занимают человека, и теперь он думает о

них по-другому, чем прежде: во время войны он был слишком сосредоточен на одной цели, многие мысли отгонял прочь, другие смирял, и все они были ему подвластны. Контроль — вот в чем тут дело. Сделав человека однодумом, война дала ему чувство самоконтроля, власть над собой. Мир отнял у него это чувство. А для того, чтобы проводить такой опыт, контроль необходим. Это — рискованная штука, даже когда вполне собой владеешь, когда же этого нет — риск чересчур велик... Когда вполне владеешь собой, еще можно как-то успеть справиться в эти считаные секунды, но без полного самообладания это невозможно. Нет времени отвлечься на самый краткий миг, подумать о чем-нибудь постороннем, все равно, отвратительно оно или прекрасно, — о чем-то своем, личном.

Вот на такие-то случаи и необходим автоматический контроль. Можно поставить свинцовую или бетонную стенку с соответственно расположенными отверстиями, понимаете? В отверстия будут пропущены механические руки, которые не пострадают, если в мозг по ту сторону стенки и проскочит какая-нибудь неуместная мысль и нарушит безопасный ход опыта. Но, конечно, наивно и нелепо ждать от людей, потерявших всякое чувство контроля, чтобы они контролировали такой опыт, до этого только в мирное время можно додуматься... Впрочем, теперь-то контроль будет, и это очень хорошо, пока все идет, как идет. А как по-вашему, долго еще все это будет продолжаться? Как по-вашему, вернется ли к нам когда-нибудь этот утраченный самоконтроль?

Дэвид крепче стукнул тростью по ботинку и поднял глаза на Хафа, но тот упорно смотрел в окно, и Дэвид продолжал:

— Итак, вот вам объяснение того, что произошло и почему опыт на сей раз не удался. Это еще не исчерпывающий ответ на ваш вопрос, но пока и этого довольно. Как видно, остались незамеченными какие-то из предупредительных сигналов. А тем временем, возможно, было сделано что-то такое, что могло несколько усилить интенсивность процесса, — так кто-нибудь мог бы сказать: давайте-ка еще увеличим запас бомб и посмотрим, что из этого получится, — и при этом критический предел оказался нарушен. Да, забыл вам сказать: часть урана доставляется нам в виде небольших брусков с вынимающимися стержнями. Можно брать бруски со стержнями или без них. Разница в весе пустячная. На ощупь она тоже почти не чувствуется. Если не помнить об этом все время, очень легко ошибиться: кажется, что берешь брусок без стержня, а на самом деле он остался внутри. Это все равно, что упустить предупредительный сигнал. Одно я могу сказать твердо: никто не ронял никаких отверток. Нигде ничего не заело. Просто дело зашло чуть дальше, чем следовало. На какие-то сигналы не обратили внимания... точно так же, как в другой области... ну и...

С полминуты в комнате длилось молчание. Потом на столе зазвонил телефон. По-прежнему глядя в окно, полковник машинально снял трубку.

— Да, — сказал он, и еще раз: — Да, — и положил трубку на рычаг.

Дверь отворилась, и вошла секретарша, держа в руках, как понял Дэвид, копии составленного полковником сообщения.

— Дайте один экземпляр мистеру Тилу, — сказал полковник.

И еще на полминуты в комнате наступила тишина.

— О, черт! — внезапно сказал Дэвид. — О, черт! — крикнул он. В глазах его вспыхнула ярость, он ощупью нашел свою палку, с усилием поднялся на ноги и гневно посмотрел в лицо Хафу.

Полковник отчасти приготовился к подобной вспышке. Но раньше он был куда лучше подготовлен к ней, чем теперь, после всего того, что услышал от Дэвида. Прямо колдуны эти ученые, как они умеют вас заговорить! И не один Уланов, все они такие. Не поймешь их. Одни как начнут говорить, не могут остановиться, другие вообще почти не раскрывают рта.

но все они чудаки, особенно физики... Конечно, никто и не спорит, что опыт работает на войну, и все это знают. А что до гонки вооружений — при чем она здесь? И, в конце концов, гонка вооружений почти всегда существует в том или ином виде. А сейчас речь совсем о другом, о сообщении для газет. Уж, наверно, Дэвид скажет, что в поступке Луиса не было ничего геройского. Но с ним невозможно согласиться! Все-таки это был подвиг, это не могло не быть подвигом! Сколько раз я видел, как люди падают духом и бегут, а ведь тут наоборот... И, однако, полковника охватило смущение, какого он до сих пор не испытывал. Он не намерен запираться, он и в самом деле старался придать фактам определенную окраску... так ведь сообщения в газеты и не пишутся иначе... конечно же, он старался осветить их так, как надо, как подсказывало ему чувство, которое он не сумел бы определить, но которое заставляло его искренне гордиться Луисом Сакслом и сочувствовать ему — а разве могло быть иначе?

Дэвид стал читать дальше. Дочитал, положил бумагу на диван — и когда заговорил снова, гнев его, казалось, уже остыл.

— Так, значит, вот как вы намерены держаться? Что ж, тогда и я знаю, как мне поступать.

Он казался усталым, но не злым, безмерно усталым — и потому его угроза пугала ничуть не меньше, чем если бы он был зол.

Полковник подошел к нему:

— То есть, вы поедете в Альбукерк, в телеграфное агентство? Вы мне уже говорили об этом, Дэвид, но я отказываюсь принимать это всерьез Может быть, вы все-таки сядете? Присядьте, пожалуйста, и объясните мне: что я такого страшного тут написал?

Дэвид покачал головой, словно пытаясь стряхнуть усталость.

— Нет, хватит, не могу я больше с вами разговаривать. — И все же он продолжал, опираясь на палку и в упор глядя на полковника: — В том, что вы тут написали, нет ни слова правды, но это вам не поможет... Я тогда говорил совершенно серьезно. Я открою всю правду, и пусть меня сажают в тюрьму, пусть повесят, все равно я это сделаю, черт подери, сделаю сию же минуту!

Он двинулся к выходу. Но полковник преградил ему дорогу.

— Убирайтесь к черту, — сказал Дэвид. — Дайте мне пройти.

— Я не уберусь к черту и не дам вам пройти. Я не позволю вам валять дурака и других ставить в дурацкое положение. И я требую, чтоб вы мне сказали, из-за чего вы раскипятились.

Дэвид молчал.

— Дэви, я просто не понимаю, что с вами творится. Ну да, в сообщении есть неточности, я сделал это сознательно. Видит бог, нам вовсе не желательна огласка, не поймите меня превратно... но как бы мы на это ни смотрели, теперь огласки не избежать. Луис поступил, как герой, в самом прямом смысле слова, это чистая правда. Я считаю, что об этом следует сказать, и здесь это сказано. Объясните, что тут плохого? Если действительно что-нибудь не так, обещаю вам, мы все исправим. Нельзя только упоминать о радиации. С этим очень строго, — прибавил он извиняющимся тоном.

Минуту Дэвид молча смотрел на полковника, потом отвернулся и отошел к окну, из которого виден был квадратик тщательно ухоженного газона и посредине — флагшток. Дэвид безмолвно стоял у окна, полковник настороженно следил за ним; наконец Дэвид обернулся, пожал плечами и засмеялся:

— Видели вы заметку в «Нью-Йоркер», в разделе «Городских новостей» — это было, как будто, в прошлом году? Насчет флага Объединенных Наций? Предполагалось, что он будет реять непосредственно под национальным флагом каждой страны. И «Нью-Йоркер» писала: «Если вы

верите во всемирное правительство, очевидно, вам надо стать на голову, чтобы приветствовать его». Так вот, некоторые вещи лучше видишь, стоя на голове. Вот сейчас опять начинают бояться русских: это мол полицейское государство, милитаристы, националисты, а главное, загадочные и непонятные жители Востока, и уж конечно они замышляют нас погубить. А те, разумеется, боятся нас, и по весьма сходным причинам. Но когда стоишь на голове, то оказывается, что самое страшное сейчас для обеих сторон — наши бомбы. Нас они пугают тем, что русские из-за них могут полезть на стену, а русских — тем, что мы можем сбросить эти бомбы на них. В тот вечер в каньоне я думал, что Луис — последняя жертва первой атомной войны, нашей войны. Но если стать на голову, может показаться, что он — первая жертва второй атомной войны, войны с русскими. Впрочем, не все становится яснее, когда стоишь на голове; иной раз начинается головокружение, и тогда видишь то, чего на самом деле нет.

Дэвид говорил, не повышая голоса, но с таким волнением, какого полковник Хаф в нем никогда еще не замечал. Умолк, подошел к глобусу и вперил в него невидящий взгляд. Потом заговорил спокойнее, но с большой силой:

— Вот что, Нийл. Насколько я знаю, даже и сейчас никто и нигде не думает о том, чтобы использовать атомную энергию в мирных целях. Только в Ок-Ридже делаются слабые попытки в этом направлении, да кое-какие исследования ведутся здесь, у нас. Кое-что делал Луис. Он кое-чего добился, кое-что нашел, кое-что довел до конца. Вот почему он здесь оставался. Если мы готовимся к войне, эта его работа для нас бесполезна. Но если мы действительно думаем хоть сотую долю того, что провозглашаем в наших громких официальных декларациях, так зерно этого заключено в работе Луиса. И если физика еще может оставаться наукой, а не только хлыстом в руках военщины, так эти работы частично и есть то, чем может стать наука — здесь, сейчас, сегодня. Это очень скромная похвала, и работа, которую пытались проделать Луис и некоторые другие, тоже очень скромная. Здесь, в Лос-Аламосе, она не в почете. Но все, что вы написали для газет, бесчестит ее.

Вы ведь знаете, несколько человек здесь усиленно работают над новой бомбой, над сверхбомбой. Если кто-нибудь захочет доказать, что такое изобретение явится жизненно необходимым, когда гонка атомного вооружения зайдет в тупик и понадобится что-нибудь новенькое, — если кто-нибудь захочет доказать, что производство сверхбомбы — это сверхпатриотизм и что такая работа спасет нацию, я с этим спорить не стану. Может быть, эти люди и правы, но если они и окажутся правы, то в значительной мере потому, что сами же создают невыносимое напряжение, из-за которого все труднее становится избежать катастрофы. И потом, какую именно нацию они спасут? Я утверждаю одно: человечество имеет все основания ненавидеть то, что делают эти люди, и восхищаться тем, что делал Луис. А вы этого не говорите человечеству, вы не говорите ему ни слова правды.

Я возражаю против ваших домыслов насчет героизма и подвига, потому что это неправда, вы спутали вещи, не имеющие друг с другом ничего общего. Луис совершил бы подвиг, будь у него на это время. Он сделал нечто совсем другое и хорошо понимает, что́ он сделал, — так неужели нельзя обойтись без лжи в последнем слове о человеке, который был свободен от всякой лжи, свободен и чист как никто?

Неужели нельзя отнестись к нему хоть с некоторой долей уважения?

Вопрос остался без ответа. На мгновенье он как бы повис в воздухе. Потом Дэвид снова посмотрел на глобус. Протянул руку и быстро, словно исподтишка подтолкнул его, как будто уже давно хотел это сделать, но боялся, что его на этом поймают, — совсем как мальчишка, который ста-

щил с прилавка яблоко. Все же он не сводил глаз с глобуса, пока тот не перестал вращаться. Потом круто повернулся и вышел из кабинета...

После его ухода полковник придал глобусу привычное положение, потом сел за стол и уставился на копию сообщения; в конце концов он вызвал секретаршу и попросил связаться по телефону с Вашингтоном и вызвать генерала Мичема.

К его удивлению, это ей сразу удалось.

Он сказал генералу, что беспокоит его потому, что директор по научной части еще не вернулся, а генерал ведь знает, какое мученье — иметь дело с этим чертовым заместителем. Генерал сказал, что он того же мнения. После этого добрых двадцать минут полковник обсуждал со своим начальником кое-какие неотложные вопросы и меры, которые надлежало принять.

Во время разговора генерал упомянул о том, что он телеграммой поблагодарил Луиса Сакса за геройский поступок. Он осведомился также, выполнено ли распоряжение о том, чтобы военным самолетом доставить родных Сакса в Лос-Аламос, и когда они должны прибыть.

— Все исполнено, — ответил полковник. — Вероятно, они прибудут сегодня.

Под конец генерал сказал, что секретарь как раз уведомил его о предстоящей встрече с одним видным деятелем, который, оказывается, только накануне завтракал с полковником Хафом.

— Простите, генерал, но я должен вас предупредить насчет этого конгрессмена, — сказал Хаф. — Дело в том...

— Ну, сейчас ничего не выйдет, Хафи, — заторопился генерал, — мой дорогой и славный друг сенатор Бартолф уже здесь. Входите, сенатор! — услышал Хаф. — Я к вашим услугам. Мы с вами после поговорим, Хафи, спасибо, что позвонили. До свиданья.

3.

В пятницу днем настал час, когда приостановились все подсчеты, вычисления, анализ, воспроизведение условий опыта, измерения, приблизительная оценка и чистейшие догадки, не прекращавшиеся три дня кряду и имевшие целью определить количество и качество радиации, выделенной ураном в минуту несчастья и полученной каждым из семи человек, находившихся на разном расстоянии и в разном положении относительно котла. Присутствовали Висла, Дэвид, Уланов и еще двое или трое. Никто не объявлял перерыва, он не наступил внезапно или, напротив, по какому-либо расписанию. Просто серьезный разговор, который вели между собою эти люди, стал постепенно затихать, с полчаса он еще теплился и, наконец, замер.

За эти полчаса последние надежды, тщательно охраняемые, лелеемые и искусственно поддерживаемые с самого начала, угасли, и сознание опасности, от которого никто не мог отрешиться с первой же минуты, безраздельно завладело каждым. Теперь, после трехдневной работы, можно было твердо сказать: есть лишь один шанс из десяти, что кто-нибудь из шестерых пострадавших погибнет, но едва ли есть один шанс из ста, что Луис Сакл останется жив. Даже и сейчас никто из собравшихся не мог точно определить дозу облучения, полученную Луисом. Но уже не оставалось ни малейшего сомнения, что, какова бы она ни была и как бы ее ни определили впоследствии, доза эта примерно вдвое больше той, которую радиологи и радиобиологи считают смертельной. Правда, и они называют лишь приблизительные цифры; кроме того, они могут и ошибаться, но, во всяком случае, не на сто процентов, подобной ошибки, уж конечно, никто сделать не мог.

— Меня это не удивляет, — сказал немного позже в тот же день один приехавший из Чикаго гематолог другому. — Я догадывался, что доза примерно такова, может быть, чуть меньше.

— Надо думать, его родных известили? — спросил доктор Берэн, обращаясь к доктору Моргенштерну, стоявшему рядом с ним в нижнем коридоре больницы.

— Да, конечно, — ответил Моргенштерн. — Я только что говорил с полковником Хафом. За ними послан из Чикаго военный самолет. Завтра они будут здесь. Все устроено.

— Может быть, у него есть еще кто-нибудь, — сказал Берэн.

— Может быть, следует известить еще кого-нибудь? — спросил он позднее полковника Хафа.

— Нет, только родных, — сказал полковник. — Впрочем... вот что, я поговорю с Тилом.

— Да, есть еще одна женщина, — сказал Дэвид. — Я уже пытался связаться с нею. Я об этом позабочусь.

— Аппарат для чтения? — переспросил доктор Моргенштерн, с удивлением глядя на двоих рабочих из циклотронной мастерской, разыскавших его возле ординаторской. — Первый раз слышу. Мистер Тил? Право, не знаю, где он сейчас. Может быть, доктор Берэн...

— Понимаю, — сказал Берэн людям, принесшим аппарат. — Боюсь, вам придется унести его обратно. Очень мило, что кто-то об этом подумал, но, мне кажется, это нецелесообразно... сейчас — нет.

— Чарли, — заметил Берэн под вечер, — я хочу вам кое-что сказать... вы в состоянии выслушать меня? Я могу выразить свою мысль двумя способами. Могу сказать, что от вас с вашей страдальческой физиономией больше неприятностей, чем пользы, и что я впредь не могу позволить вам являться в таком виде к больному. Или же могу сказать, что хоть у вас и не осталось надежды, Луису Сакслу еще осталось два-три дня жизни. И это, на мой взгляд, гораздо важнее. Предстоит еще многое сделать, если не для вас, то для него. Меня ничуть не удивит, если мы столкнемся с тяжелым случаем непроходимости кишечника — это штука весьма неприятная, но хороший уход многое облегчит. Вероятно, придется очень скоро прибегнуть к непрерывным внутривенным вливаниям, но это в нашей власти, и они могут помочь. Не дай бог, если начнутся сильные кровотечения, но, может быть, мы, с помощью Бригла и его красителей, и в этом случае сумеем немного помочь Луису. Нечего и говорить о том, что нам предстоит, когда количество лейкоцитов начнет сокращаться, — чего, между прочим, пока еще не произошло. Так вот, угодно вам участвовать в черной работе, если она и не принесет всех результатов, каких хотелось бы и вам и каждому из нас?

— Ради всего святого, — накинулся доктор Педерсон на Бетси, когда наступил вечер, — постарайтесь держать себя в руках! Нельзя входить к нему в палату с таким мрачным видом.

А Бетси снова и снова думала об одном: зачем, зачем они взялись за это во вторник двадцать первого числа! Ну что им стоило переждать этот день?

Одиннадцать раз Дэвид безуспешно пытался дозвониться до Терезы и только на двенадцатый раз застал ее. Это было в начале восьмого по лос-аламосскому времени, но в Нью-Йорке шел уже десятый час. Тереза обедала с отцом и только что вернулась домой; на этот раз она нашла извещение телеграфной конторы, опущенное в ее почтовый ящик час назад; она позвонила, и ей прочли телеграмму; не успела она положить трубку, как телефон зазвонил снова.

— Дэвид! — сказала она. — Да, только что, сию минуту... — и молча выслушала Дэвида до конца.

И опять она положила трубку. Опять достала убранный накануне чемодан и уложила в него вынутые накануне платья. И тут снова зазвонил телефон. Звонили с телеграфа: на ее имя получена телеграмма; женский голос прочитал ее вслух.

— Но ведь вы только что передали мне это! Несколько минут назад!

— Это другая телеграмма, мисс. Получена еще вчера. Мы оставили вам извещение, но вы не позвонили.

— Я не получила извещения. И это та же самая телеграмма!

— Сейчас проверю, мисс... Вы слушаете? Видите ли, телеграммы отправлены из разных мест. Та, о которой мы вас извещали вчера, послана из Санта-Фе, штат Нью-Мексико, в четыре часа сорок одну минуту по местному времени, по нашему — шесть сорок одна. А та, о которой мы известили сегодня, послана из Лос-Аламоса, штат Нью-Мексико, в три часа восемнадцать минут.

— Но ведь они совершенно одинаковые! Может быть, вы прочтете еще раз?

Обе телеграммы совпадали слово в слово. На мгновенье, слушая девушку с телеграфа, Тереза подумала: а вдруг ей опять читают ту первую телеграмму? Есть еще и вторая, и в ней какое-то другое известие, может быть, более тяжкое, может быть — успокоительное, но по какой-то ужасной ошибке вторую телеграмму затеряли, засунули куда-то, и она валяется где-нибудь, никем не прочитанная. Но, разумеется...

— Благодарю вас, — сказала она голосу в трубке. — Хорошо. Благодарю...

...разумеется, только одно имеет значение — то, что она сейчас услышала от Дэвида.

Она позвонила в аэропорт. Потом вспомнила, что у нее нет денег. Позвонила отцу. У него на руках не оказалось нужной суммы. Но он обещал достать и встретить Терезу в аэропорту. Тогда она опять позвонила в порт. Свободных мест нет, ответили ей. Она стала умолять, упрашивать; потом в отчаянии положила трубку, кончила укладывать чемодан и позвонила еще раз.

— Ну, мисс, на этот раз я могу вас обрадовать, — сказали ей. — Нам только что вернули один билет. Вам сегодня везет.

4.

«Некто, вкусивший янтарного напитка не столь разумно, сколь жадно, в гневе возвысил голос, — читал Дэвид. — Послышалось шарканье ног, загремели отодвигаемые стулья. Человек, поддавшийся гневу на этой мирной вечеринке, готов был запустить ножом в того, кто вывел его из равновесия. Но тут как раз вовремя подоспел недремлющий полицейский сержант, он крепко схватил буяна за руку, властно произнес несколько слов, и столкновение было предотвращено. Металл сотни различных национальностей, отчеканенный в одной монете с выбитым на ней американским орлом, звенит здесь в одной шкатулке...»

— Опустите эту метафору, — сказал Луис.

Дэвид отложил газету; это был лос-аламосский «Таймс». Бетси принесла его в палату, Луис как будто заинтересовался им, и Дэвид уже несколько минут читал ему вслух отдельные заметки на выбор.

— Читайте дальше, — попросил Луис.

Изголовье постели было приподнято, и он лежал высоко на подушках. Он смотрел не на Дэвида, а в сторону, на окно, и вид у него был безнадежно скучающий. Он не шевельнулся с тех пор, как Дэвид около

половины восьмого вошел в палату, а сейчас было уже почти восемь. В восемь будет взят третий и последний за день анализ крови, проведен еще кое-какой осмотр и начнутся приготовления на ночь.

— Вы действительно хотите слушать? — спросил Дэвид.

— Ну конечно.

«Старая Америка, в лице смуглых индейцев с волосами, заплетенными в косы, и бесстрастным взглядом, — читал дальше Дэвид.— Разбитные новобранцы, которые еще бегали на свиданья с девчонками, когда мрачные газетные заголовки возвестили о падении острова Коррехидор... скромные ученые в штатском... Там и сям за столиками влюбленные заняты безобидным ухаживанием. Никто их не осуждает. Это — право молодежи всюду, от Лос-Аламоса до Нагасаки... Таков наш Сервис-клуб, где встречаются в приятной, дружеской обстановке обитатели Холма и его окрестностей».

— Все, — сказал Дэвид.

Луис промолчал.

Дэвид перевернул газету; взгляд его скользил по строчкам; он читал необыкновенно быстро и успевал заранее пробежать даже мелкие заметки, чтобы выбрать — что стоит прочесть вслух Луису.

«Комиссия, ведающая уличным движением, сообщает, что ею изучается вопрос об уменьшении шума, производимого автобусами».

«Новейший план реорганизации армии предусматривает разделение Соединенных Штатов на шесть военных округов».

— Это ничего хорошего не предвещает.

«По сведениям, поступившим на этой неделе из канцелярии полковника Хафа, городские власти предполагают устроить по купальному бассейну на каждое постоянное подразделение, расквартированное в Лос-Аламосе».

— Это, пожалуй, тоже ничего доброго не предвещает. Не знаю, известно ли кому-нибудь, откуда ведет свое происхождение купальный бассейн? Как будто, Менкен сказал, что первый бассейн установил в Белом Доме президент Филмор. У древних римлян купанье, разумеется, было общественным развлечением.

С полминуты оба молчали.

— Мы, пожалуй, могли бы превратить в общественные бани здешний пруд,— сказал Луис; голос его прозвучал вежливо и равнодушно; но заговорил он не сразу и произнес эти слова как-то странно, точно они стоили ему больших усилий. Казалось, это говорит не Луис, а кто-то чужой, незнакомый; Дэвиду стало не по себе.

— Прекрасная мысль, — сказал он, чтобы как-то забыть об этих словах, заглушить их, отодвинуть.

Тут он заметил, что Луис смотрит на него, слегка наклонив голову, не просто смотрит — а разглядывает его с каким-то озадаченным выражением лица. Потом Луис чуть заметно покачал головой — и опять отвернулся к окну.

— Дэви, — сказал он, помолчав немного и чуть менее официальным тоном, — помните тот день, когда мы познакомились? Там был еще Юджин Фосс.

— Да. Верно. Вы еще сомневались тогда, ехать ли вам в Чикаго.

— Да. Сейчас я все думал о Фоссе.

Он обернулся к двери. На пороге стояла Бетси, глядя на обоих с вымученно веселым видом.

— Пора принести маленькую жертву, — сказала она. — На сегодня последнюю. Можно мне взять самую капельку, сэр?

Дэвид прикрыл лицо рукой. Луис по-прежнему смотрел на Бетси, но не сказал ни слова. Потом оба следили за тем, как она брала кровь. Едва

только она кончила, Луис опять отвернулся к окну. А Дэвид проводил ее взглядом до самого порога.

— Вы говорили о... — начал Дэвид.

— Да, — прервал Луис. — Может, вы прочтете мне эти стихи еще раз, Дэви?

Дэвид, озадаченный, ответил не сразу:

— Это Бетси читала вам стихи. Вы о них говорите?

— Разве не вы мне читали?

— Бетси сказала... Ах, черт, право же я не помню, Луис. Возможно, что и я.

— Это не важно. Фрост очень немногословен.

Дэвид хорошо знал, о каких стихах идет речь; он отыскал их в антологии, которую сам принес Луису, и медленно, негромко прочел вслух:

Огню ли мир наш обречен?
Во льду ли сгинет он?
Со мною пламя изберет,
Кто страстью опален.
А если мир в конце времен
Погибнуть дважды осужден,—
Кто знает ненависть, поймет:
Послужит той же цели лед —
Он той же силой наделен,
Убьет и он.

— Вы давно не видели Фосса, Дэви? — спросил Луис, снова повернув голову и глядя на Дэвида.

Дэвид не поднял глаз от книги. Он не знал, что ответить. В 1942 году Фоссу опротивела всякая деятельность, кроме самой непосредственной борьбы, он бросил свою работу и пошел в армию. Уже три года как он погиб.

— Давно, — сказал наконец Дэвид.

— Это неважно, — сказал Луис и опять отвернулся к окну.

Стоя в коридоре нижнего этажа, у подножья лестницы, и разговаривая о разных делах с Герцогом, доктор Бригл увидел Бетси, спускавшуюся по лестнице, и заметил то, что было у нее в руках. Он извинился перед Герцогом и пошел за нею по коридору к лаборатории доктора Новали. Оттуда как раз вышли четверо врачей, среди них Берэн и Педерсон. Они посторонились, пропуская Бетси, и все посмотрели на то, что она несла. Двое врачей повернулись и пошли за нею в лабораторию, Берэн посмотрел на часы.

— Мы опаздываем на пять минут, — сказал он Педерсону. — Вы идете?

— Пойдем, — сказал Педерсон.

Они поднялись по лестнице и пошли по коридору к палате Луиса; в это время из палаты вышел Дэвид и, как мог быстро, направился к ним. Он схватил Берэна за руку выше локтя и увел от двери. Педерсон пошел за ними.

— У него путаются мысли, — тихо сказал Дэвид. Он рассказал им, что говорил Луис и как он спросил о Фоссе. — Можно что-нибудь сделать?

Берэн посмотрел на Педерсона, потом опять на Дэвида.

— Возможно, что день-другой он будет то приходить в себя, то опять терять ясность сознания. Несомненно, обнаружится разного рода реакция на токсины... вероятно, уремия. Что-то вроде бреда было и вчера, когда его навещал Висла. Да, этому отчасти можно помочь. Идемте, Чарли.

В своей маленькой лаборатории доктор Новали взял из пробирки с кровью каплю, нанес ее на стеклянную пластинку и наклонился над микроскопом, а остальные врачи наклонились над ним. Когда Дэвид вошел в лабораторию, он увидел одни только спины. Потом Бригл обернулся. Он посмотрел на Дэвида, беспомощно развел руками и вышел из комнаты. Бетси тихонько охнула; она так внезапно повернулась, что налетела на Дэвида, но не сказала ни слова; слезы текли по ее лицу. Глядя прямо перед собой в одну точку, она вышла из лаборатории. Другие тоже разошлись. Остался один Новали.

— Как с лейкоцитами? — спросил его Дэвид.

— Около девятисот. Может быть, чуть больше.

5.

Некоторое оживление, возникшее в больнице в четверг утром, когда приступил к работе доктор Берэн, в пятницу днем угасло. Осталась пустота, и в этой пустоте, после того как вечером был получен анализ крови с резко упавшим количеством лейкоцитов, словно бы без цели бродили врачи и сестры. Но это длилось недолго. В ночь с пятницы на субботу пустота заполнилась сначала покорностью, которая помогала каждому хоть как-то делать свое дело, а под конец и решимостью, благодаря которой они делали свое дело превосходно. Луиса больше ни на минуту не оставляли одного. Он то засыпал, то просыпался, все больше слабел, но по-прежнему несколько рассеянно интересовался окружающим.

Около часу ночи он очнулся после недолгого сна и, повернув голову, увидел доктора Моргенштерна, сидевшего в углу между двух окон. Лампа на маленьком столике не горела, но дверь палаты была отворена почти настежь, и слабый свет из коридора падал на лицо Моргенштерна.

— Здравствуйте, майор, — сказал Луис.

Доктору Моргенштерну действительно было присвоено воинское звание, но едва ли кто помнил об этом, даже когда он надевал военную форму: было в его характере или в манере держаться что-то уж очень штатское, и слово «майор» никак не вязалось с ним, — разве только как своего рода дружеское прозвище; так прозвучало оно и сейчас в устах Луиса.

— Постарайтесь-ка опять уснуть поскорей,— сказал Моргенштерн. — У вас это очень хорошо получалось.

— Все спать, спать,— сказал Луис.— А который час?

— Тут слишком темно, мне не видно часов. Я вам утром скажу.

Луис долго молчал; Моргенштерн сидел неподвижно, подперев голову рукой, и сквозь слегка раздвинутые пальцы наблюдал за ним.

— На этом подоконнике стоял цветок. Мне жаль, что он куда-то девался.

— Никуда он не девался. Просто сиделка на ночь поставила его на пол. Хотите, я поставлю его на место? Будете тогда спать?

Опять наступило долгое молчание.

— Нет, отнесите его назад, в расселину стены.

— Что вы будете делать после войны, Эрнест? — спросил Луис после новой длинной паузы. — Нравится вам быть военным врачом?

— Врачом где ни быть, всюду примерно одно и то же, — сказал Моргенштерн и встал. — Может, дать вам снотворного? Вам непременно надо еще поспать.

— Погодите минуту, Эрнест,— возразил Луис; теперь он говорил быстрее и громче.— Еще одну минуту, спать я успею.

Моргенштерн стал возле своего стула.

— Что-то двигалось тогда, что-то движется,— опять негромко заго-

ворил Луис.— Эрнест, у меня нос чешется. Может, вы почешете мне нос?

Моргенштерн подошел к кровати и наклонился над Луисом.

— Здесь? — спросил он.

— Немного правее... вот, чудесно,— сказал Луис.— Что вы тут делаете так поздно?

— Работаю,— с улыбкой ответил Моргенштерн.— Нет, правда, я просто мимоходом к вам заглянул. Вы что-то никак не угомонитесь. А вам нужен сон.

— Вам, наверно, сон нужнее, чем мне. У нас есть секреты друг от друга, майор?

— Нет, Луис.

— Страшная штука секреты, особенно когда ничего нет секретного. Они ведут к стольким заблуждениям... начинаешь бояться и ненавидеть всякого, кто нарушит секрет или попытается нарушить. Вы кого-нибудь ненавидите?

— Не думаю. По-настоящему — нет.

— Боитесь кого-нибудь?

— Вероятно... да, вероятно, найдется такое, чего я боюсь.

— Как дети боятся темноты. Есть вещи, которых нельзя не бояться. Да, конечно. До поры, до времени. Знаете, Эрнест, чего я боюсь больше всего? Что это может начаться без чьего-либо обдуманного намерения. Что это случится просто по чьей-то ошибке.

Луис несколько раз медленно покачал головой.

— Спокойной ночи, Эрнест. Я буду спать. Обещаю вам, я буду спать.

В субботу утром количество лейкоцитов в крови Луиса еще уменьшилось: около трехсот на кубический миллиметр. Теперь его организм оказался беззащитен перед любой инфекцией, хотя пока что никаких признаков какой-либо инфекции не было. Чтобы наверняка избежать ее, доктор Берэн распорядился каждые три часа делать укол пенициллина. Почему-то — Луис и сам себе не мог бы объяснить почему — он до сих пор никому ни слова не говорил о том, что у него болит язык в том месте, где его касается зуб под золотой коронкой; но утром в субботу, вскоре после того как он проснулся, во время ежедневного переливания крови он сказал об этом. На языке обнаружили маленькую белую язвочку, коронку поспешно покрыли золотой фольгой, чтобы помешать действию радиоактивности. Левая рука распухла уже до плеча, но с этим ничего нельзя было поделать. Замораживание сдерживало боль; кисти рук подо льдом были синевато-серые.

Лицо Луиса и все тело спереди, до пальцев на ногах, и там, где его покрывал загар, и там, где загара не было, постепенно становилось багровым. Фотограф приходил и делал снимки, чтобы можно было следить за изменениями; Бетси снова была на своем посту, делала для Луиса все, что только было в ее силах, и то заговаривала с ним, то упорно молчала, смотря по тому, что, как ей казалось, в данную минуту было приятней Луису. Он почти все время был молчалив; силы совсем оставили его, и он мало чем интересовался. Даже Берэн считал, что дело идет к концу быстрее, чем можно было ждать. Но кривые температуры, пульса и дыхания все еще колебались то вверх, то вниз, не слишком отклоняясь от нормы. На местах уколов появлялись пока лишь небольшие кровоизлияния, не было признаков самопроизвольного кровотечения,— короче говоря, пока что не было надобности в докторе Бригле и его красителях.

Утро еще не кончилось, когда в коридоре второго этажа, неподалеку от лестницы, один из врачей упомянул о патологе, ожидающем в Санта-Фе.

— Как его — Белл? Как по-вашему, может быть, следует с ним связаться?

— Пока нет,— сказал Берэн.— Пока еще незачем. Педерсон с ним уже виделся. Его фамилия Бийл.

Но потом он еще несколько минут думал об этих своих словах; в сущности, Бийлу больше незачем сидеть в Санте-Фе; пожалуй, все они в некотором роде поддались панике, когда решили держать его там, а теперь уже, пожалуй, все равно — он может перебраться в Лос-Аламос,— только, по совести говоря, никто не желает его здесь видеть. Нет, что касается Бийла, лучше оставить все как есть, пока только возможно, размышлял Берэн. Это куда легче.

Незадолго до полудня Берэн зашел в ординаторскую. Луис спал; все что нужно, было сделано — иначе говоря, сделано все, что во власти врачей. Берэн пришел в больницу в восьмом часу утра, он устал; накануне он ушел отсюда около часу ночи. Но он держался бодро и решительно, как и все остальные. В ординаторской он застал Вислу;— тот стоял у окна, из которого виден был пик Тручас.

— Мистер Висла,— сказал Берэн,— не хотите ли прокатиться?

Висла отвернулся от окна:

— Вот как? Все спокойно?

Берэн пожал плечами. Висла кивнул:

— Что ж, ладно.

— Я пользуюсь машиной Луиса. Может быть, вам неприятно?

Висла посмотрел на него с удивлением.

— Неприятно поехать в машине Луиса? Нет, конечно. — Висла направился к двери, потом остановился и опять посмотрел на Берэна.— Вот что сам Луис не может в ней ездить, это неприятно. Но в этом смысле еще много есть неприятного.

Выходя из больницы, они столкнулись с Улановым и предложили ему тоже поехать. Несколько минут спустя они выехали из главных ворот на дорогу, что вела в долину. На дороге шли работы; там и тут стояли приземистые грузовики, лепясь к самому краю дороги или вжимаясь в тесные ниши, высеченные в отвесной стене каньона. Время от времени внизу открывалась долина; потом все опять заслоняли деревья и скалы, и видны были только несколько футов дороги впереди машины. Висла смотрел прямо перед собой, Уланов озирался по сторонам, Берэн не сводил глаз с края дороги.

— Лучше бы мы поехали кружным путем,— сказал Висла.

— Ну нет! — воскликнул Берэн.— Эта дорога очень хороша, просто прелесть.

Потом он заговорил о том, что за странное место Лос-Аламос, своего рода лаборатория, где сталкиваются крайности, силы противоположные и противоречивые: интеллигенты и рабочие, ученые и техники, иностранные ученые и американцы, теоретики и экспериментаторы, и все они более или менее объединены в одном лагере, а все военные — в другом... И притом нельзя не признать, что Лос-Аламос едва ли не крупнейшая и наилучшим образом оборудованная научная лаборатория в мире — и одновременно крупнейшая фабрика оружия, а стало быть, в нем заключен двойной символ: грядущей жизни и смерти человечества.

— Пожалуй, тут-то и можно проверить, не играет ли господь бог людьми... так, знаете, как играют в кости,— сказал в заключение Берэн.

— Все это, конечно, справедливо,— сказал Висла.— Но в ваших последних словах есть и другой смысл, он мне больше по душе. Да это

и вернее. В кости играем мы сами. А бог, пожалуй, смотрит... и забавляется? Или, может быть, ему немножко грустно?

— Так или иначе, на этой неделе он был свидетелем скверной игры,— сказал Уланов.

— Верно,— сказал Берэн,— верно. А скажите, правду мне говорили насчет этого совпадения? Что оба несчастных случая пришлись на вторник двадцать первого числа?

— Да, я тоже слышал,— буркнул Висла.

— Куда существенней другое,— со злостью сказал Уланов: — Утром того дня, когда это случилось, Луис поспорил с военным начальством из-за управления опытом на расстоянии.

— Очень может быть, что существенно и то, и другое,— примирительно сказал Берэн.— Я не суеверен и не думаю, чтобы тут были какие-то сверхъестественные причины. А все же иной раз трудно не поддаться суеверию: оно так просто все объясняет. И потом, это может застигнуть вас врасплох, в самую неподходящую минуту, даже если вы человек трезвый и разумный. И тем не менее...

Все надолго замолчали; дорога больше не кружила, она лежала перед ними, прямая и ровная; Берэн повернул на север, где, на несколько миль выше по течению Рио-Гранде, лежало селение Эспаньола; Висла упорно барабанил пальцами по дверце автомобиля.

— Там вместе с перчатками лежит шоколад, — сказал Берэн. — Хотите?

Висла достал плитку, и все трое принялись за шоколад.

— Что касается меня, то я отдохнул, — сказал Берэн. — Хотите ехать дальше? Или вернемся?

До Эспаньолы было рукой подать. Они проехали по мосту, переброшенному в этом месте через Рио-Гранде, и оказались в Эспаньоле. Близость Лос-Аламоса с его многотысячным населением превратила эту мирную деревушку в нечто вроде большого рынка; тут появились новые лавки и новенькая заправочная станция; станция как раз была открыта и пестрела флажками и рекламами. Берэн подъехал к колонке и запасся пятью галлонами бензина. Потом двинулись в обратный путь.

Милю-другую проехали в молчании.

— Ни то, ни другое не существенно, — сказал вдруг Висла. — И все-таки этот трудно объяснимый случай имеет отношение к своего рода суеверию: к секретности и ко всяким мерзостям, которые узаконивает эта самая секретность. Эта почти трогательная вера в спасительную секретность — что она, по-вашему, как не суеверие? Есть ли на свете что-нибудь менее поддающееся засекречиванию, чем закон природы — да еще закон общеизвестный? Вашингтонские конгрессмены твердят: соблюдайте тайну! Я уж и спрашивать перестал, какую тайну. Они не понимают вопроса. Они воображают, что если у нас есть что-то такое, чего нет у других, то это надо держать в секрете, и начисто забывают, откуда мы это «что-то» взяли. Если бы мы поднесли России в подарок одну из наших бомб, через год-другой русские и сами научились бы делать такие же бомбы. А поскольку мы им такого подарка не делаем, у них на это уйдет года три-четыре. Если бы они никогда не видали автомобиля, было бы примерно то же самое — но только при помощи автомобиля не взрывают города. Для кого же мы готовим оружие? Для самих себя — да, конечно, но в такой же мере и для всех своих возможных противников. Со временем — и на это понадобится не так уж много времени — в этих делах все сравняются. Но, понятно, сколько тут ни толкуй, никто не слушает.

— Я слушаю, — сказал Берэн. — Очень интересно. Я еще не слышал этого в такой форме.

— Но что толку во всем винить военные власти, — продолжал Вис-

ла. — Военщина так уж устроена, что из всего на свете устраивает игру в разбойники, и это может погубить науку, против чего, между прочим, возражают одни только ученые. Но ведь спорить-то, в конечном счете, приходится не с военными. За ними стоят силы и люди, которые тоже рады затеять игру в разбойники, хотя, надеюсь, не столь опасную. Спор идет с тем настроением или с той блажью, которая требует первым делом и превыше всего держать в секрете любое научное открытие, если его можно как-нибудь использовать в военных целях. Вы только посмотрите вокруг! Куда ни глянь, всюду страх и подозрительность, — может быть, это симптомы какой-то болезни, а может быть, сама болезнь — плод страха и подозрительности. Об этом я судить не берусь. Но секретность — я знаю, что это такое, она всегда там, где что-то неладно. Если вы больны и не желаете знать, как развивается ваш недуг, вы окружаете его таинственностью... в данном случае это — фабрики секретного оружия и секретные кипы секретных бумаг.

— И все равно от смерти не уйдешь,— прибавил он. — Пожалуй, в некоторых случаях смерть наступает еще скорее. Пожалуй, иной раз она наступает от таких причин, что вполне можно было бы вылечиться, если б не секретность. Правильно я говорю, доктор?

— От смерти не уйдешь, — согласился Берэн. — Думаю, что от таких речей обрушились бы колонны в баре Уилларда, а заодно иных членов конгресса хватил бы удар. — Рассуждения Вислы, видимо, и позабавили его и встревожили. — Кстати, а как бы вы с этим боролись? Просто-напросто подарили бы русским бомбу?

Висла расхохотался.

— Эйнштейн предлагал, поскольку у русских нет атомной бомбы, пригласить их для разработки в общих чертах конституции всемирного правительства. Чудак, правда? Совершенно невозможная вещь! Единственное достоинство этой идеи — что она обращается к самой сути дела. Нет, я не собираюсь дарить им бомбу. После такого жеста мы столь же мало доверяли бы друг другу, как и прежде... во всяком случае, не слишком доверяли бы. Но было бы лучше не обманывать себя, пытаясь сохранить от них этот секрет... тем более, что мы не можем его сохранить. Эта секретность — просто суеверие, гораздо хуже, чем суеверие. К великому сожалению, она развращает нас. Неминуемо, во имя иллюзорной безопасности, она ведет нас к слабости, к тому, что мы беремся за скверную, низкопробную работу. Но что хуже всего — нами тоже может овладеть эта мания секретности или дьяволы, ею порожденные, — страх, подозрение, ненависть. Таким способом мы не предотвратим войну и даже не станем сильнее на случай войны.

— И подобно евангельским свиньям, охваченные безумием, сами ринемся навстречу гибели, — сказал Уланов, глядя в окно машины и улыбаясь про себя.

— Очень возможно, — с полной серьезностью согласился Висла. — Но я думаю главным образом о тех, кого Герман Брох называет лунатиками. Все чувства лунатика притуплены, как ни у кого другого, а главное, его движения, как ни у кого другого, окружены таинственностью — верно? Однако, лунатики иногда вполне удачно балансируют над пропастью. — Он громко рассмеялся. — Что ж, может быть, и мы все окажемся удачливыми лунатиками?

Берэн несколько раз кряду задумчиво кивнул, но не сказал ни слова. На губах Уланова застыла ироническая улыбка. Висла опять забарабанил по дверце.

Потом Уланов стал вспоминать первые недели атомной станции и всякие забавные истории. Мимоходом в связи с Луисом он упомянул слово «чистота», и Берэн спросил, что он хочет этим сказать.

— Это очень верно, — сказал Висла.

— Но я имел в виду...

— Сейчас я объясню, — сказал Уланов. — Вот, например, тогда в Чикаго — в сорок втором году, в начале сорок третьего, — было немало мучительных минут. Мучительных в том смысле, что открываешь что-то или делаешь что-то совсем новое, небывалое — и ни слова нельзя об этом сказать. Первая цепная реакция, конечно, была громадным открытием. Но было и множество открытий поменьше. Помню, я и сам думал в те дни, как было бы славно развернуть газету и увидеть жирный заголовок: Для производства атомной бомбы избран район в штате Нью-Мексико, или, скажем: Президент нажимает кнопку, вводя в строй грандиозный хэнфордский завод, или: Состояние клинтонского реактора критическое. Все стало бы гораздо реальнее. Когда работаешь келейно, как-то падаешь духом. А вот Луис не такой. Он, мне кажется, не нуждался ни в славе, ни в гласности. Его не трогало то, о чем я говорю. А для этого нужна какая-то душевная чистота, — ему было все равно, секретная ли у него работа или о ней трубят во всех газетах, его это не волновало... Меня тогда очень поразила его душевная чистота.

— Не так уж удивительно, — сказал Висла. — Таких людей было много. Но это верно, — повторил он.

Берэн уже снова вел машину по крутым поворотам, лавируя среди грузовиков и рабочих, приводящих в порядок дорогу. Наконец впереди открылся прямой отрезок пути перед главным въездом в Лос-Аламос, и тут их стремительно обогнал военный седан. За рулем сидел солдат-шофер, рядом с ним полковник Хаф, а сзади — немолодые мужчина и женщина и хорошенькая темноволосая девушка лет двадцати. Все они обернулись; девушка, явно взволнованная, что-то сказала.

— Вам не кажется, что это... — начал Берэн.

— Ну, да, — прервал Уланов. — Это его родные, они узнали машину.

6.

В больнице царило смятение. Переступив порог, Берэн, Висла и Уланов увидели полковника Хафа: он стоял у подножья лестницы, ведущей во второй этаж, и говорил что-то двум солдатам из военной полиции; он сдерживался и не кричал, но видно было, что он вне себя.

— Кто именно дал вам такой приказ? — услышали вновь прибывшие.

Мистер и миссис Сакслы и Либби стояли немного поодаль, тесной кучкой, несчастные и испуганные. Потом на лестнице, позади солдат, появился Дэвид Тил; не обращая на них внимания, он протолкался между ними и подошел к Сакслам. Висла тоже направился к ним; Уланов хотел было последовать его примеру, но передумал.

Разговаривая с солдатами, полковник Хаф тоже поминутно оглядывался на своих подопечных; он, видно, не знал, подойти к ним или оставаться на месте. Но Дэвид и Висла уже вели их к выходу.

— Ладно, — сказал полковник. — А теперь заберите тех, что на втором этаже, и убирайтесь все отсюда к чертям.

— Слушаю, сэр, — сказал один из солдат. Второй отправился наверх.

Родные Луиса прошли мимо Берэна и Уланова. Берэн посмотрел на Дэвида, тот покачал головой. Миссис Сакслы держалась за локоть мужа и что-то ему шептала.

— Мы находимся более чем в семи с половиной тысячах футов над уровнем моря, — говорил Висла. — Воздух здесь немного разреженный, но очень чистый.

Он, видимо, обращался к Либби, но не смотрел на нее.

Они вышли на улицу. Полковник Хаф шагнул было вслед за ними, остановился, постоял в нерешимости, потом круто повернулся и зашагал по коридору к ординаторской. Перед дверью он опять остановился и оглянулся на солдата, все еще стоявшего внизу, у лестницы. Послышался приглушенный топот ног; трое солдат спустились по лестнице; тот, что стоял внизу, присоединился к ним, все четверо прошагали через больничный вестибюль и скрылись за дверью.

Пока разыгрывалась эта сцена, — впрочем, она заняла минуты две-три, не больше, — Берэн и Уланов молча стояли и смотрели. Но вот Берэн, не взглянув на спутника и ни слова ему не сказав, направился к лестнице, а Уланов так же сосредоточенно двинулся по коридору к ординаторской.

Полковник говорил по телефону. Он говорил еще несколько минут, а Уланов стоял тут же и слушал. Раза два полковник посмотрел на него в упор, словно хотел дать понять, что незваный гость мог бы и убраться отсюда; но Уланов либо не замечал этих взглядов, либо не желал обращать на них внимание. Из вопросов и реплик Хафа, который разговаривал со своим заместителем, подполковником, выяснилось, что за то время, пока Хаф ездил в Санта-Фе за родными Луиса, в Лос-Аламос звонил генерал Мичем, и подполковник, то ли по крайнему тупоумию, то ли по злой воле, поспешил осуществить идею, переданную генералом на усмотрение полковника Хафа.

— Но ведь это не был приказ? — резко спросил полковник.

— Так значит это не был приказ? — снова сказал он через минуту.

— Болван несчастный, так какого же черта вы не подождали полчаса?

Наконец он положил трубку и опять уставился на Уланова.

— Все тот же конгрессмен? — заметил Уланов.

— А вам-то что? — осведомился полковник.

Уланов достаточно знал Хафа и, понимая, что тот не долго выдержит подобный тон, ничего не ответил.

— Генерал действовал вполне разумно, — сказал, помолчав, полковник. — Беда в том, что ему приходится иметь дело с дураками.

Как выяснилось, генерал не оставил без внимания слова конгрессмена, полагавшего, что, раз Луис настолько серьезно болен, как уверяют врачи, следует по меньшей мере приставить к его палате часовых: а то вдруг он начнет бредить, и вдруг при этом окажутся какие-нибудь непосвященные посетители, и тогда раскроются какие-нибудь атомные тайны... Конгрессмен слышал про случай в Ок-Ридже, где во время войны к больнице пристроили специальный флигель для человека, заболевшего нервным расстройством. Очевидно, конгрессмен сказал генералу, что, по его мнению, теперь национальной безопасности грозит еще более тяжкий удар, принимая во внимание сомнительную деятельность Луиса Сакса в прошлом. Генерал вкратце изложил соображения конгрессмена заместителю полковника Хафа и предложил ему поговорить с полковником; сам он не решался на расстоянии принимать какие-либо решения.

— А как еще он мог поступить? — спросил Хаф. — С его стороны это вполне разумно, — продолжал он. — Но потом этот остолоп берется все решать сам и отдает приказ выставить перед палатой наряд военной полиции, а уже после этого докладывает мне!

— Армейская выучка, — сказал Уланов.

— Ох, и надоели вы мне, было бы вам известно! — сказал полковник. — Армейская выучка, не армейская — не в том суть. Но надо же иметь элементарное уважение к человеку. Представляю, как это должно было подействовать на его родных! Видели вы, какие у них были лица? Элементарное уважение...

И полковник вышел из ординаторской. Он еще поговорит с генералом, но без свидетелей, в тиши своего кабинета.

Опекаемые Дэвидом Тилом, с которым они познакомились еще несколько лет тому назад, и Вислой, который сразу внушил им почтение, родные Луиса вышли из больницы и направились через улицу к «Вигваму», где для них были приготовлены комнаты. Они провели там полчаса, переоделись, постарались прийти в себя и сладить со своими чувствами. Потом вернулись в больницу. Луис уже проснулся; он чувствовал себя не хуже и, опекаемый Берэном, Педерсоном и Бетси, готовился к приему гостей, насколько тут можно было готовиться. Встреча была мучительная — и по самым простым, и по самым сложным причинам. Лотки со льдом, торчащие по обе стороны кровати, мешали двигаться; отец и сестра Луиса не знали, что говорить и как говорить; а мать, которая знала или думала, что знает, умолкла, как только посмотрела внимательней в глаза сыну. Луис поздоровался с родными очень вежливо — трудно найти более подходящее слово. Он пытался пошутить с Либби, но мысли его были так далеко, так пусты и холодны оказались слова, что они резнули ухо, и их отзвук еще несколько минут преследовал всех, кто был в комнате. Луис произносил два-три слова, потом поворачивал голову на подушке и смотрел направо, в окно; потом снова поворачивал голову и смотрел то на одного, то на другого; и что бы он ни сказал, что бы ни сделал, сразу наступало молчание.

Старик Саксл подошел к окну и выглянул наружу, и Луис проводил его взглядом.

— Вечером там очень славно, — сказал Луис. — За углом горит фонарь...

Он не договорил. Снова перевел глаза на мать, и на этот раз взгляд и лицо его немного смягчились. Но секундой позже он уже смотрел сквозь нее или, может быть, вообще не смотрел — просто полулежал с открытыми глазами и сосредоточенно следил за чем-то, что проходило перед его внутренним взором.

Несколько минут спустя явился Чарли Педерсон. Он изо всех сил старался рассеять давящую тишину, говорил оживленно, весело, громче, чем обычно. Потом увел посетителей из палаты. В коридоре ждал Берэн. Он медленно проводил их по коридору, потом вниз по лестнице и, тщательно, но незаметно выбирая слова, сказал им все, что считал своим долгом сказать.

Неподалеку от дверей больницы на улице ждал Дэвид. Берэн как бы сдал ему на руки семейство Саксл, — хотя все это, видимо, происходило без предварительного уговора, — и Дэвид отвел их назад в «Вигвам». Он остался с ними — и вскоре тут, в комнате миссис Саксл, долго сдерживаемые чувства вырвались наружу. Плакали все, даже старик Саксл. Слова лились потоком, и минуты молчания были полны значения, согреты сочувствием и взаимопониманием. Возбужденная этой разрядкой после долгого напряжения, Либби даже развеселилась; она рассказала какую-то забавную историю про Луиса и одну девушку из Джорджтауна и принялась рассказывать другую, но оборвала на полуслове. Веселья как не бывало, забавная история вдруг показалась ужасной. И снова все сидели молча. Потом, один за другим, отец, сестра и мать начали пока что понемногу устраиваться — разбирать чемоданы, доставать гребни и зубные щетки, развешивать платье. За этим занятием Дэвид их оставил. Но когда он стал спускаться с лестницы, его нагнал Бенджамен Саксл.

— Дэвид, — сказал он, — я хотел бы где-нибудь достать бутылку виски. Это можно? Вас это не очень затруднит?

7

Из Альбукерка, куда Тереза прилетела самолетом, в Санта-Фе идет автобус. Полет был тяжким испытанием: день выдался ненастный, в Чикаго пришлось долго ждать вылета, а что хуже всего — негде было приклонить голову, спрятать лицо, хоть как-то остаться одной. Приходилось сидеть прямо на своем месте у окна, помнить о соседе, — хотя она тут же забыла, кто сидит с нею рядом, — и, глядя в беспредельность неба, думать думы, от которых не было спасенья. Хорошо хоть, что за ревом моторов никто не слышал ее, когда ночью она несколько раз принималась плакать. Но после восхода солнца она уже не плакала больше. Скоро солнце снова зайдет, уже почти пять часов — как знать, что принесет этот вечер...

Дорога, прямая и ровная, пересекает местность гораздо более скучную и однообразную, чем та, что лежит по другую сторону Санта-Фе; автобус катит все вперед и вперед. Он наполовину пуст. Рядом с Терезой никого нет. Всю ночь она не спала — разве, может быть, какой-нибудь час — и теперь чувствует себя усталой, измученной и грязной. Она уже почти ни о чем не думает, только одна мысль все снова и снова кружит где-то по краю сознания, принимая самые разные обличья; она возникла еще вчера вечером во время телефонного разговора с Дэвидом, и с тех пор не дает покоя. В самом простом своем обличье эта мысль говорит только: письмо в поезде писалось еще до того, как Луиса настигла эта страшная беда, но беда пришла прежде, чем он получил письмо... если только он вообще получил его. И ничего нельзя поделать с этой мыслью в любом ее обличье; она только мучает, а помочь не может. Она кружит в мозгу и то гаснет, то снова вспыхивает, точно огонек, слишком слабый, чтобы осветить что-нибудь, слишком яркий, чтобы не замечать его и отдохнуть.

Тереза сидит совсем прямо, почти не глядя в окно, на землю, которая покоила их мечты и планы, на небо, которое их благословило, — с тех пор не прошло и недели. И вот, наконец, Санта-Фе.

Автобус останавливается в конце улицы, ведущей к гостинице — приземистому розовому зданию в центре города. Тереза берет свой единственный чемодан и быстро идет по улице. Чемодан бьет ее по ногам, и она то и дело спотыкается, но не обращает на это внимания, хотя походка у нее неровная, точно у пьяной. Шофер автобуса, стоя на тротуаре, оборачивается и смотрит ей вслед. Какой-то мальчишка-испанец, совсем еще карапуз, выбежав из дому, с размаху налетает на нее. На улице полно народу, но Тереза, лавируя среди прохожих, обгоняет их, она идет очень быстро, с той сосредоточенной стремительностью, которая заставляет встречных уступать дорогу.

Неделю назад она тоже проезжала через Санта-Фе, по пути в Лос-Аламос и обратно; тогда она только мельком видела город, и его улицы остались ей незнакомы. Она приехала с востока поездом, Луис встретил ее на полустанке Лэйми (и только пять дней назад она уезжала оттуда и видела из окна вагона, как его поглотила темнота). Он провез ее по каким-то узким кривым улочкам, вдоль реки, вокруг собора, потом мимо длинного, низкого деревянного здания с деревянной аркой по фасаду. В этом доме, сказал Луис, есть внутренний дворик — патио, и во дворе — местная контора лос-аламосской атомной станции. Конторой ведает очень милая женщина. Здание это — одно из двух самых старых в Санта-Фе; в ту пору, когда станция в Лос-Аламосе только еще создавалась, здесь бывало много всяких забавных происшествий; сюда он попал, когда впервые приехал из Чикаго; как-то раз...

— Мне кажется, у тебя ресницы стали длиннее, — сказала тут Тереза.

Но она запомнила этот дом, и это было очень важно, ведь иначе ей

и в голову бы не пришло, что у лос-аламосской станции есть в Санта-Фе контора.

Перед гостиницей она останавливается и опускает чемодан на землю. Какой-то человек стоит в дверях гостиницы, курит и лениво посматривает по сторонам. Тереза подходит к нему, описывает здание, которое ей нужно, и спрашивает, как его найти.

— Я и сам приезжий, — говорит ей этот человек, — но это здание я знаю. — И он объясняет ей, как пройти. Потом поворачивается и тоже смотрит ей вслед.

Идти недалеко, всего полтора квартала от гостиницы. Тереза узнает дом с первого взгляда. В нем разместилось множество всяких магазинов и контор; замедлив шаг, она проходит под аркой, смотрит на вывески; тут и книжный магазин, и контора адвоката, и картинная галерея, и еще что-то, а у самого входа в патио скромная табличка, которой она сразу не заметила: «Лос-аламосская научная лаборатория».

В патио оказалось еще много других магазинов и учреждений; Тереза минует их; та дверь, что ей нужна, в самом дальнем конце. Тереза входит, женщина с седыми волосами и молодым лицом поднимает голову и смотрит на нее, и двое мужчин, сидящих на скамье за перегородкой, разделяющей комнату на-двое, тоже смотрят на нее. Не выпуская из рук чемодана, она подходит к седой женщине.

— Меня зовут Тереза Сэвидж, — говорит она. — Я еду в Лос-Аламос, к другу. Как мне добраться туда поскорее?

— Вам уже приготовили разрешение на въезд?

— Не знаю.

— А ваш друг знает, что вы приезжаете?

— Не знаю... да, он знает.

— Вы не знаете, приготовил ли он для вас гостевой пропуск?

— Не знаю. Должно быть, пропуск заказан. Вероятно, заказан. Да, наверно. С ним случилось несчастье. Как мне добраться туда поскорее?

— Как зовут вашего друга?

— Луис Сакс л.

— А-а, — говорит седая женщина. — Понимаю.

— Как добраться туда поскорее?

— Поставьте, пожалуйста, чемодан и присядьте, я сейчас же позвоню...

— Как добраться туда поскорее?

— Прошу вас, сейчас я...

— Как добраться туда поскорее?

Седая женщина вскочила со стула, и мужчины, сидевшие на скамье, тоже вскочили. Но Тереза, хоть и покачнулась и сделала неверный, падающий шаг вперед, не лишилась чувств. Она поставила чемодан на пол и склонилась на стол, за которым работала седая женщина. Подняла руку и схватилась за волосы, потом резко вскинула голову.

— Простите, — говорит она, — простите меня, пожалуйста. Я непременно хочу попасть туда как можно скорее. Я только вчера вечером узнала.

Выйдя из-за стола, седая женщина обнимает Терезу за плечи. Она говорит какие-то ласковые, успокаивающие слова, велит мужчинам принести воды, кофе, усаживает Терезу на стул. Она похлопывает Терезу по колену и машинально, сама того не замечая, пытается разгладить какие-то складки на ее костюме, измявшемся в дороге. Один из мужчин приносит чашку воды; седая женщина смотрит, как Тереза пьет воду, говорит еще какие-то ободряющие слова, потом возвращается за свой стол и звонит в Лос-Аламос.

Оказывается, Дэвид Тил давно уже приготовил Терезе пропуск, который ждет ее у въезда в Лос-Аламос.

— Кто-нибудь должен был нас предупредить, — холодно говорит седая женщина. — Не обязательно вы. Но кто-то должен был предупредить.

И она вешает трубку.

С минуты на минуту, говорит она Терезе, из поездки в Лос-Аламос вернется служебный автомобиль, и она сейчас же отправит его обратно — отвезти Терезу. Минуты через три в дверях появляется шофер в военной форме. Седая женщина объясняет ему, что надо снова ехать; он пожимает плечами, берет чемодан Терезы и распахивает перед нею дверь. Он пропускает Терезу вперед, выразительно подмигивает одному из мужчин, оставшихся в конторе, и идет за нею. Седая женщина подходит к небольшой таблице, приколотой к стене над столом; это роспись рейсов, совершаемых служебными машинами, в ней имеются графы, куда заносятся номер машины и водителя, время, за какое сделан рейс, по чьему распоряжению и фамилия пассажира. Последняя запись гласит: «Доктор Гэлен Бийл». Ниже седая женщина вписывает новое имя: «Мисс Тереза Сэвидж». Человек, уходивший за кофе, возвращается.

— Вот кофе, — говорит он.

— Дайте, я выпью, — отвечает седая женщина.

В машине Тереза закуривает сигарету, снимает туфли и шевелит затекшими пальцами, расправляет чулки и разглядывает помятую юбку. На протяжении первых миль пути солдат-водитель пробует завязать с нею разговор. Немного погодя Тереза открывает сумочку, достает губную помаду, пудру, расческу. Следующие несколько миль она приводит себя в порядок, а солдат, косясь в шоферское зеркальце, незаметно следит за нею. За мостом через Рио-Гранде дорога взбирается в гору, и тут завязывается недолгий разговор. Солдату случалось возить в Лос-Аламос и обратно разных знаменитых людей, и он упоминает некоторые громкие имена. Самое большое впечатление произвел на него Оппенгеймер: у этого Оппенгеймера глаза такие, — сказал он, — как поглядит, точно штык в тебя всадит, так душа в пятки и покатится. Сразу видно — умен, как черт, но притом славный малый, это все говорят — и он, шофер, тоже ничего другого сказать не может.

— А только не хотел бы я быть в его шкуре, — прибавляет он.

— Почему?

— Потому что я предпочитаю спать по ночам. Не хотел бы я ни с кем из них поменяться.

— А, понимаю. Вы на фронте не были?

— Был. Повидал кое-чего.

— И, вероятно, спали по ночам после того, что вам приходилось там делать?

— Ну, да, понятно. Но только это все-таки разница — убьешь за раз одного или, скажем, тысячу, или сто тысяч. Хотя не в том дело. Дело вот в чем: что у них там за штука такая в руках? Или, может, они уже выпустили ее из рук?

Тереза досадливо морщится и меняет позу — усаживается боком, наполовину отвернувшись от шофера. К ней пришло, было, второе дыхание, немного ослабело напряжение, державшее ее точно в тисках всю прошлую ночь и весь день, а теперь, видно, все начинается сызнова.

— Вам бы следовало побеседовать с кем-нибудь из них, тогда бы вы лучше понимали, о чем говорите, — произносит она и чувствует, что слова ее нелепы. Но ей все равно.

— Да я с вами не с первой говорю. А тут еще я прочел в газете, совсем недавно, как один заявил, будто есть один шанс на черт-те сколько, на триллион, что ли, что эти самые бомбы на Бикини могут весь мир разнести в клочья. И я подумал, шанс такой, что вроде и не опасно. А потом думаю — да откуда они вообще взялись, эти шансы? Кто этим делом заправляет? Тут поневоле задумаешься — а знает ли вообще кто-

нибудь, куда это все ведет и чем кончится, а не только — с чего началось?

Солдат говорит вежливо, но есть в его тоне какая-то ехидная, въедливая нотка, — от нее ноют зубы, как от царапанья по стеклу; Терезу это все сильней выводит из себя, но она не знает, что сказать. А солдат потешается: из всех способов развлечься, рассеять скуку нескончаемых рейсов, самый лучший, какой он только мог придумать, — это изводить пассажиров подобными разговорами; он уже здорово наловчился. Чего только тут не услышишь в ответ!

— Вроде, как нам в школе говорили про того парня, что открыл людям огонь, а боги за это привязали его к скале, и стервятники с тех пор клюют у него печенку. Может, некоторые вещи вовсе и не полагается открывать. Может...

— Да замолчите вы! — кричит Тереза. — Оставьте меня в покое, пожалуйста!

Такого ответа солдат еще не слыхивал, и, удивленный, он больше уже не раскрывает рта.

У ворот Терезе приготовлен пропуск. Кроме того, ее здесь ждет записка от Дэвида: пусть она идет прямо в «Вигвам», там для нее приготовлена комната, и если она хочет видеть родных Луиса, они тоже там, а если Дэвида не будет, когда она приедет, то он постарается прийти как можно скорее.

Едва переступив порог «Вигвама», она сталкивается с Либби. Ни слова не говоря, они бросаются друг другу на шею и долго стоят обнявшись: они плачут, и на этот раз слезы приносят облегчение; и пока они поднимаются по лестнице в комнату миссис Сакслі, Тереза впервые после отъезда из Нью-Йорка чувствует, что в мире есть не только смерть... хотя в нескольких сотнях шагов вправо или влево отсюда (она не знает точно) смерть ждет своего часа.

8.

— Вы мне все сказали, кроме одного, — произнес человек, сидевший за столом. — Может быть, этого никто не сумеет сказать, и мой сын, пожалуй, меньше всех. Я знавал такие случаи, когда вот так, вдруг, разразится катастрофа, и тот, кто пострадал, иной раз меньше понимает, что произошло, чем тот, кто при этом даже и не был. Может быть, вы все-таки догадываетесь, может, у вас есть хоть какие-то мысли на этот счет. Конечно, это ничему не поможет, но всегда лучше знать правду.

Голос умолк. В тусклом сумеречном свете, проникавшем сквозь окна в дальнем конце комнаты, ни говорившего, ни стола, за которым он сидел, нельзя было разглядеть, они казались бесформенными тенями среди других теней в темноте. Слова, полные ожидания, повисли в воздухе... Захочет ли молодой человек у окна ответить? Вопрос ведь не задан в упор... Самый воздух в комнате полон ожидания, но ответа нет.

— Это было действительно неизбежно? — спросил наконец тот, кто сидел у стола.

В окно проникало так мало света, что виднелись только очертания головы молодого человека, но лица нельзя было разглядеть — и сидевшему в комнате голова эта казалась силуэтом, вырезанным из черной бумаги; силуэт вырисовывался на фоне окна совсем низко, потому что молодой человек — небольшого роста, а усталость словно сделала его еще меньше. Он заговорил, и голос его дрожал — не от плохо сдерживаемого волнения, но от неодолимой усталости, и поэтому, как ни странно, в каждом слове чудился особый, скрытый смысл. На самом же деле слова ничего не значили, в них была одна только усталость.

— Не уверен, что знать — лучше, мистер Саксл. Не всегда. Если бы хоть знать наверняка, или если бы от знания был какой-то толк... Но знать просто ради того, чтобы знать... Во всяком случае, есть вещи... вот как теперь...

— Луис говорил, что именно так и совершаются величайшие открытия. Помню, один человек у нас в Джорджтауне, Брикерхоф — он был строитель, подрядчик, — как-то спросил Луиса, что ему даст все это ученье, — понимаете, какая ему практическая цена. И Луис сказал, что, пожалуй, практически никакой цены нет, во всяком случае, он ее не ощущает, и Брикерхоф ничего не мог понять. Просто открывать что-то новое, просто знать для того, чтобы знать, — Луис всегда это говорил, вот как вы сейчас сказали. Он очень уважал вас, Дэвид. Он всегда рассказывал о вас, когда приезжал домой.

— Да, я знаю, мистер Саксл.

— И вы тоже его уважали, я знаю. Я так и говорил жене. Вы были очень добры, Дэвид, больше чем добры, и мы... Люди чаще всего уважают друг друга взаимно, это редко бывает только с одной стороны.

— Тут больше, чем уважение, мистер Саксл. Мы работали все вместе, рука об руку. Здесь все по-настоящему любят Луиса.

— Так и я думал, — произнес старик Саксл; и чуть погодя повторил: — Так я и думал.

В комнате стало почти совсем темно. Бенджамен Саксл напрягал зрение, но и сквозь сильные очки не мог разглядеть Дэвида, который отошел от окна и двигался по комнате, медленно, но как человек, знающий наизусть, где тут что стоит; трость прерывисто стучала по цементному полу. У двери Дэвид остановился; зоркие глаза его даже в темноте различали распределительную доску с выключателями, по четыре в ряд. Он поднял трость, нащупал ее концом один из выключателей и нажал кнопку, как делал сотни раз, входя в эту комнату.

Вспыхнул свет, старик Саксл машинально поднял глаза к потолку, потом взглянул на часы; уже больше часа он сидел вот так — спокойно, даже немного чопорно, положив руки на край стола, телом и душой явно чуждый тому, что его здесь окружало. Он был такой скромный, аккуратный, весь облик его наводил на мысли о зеленой лужайке, политой перед обедом, о запахе послеобеденной сигары, выкуренной на веранде; он был воплощенная сдержанность и обстоятельность. Обстоятельность, всегда хранившая его, смотрела сейчас его глазами из-за очков, звучала в каждом его слове. Вспыхнувший в комнате свет заставил его умолкнуть; он предпочел бы, чтобы Дэвид не зажигал огня; но ведь скоро пора идти... И он откашлялся, чтобы снова заговорить; в те немногие минуты, что осталось ему провести здесь, в этом месте, куда он, вероятно, никогда больше не вернется, нужно получить ответ на самый гложущий, неотвязный вопрос о случившемся.

— Скажите мне, Дэвид, как по-вашему, это действительно было неизбежно?

Вытянув перед собою трость, поворачивая ее то так, то этак, Дэвид внимательно разглядывал ее конец и в то же время перебирал в уме все, что можно было бы ответить Бенджамену Саксу, не давая настоящего ответа на его вопрос. Он быстро взглянул на старика, который терпеливо за ним наблюдал, и тотчас перевел взгляд на сооружение в дальнем конце комнаты. И направился туда, а мистер Саксл следил за каждым его движением.

— Почти четыре года я работал вместе с Луисом, — начал Дэвид, и голос его теперь звучал тверже. — Из них три года в Лос-Аламосе, причем года полтора — вот в этой самой комнате, — все дни, вечера, а иногда и ночи напролет. То, что он делал в последний раз, он проделывал

и прежде, очень часто. Я тоже это делал, и еще несколько человек. Но никто не справлялся с этим так хорошо, как Луис, никто не был так искусен... и так осторожен.

Дэвид через плечо оглянулся на старика и медленно пошел дальше, в конец комнаты.

— Сколько раз я сидел в том кресле, где сейчас сидите вы, или стоял вот здесь, на этом самом месте, или там, сбоку, и смотрел, как он это делает. Никогда я не видел и намека на возможную ошибку. И однако мы знали, все мы, и Луис лучше, чем кто-либо другой, что в этом деле возможна неудача. Это опасный опыт, тут всегда есть известный риск.

В конце комнаты Дэвид опять остановился. Он стоял совсем близко от той странной штуки, так близко, что мог бы дотронуться до нее, но он этого не сделал. Опершись на трость, он провел рукой по лбу, и безмерная усталость, которой больше не слышно было в его голосе, кажется, на мгновенье опять охватила все его существо. Старик Саксл со своего места смотрел на него почти с досадой. Он и сам был очень утомлен, а усталый человек редко сочувствует чужой усталости. К тому же, в этом жесте Дэвида было столько своеобразной чистоты и изящества — быть может, потому, что хромота приучила его к величайшей сдержанности движений,— а Саксла это смущало: уж слишком утонченной натурой казался ему этот Тил! Он перевел взгляд на непонятное сооружение и попытался представить себе, что же произошло, когда сын стоял на том месте, где стоит теперь Дэвид? Что произошло перед тем, как его отвезли в больницу?

— Но ответ на ваш вопрос заключается не в том, что́ именно случилось. Я знаю, что́ случилось, я пришел сюда в тот же вечер, как только услышал об этом. Видите, мистер Саксл, вон в том ящике помещаются приборы, некоторые из них автоматически отмечают и записывают весь ход опыта. Я просмотрел эти записи и проделал заново весь опыт в точности так, как за несколько часов до меня проделал его Луис. Я знаю, что́ случилось. Мне не разрешат сказать вам, что и как, а почему не разрешат, известно только господу богу да нашим генералам. Но прошу вас, поверьте мне, это не имеет значения, это и есть риск, о котором я вам говорил, — вопрос чисто технический. А вот почему так случилось — ну, это другое дело, и это очень трудно объяснить, если не считать... Нет, мистер Саксл, при существующем положении вещей это действительно было неизбежно.

— Вы сказали «если не считать», Дэвид. Если не считать чего?

— Если... да нет, мистер Саксл, я ничего больше не имел в виду. Просто я подумал все о том же риске... только по-другому.

— Может быть, никто и не может сказать, в чем тут было дело, хотя, мне кажется, вы догадываетесь. И знаете, мне кажется, вас нелегко понять... вы не обижаетесь? Пожалуйста, не примите это за упрек. Моего сына во многих отношениях тоже трудно понять. Вероятно, как раз из-за того, что вы в нем уважаете. Вы говорите, другие здесь тоже хорошо к нему относятся?

Со своего места Бенджамен Саксл не мог толком разглядеть странное кубическое сооружение в другом конце комнаты, — очевидно, это какая-то машина или оборудование, или бог весть что еще, и оно-то внезапно отказалось повиноваться Луису. Оно высилось на простом деревянном столе, который казался старику знакомым: в конторе на лесном складе в Джорджтауне был совсем такой же стол, он когда-то смастерил его собственными руками. На столе — знакомые предметы: карандаши, всякие инструменты и прочее. Но никак не понять, что это за кубическая глыба какого-то серого кирпича; она совершенно гладкая, совершенно одинаковая и спереди и с боков; трудно даже разглядеть, где кончается один кирпич и начинается другой; как ни смотри, перед тобой одни толь-

ко сплошные, ровные и гладкие стенки серого куба; и это всего непонятнее, и сколько ни ищи, сколько ни разглядывай, так и остается непонятным, в чем же тут секрет.

— Где стоял Луис, когда вы стояли там, где вы мне раньше показали?

Дэвид не слышал, как старик сзади подошел к нему; неожиданный вопрос, прозвучавший над самым ухом, заставил его вздрогнуть; он резко вскинул голову, потом, уже медленнее, повернулся и стал лицом к лицу с Бенджаменом Саксломом.

— Мне кажется, лучше бы... — произнес он.

— Нет, лучше хоть что-то знать. Миссис Сакс и девушкам это, конечно, знать незачем. Но мы с вами мужчины, Дэвид. Может быть, вы мне все-таки покажете, как он стоял?

Дэвид стал прямо перед серым кубом; слегка наклонился к столу, переступил с ноги на ногу.

— Вот так примерно, — сказал он.

— И что он тогда сделал? Что произошло?

— Мистер Сакс... — начал Дэвид. Но Бенджамен Сакс, шагнув к нему, настойчиво повторил свой вопрос:

— Что он делал? Скажите мне, Дэвид!

Долгое, долгое молчанье. Потом Дэвид сказал:

— Это больше не будет делаться так, как делалось до сих пор. Едва ли полковник Хаф говорил вам, а если и говорил, я этого не слышал... Но вам надо знать, что больше никто никогда не повторит этот опыт в том виде, как его проводил Луис.

Он повернулся и отошел от серого куба со словами:

— Это было в последний раз не только для Луиса, но и для всех нас. Следовало, разумеется, прекратить это раньше. На этот счет было немало разговоров.

— Не понимаю, — сказал старик Сакс. — Мне уже намекали на что-то в этом роде, но я не понял. Почему же Луис во вторник делал этот опыт, раз в нем не было необходимости?

— Как раз вчера в точности такой же вопрос задал мне Домбровский, — заговорил Дэвид, внимательно глядя на Сакса. — Не знаю, что вам на это ответить... И вчера не знал, и сейчас не знаю. Было бы легче ответить, если б вы больше разбирались во всем этом... — он неопределенно повел рукой, указывая то ли на серый куб, то ли на всю эту комнату, то ли, может быть, и на весь Лос-Аламос... — или если б я мог сказать вам то, чего сказать не имею права. Ну, а Домбровский знает, он многое знает... он вам понравится, мистер Сакс, вы должны прийтись по душе друг другу.

Снаружи донесся слабый рокот мотора: по дороге приближалась машина... Дэвид огляделся по сторонам, затем посмотрел на собеседника с чувством, близким к отчаянию.

— Но пусть вам не кажется, что это была бессмысленная случайность, которую можно было предотвратить, если бы кто-то об этом подумал, — продолжал он. — Может быть, если бы всерьез задумались многие, очень многие... миллионы людей... если бы поднялись миллионы голосов... тогда этот опыт — и не только он, но многое другое, возможно... Это так же не было необходимостью, мистер Сакс, как не была необходимостью война, — ведь война никогда ничего не решает, а отныне будет решать меньше, чем ничего... Вот так и тут.

Рокот мотора все громче, ближе. Сакс, до сих пор не сводивший глаз с Дэвида, оглянулся; Дэвид опустил голову, но тотчас, вскинув ее, продолжал:

— И как может ранить на войне солдата, точно так же ранен и

Луис — на войне. Только так вы и должны думать об этом, мистер Саксл... хотя в этом не видно смысла. Это бессмыслица, но, по крайней мере, знакомая бессмыслица... А истинный смысл вам будет незнаком и непонятен. — Подняв трость, Дэвид указал на серый куб. — Когда работаешь с этой штукой, наступает такая секунда, за гранью которой — катастрофа... Или лучше скажу так: эта штука бездушна и бесчеловечна, а Луис — человечнейший человек, и он хорошо знал, какие сети сплел человеческий разум, чтобы опутать ими весь мир. Возможно, он... ведь он и сам... он тоже помогал плести эту сеть. И он...

Дэвид остановился. Бенджамен Саксл посмотрел на часы.

На мгновенье свет фар ворвался в окна, пробежал по всей комнате, — машина свернула на поляну перед зданием; рокот мотора стал особенно громок — и вдруг оборвался; хлопнула дверца.

И вновь заговорил Дэвид:

— Должно было случиться то, что случилось, чтобы вы попали сюда, в эту комнату. Но это — лишь однажды, на один час и по милости самого высокого военного начальства. Они послали за вами, за вашей женой и дочерью самолет, но через неделю вас не впустят в ворота. Война здесь еще не кончилась. Когда она кончится, на свете больше не будет таких мест, как это.

Бенджамен Саксл отыскал свое пальто и неловко, не попадая в рукава, пытался его надеть.

— Они были очень внимательны, — сказал он. — Все для нас сделали — и самолет прислали, и все такое. Но что касается войны... Знаете, здесь кажется, что она совсем рядом... У меня такого чувства не было, даже когда война еще продолжалась, когда я читал о ней в газетах. Впрочем, этот полковник Хаф — славный малый.

Ему, наконец, удалось надеть пальто, как следует.

— Да, — произнес Дэвид, — полковник Хаф славный малый.

— И вы тоже, Дэвид. Мне кажется, я понял то, что вы говорили, во всяком случае, многое. Все это очень печально, не правда ли... очень печально,

Дверь распахнулась, в нее заглянул солдат.

— Вы готовы, доктор? Полковник Хаф приехал.

Полковник Хаф вошел быстрым, но не слишком бойким шагом, спокойный, но не мрачный; кивнув Дэвиду, он направился к старику Саксу и сказал без предисловий, в лоб:

— Я только что из больницы, мистер Саксл. Никаких перемен. Вы, конечно, понимаете, что пока мы большего и ждать не можем. Это, право, очень хороший знак.

Бенджамен Саксл кивнул, но непохоже было, чтобы он понял.

— Доктора все еще думают, что нам с женой нельзя...

— Да, — ответил полковник. — Поверьте, я знаю, как вам тяжело. Но если вы пойдете к нему, будет еще тяжелей. Он сейчас совсем спокоен, болей никаких нет. Доктор Берэн сказал вам чистейшую правду.

Старик опять кивнул, на этот раз он, как будто, понял. Тихонько вздыхая, он смотрел то на полковника, то на Дэвида. Он был ниже Хафа и рядом с ним казался почти жалок; ведь полковник такой прямой, подтянутый, военная форма, не новая и даже не идеально отглаженная, сидела на нем превосходно; он был без фуражки, и его крепкая, уверенно откинутая голова с коротко остриженными волосами выдавала человека несомненно сильного, прямодушного, с большим чувством ответственности. Вокруг глаз у него обозначились морщинки, во взгляде — напряженное ожидание, видно было, что он готов принять на себя любую тяжесть, какой мог бы обременить его Бенджамен Саксл.

— Что ж, — помолчав минуту, сказал старик. — Вероятно, нам надо вернуться в этот... «Вигвам»?

— Вигвам Фуллера, — уточнил полковник. — Да, если вы готовы. — Он взглянул на Дэвида, и все трое медленно направились к двери. — Мы получили в наследство этот «Вигвам» вместе с его названием, когда начали строить здесь город. Ведь здесь когда-то была скотоводческая школа для мальчиков. Один человек держал ее тут много лет, сюда приезжали мальчики главным образом из восточных штатов, сыновья богатых родителей. Этот человек не желал отказаться от своей земли, заявил военным властям, что она не продажная. Ну-с... — они вышли из комнаты; у дверей стоял солдат; полковник мимоходом дружески ткнул его в бок, солдат расплылся в улыбке... — а все-таки мы ее купили.

За дверью, на крыльце, они на минуту останавливаются. Кругом тихо, прохладно, пустынно и дико. По обе стороны поляны торчат, как громадные клыки, каменные глыбы, отвалившиеся от стен ущелья, отвесно уходящих вверх, в ночную тьму. Над глыбами поднимаются деревья — сосны и пихты, они закрывают скалистые откосы густой темной, сейчас совсем черной хвоей; высоко над головами стоящих на крыльце людей вершины деревьев достигают верхнего края ущелья, на фоне ночного неба едва различима их зубчатая кайма. Неведомо откуда слышится какой-то неясный прерывистый звук, да изредка пискнет птица, поудобней устраиваясь в ветвях на ночлег. Люди стоят минуту, застегивая пуговицы пальто, и, может быть, их тоже захватывает торжественность этой ночи. Далекая древность, давно забытое прошлое этой земли дышит вокруг них в каньоне, и в соседних каньонах и ущельях. То, что видят они, стоя на ступеньках крыльца, почти не изменилось за многие тысячи лет или меняется лишь для того, чтобы возродиться вновь таким же, как было тысячи лет назад. На столовой горе, куда они сейчас поедут, недавно построен город, выросло множество зданий, проложены мостовые и тротуары, зеленеет аккуратно подстригаемая трава на лужайках перед домами. И это здание на дне ущелья — тоже часть нового города; здесь расчистили поляну, на поляне стоит сейчас джип полковника Хафа, яркий свет фар выхватывает из тьмы камни и сосны, и рокот работающего вхолостую мотора отдается по всему ущелью. Но кажется, что город бесконечно далек отсюда, и темнота здесь куда внушительней, чем свет фар, и тишина слышнее, чем работа мотора.

— Мы купили эту землю, — продолжал полковник, — и за год выстроили на ней город. Нигде в мире нет ничего подобного.

Они сели в машину, шофер, круто развернувшись, вывел ее на дорогу, и начался извилистый подъем среди скал и сосен к выходу из ущелья. Полковник, сидя рядом с шофером, что-то говорил ему, тот оглянулся, и в эту секунду джип слегка подскочил на небольшом каменном выступе, врезавшемся в гладкую ленту дороги.

— Смотрите в оба, — заметил полковник, — тут зевать не приходится.

— Всё каверзы злой бабы природы, а, полковник? — отозвался Дэвид.

— Как?.. А, да, конечно! Это, знаете ли, мистер Саксл, знаменитое у нас изречение. Один наш ученый совсем замучился как-то, не мог решить одну головоломную задачу — и вот так выразился: все это, мол, каверзы злой бабы природы. — Полковник не удержался и фыркнул. — Недурно сказано!

Минуту спустя он опять обернулся к сидящим позади.

— У вас прекрасный сын, мистер Саксл, — сказал он. — Все мы его очень высоко ценим.

— Он всегда был хороший мальчик, — начал Бенджамен Саксл —

и умолк, потому что над вершинами деревьев послышалось высокое, напряженное, ноющее жужжанье стремительно приближавшегося самолета. Никто не вымолвил ни слова, пока этот звук, пронесшись над ними, не замер вдали, и тогда Сакслпродолжал: — Прежде над Джорджтауном каждое утро пролетал почтовый самолет. Теперь у них другой маршрут, а прежде он пролетал над нами, и когда Луис был маленький, я всегда к этому часу выходил с ним на веранду. Смешно, что это вдруг вспомнилось, правда? Мы сидели на веранде, и я пел ему одну песенку. Он был тогда совсем малыш. Он смеялся и хлопал в ладоши, когда я пел ему эту песенку и самолет пролетал над нами.

Полковник ничего не сказал, но Дэвид повернулся к старику, минуту смотрел на него, потом спросил:

— Какая же это была песенка, мистер Сакслʔ

— Какая? О, просто глупая песенка. Я сам ее сочинил. Просто глупая песенка.

— Я слышал, Луис иногда напевал одну песенку. Он говорил, что вы ему пели ее когда-то. Про тележку.

— Он вам говорил? Он еще помнит ее? Это так давно было.

— Вы не скажете мне слова?

— Да, — поддержал полковник Хаф, — мне тоже интересно послушать.

Бенджамен Сакслне ответил. Джип потряхивало, рокот мотора бился о стены ущелья. Старик начал тихонько, размеренно покачивать головой — и в такт этому движению, глядя на Дэвида и улыбаясь слабой, застенчивой улыбкой, запел:

Вот едет тележка, вот едет тележка, вот едет тележка зеленщика,
Вот едет тележка, вот едет тележка и нашему Луи что-то везет...

— В этом месте, — сказал он, поворачиваясь к полковнику, чтобы и тот услышал объяснение, — я, бывало, останавливаюсь и жду, а малыш гадает, что везет ему тележка. Он говорил — арбуз, или цветную капусту, или там помидор, или еще что-нибудь. И что он ни скажет, я, бывало, качаю головой и говорю что-нибудь другое — ну, хоть репу, или дыню. Наверно, тысячи раз я пел по утрам эту песенку, да и по вечерам тоже.

Он усмехнулся и, глядя в сторону, на деревья, которые стояли теперь вдоль дороги плотной стеной, тихонько пропел:

Вот едет тележка, вот едет тележка и нашему Луи что-то везет...

9.

Посоветовавшись между собою, Берэн, Моргенштерн, Педерсон и еще кое-кто из врачей решили вызвать в этот день доктора Бийла, потому что вскоре после того, как родные Луиса ушли из больницы, у него появились симптомы тяжелой формы непроходимости кишечника. Это не было неожиданностью, однако никто не предвидел, что это начнется так быстро; в то время, как решено было вызвать доктора Бийла, симптомы эти отмечались только в верхней части брюшной полости, но вскоре распространились на весь живот. Снова началась рвота. Были испробованы клизмы и отсасывание из прямой кишки, но это не помогло. Оставалось только попытаться очистить желудок путем отсасывания через нос; соответствующий аппарат был доставлен в палату и занял свое место рядом с аппаратом для капельного переливания крови, лотками со льдом, осветительной установкой фотографа — со всякой всячиной, которой немало набралось вокруг постели больного.

После отсасывания Луису сразу стало легче. Температура у него не повышалась, пульс и дыхание тоже оставались нормальными. До сих пор ничто не предвещало внезапного кровоизлияния, не было желтухи или каких-либо признаков расстройства функций печени, чего, как и кровоиз-

лияния, особенно опасались врачи. По-прежнему регулярно делали анализ крови, подсчитывали и записывали количество лейкоцитов, но, в сущности, этими данными интересовались лишь мимоходом, никто не придавал им значения. Количество лейкоцитов упало до минимума, и тут никто ничем не мог помочь. В конце дня — к тому времени, когда из Санта-Фе приехала Тереза, — наступило успокоение, как утром, когда Берэн со спутниками отправился прокатиться на машине, только теперь Луис был много слабее.

И как раз поэтому врачи и сестры, все до единого, заметно пали духом. Почти все, что хоть как-то поддавалось их усилиям, что они могли предотвратить или облегчить, уже миновало: предстоят такие стадии болезни, когда они, медики, вынуждены оставаться беспомощными наблюдателями. Если появится желтуха, значит наступило необратимое поражение печени; можно немного помочь больному, но не во власти врачей бороться с причиной желтухи. Если начнется кровотечение, может быть, помогут красители Бригла, а может быть, и не помогут. Ну, а дальше что? А когда (и тут уже никто не говорил и даже не думал «если») температура начнет повышаться, пульс и дыхание участятся, — тогда уже совсем ничего нельзя будет сделать, и только и останется, что чертить кривые. После того, как установлена была доза облучения и резко уменьшилось количество лейкоцитов в крови, время словно замедлило шаг; пока длилось это затишье, далеко не ко всему, что видели глаза, сознавал разум и чуяло сердце, относились с пристальным трезвым вниманием. Но вечером в субботу двадцать пятого мая затишье кончилось. И чуть позже, словно была какая-то связь между тем, что происходило в организме Луиса и в окружающем его мире, температура начала, наконец, медленно, но неуклонно подниматься.

Часа через полтора после того, как Тереза приехала в «Вигвам», Дэвид, Бенджамен Сакс и полковник Хаф вернулись из каньона. И тут им сообщили — это сказал сам Чарли Педерсон, который стоял на больничном крыльце и курил, — что к Луису сейчас нельзя и, возможно, нельзя будет весь вечер. Саксу-отцу он дал какие-то туманные и уклончивые объяснения, но когда тот вместе с полковником направился через дорогу к «Вигваму», Педерсон сказал Дэвиду, что после процедуры, связанной с очисткой желудка, воздух в палате...

— Но без этого нам потом пришлось бы туго. Теперь ему легче, и, возможно, дальше как-нибудь обойдется. Не знаю. Подождем — увидим.

— Его невеста, наверно, уже приехала, — сказал Дэвид. — Мне надо пойти в «Вигвам». Она захочет его видеть.

Педерсон уронил недокуренную сигарету. Дэвид ткнул в нее тростью и погасил.

— Они собирались через месяц пожениться.

Педерсон молчал. Дэвид все растирал тростью остатки сигареты.

— Ну, а если без этого не обойдется, тогда как? Может быть, доктора полагают, что он должен умирать без всякой помощи?

— Нет, — сказал Педерсон. — Если не обойдется, мы постараемся сделать все, что только можно.

— Это надолго, Чарли? — помолчав, спросил Дэвид. Он напряженно всматривался в лицо Педерсона. Многое изменилось с тех пор, как они так же стояли и разговаривали здесь во вторник утром...

— Может быть, еще дня два-три.

Потом Дэвид отправился в «Вигвам» и увел Терезу от Саксов; она хотела тотчас идти в больницу, но ему удалось протянуть около часу. Они пошли в комнатку Луиса и посидели там; походили по улицам; зашли в аптеку и немного подкрепились сэндвичами, потому что ни Тереза, ни Дэвид в этот день не обедали; потом снова бродили по улицам. К кон-

цу этого часа Тереза знала все, что необходимо было знать, включая и срок, который назвал Дэвиду Педерсон.

Нужно пойти в больницу, настаивала Тереза. Если и нельзя видеть Луиса, они, по крайней мере, будут под одной с ним крышей; если нельзя быть в самой больнице, можно постоять у входа; если нельзя сейчас же увидеть Луиса, может быть, это удастся попозже, раз уж они будут там... Она говорила настойчиво и рассудительно, не повышая голоса. Должно быть, надеется на невозможное, на чудо, как надеялся одно время и он, и все вокруг, подумал Дэвид. Что ж, для нее так лучше; у него-то уже не осталось надежды, но вот у Терезы она есть, и это чуть-чуть успокаивает, самую малость, словно еще не все до конца известно и предрешено... Он слишком остро нуждался в этом самообмане, и потому не сразу понял, что обманывает себя и нет у Терезы никакой надежды. Он начал какую-то фразу с «если» — и Тереза сказала горько и гневно:

— Не говорите так! Не заставляйте меня пережить это еще раз!

Она не расспрашивала так настойчиво, как старик Сакел, что же произошло в тот несчастный день. Все ее мысли, все чувства обращены были к Луису, который лежал сейчас там, в палате; она не вспоминала ни те семь лет, за которые они с Луисом виделись всего девять раз, ни тот год, когда они не расставались, и ни слова не говорила о будущем. Она допытывалась, что за доктора лечат Луиса, и какие сестры ухаживают за ним, и о чем разговаривают Луис с Дэвидом, когда Дэвид его навещает, ведь Дэвид часто бывает в больнице. А какие книги Дэвид читал ему вслух, и что Луис при этом говорил? Почти патологическим казалось Дэвиду любопытство, с каким она расспрашивала обо всех проявлениях лучевой болезни и молча, мрачно выслушивала то, что он считал возможным ей рассказать. Но когда он пытался обойти какие-нибудь подробности, или отделаться двумя-тремя словами, или смягчить и сгладить что-нибудь, Тереза тотчас прерывала:

— Дэвид! Вы мне не все говорите! А дальше что было?

И все же кое о чем он ухитрился умолчать.

Горе и отчаяние, часы, проведенные в слезах, ночи без сна и дни впроголодь, и странное чувство, заставлявшее Терезу решительно и неотступно, не упуская ни одной мелочи, расспрашивать о том, как умирает любимый человек, — все это вместе сделало лицо ее подобным прекрасной и недвижной, тонко вылепленной маске. Тени мыслей и чувств почти не отражались на этом загадочном тонком лице, осунувшемся, с обтянутыми скулами. Волосы казались темнее, брови — гуще, глаза — больше и глубже, чем были они на самом деле. Дэвид сбоку украдкой поглядывал на нее, и странные мысли возникали у него. Хотелось тихо коснуться ее лица ладонью, бережно обвести пальцами глубоко запавшие глаза, разгладить уголки рта. Но тут на мгновенье сквозь напряженную, страстную сосредоточенность в лице ее неуловимо проступало что-то бесконечно мягкое и нежное — и вновь исчезало. Обычно она ходила или сидела, чуть наклонив голову, и волнистые пряди темных волос иногда падали на щеки; и Дэвиду хотелось протянуть руку, коснуться этих прядей и отвести их от лица. Но ничего такого он не сделал. Они ходили и разговаривали, и около половины девятого, наконец, пришли в больницу.

Тереза согласилась подождать внизу, пока Дэвид поднимется наверх и поговорит с докторами. Он повел ее в ординаторскую, но дверь была закрыта, за нею слышались голоса. Тогда он отвел Терезу в крохотную комнатку, где он и Висла в четверг сидели над вычислениями, определяя полученную Луисом дозу облучения. Тереза села на стул, а Дэвид пошел на второй этаж. Через две минуты он вернулся.

— Не разрешают. Просят вас подождать до завтра. Я думаю, так будет лучше, Тереза.

Она встала.

— Нет, я должна видеть его. Пусть только издали, но я должна его увидеть.

Дэвид молча смотрел на нее.

— Вы проводите меня туда?

— Тереза, я не могу отвести вас туда без ведома врачей.

— Тогда отведите меня к врачам.

Она поднялась за ним по лестнице; наверху Дэвид показал ей на Педерсона, который разговаривал с Бетси в дальнем конце коридора. У двери палаты расположилась в кресле ночная сиделка.

Педерсон направился к посетителям, за ним последовала Бетси.

— Она спрашивает, нельзя ли ей только взглянуть на Луиса, — начал Дэвид. — Ох, простите. Это Тереза Сэвидж. Она...

— Да, я знаю, — сказал Педерсон. — Но сегодня вечером это неудобно.

Бетси во все глаза смотрела на Терезу; та почти машинально покачала головой.

— Если он спит, я его не потревожу, если не спит, я только покажу ему, что я здесь. Уж конечно, это не повредит... если вы боитесь за него. Если за меня — пожалуйста, не бойтесь.

Бетси посмотрела на Педерсона. Для нее это прозвучало убедительно: очевидно, Тереза вполне владеет собой; правда, она может и потерять самообладание, такая опасность всегда есть. И она снова посмотрела на Терезу. Тереза стояла очень прямо, и невольно Бетси тоже выпрямилась. Сперва, когда она увидела Терезу с другого конца коридора, в ней вспыхнуло недоброе чувство. Незачем объяснять, кто эта женщина, это и так ясно, но напрасно она пришла сюда, наверх; и потом, следовало поскромнее одеться, а на ней все яркое и пестрое... совершенно неуместно, хотя и очень мило... Но сейчас Бетси уже не замечала, как Тереза одета; она посмотрела в лицо ей — и недоброе чувство погасло; она увидела в этом лице много такого, что до нее увидел Дэвид, и ей тоже захотелось сделать что-то, от чего смягчилась бы эта застывшая страдальческая маска; а потом она стала припоминать письмо, так ее взволновавшее, — и от одной мысли об этом письме теперь, когда тут была эта женщина, опять ее сердце сжалось. Ох, не надо ей мешать, думала Бетси. Пусть войдет!

Педерсон посмотрел на Дэвида так, словно ждал от него знака. Но, по правде говоря, лицо Терезы сказало ему куда больше — вполне достаточно... Можно бы просто отослать ее к Берэну или Моргенштерну, мелькнула у него мысль, но, еще не додумав, он заговорил. Да, хорошо, пусть подойдет к двери. Луис почти наверняка спит. Если и не спит, вряд ли он ее узнает. Обычно он лежит, отвернувшись от двери, и ни в коем случае не следует пытаться как-нибудь привлечь его внимание. Ей все ясно?

— Да, — сказала Тереза.

Он пытливо посмотрел ей в лицо.

— Идите за мной, — сказал он и пошел к палате.

Он остановился около ночной сиделки, наклонился к ней и что-то шепнул. Потом неслышно шагнул к двери; она была чуть приотворена. Педерсон открыл ее немного пошире и заглянул в палату. Потом отступил, поманил Терезу и, когда она подошла, вернулся в коридор к Бетси и Дэвиду.

Они следили, как она шла, медленно, неслышными шагами, и остановилась за порогом. Она неподвижно стояла и смотрела, — им показалось, что так прошло очень много времени; потом слегка подалась вперед. Все трое стояли шагах в двадцати от нее — и так, что им виден был только ее профиль. Поэтому никто из них не мог бы сказать, когда на губах ее

появилась улыбка; но чуть погодя все трое увидели, что она улыбается слабой, нежной улыбкой, сбоку почти незаметной. Она все стояла и смотрела, потом поднесла руку к губам и послала в комнату воздушный поцелуй. И еще раз, и еще... и после третьего раза постояла минуту, не опуская руки. Потом стремительно повернулась и пошла по коридору. Глаза ее влажно блестели, но походка была твердая; тень улыбки еще медлила на ее лице, ясно различимая, как явственно слышен голос, доносящийся издалека где-нибудь под открытым небом, но так слабо, что слов не разобрать... а к тому времени, как она подошла к ним, от улыбки не осталось и следа.

Наклонив голову, она сказала Педерсону и Бетси: «Благодарю вас»,— и прошла мимо, к лестнице; Дэвид последовал за ней.

Выйдя из дверей больницы, они обогнули здание с той стороны, где в золотистом свете фонаря лежал пруд, миновали пруд и пошли по длинной улице, вдоль которой высилась стальная ограда Технической зоны. Все здесь было залито мощными лучами прожекторов; у ворот стояли часовые; ярко светились окна зданий; нарастали, стихали, сливались друг с другом шумы каких-то неутомимо работающих механизмов; изредка от здания к зданию переходили люди. Тереза и Дэвид шли по другой стороне улицы, они забрели сюда по чистой случайности. Они шли на запад, и наконец Тереза остановилась против здания казарменного вида с верандой по фасаду; из окон доносились звуки музыкального автомата.

— Что это за дом? — спросила она Дэвида.

— Сервис-клуб, — ответил Дэвид, указывая тростью на вывеску сбоку. — Здешний ночной клуб.

— Нам можно пойти туда?

— Можно, но в субботние вечера там очень шумно. Вам это не помешает?

Тереза сказала, что, пожалуй, не помешает, и они вошли. Ни одного свободного столика не оказалось, и они отошли в сторону и постояли немного. Потом Дэвид направился к стойке возле огромного холодильника и вернулся с двумя бутылками пива. Автомат играл не переставая, но компания человек в десять, расположившаяся в конце комнаты, время от времени затягивала песню, заглушая эту механическую музыку. Было полно народу, приходили все новые и новые посетители, и, допив пиво, Тереза и Дэвид ушли.

Дойдя до «Вигвама», Дэвид сказал, что побудет с Терезой, сколько ей нужно, или сейчас же уйдет — как она скажет. Минуту она молчала; просто стояла и словно в недоумении оглядывалась по сторонам. Дэвид увидел, что она вся дрожит, и она сразу же поняла, что он это заметил.

— О, Дэвид! — вскрикнула она и припала к его плечу.

Она рыдала так, что не устояла бы на ногах, если б он не поддерживал ее; он дал ей выплакаться; а потом они еще долго сидели в темноте на террасе, и Тереза говорила о прошлом и о будущем, в которое она еще недавно не осмеливалась заглянуть.

10.

Чудесный день был воскресенье — ясный, тихий, насквозь пронизанный солнцем. Весна щедрым потоком разлилась по плоскогорьям, по крутым склонам и глубоким ущельям, она была в птичьих песнях и в цветочной дымке, затянувшей луга. Необъятное небо сияло и светилось, и пик Тручас красовался в сверкающем снежном уборе. Как всегда, на улицу высыпали дети, но сегодня, казалось, игры их были шумнее и голоса звонче обычного. К девяти часам в конюшнях не осталось ни одной лошади. К десяти часам стража у главных ворот отметила, что за пределы Лос-Аламоса выехало больше народу, чем когда-либо во весь этот год.

Но еще раньше, чем пустились в путь любители верховой езды, рыбной ловли и загородных прогулок, Тереза вышла из «Вигвама» и, быстро перейдя через дорогу, вошла в больницу. Никем не замеченная, она поднялась на второй этаж. Медленно прошла по коридору к палате Луиса, увидела Бетси, но никто не обратил на нее внимания, пока она не подошла совсем близко. Бетси посмотрела на нее, отвела глаза, снова посмотрела и покачала головой. Врач, которого Тереза еще не видела, отделился от остальных, тесной кучкой стоявших у входа в палату, и указал Терезе на кресло, стоявшее чуть поодаль, возле стола. При этом он не произнес ни слова; остальные переговаривались почти шепотом, — и она тоже не решилась заговорить.

Она просидела так минут пятнадцать. Все, что она видела и слышала, оставалось ей непонятным. Врачи входили в палату и опять выходили. Прошла мимо Бетси, бледная, с застывшим лицом, но тут же повернулась, подошла к Терезе и остановилась перед нею. Тереза встала; Бетси отступила на шаг и молча смотрит на нее. Она как-то странно покачивает головой — это не отрицание, не утверждение или укор, просто голова как-то странно вздрагивает или трясется, будто помимо воли Бетси; губы плотно сжаты, а на лице самые разные чувства, и ни одно не берет верх. Не похоже, что она сейчас заплачет или заговорит — она просто стоит перед Терезой, и голова ее так странно вздрагивает, а в глазах нестерпимая мука. И Тереза опять садится, вся дрожа от того, что она прочитала в этом лице и взгляде. Она вцепилась в ручки кресла и смотрит в одну точку. И пока она сидит так, за дверью, в палате вдруг раздается громкий, резкий голос Луиса:

— Ненависть! Н е н а в и с т ь!

Это начало бреда, он то обрывается, то возобновляется приступами в течение всего воскресенья. Центр урагана промчался мимо, оставив Луиса во власти бури, и она еще страшнее оттого, что тело его истерзано и обессилено и всякому самообладанию пришел конец. Минутами он говорит связно, часами — без всякой связи и смысла; внезапно умолкает, потом бормочет, потом кричит. Едва это началось, Тереза вскочила со своего места и кинулась в палату. Никто не остановил ее. Она подошла к постели и стала рядом, всматриваясь в лицо Луиса, ловя каждое его слово. Она коснулась его ног поверх одеяла и негромко заговорила с ним, но незаметно было, чтобы он ее услышал. Она наклонилась, положила руку на его обнаженную багровую грудь и снова заговорила, и снова он ничем не показал, что слышит ее. Взгляд его остановился на лице Терезы, скользнул мимо, вернулся к ней и опять скользнул в сторону. Так продолжалось несколько минут, потом Берэн мягко взял Терезу за плечо и хотел увести, но она стряхнула его руку. В какое-то мгновенье, когда она, стоя возле Луиса, тихонько поглаживала его колено, он вдруг успокоился и поднял на нее глаза.

— Родная моя, теперь эти дороги заглохли и одичали!

Но прежде, чем она успела ответить хоть слово, он уже опять бредил. Он повторял все, что за два дня перед тем говорил Висле, то связно, то обрывками, и еще о многом он говорил. Но едва ли не так же подробно и с явным удовольствием говорил он о вещах, неизвестных и непонятных никому из присутствующих — о каком-то старом тополе, возле которого ему, видно, очень хотелось побывать, о каком-то Капитане, должно быть, приятеле, о спутниках Юпитера и вихрях Декарта, и о том, что все надо свести в единую систему.

— Это очень хорошо, Капитан, это тебе много даст, — сказал он убежденно.

Пришли родители Луиса и его сестра. Пришел Висла, постоял, по-

слушал мрачно и молча, ушел и снова вернулся. То входил, то выходил Дэвид.

Из необъятных межзвездных пространств, из космических глубин к нам долетают неясные звуки — свист, шипенье, потрескиванье, — с бесконечно далеких, подчас неразличимых в этой дали небесных тел. Нет сомнений, что это — своего рода радиосигналы, возникающие в хаосе материи, невнятные голоса вселенной. Никто еще не открыл в них ничего, что свидетельствовало бы о каком-либо порядке и смысле; это, как кажется, просто звуки, приходящие из неизмеримых далей, они тревожат, словно загадка, и на них не может быть ответа. Почти все, что говорил Луис в тот воскресный день, было подобно этим голосам. Он не раскрыл ни единой тайны, касающейся расщепления атомного ядра.

Под вечер он вдруг совсем успокоился и затих и, немного погодя, спросил, где Тереза. Она как раз прилегла в пустой соседней палате. Она тотчас пришла и опять стала возле кровати, как простояла почти весь этот день. Луис посмотрел на нее и тихо покачал головой. Она снова и снова заговаривала с ним, но он теперь не говорил ни слова. Взглядом она спросила Бетси и врачей, можно ли ей присесть на край постели, и они показали, что можно, ибо это уже не имело значения. И она долго сидела подле него.

Точно обломки крушения, что кружат и кружат среди пены и щепок, подхваченные водоворотом после пронесшейся бури, провели они вместе около часа. Потом Луис незаметно впал в бессознательное состояние. Температура поднялась выше тридцати девяти; и все остальные признаки совпадали с тем, что знали и предвидели врачи.

Коматозное состояние длилось всю ночь на понедельник, весь день, и почти всю следующую ночь. Под утро доктор Бийл перешел из отведенной ему комнаты в небольшое помещение на первом этаже больницы, неподалеку от комнатки, которую до этого превратили в лабораторию доктора Новали; там еще раньше все приготовлено было для вскрытия. Во вторник рано утром Луис умер. Было совсем темно. Солнце еще не успело взойти над бескрайними равнинами на востоке, и вершину пика Тручас нельзя было разглядеть. В окружающем мраке светились только прожектора Технической зоны — там, за высокой стальной оградой, продолжалась секретная работа.

11.

Когда выезжаешь из Санта-Фе, одна из дорог, ведущих на юг, сворачивает к западу, на Альбукерк, другая уходит через пустынную равнину на восток; от нее отделяется ветка к Лэйми — полустанку в двадцати милях от города, ради которого эта ветка проложена. Лэйми — это несколько домишек, несколько сараев и складов, две-три лавки и железнодорожная станция. Станционное здание — кирпичный домик в одну комнату для ожидающих поезда — ничем, кроме надписи на деревянной вывеске, не отличается от десятка других маленьких станций на дорогах, ведущих от Санта-Фе. Лучшее украшение Лэйми — ровная, широкая и длинная платформа, ее совершенство затмевают лишь дизельные электровозы, которые со сдержанным рокотом подкатывают к ней трижды в день — во всяком случае, так бывало прежде,— волоча за собой длинный хвост блестящих металлических вагонов. Когда стоишь на платформе, поезд, идущий с запада, виден еще издали; поезда, уходящие на восток, быстро скрываются среди крутых отрогов хребта Сангре де Кристо, примыкающего с юга к пику Тручас.

В среду, незадолго до полудня, в Лэйми медленно въехала армейская санитарная машина; она миновала дома, склады и магазины и

остановилась у самой станции. По обе стороны маленького станционного здания все было открыто и плоско — ни бугорка, ни деревца; в разных местах стояли три или четыре автомобиля, но на платформе не видно было ни души. Трое солдат, сидевших в передней части санитарной кареты, стали совещаться. Несколько минут машина не трогалась с места, а они все спорили о чем-то. Потом машина медленно двинулась вперед и, подъехав к станции с восточной стороны, остановилась. Солдаты вышли. Один прошел на платформу и внимательно посмотрел сперва направо, потом налево. Другие двое минуту помедлили возле машины, потом достали сигареты, закурили и, не торопясь, направились к домам и лавкам. Жаркие солнечные лучи падали отвесно, и раскаленный воздух дрожал над крышей санитарной кареты.

Около получаса ничто не нарушало знойной тишины и неподвижности. Солдат, оставшийся на станции, время от времени подходил к западному концу платформы и вглядывался вдаль, хотя и с противоположного конца он увидел бы то же самое. Раза два он наведывался в зал ожидания и тотчас выходил, потому что там нечего было делать. Остальное время он стоял у машины, прислонясь к шоферской кабине, и читал газету.

Потом на улице показалась штабная машина. Двое солдат бегом вернулись к санитарной карете. Машина медленно подъехала туда же и остановилась, из нее вышли полковник Хаф и какой-то капитан. И еще одна машина приблизилась к станции — обыкновенный седан; он подъехал к станции с западной стороны, и из него никто не вышел.

Спустя минуту-другую полковник Хаф прошел на платформу и внимательно посмотрел на запад. И словно в ответ, издалека чуть слышно донесся гудок чикагского поезда.

Полковник медленно направился к седану и остановился, не говоря ни слова. Но солдат-водитель тотчас выскочил из кабины. Он распахнул заднюю дверцу, подхватил под руку миссис Сакс и передал ее полковнику; потом помог выйти Либби и, наконец, Терезе. С другой стороны из машины вышел старик Сакс и остановился, мигая, ослепленный ярким солнцем; к нему присоединился Дэвид.

Снова раздался гудок. Солдаты вытащили из багажника чемоданы и перенесли на платформу. Гудок прозвучал в третий раз, и теперь уже ясно слышалось беспокойное бормотание электровоза, замедляющего ход; все смотрели на запад; вагоны блестели на солнце; никто не проронил ни слова; все, кроме солдат, двинулись к краю платформы; солдаты собрались у санитарной машины и стояли в ожидании.

Полковник Хаф полагал, что, заранее все обдумав и действуя строго по плану, можно будет погрузить гроб уже после того, как «семейство» войдет в вагон, и таким образом избегнуть тягостных и скорбных сцен, которые при всех прочих условиях неизбежны. Для этого авторитетные представители военного командования снеслись с правлением железной дороги, для этого специально натаскали и обучили солдат. Согласно этому плану, солдаты, сопровождавшие санитарную карету, не сделали ни шагу, когда поезд остановился. Согласно этому плану, — который, впрочем не всем был понятен и даже не всем известен, — как только поезд остановился, полковник Хаф предпринял целый ряд небольших маневров, словами и жестами побуждая своих подопечных войти в вагон. Но тут Бенджамен Сакс и его жена, и Либби, и Тереза, и Дэвид, и даже капитан, приехавший с Хафом, и еще какие-то люди, оказавшиеся поблизости, и, наконец, сам полковник Хаф — все обернулись к санитарной машине и молча стояли и ждали.

Но солдаты, натасканные в соответствии с определенным планом и обученные поступать только так, как приказано, тоже ждали. И поезд стоял и ждал. Под палящими лучами солнца на станции снова воцари-

лась тишина и неподвижность. Кто мог предвидеть такую нелепость? — в отчаянии думал полковник Хаф. — И как, черт его дери, получилась такая дурацкая неразбериха?

Наконец, с истинно военной находчивостью и выдержкой, полковник зашагал через всю платформу к санитарной карете и что-то негромко сказал солдатам. Они тотчас отворили дверцы. Рядом стояла багажная тележка, и один из солдат хотел придвинуть ее поудобнее. Но полковник, покачав головой, остановил его. Кроме солдат, сопровождавших санитарную карету, здесь были еще два водителя, итого пятеро. Что же, он, полковник Хаф, будет шестым. Общими силами они извлекли гроб из кареты и медленно, мерно шагая, перенесли его на платформу и дальше, к багажному вагону.

Когда полковник вернулся к задним вагонам, отъезжающие уже вошли в купе. Теперь уже капитан взял на себя обязанности пастыря — ему предстояло нести их до самого конца путешествия. Дэвид одиноко стоял на платформе: видно было, что мысли его далеко, глаза влажно блестели. Теперь они стояли вдвоем и смотрели, как поезд тронулся, как он набирал скорость, а потом, описав широкую дугу, устремился к последней горной гряде, за которой распахнутся перед ним бескрайние равнины, уходящие на восток.

— Поедете со мной, Дэви? — спросил, наконец, полковник.

— Если не возражаете, я, пожалуй, предпочел бы закрытую машину.

Полковник кивнул.

— Ладно, дружище, — сказал он, крепко сжал руку Дэвида повыше локтя, потом похлопал его по спине. Они вдвоем перешли платформу, и каждый направился к своей машине.

— Хотите поглядеть газеты, доктор? — спросил Дэвида солдат-водитель, когда они отъехали несколько миль от станции.

— Да, конечно, — отозвался Дэвид. — Дайте я посмотрю.

Солдат протянул ему газету, и несколько минут Дэвид смотрел на нее, не видя. Газета была сложена так, что первым ему на глаза попался отдел спорта, и он рассеянно просмотрел заметку-другую. Потом опустил газету и некоторое время смотрел в окно. Потом опять взялся за газету и развернул первую страницу.

Тут на видном месте напечатано было сообщение о несчастном случае в Лос-Аламосе, заголовок гласил: Смерть ученого, работавшего над атомной бомбой; шестеро спасены. Характер несчастного случая объяснялся вполне вразумительно; производился некий опыт, во время которого внезапно и с большой силой началась радиация; опыт этот чрезвычайно важен для усовершенствования атомной бомбы, хотя подробности, разумеется, огласке не подлежат. Основная часть сообщения посвящена была геройству молодого ученого, который разбросал подопытные материалы и тем самым — как выяснилось впоследствии, ценою собственной жизни — спас жизнь своим коллегам.

Дэвид снова отложил газету и стал смотреть в окно. Они уже миновали Санта-Фе, одолели долгий некрутой подъем, которым начинается дорога, ведущая на север, и въехали в узкую долину. Здесь почти нет признаков жизни, лишь изредка мелькнет птица-подорожник, да кое-где растут чахлые деревца, бурые, едва подернутые зеленью. По обе стороны тянулись горные цепи — и Дэвид снова почувствовал, как часто бывало, когда он проезжал здесь, что какая-то тяжесть наваливается на него, какая-то сила теснит и направляет его в узкое русло — и уже никуда не вырваться, не податься в сторону тому, кто ступил на эту дорогу на древней земле.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Луиджи Пиранделло

ДОБРАЯ ДУША

Перевод с итальянского Л. Вершинина

НОВЕЛЛА

Еще в первый день помолвки Бартолино Фьёренцо услышал от своей будущей жены:

— Настоящее мое имя — Каролина. Но «добрая душа» звал меня просто Линой. Так это имя и осталось за мной,— «добрая душа», он же Козимо Таддей, был ее первым мужем.— Вот он,— и Лина показала на портрет мужчины, который, приподняв шляпу, приветливо и непринужденно улыбался.

Портрет покойного мужа Лины (моментальный снимок, увеличенный в несколько раз) висел на стене; и Бартолино, сидевший на оттоманке как раз напротив, непроизвольно наклонил голову, как бы отвечая на его приветствие. Лине Сарулли, с недавних пор вдове Таддей, даже в голову не пришло убрать из гостиной этот портрет — изображение хозяина дома. Ведь раньше дом принадлежал «доброй душе»; он сам спроектировал и обставил его с таким вкусом и изяществом, а умирая, завещал вместе со всей обстановкой Лине. Не замечая растерянности своего нареченного, синьора Сарулли продолжала рассказывать:

— Я не хотела менять имя. Но «добрая душа» сказал мне: «Право же, лучше, если я буду звать тебя не Каролина, а кара* Лина. Звучит почти одинаково, но зато насколько нежнее». Ну как, не плохо?

— Отлично, да, да, отлично! — ответил Бартолино, словно «добрая душа» именно у него спрашивал совета.

— Значит, кара Лина, договорились? — с улыбкой заключила она.

— Договорились... да, да... договорились,— сгорая от стыда, растерянно бормотал Бартолино. Ему казалось, что «добрая душа» насмешливо приветствует его со стены.

Когда три месяца спустя супруги Фьёренцо предприняли свадебное путешествие в Рим, на станции собрались многочисленные друзья и родственники.

— Бедный мальчик, какая она ему жена! По-моему, ей куда больше подходит роль мужа! — объясняла своему супругу Ортензия Мотта, давняя приятельница семьи Фьёренцо и близкая подруга Лины Сарулли.

Не думайте, однако, что Ортензия Мотта хотела этим сказать, будто Лина Сарулли, по первому браку Лина Таддей, ныне Лина Фьёренцо, больше походила на мужчину, чем на женщину. В этой Каролине было даже слишком много женственности. Одно только несомненно. Она куда опытнее Бартолино.

* Здесь игра слов: по-итальянски саго, сага означает дорогой, дорогая.

— Ах, какой он все-таки чудной, этот Бартолино, — толстенький, лысый, румяный, а лицо словно у любопытного мальчугана. Да и лысина у него какая-то странная; будто он нарочно выбрил макушку головы, чтобы не выглядеть таким мальчишкой. Но это ему не помогло, бедняге.

— Как бедняге! Почему бедняге?! — недовольно промычал в нос старый Мотта, муж молоденькой Ортензии. Он, можно сказать, сам устроил женитьбу Бартолино, и ему неприятно было слышать причитания жены.— Бартолино не какой-нибудь глупец или бездарность, он знающий химик.

— О да, просто первоклассный! — усмехнулась Ортензия.

— Первоклассне́йший! — отпарировал ее супруг.— Фьёренцо выдающийся химик, и если бы он пожелал напечатать и послать на конкурс свои глубокие, оригинальные исследования, то наверняка был бы избран профессором любого из лучших наших университетов. До сих пор химия была его единственной страстью. Он настоящий ученый. И мужем Бартолино тоже будет примерным — ведь он невинен и чист сердцем!

— Тут ты, конечно, прав...— согласилась Ортензия, как бы говоря: «Уж что-что, но невинен он действительно сверх меры».

Прежде, еще до того как Бартолино обручился с Линой Сарулли, всякий раз, когда муж затевал разговор с дядей Фьёренцо, синьором Ансельмо, о том, что надо «женить» этого большого ребенка, Ортензия начинала громко и язвительно хохотать.

— Да, да, женить, его непременно надо женить! — оборотившись к ней лицом, рассерженно говорил старый Мотта.

— Жените его на здоровье, мои дорогие! — отвечала она, разом успокаиваясь.— Я и смеюсь-то совсем не над вашими «прожектами», просто мне попалась веселая книга.

И верно, пока супруг играл очередную партию в шахматы с синьором Ансельмо, Ортензия Мотта читала старой, разбитой параличом госпоже Фьёренцо, уже с полгода прикованной к креслу, какой-нибудь французский роман.

Что и говорить, веселые это были вечера! Бартолино сиднем сидит в своей химической лаборатории, его старая больная мать, не понимая ни единой строчки, делала вид, будто слушает чтение, в углу еще два старика были поглощены игрой в шахматы. «Женить» Бартолино было просто необходимо, тогда в доме стало бы хоть немного веселее. Вот они его и «оженили», бедного мальчика!

Ортензия думала сейчас о свадебном путешествии супругов Фьёренцо и молча улыбалась, живо представив себе Лину наедине с этим полысевшим неопытным мальчиком, чистосердечным и простодушным, как говорил ее супруг. Ведь Лина целых четыре года прожила с инженером Таддей, таким веселым, жизнерадостным. Вот кто действительно был опытен и смел... пожалуй, даже слишком смел. Быть может, Лина уже успела заметить разницу между ее первым и вторым мужем.

Перед отходом поезда Ансельмо сказал своей новой родственнице: «Лина, поручаю тебе Бартолино. Покажи ему...» — Рим — хотел добавить дядюшка. Ведь Бартолино никогда там не был!

Лина же, разумеется, отлично знала этот город по первому своему свадебному путешествию с «доброй душой». Ей до мельчайших подробностей запомнилась та, первая, поездка. Она не забыла ни одного, даже самого пустякового случая, точно это происходило не шесть лет, а шесть месяцев назад. Сейчас ей и Бартолино казалось, что они едут уже целую вечность: занавески, и то не догадался задернуть. Едва только поезд прибыл в Рим, Лина сказала мужу:

— Теперь предоставь все мне, прошу тебя!

Вошел носильщик.

— Так, три чемодана, две картонки, нет, три картонки и саквояж, еще один саквояж, вон ту сумку и эту тоже. Ничего не забыли? Нет! В отель «Виктория», — приказывала она.

Выйдя с вещами на площадь, Лина сразу же узнала знакомого кучера и подозвала его. Когда они уселись в фиакр, Лина сказала мужу:

— Увидишь, гостиница хоть и не роскошная, но очень удобная. Цены умеренные, обслуживают там хорошо и даже центральное отопление есть. «Добрая душа»,— Лина невольно все время вспоминала его,— остался очень доволен этой гостиницей. И Бартолино в «Виктории» будет совсем неплохо. Ах, бедняжка, он еле дышит. Растерялся? — участливо спросила Лина. —В первый раз и я тоже растерялась. Вот увидишь, Рим тебе понравится. Смотри, смотри, вон Пьяцца делле Терме... Термы Диоклетиана*... церковь Санта-Мария дельи Анджели, а вот это... да повернись же скорее, виа Национале... Мы потом придем сюда погулять...

В гостинице Лина сразу почувствовала себя как дома. Ей очень хотелось, чтобы кто-нибудь узнал ее, а уж она узнала здесь почти всю прислугу. Вот этого старого коридорного, например, зовут... Пиппо... не так ли? Ну конечно, прошло шесть лет, но она его не забыла.

— Какой нам дали номер? — спросила Лина.

— Двенадцатый, на втором этаже. Просторный, красивый, с удобным альковом. — Но Лина спросила у старого коридорного:

— А как насчет девятнадцатого номера на третьем этаже? Узнайте, Пиппо, свободен ли он?

— Сию минуту,— с поклоном ответил коридорный.

— Он гораздо удобнее,— объяснила Лина мужу.— Возле спальни там есть еще крохотная маленькая комнатушка, в этом номере не так слышен шум с улицы, да и воздуху больше. С «доброй душой» случилось то же самое,— вспоминала Лина.— Сначала нам отвели номер на втором этаже, но потом муж сменил его.

Вскоре вернулся коридорный и сказал, что девятнадцатый номер свободен и господа могут занять его, если желают.

— Конечно! Конечно! — поспешно ответила Лина, восторженно хлопая в ладоши.

Едва войдя в номер, она с радостью убедилась, что там ничего не изменилось: те же обои на стенах, в том же порядке расставлена мебель. Бартолино оставался равнодушным и не разделял всех восторгов жены.

— Тебе не нравится здесь? — спросила Лина, развязывая перед зеркалом шляпку.

— Нет... тут хорошо,— пробормотал Бартолино.

— Взгляни-ка! Вот этой картинки, я вижу ее отражение в зеркале, здесь раньше не было. На этом месте висела японская тарелочка. Ее, видимо, разбили. Ну, говори же, тебе не нравится этот номер? Нет, нет! Никаких поцелуев... Сначала умойся. Умывальник вот здесь, а я пойду в свою комнату... Прощай! — И она упорхнула, счастливая и радостная.

Бартолино Фьёренцо смущенно оглядывался вокруг. Потом подошел к алькову, поднял занавеску и увидел широкую постель. Должно быть, как раз на ней его жена провела с инженером Таддей свою первую ночь в Риме.

Бартолино отчетливо представил себе портрет Козимо, висящий в гостиной, и ему показалось, что «добрая душа» снова приветствует его.

Все время, пока длилось их свадебное путешествие, Лина не только ложилась в эту же самую постель, но и обедала и ужинала в тех же ресторанах, куда прежде ее водил первый муж, «добрая душа». Лина безошибочно, точно собачка, находила те самые улицы, где раньше она гуляла

* Термы — общественные бани в древнем Риме.

с Козимо. Они осматривали те же развалины, музеи, церкви, галереи, сады, которые «добрая душа» показывал жене.

В первые дни Бартолино совсем растерялся. Он не решался открыть жене, что это полное подчинение во всем вкусам, советам, опыту «доброй души» все сильнее угнетает и унижает его. Но Лина поступала так без всякого злого умысла. Она ничего не замечала, да и не могла заметить. В восемнадцать лет ее, неопытную, не знавшую жизни девушку, взял к себе в дом Козимо Таддей. Он воспитал ее, привил ей свои взгляды и привычки. Словом, Лина была его творением, все, буквально все она узнала от своего первого мужа. И теперь она на все смотрела его глазами, говорила и рассуждала в точности, как покойный муж Козимо Таддей. Почему же она тогда опять вышла замуж? Да потому, что Козимо успел внушить ей ту простую истину, что слезами горю не поможешь. Мертвые не воскресают, а жизнь берет свое. Если б умерла она, Козимо наверняка женился бы во второй раз, и поэтому... Поэтому Бартолино должен поступать так же, как она, и, значит, так же, как сам Козимо Таддей, который был ее единственным учителем и наставником. Не надо ни о чем думать и не надо огорчаться. Нужно, пока не поздно, смеяться и веселиться. Нет, Лина вела себя именно так, без всякого злого умысла. Все это понятно, конечно, но неужели... он ни разу не вправе поцеловать или приласкать ее иначе, чем тот, другой? Неужели сам он не в состоянии вызвать в ней какие-то другие чувства, пусть хоть частично освободить ее из-под незримой власти мертвеца? Бартолино Фьёренцо лихорадочно старался придумать, как бы это понежнее, по-своему, приласкать жену. Однако ему мешала робость. Вернее, про себя он многое придумал. Но стоило только жене, взглянув на его внезапно покрасневшее лицо, спросить: «Что с тобой?»— как его сразу охватывала робость.

— Со мной? — переспрашивал он и, право же, выглядел при этом весьма глупо.

Когда они вернулись из свадебного путешествия, их ждала печальная весть: Мотта, главный виновник их брака, внезапно скончался.

В свое время, когда умер Таддей, Ортензия ухаживала за Линой, как за родной сестрой. Теперь Лина не замедлила прийти на помощь подруге. Впрочем, Лина не думала, что утешить ее будет таким уж трудным делом. Откровенно говоря, Ортензия не должна особенно отчаиваться. Конечно, бедный Мотта был хоть и сухарь, но хороший человек. Однако он был намного старше ее. Вот почему, когда Лина нашла подругу в безутешном горе через целых десять дней после несчастья, она долго не могла объяснить себе этого. «Наверно, у нее теперь, после смерти мужа, неважно с деньгами»,— решила Лина. И она осторожно осведомилась у подруги, не надо ли ей помочь.

— Нет, нет! — поспешно отказалась Ортензия, вся в слезах.— Но... понимаешь...

Значит, Ортензия всерьез горевала о муже. Этого Лина Фьёренцо никак не могла понять. И она решила поделиться своими сомнениями с мужем.

— Ах! — пожимая плечами, воскликнул Бартолино. От стыда он покраснел, как рак; его разумная и рассудительная жена не может понять такой простой вещи: — Все-таки... у нее умер муж...

— Теперь понятно! Муж! — воскликнула Лина.— Да он ей в отцы годился!

— А разве этого мало?

— Так он Ортензии и отцом-то не был!

Лина была права. Ортензия слишком много плакала.

Хотя со дня женитьбы Бартолино прошло только три месяца, Ортензия успела заметить, что бедного мальчика очень смущает тот восторг, с каким его молодая жена рассказывает о первом муже. Еще до женитьбы Бартолино удивляло, что Лина непрерывно, ежечасно, точно о живом, вспоминает о «доброй душе» и в то же время решилась вторично выйти замуж. Дома он поделился своим недоумением с дядюшкой Ансельмом. Однако тот постарался разубедить племянника. Он доказывал ему, что это говорит лишь об искренности его невесты и Бартолино не должен на нее обижаться. Ведь раз Лина решила снова выйти замуж, значит она хоть и не забыла о Козимо Таддей, но память о нем уже не хранит глубоко в сердце. Поэтому она и с ним, с Бартолино, может безбоязненно говорить о покойном муже. Рассуждения дяди не очень-то убедили Бартолино, и Ортензия это отлично знала. Она могла даже с уверенностью предположить, что после свадебного путешествия странная искренность жены должна была обеспокоить его еще сильнее. И когда супруги Фьеренцо пришли выразить ей свое соболезнование, Ортензия решила показать Бартолино, как безутешно ее горе.

Горе вдовы Мотта произвело на Бартолино такое сильное впечатление, что он впервые решился возразить жене, не желавшей верить в искренность ее страданий.

— А ты разве не плакала, когда умер твой...— с пылающим лицом сказал он жене.

— При чем здесь я! — прервала его Лина. — Во-первых, «добрая душа» был...

— Еще совсем молодым, — поспешно докончил Бартолино за жену.

— И потом я плакала,— продолжала Лина,— право же, плакала.

— Не очень долго? — рискнул спросить Бартолино.

— Очень, очень... Но под конец я взялась за ум. Верь мне, Бартолино, уж слишком сильно она убивается.

Однако Бартолино не хотел этому верить: слова жены вызвали в нем лишь еще большее раздражение, впрочем не столько против самой Лины, сколько против покойного Козимо Таддей. Теперь Бартолино ясно понял, что первый муж внушил ей и свои суждения, и свои взгляды на жизнь. Собственных суждений у нее не было. «Этот человек был, верно, большим циником, — думал Бартолино.—Разве «добрая душа» не подмигивал ему каждый раз, когда он входил в гостиную?»

Ах, видеть его портрет стало для Бартолино невыносимой пыткой; он все время торчал перед глазами. Стоило Бартолино войти в кабинет — и вот уже вездесущий Козимо Таддей улыбается и приветствует его, как бы говоря: «Входите! Входите, не стесняйтесь! Раньше тут был мой кабинет. Вам это известно? Теперь вы оборудовали здесь свою химическую лабораторию! Не так ли? Не плохая работка! Что ж, мертвые не воскресают, а жизнь берет свое».

Входил ли он в спальню — Козимо Таддей и тут не оставлял его, хихикая, он приветствовал Бартолино.— Добро пожаловать! Будьте как дома. Покойной ночи. Ну как, довольны вы моей женой? А... я ее недурно обучил. Что ж, мертвые не воскресают, а жизнь берет свое.

Нет, Бартолино не мог больше этого переносить! А в жене, и в самом деле, — все, буквально все напоминало ему об этом человеке. Прежде такой спокойный, Бартолино стал теперь нервным, возбужденным, хотя и пытался всячески скрыть свое возбуждение.

В конце концов, чтобы заставить жену изменить своим привычкам, он начал вести себя самым странным образом. Но на его несчастье все привычки Лина приобрела, уже став вдовой. Козимо Таддей был человеком самого веселого нрава. Никаких привычек он не имел, да и не желал

иметь. Поэтому при первых же своих чудачествах Бартолино услышал от жены:

— О, Бартолино, да ты стал таким же, как «добрая душа»!

И все-таки Бартолино не хотел признать себя побежденным. Наперекор желанию, почти насильно он изобретал все новые и новые чудачества. Но что бы он ни делал, Лине казалось, будто тот, другой, поступал точно так же. Бартолино совсем пал духом, тем более, что Лине начали даже нравиться его выходки. Ей казалось, наверное, что теперь она снова живет с «доброй душой».

И тогда, желая дать выход растущему с каждым днем раздражению, он решил проучить жену.

Вообще-то, больше чем изменить Лине, Бартолино мечтал отомстить тому, кто сумел всю ее, целиком, подчинить себе, и вот до сих пор держит в своей власти. Бартолино воображал, что мысль об измене пришла ему внезапно. На самом же деле она была ему незаметно внушена и подсказана Ортензией, которая, еще когда Бартолино был холостяком, безуспешно пыталась всяческими уловками оторвать его от чрезмерного увлечения химией. Наконец-то Ортензия Мотта смогла взять реванш. Она сделала вид, будто ей было очень неприятно обмануть подругу. Но Ортензия намекнула Бартолино, что, когда он еще не был женат, она... Словом, все случившееся было неизбежным. Бартолино не очень-то ясно понял, почему это было неизбежным. Но его, как искреннего, наивного человека, разочаровала, почти оскорбила та легкость, с какой он добился своей цели. Он сидел один в комнате старого добряка Мотта и мучился угрызениями совести. Случайно его взгляд упал на какой-то блестящий предмет, лежавший на коврике возле кровати. Это был золотой медальон с цепочкой. Должно быть, Ортензия уронила его, когда вставала с постели. Бартолино поднял медальон и стал ждать. Нервно теребя его в руках, Бартолино нечаянно открыл крышку... Открыл и остолбенел. Внутри лежал миниатюрный портрет Козимо Таддей. «Добрая душа» смотрел на него и приветливо улыбался.

«НЕМЕЦКИЕ НАРОДНЫЕ БАЛЛАДЫ» *Рис. Е. Бургункера*

Переводы Льва Гинзбурга

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Старинные немецкие баллады, которые теперь впервые переводятся на русский язык, возникли в Германии пять столетий назад. Они — дети немецкого Возрождения, современницы Дюрера и Кранаха, народной книги об Уленшпигеле и стихов Ганса Сакса. Их авторы остались неизвестными. Вероятно, это были бродячие школяры, студенты, пастухи, подмастерья. После отвлеченной и холодноватой поэзии мейстерзингеров народная лирика смело заговорила о простых человеческих чувствах, о горе и радостях любви, о красоте труда, извечных поисках правды и о царящей на земле ужасающей несправедливости. Появление этих баллад означало новую эру в немецкой литературе. Это была поэзия нового времени, в котором пережитки средневековья удивительно сочетались с пробуждением разума, жаждой знания, массовыми народными движениями.

Безыменные авторы баллад хорошо знали жизнь, и по их произведениям можно составить примерную биографию века. В наивных, подчас неуклюжих строфах они рассказывали о разбойниках-феодалах, промышляющих грабежами на больших дорогах, о девушках, обесчещенных бессовестными рыцарями, о туповатых бургомистрах и смышленых мужиках, о чернокнижниках, вступивших в сделку с дьяволом ради сомнительных наслаждений, и о верных крестьянских невестах, готовых во имя любви выйти на смертный поединок с самим графом. В таких балладах звучали грозные отголоски больших событий: близилась Великая Крестьянская война, в ряде мест вспыхивали восстания, и крепкие мужицкие руки уже поднимали над возбужденными толпами «знамя Башмака».

Однако новое время сказывалось не только и не столько в отражаемых конкретных событиях и фактах, сколько в том мироощущении, которым проникнуты эти баллады. Впервые простой человек поверил в свои возможности, в самого себя, ощутил свое человеческое достоинство. Поэтому народные баллады и песни отли-

чаются необыкновенной полнотой чувства, масштабностью и оптимизмом, органически свойственным народному мышлению. В раздробленной, разоренной стране, терзаемой междоусобными войнами и раздорами феодалов, в стране, одурачиваемой проповедями святош и лицемеров, народ слагал веселые песни о вине и любви, о весне, которая неизбежно победит лютую зиму со всеми ее снегами и вьюгами, создал трогательную притчу о двух королевских детях, беззаветно любивших друг друга.

Баллады и песни XV—XVI вв.— своего рода первоисточники немецкой поэзии: они питали всю немецкую романтику, и не только ее. Через все немецкое искусство проходит образ крысолова из Гамельна. Шуточные мужицкие «песни-споры» через два-три столетия отозвались в творчестве молодого Шиллера, так же как легенда о русалке Лорелей нашла свое наивысшее воплощение в стихах Гейне. Услышав однажды ночью в соседней комнате провинциальной гостиницы песенку о девушке, с которой беседует ее мертвый жених, Бюргер создал свою знаменитую «Ленору». Но дело, конечно, не только в сюжетных заимствованиях. В народных балладах мы узнаем внутреннюю мелодию, ритмы, дыхание великой поэзии Гете, Шиллера, Гейне, Шамиссо.

Может быть, в не многих странах с такой тщательностью записаны, собраны, классифицированы, обработаны и исследованы произведения фольклора, как в Германии. Имеются многочисленные сборники народных баллад, составленные Уландом, Бенцманом, Авенариусом, Рохусом фон Лилиенкроном. Но лучшим, на мой взгляд, собранием является «Волшебный рог мальчика» — книга, изданная в начале XIX века поэтами-романтиками Арнимом и Брентано. Творческий подвиг этих поэтов трудно переоценить: около тысячи баллад собрали они, «перевели» на современный им немецкий язык и сделали достоянием самых широких читательских кругов. Правда, Арним и Брентано не отличались прогрессивностью мировоззрения. В их книге, наряду с подлинно народными произведениями, есть и явные подделки: некоторые баллады, направленные против церковников и феодалов, смягчены, иным придан националистический характер, а так называемые «Детские песни» раздражают своим мещанским привкусом, ханжеством и сентиментальной слащавостью. И все же мало найдется книг, в которых собрано столько поэтических шедевров, созданных самим народом!

Около года назад мне довелось побывать на родине многих немецких баллад — в Западной Германии, из жизни которой, казалось, ушло романтическое содержание. Во время поездки я поделился своими впечатлениями с корреспондентом газеты «Ди вельт» г-ном Шеве. В своей заметке «Такими нас видели русские» г-н Шеве написал о нашем разговоре: «Московский переводчик надеялся найти здесь страну романтики, какой она представлялась ему по литературным созданиям Гейне, Арнима, Брентано. Он полагал, что встретит народ, в котором даже самый обыкновенный человек постоянно помнит о Шиллере и Гете... Между Майном и Неккаром русские нашли то, что они называют «немецкой романтикой». Но велико было их разочарование, когда они убедились в том, что это уже не сегодняшняя, а вчерашняя Германия».

Все же господин Шеве поспешил с выводами. «Романтика», или, иначе говоря, поэзия, существует, как ни стараются ее вытравить из жизни, оглушить ревом машин и барабанным боем реваншистов. Я встретил ее в тех же городках на Рейне, на Майне и на Неккаре, где люди и сегодня припадали к волшебному рогу мальчика. Там, где-то в Ротенбурге или в Динкельсбюле, я вновь услышал древние предания о вине, победившем меч, о любви, преодолевшей смерть, и новую песню о крысолове-вербовщике, которому на этот раз не удастся загубить немецких детей.

И слушая эти стихи, я еще и еще раз понял всю великую правоту прекрасной и вечной формулы «Народ бессмертен».

Устная баллада

«Кто там в плаще гуляет пестром,
Сверля прохожих взглядом острым,
На черной дудочке свистя?..
Господь, спаси мое дитя!»

Большая в Гамельне тревога.
Крыс развелось там — страсть как много.
Уже в домах не счесть утрат,
Перепугался магистрат.

И вдруг волшебник — плут отпетый —
Явился, в пестрый плащ одетый,
На дивной дудке марш сыграл
И прямо в Везер крыс согнал.

Закончив труд, у магистрата
Волшебник требует оплаты,
А те юлят и так и сяк:
«За что ж платить-то? За пустяк?

Велик ли труд игра на дудке?
Не колдовские ль это шутки?
Ступай-ка прочь без лишних слов!»
И хлопнул дверью крысолов.

Меж тем, от крыс освобожденный,
Ликует город возрожденный.
В соборах — господу хвала! —
Весь день гудят колокола.

Пир — взрослым, детворе — забава.
Но вдруг у северной заставы
Вновь появился чудодей,
Сыграл на дудочке своей —

И в тот же миг на звуки эти
Из всех домов сбежались дети,
И незнакомец, всей гурьбой,
Повел их в Везер за собой.

Никто не видел их отныне,
Навек исчезнувших в пучине.
Рыдайте, матери, отцы —
Не возвратятся мертвецы.

Тела детей волна качает.
Кричи! — поток не отвечает.
Река бежит, вода течет.
Какой ценой оплачен счет!..

«Всем эту быль запомнить надо,
Чтоб уберечь детей от яда.
Людская жадность — вот он, яд,
Сгубивший гамельнских ребят».

Слыхал я недавно поверье одно —
Рассказец про воду и про вино,
Как оба, друг с другом в ссоре,
Вечно бранятся, споря.

Как-то сказало воде вино:
— Во все я страны завезено!
В любом кабачке и таверне
Пьют меня ежевечерне!

Вода говорит: — Замолчи, вино!
Со мной не сравнишься ты все равно!
Я мельницу в ход пускаю —
Знать, сила во мне такая.

Но отвечает воде вино:
— Едва лишь в стакане увидят дно —
И каждый мне благодарен,
Пастух или важный барин.

Вода говорит: — Не кичись, вино!
Хозяйственных дел у меня полно.
Стирают во мне и для варки
Меня потребляют кухарки.

Но отвечает воде вино:
— Мне в битве бойцам помогать дано!
Губами приложатся к фляге —
И снова берутся за шпаги.

Вода говорит: — А скажи, вино,
Кто в банях людей услаждает умно?
Красавицам пылким желанны
Мои прохладные ванны.

И отвечает воде вино:
— С самим бургомистром дружу я давно!
Со мной он проводит все ночки
Там, в Бремене, в погребочке.

Вода говорит: — Подожди, вино!
А кто из насоса влетает в окно,
Когда ненасытное пламя
Уже завладело полами?

И отвечает воде вино:
— А я с докторами во всем заодно!
Недаром у нас медицина
Лекарства разводит in vino.

Вода говорит: — Я не спорю, но
В кунсткамере я, а не ты, вино,
Теку из русалочьих глазок,
На радость любителям сказок.

И отвечает воде вино:
— В дни коронаций заведено,
Чтоб я из фонтанов било
И людно на улицах было.

Вода говорит: — Посмотри, вино,
На море. Наполнено мной оно.
Больших кораблей караваны
Мои бороздят океаны!..

И отвечает воде вино:
— А я в винограде заключено.
Нежнейшие ручки, бывает,
В саду меня с веток срывают.

Вода говорит: — Но ответь, вино,
Кем все цветущее вспоено?
Без влаги сады бы увяли
И ты б появилось едва ли.

И так сказало вино тогда:
— Что ж, подчиняюсь тебе, вода,
Но только меня не трогай,
Иди-ка своей дорогой.

Вода говорит: — Берегись, мой друг!..
Но тут явился трактирщик вдруг
И для умноженья дохода
Смешал и вино, и воду.

Записано в 1806 г

Как подойдет святой Матвей,
Листва осыплется с ветвей,
В полях задует ветер, лют.
Остерегайся, бедный люд!
Спустилось солнышко в овраг.
В страну идет старинный враг,
Ведет бесчисленную рать
И всех готовится сожрать!
Уже он бросил в первый бой
Холодный дождь и ветер злой,
И под пол прячутся скорей
Картофель, репа, сельдерей.
Дрожит озябшая лоза.
В испуге вылупив глаза,
Глядят вокруг — сбежать куда бы? —
Лягушки, ящерицы, жабы.
Да! Враг идет со всех сторон.
Отважных птиц он гонит вон,
От взбудораженной земли
Летят подальше журавли.

Враг близко! Рядом! У ворот!
Но не теряется народ.
В домах, готовясь к бранной встрече,
Вставляют стекла, чинят печи,
Несут мешки, бочонки катят,
Двойные двери конопатят.
Держитесь, братцы, не робейте!
Пуховики, перины взбейте!
Не спите около окон!
Война диктует свой закон:
Нельзя судачить на крылечке,
Запрещено купаться в речке
И (ни открыто, ни тайком)
По саду бегать босиком.
Должны быть спрятаны в кладовке
Все ваши летние обновки,
Платки и кофточки из ситца
Не могут до поры носиться.
Штаны и шляпы под запретом,
В которых вы ходили летом.

Враг у ворот! Готовьте сани!
Уже везут дрова крестьяне,
И уголь угольщик везет,
Чтоб нас избавить от невзгод.

И вот в село вступает враг.
Он развернул свой снежный флаг,
Овладевая рубежом,
Он режет ветром как ножом,
Леса и реки в плен берет.
Но тут озлобился народ:

— Плевать на то, что ты суров!
В хлева упрячем мы коров,
Наденем боевые латы
Из меха, войлока и ваты.
Держись! Ногами будем топать,
Тереть носы, руками хлопать,
Не убоимся ничего.
А ну, посмотрим кто—кого?

И тут же армия врага
На нас обрушила снега.
Река — под ледяною кровлей.
Как быть отныне с рыбной ловлей?
Но мы, злодею на беду,
Прорубим проруби во льду!
Пусть враг забрал у нас коляски —
У нас есть сани да салазки!

Но враг войну ведет всерьез.
Он шлет на мельницу мороз.
Вот нам и черный понедельник!
Да не робеет старый мельник.
Врага, с отвагою знаком,

Он поливает кипятком,
Лопатой бьет, огнем стращает —
И вновь колеса вал вращают.
А между тем, из всех избушек
Дым вылетает, как из пушек;
Огонь! — и мы печам в нутро
Суем полено, как ядро.

Закрыты наглухо все двери.
Но есть, конечно, и потери:
Кому-то бешеный мороз
Отменно разукрасил нос,
Другой — метелицей контужен,
А третий кашляет: простужен.

Беда! Но вот в конце концов
Мы за весной пошлем гонцов.
Весна придет — свершится чудо.
О, как морозу будет худо,
Когда через недолгий срок
Подует вешний ветерок,
Вернет тепло родным просторам
И станет враг худым и хворым.
Тогда сквозь все пробьются дыры
Приметы радости и мира:
Травинка, стебель, ландыш хрупкий —
Мороз согласен на уступки,
Но солнце огненным лучом
Пронзит злодея, как мечом!
Все встрепенется, оживится,
Из дальних стран вернутся птицы,
Проснутся нивы и луга,
Освободившись от врага.

Но лишь пойдет на убыль год,
Враг снова двинется в поход.
И ты, приятель, помня это,
Всегда к зиме готовься с лета.
Тебе примером — муравей,
И — пусть придет святой Матвей!

Илья Эренбург

Уроки Стендаля

В осеннюю ночь 1829 года мало кому известный французский литератор решил написать роман, без которого мне трудно представить себе и великую мировую литературу и мою маленькую жизнь.

Анри Бейлю в то время было сорок шесть лет; он успел располнеть, отпустил короткую бороду; возле створок рта обозначилась глубокая складка, придававшая лицу выражение горечи. Он болел и в течение одного года составил шесть завещаний.

За три года до того его покинула женщина, которую он любил с присущей ему страстностью,— жена влиятельного генерала, графиня Клементина Кюриаль. Бейль называл ее Манти. Сохранился ее портрет; черты лица говорят о натуре замкнутой и в то же время порывистой. Манти приходилось скрывать свою связь с Бейлем, однажды она его спрятала в подвале, где он провел трое суток. У нее умерла дочь, и она готова была в этом видеть наказание свыше. Любовь была бурной и трудной. Манти писала Бейлю: «Ваша любовь — самое большое несчастье, какое только может выпасть на долю женщины»...

Стендаль уже опубликовал несколько книг: «Жизнь Гайдна, Моцарта и Метастазио», «История итальянской живописи», «О любви», «Расин и Шекспир», «Арманс». Он знает, однако, что еще не написал той книги, в которую вложит всего себя. У него нет ни славы, ни денег. В парижских салонах он известен как человек с большим животом и чересчур короткими ногами, который любит музыку, живопись и портит бумагу никому не нужными рассуждениями.

Позади много бурь, страстей, разочарований: отрочество, озаренное огнями революции, якобинские клятвы, армия Наполеона, сожженная Москва, реставрация, торжество изуверов, долгие годы в Италии, рампы театров, встречи с Байроном, с Россини, с Сильвио Пеллико, заговоры карбонариев, женщины, которых он любил, — актриса Гильбер (он вспомнит ее, описывая госпожу Реналь), жена польского офицера Метильда Дембовская, Манти и другие. Роман позади, роман еще не написан.

Незадолго перед этим Давид Анжерский сделал портрет Анри Бейля. Скульптор в кружке заговорщиков, они мечтают о республике. Стендаль ненавидит монархию и ждет революцию, но не многого он ждет от революции: он знает, сколько вокруг лжи, пошлости, лицемерия.

Он едет в Милан, в город своей молодости, былых страстей и увлечений. Австрийская полиция его высылает, как автора с «опасными политическими принципами». В ночь с 25 на 26 октября в Марселе он не спит: он увидел ту книгу, которую напишет в два присеста. Он даст ей потом название, над которым будут сто лет ломать головы литературоведы. Он покажет в этом романе все, что его мучает и вдохновляет: любовь и честолюбие, фарисейство и душевную отвагу, черную власть догмы и красный отсвет пожаров, войн, революций. Он напишет о настоящем, о прошлом, о будущем. Конечно, он постарается замести следы и скажет в предисловии, что написал эту книгу в 1827 году,— он ведь хорошо знает, как приходится расплачиваться за правду. Но кто ему поверит? Если женщины, которых он любил, возмутятся, узнав себя в госпоже Реналь или в Матильде, то реакционеры поймут, о каких министрах и о каких изуверах идет речь в книге; одну монархию сменит другая, но для господина Гизо Стендаль останется таким же подозрительным вольнодумцем, каким он является для господина де Мартиньяка.

(Всю свою жизнь Стендаль играл в прятки. Мериме говорит, что к этому его приучила полиция империи, всевидящее око Фуше. Но не меньше Фуше Стендаль опасался полиции Бурбонов и Орлеанов, Австрии и Святого престола. Мериме рассказывает, что никогда Анри Бейль не подписывал писем своим именем, он преображался в «Цезаря Бомбэ», «Коттонэ», «Вильяма Крокодила», «Корнишона», «Тимолеона дю Буа». Вместо обозначения го-

рода Чивита-Веккия, где он долго жил в качестве королевского консула, он ставил «город Пчела» и письма начинал деловым камуфляжем: «Я получил отправленную Вами партию шелка-сырца...»)

Стендаль умер не в 1829 году, когда составлял завещание и решил написать «Красное и черное», а тринадцать лет спустя. Кроме «Красного и черного», он успел написать «Пармский монастырь» и половину «Люсьена Левена». Узнав об его смерти, министр Гизо усмехнулся: «Это был большой шалун»... Когда Гюго рассказали, что умер Стендаль, знаменитый писатель, только что выбранный в академию, вынес свой приговор: «Монтескье остался благодаря своим книгам. А что останется от господина Стендаля? Ведь он не мог даже на минуту вообразить, что значит писать»...

За гробом Стендаля шли трое приятелей. Один из них, писатель Мериме, благожелательно относился к чудачествам Бейля: конечно, Стендаль никогда не был настоящим писателем, но этот дилетант обладал остроумием, начитанностью, да и добрым сердцем. И Мериме написал в некрологе: «Может быть, какой-нибудь критик XX века, среди груды писаний XIX века, откроет книги Бейля и отнесется к ним с большей справедливостью, чем наши современники». Мериме казалось, что самое большее, на что может рассчитывать Стендаль, — это на посмертное признание его «тонкого ума» и «душевных качеств».

Известный в то время писатель и критик Жюль Жанен писал о «Красном и черном»: «Что за неистребимая потребность показывать все в уродливом виде, быть грубым только для того, чтобы испугать!» О том же романе Гюго отозвался пренебрежительно: «Я попробовал почитать, но не мог осилить больше четырех страниц».

Из тридцати трех книг, написанных Стендалем, при его жизни были опубликованы четырнадцать. Они лежали на полках книжных лавок. В течение десяти лет было продано семнадцать экземпляров книги «О любви». С трудом издатель согласился напечатать семьсот пятьдесят экземпляров «Красного и черного».

Белинский зорко следил за книгами, привлекавшими внимание современников; он упоминает двадцать девять раз Жорж Санд, восемнадцать раз Дюма, семнадцать раз Жанена, пятнадцать раз Сю и ни разу Стендаля.

Стендаль при жизни был мало кому известен. Французские министры, папские полицейские, австрийские сыщики знали Анри Бейля, которого они называли «смутьяном», «якобинцем», «атеистом». По их мнению, этот подозрительный человек развлекался тем, что писал скверные, а порой и опасные книги. Литераторы считали, что у Бейля острый ум, он пишет порой занятные памфлеты, только зря он пишет романы — у него нет ни таланта, ни фантазии, ни вкуса.

Были, разумеется, исключения, относятся они к людям, которых мы вправе назвать исключительными. Гете восхитился «Красным и черным», а Бальзак называл «Пармский монастырь» лучшим романом века. Гете, однако, был озадачен «исключительностью и неправдоподобием деталей» в романе Стендаля, а Бальзак не мог примириться со стилем автора «Пармского монастыря». Даже признания сопровождались оговорками.

В восьмидесятые годы прошлого века французы «открыли» Стендаля. Писатели, однако, отдавая должное блеску и увлекательности его книг, рассматривали их, как нечто, опереженное временем. Для Золя Стендаль был предтечей натурализма, и Золя упрекал автора «Красного и черного» за то, что тот не показал мира, в котором жили Жюльен Сорель и госпожа Реналь.

Нас теперь удивляет и равнодушие современников, и оговорки Гете или Бальзака, и близорукость Золя. Из всех французских авторов XIX века Стендаль нам наиболее близок. Его стиль нам представляется менее устаревшим, нежели стиль Бальзака, а показ социальной среды в «Красном и черном» мы находим более глубоким, чем в «Нана». В середине XX века и во Франции, и за ее пределами романы Стендаля читаются как современные книги.

Анри Бейль это предвидел. Он не был в литературе честолюбцем, не жаждал признания, мало страдал от насмешек критиков; но он был далек от самоуничижения. Он писал Бальзаку: «Смерть заставит нас поменяться с ними ролями. При жизни они могут с нами сделать все, но стоит им умереть — и их навеки поглотит забвение. Кто через сто лет вспомнит господина де Виллеля или господина де Мартиньяка?.. Кто через двадцать лет вспомнит лицемерный хлам этих господ. (Он упоминает перед этим Шатобриана и Сальванди.) А я думаю о другой лотерее, где самый крупный выигрыш — оказаться писателем, которого будут читать в 1935 году». Действительно, никто теперь не помнит имен всесильных министров Карла X или Людовика-Филиппа, никто не читает произведений Жюля Жанена или Сальванди, а «Красное и черное» или «Пармский монастырь» могут быть причислены к любимым книгам нашего времени. О них пишут сотни исследований, из них делают десятки фильмов, их читают во всех странах мира.

Слова Стендаля не были пророчеством наугад, они вытекали из всего мировоззрения этого писателя, который умел глядеть не только глубоко, но и далеко. (Впрочем, одно вытекает из другого — глубина психологического анализа неотделима от исторической перспективы.) Романы Стендаля, конечно, помечены своим временем; «Красное и черное» он назвал скромно, но с вызовом «хроникой 1830 года». Однако в Стендале много от XVIII века — и от его философов, в частности Гельвеция, и от характеров — достаточно заглянуть в ему-

арную литературу эпохи Казановы, чтобы найти духовных родственников стендалевских героев. А в понимании романа, как правдивейшего раскрытия человеческих характеров, в ритме повествования, в стиле письма, сухом и однако же драматическом, Стендаль близок к авторам XX века.

Отдаленность во времени придает некоторую бесспорность достоинствам его романов, мы говорим о них с большей уверенностью, чем о книгах наших современников. Вместе с тем мы не испытываем холода музея; «Красное и черное» — рассказ о наших днях. Стендаль классик и наш современник; его нельзя причислить к тому или иному литературному направлению; он — реалист, поскольку реалистично все большое искусство—и «Гамлет», и «Дон-Кихот», и «Фауст»; он—романтик, поскольку, изображая реальность, он часто меняет пропорции, видит вершины, заглядывает в пропасти, жаждет духовного совершенства ("Le Sublime"); но это не приверженность литературной школе, а крылья, вдохновение. Он принадлежит всем, и каждый вправе видеть в нем своего учителя.

Я не раз перечитывал «Красное и черное». Мне кажется, что я многому научился у Стендаля — скорее как человек, чем как писатель. (Но можно ли противопоставить писателя человеку?) Когда роман потрясает, не думаешь о том, как он сделан. Читая «Красное и черное», живешь с Жюльеном Сорелем. Но вот сейчас я думаю о том, как сделана эта необыкновенная книга. Я думаю не о Жюльене, а о Стендале, следовательно об Анри Бейле, думаю с признательностью ученика.

Опыт Стендаля опровергает не только заблуждения далекого прошлого, он рассеивает и многие иллюзии настоящего, порой выдаваемые за непреложные истины. Стендаль писал, что придет время, когда его книги покажутся «не чрезмерно аффектированными, а правдивыми». Уроки Стендаля для меня прежде всего в его исключительной правдивости. Пожалуй, для нас это самое главное — не только для писателей, но и для всех людей середины XX века: чем больше страстности в притяжениях и в отталкиваниях, тем настойчивее совесть, да и разум требуют правды.

Когда Стендалю докучали вопросами об его профессии, он полушутливо, полусерьез отвечал: «Наблюдатель человеческих сердец». Это как будто совпадает с теми сентенциями, которые мы часто слышим: писатель должен наблюдать происходящее, а затем, осмыслив свои наблюдения, описать жизнь. Такое определение работы писателя можно услышать из самых различных уст; к нему добавляют, в зависимости от характера общества, «проявив при показе действительности полную объективность, как того требует искусство» или «подвергнув свои наблюдения социальному анализу и осветив их передовой идеологией».

Очевидно, слово «наблюдение», как и все человеческие слова, достаточно эластично. Флобер писал: «Ты сможешь изобразить вино, любовь, женщин при том, мой милый, условии, что сам не будешь ни пьяницей, ни мужчиной, ни солдатом. Если ты вмешиваешься в жизнь, то ты ее плохо видишь — или слишком от нее страдаешь или слишком ею наслаждаешься». Эти слова относятся к 1850 году — Флобер тогда еще не приступил к своему первому роману «Госпожа Бовари». Он, конечно, чувствовал, что жизнь Анри Бейля, как и все творчество Стендаля, противоречат его понятиям о долге писателя. Бейль и воевал, и увлекался политикой, и влюблялся; никто, кажется, так не наслаждался жизнью и так не страдал от нее, как он. Его биография предопределила характер и содержание его книг. Меня поэтому не удивляет, что молодой Флобер писал: «Читал «Красное и черное», вещь, по-моему, плохо написана и мало понятна как в отношении характеров, так и замысла».

«Наблюдатель человеческих сердец» Анри Бейль никогда не смотрел на жизнь со стороны. Вот одна из первых страниц его биографии. 1793 год. Конвент приговорил Людовика XVI к казни. Анри Бейлю десять лет. Его родители возмущены якобинцами: «Никогда все же они не посмеют его казнить!» А я про себя думал: почему бы нет, если он — изменник?.. Донесся шум — приехала почтовая карета из Лиона и Парижа. Мой отец сказал: «Пойду посмотреть, что эти изверги еще понаделали». А я надеялся, что изменника все-таки казнят... «Кончено», промолвил он с печальным вздохом, «они его убили». Я испытал тогда одну из самых больших радостей моей жизни». А вот последняя страница. 21 марта 1842 года он сказал: «Я довольно хорошо скрываю мою болезнь... Умереть на улице — в этом нет ничего смешного, конечно, если это не нарочно»... На следующий день он шел по улице Капуцинов и упал, чтобы умереть, не приходя в сознание. Вся его жизнь была заполнена увлечениями, работой, путешествиями, борьбой. Он не хотел смотреть человеческую комедию из ложи бельэтажа, он сам ее играл. Может быть, поэтому некоторые французские писатели считали его неисправимым дилетантом.

Рецепт Флобера и жизнь Бейля несовместимы. Если задуматься над работой этих двух писателей, то может сначала показаться, что Флобер был трудолюбивым мастером, а Стендаль легкомысленным любителем. Флобер работал над «Госпожой Бовари» около шести лет. Стендаль написал «Пармский монастырь» в пятьдесят два дня. (Он писал вообще очень быстро — «Арманс» написан в восемнадцать дней, а триста страниц незаконченного романа «Ламиэль» в сорок дней.) Флобер изучал подробности карфагенского быта, неделю искал название для газеты, которую читал аптекарь Омэ, решив написать «Бувара и Пекюше», выписывал учебники геологии и книги по садоводству, мог в точности объяснить медицинскую ошибку доктора Бовари. А Стендаль

порой до того пренебрегал точностью внешних описаний, что часть действия «Красного и черного» перенес в Безансон, где никогда не был, и спокойно оповестил об этом читателей. (Гоголь знал Петербург, Москву, Украину, но никогда не бывал в русском городе, далеком от всех границ, показанном им в «Ревизоре».) Означает ли это, что Стендаль писал о том, чего не знал? Напротив, его романы потрясают своей душевной достоверностью. Л. Н. Толстой говорил: «Я больше чем кто-либо другой многим обязан Стендалю. Он научил меня понимать войну. Кто до него описал войну такою, какова она есть на самом деле?.. Все, что я знаю о войне, я прежде всего узнал от Стендаля». Над этими словами стоит призадуматься. Война в романе «Пармский монастырь» меньше всего напоминает традиционные батальные полотна. Стендаль показывает битву при Ватерлоо глазами молодого Фабрицио: маленький клочок земли, которую взрывают снаряды, и чувства юноши — страх, изумление, наивная гордость. Короткая глава помогла Толстому понять войну. Стендаль не был под Ватерлоо, но с войной он встречался — и в Альпах, и на Березине, и в Германии. Давние воспоминания помогли ему в 1838 году показать Ватерлоо, как Севастополь помог Толстому написать «Войну и мир».

Садясь писать роман, Стендаль ничего не «изучал» (только раз он, усомнившись в сложностях дамского туалета, решил расспросить об этом Манти). Его мало интересовал реквизит; он показывал характеры, страсти, судьбы. Однако его герои живут не в абстрактном мире, мы видим их окружение, понимаем, откуда они пришли.

«Красное и черное» Стендаль писал с перерывами. Он начал роман в октябре 1829 года в Марселе и, видимо, привез в Париж два месяца спустя только первую часть. В Париже его ожидало немало событий. Прошлым летом он познакомился с кузиной художника Делакруа Альбертой, которую называл «Санскритом». Альберта отличалась неровным характером, переходила от страстности к холоду и снова зажигалась. Стендаль расстался с ней, надеясь, что разлука укрепит ее чувство. Однако, вернувшись в Париж, он убедился, что Альберта предпочла ему его друга. Он был мрачен, но увлекся работой. Он написал залпом несколько новелл, среди них «Ванину Ванини». В январе он встречается с итальянкой Джулией Риньери; вскоре Джулия признается ему в любви, говоря: «Я знаю, что ты стар и уродлив»... 17 января Стендаль возвращается к начатому роману. В апреле он сдает в набор начало «Красного и черного». В Марселе еще не было второй героини романа — Матильды. Теперь она встает перед Стендалем: он вспоминает Альберту, видит Джулию, видит и себя. Задумавшись, он идет на свидание с Джулией, а на улицах стреляют — это июльская революция. Он увлечен политическими событиями. Он вставляет в рукопись романа новые страницы. Сколько он над ним работал? Меньше шести месяцев. Но можно ли его упрекнуть в поспешности, в недодуманности? Он жил до того сорок шесть лет и в роман вложил множество своих чувств, наблюдений, мыслей. Все его романы сначала пережиты и только потом написаны.

Я всегда с удовольствием перечитываю умные, необычайно тонкие письма Флобера; оживает образ автора «Госпожи Бовари», мы видим его с книгой или за письменным столом, в десятый, в сотый раз он переписывает страницу; он похож на ювелира, на микробиолога. Не таков Стендаль. Живи он сейчас у нас, его, наверно, долго не принимали бы в Союз писателей, как дилетанта. Он путешественник, знаток музыки и живописи, политик, историк и менее всего профессиональный литератор.

Ему было двадцать два года, когда актриса Мелани Гильбер, в которую он был влюблен, уехала из Парижа в Марсель. Бейль последовал за ней, поступил приказчиком в колониальную лавку, восхищался Шекспиром, старался тронуть сердце Мелани и вел дневник. Семь лет спустя мы видим его на Березине с отступающей армией, в кармане томик Вольтера — он его подобрал в Москве. Еще через пять лет он в Милане и влюблен в Метильду. Итальянские либералы гадают: может быть Бейль — агент французского правительства? Австрийская полиция убеждена, что он связан с карбонариями. Когда его спрашивают, что он делает в Милане, он пожимает плечами: он обожает хорошую оперу.

В 1830 году, вскоре после революции, его назначают консулом в Триест. Граф Седлеицкий, префект венской полиции, пишет Меттерниху: «Ваша светлость может увидеть из рапорта генерального директора полиции Милана барона Торрезани, что 22 и 23 сего месяца тот самый француз Анри Бейль, который в 1828 году был выслан из Милана как автор многих революционных памфлетов, опубликованных под вымышленным именем барона Стендаля, снова прибыл в Милан. Он заявил, что направляется в Триест, чтобы выполнять обязанности консула по назначению теперешнего французского правительства». Граф Седлеицкий посоветовал Меттерниху отказаться принять консула, который известен «опасными политическими идеями». Меттерних внял доброму совету. Бейля назначают консулом в маленький город Чивита-Веккия, находящийся в папских владениях.

Посетители консульства, капитаны дальнего плавания и негоцианты, не подозревают, что консул на досуге пишет романы. Стендаль увлекается политикой и оперой, женщинами и Бонапартом, древностями и революциями.

Подростком Анри Бейль писал: «Моя цель? Стать большим поэтом. Для этого необходимо прекрасно знать людей. Стиль для поэта — нечто второстепенное». Я

говорил, что Бейль жил не для литературы, но его жизнь позволила ему стать большим писателем.

Будучи только наблюдательным, писатель может прекрасно описать внешность героев, их поступки, показать быт, нравы, но для раскрытия внутреннего мира своих персонажей, для объяснения их поступков нужно нечто иное. Для перевоплощения мало таланта и фантазии, требуется душевный опыт, ибо собственные переживания, разумеется, осознанные писателем,— ключи к пониманию других. Этими ключами обладал Стендаль, и в этом объяснение долговечности его романов. Обстановка, костюмы, нравы устаревают куда скорее, нежели человеческие страсти. Если комсомольцев потрясают трагедии Шекспира, то кого удивит, что хотя теперь нет ни заговоров ультрароялистов, ни иезуитских семинарий, ни перекладных, переживания Жюльена Сореля хорошо понятны людям 1957 года.

Большими писателями после их смерти клянется кто хочет и как хочет. Восхваляя Бальзака, пытались принизить Мопассана, и во славу Бодлера поносили Элюара. Маяковского освистывали во имя Пушкина, а четверть века спустя, прославляя хором Маяковского, осуждали Мартынова. В конце XIX столетия многие поклонники Стендаля, ссылаясь на его книги, обличали авторов, пытавшихся показать социальный разрез общества. Такие поклонники Стендаля говорили, что Анри Бейль был апологетом крайнего индивидуализма. При этом они повторяли слово «эготизм», которое Стендаль ввел во французский язык. (Эгоизм — чрезмерная любовь к себе, «эготизм» — любовь говорить о себе, его можно перевести как «ячество».) Стендаль впервые употребил этот термин, говоря о Шатобриане, которого не терпел: «От него воняет эгоизмом, эготизмом, плоской аффектацией». Одну из своих мемуарных книг Стендаль определил как эготизм. Он говорит: «Искренний эготизм для меня — описание человеческого сердца»... В дневниках, заметках, письмах Стендаля много наблюдений над собой; но он далек от самолюбования. Бейль интересовался собой, потому что Стендаль хотел узнать людей. Душевный опыт писателя зависит не только от пережитого, но и от умения пережитое осмыслить. Бейль влюблялся, путешествовал, увлекался политикой, встречался с различными привлекавшими его людьми не для того, чтобы все это описать, меньше всего в нем расчетливости профессионала. Но Стендаль умел думать над восторгами и разуверениями Бейля. Есть люди, которые много пережили, но не могут об этом рассказать, не могут даже понять, что с ними случилось и, найдя в романе описание страданий героя, впервые задумываются над собственной жизнью. Стендаль жил щедро и упорно, неотвязно думал над пережитым. Он мог говорить о себе, как о персонаже романа. В дневнике за 1811 год есть запись: «Такого человека следует выбросить в окно» — это отзыв Бейля о Бейле.

Обычно появление автора на страницах романа меня, как читателя, расхолаживает, даже если писатель умнее, тоньше, интереснее своих героев. Мне кажется, когда я дохожу до авторских отступлений, что на сцену выбегает человек и объясняет, почему его герой застрелился вместо того, чтобы жениться, или — это уж вовсе нестерпимо — читает зрителям небольшую лекцию об антисоциальной природе самоубийства, о превосходстве творческого труда над неврастенией. Место автора за кулисами. Стендаль, однако, часто показывается на страницах своих романов. Порой только точка с запятой отделяет переживания Жюльена Сореля от комментариев Стендаля. Почему это вмешательство автора не мешает читателю? Вероятно, потому, что Стендаль умел не только говорить о Бейле, как о герое романа, он говорил о героях романа, как о себе.

Есть в «Красном и черном» удивительные строки. Они относятся к последним мыслям бедного Жюльена Сореля, приговоренного к казни. Это мысли Стендаля об истории, о познании, о трагедии человека: «О девятнадцатый век!.. Охотник в лесу стреляет из ружья, добыча его падает, он бросается за ней, попадает сапогом в муравьиную кучу, разрушает жилище муравьев, и муравьи, и их яйца летят во все стороны... И мудрейшие философы из муравьиного рода никогда не смогут понять, что это было за огромное, черное, страшное тело, этот сапог охотника, который так внезапно ворвался в их жилище, вслед за ужасающим грохотом и снопом рыжего пламени... Мушка-однодневка появляется на свет в девять часов утра в летний день, и в пять часов вечера умирает. Как ей понять слово «ночь»? Дайте ей еще пять часов жизни — и она увидит ночь, поймет ее»... Таковы мысли двадцатитрехлетнего Жюльена. Но задолго до того, в 1817 году, в «Истории итальянской живописи» Стендаль писал: «Мушка-однодневка, которая рождается утром и умирает до заката солнца, считает, что день вечен». Стендаль одарил Жюльена своими мыслями, не побоялся слить автора с героем.

Конечно, австрийские полицейские страдали присущей людям этой профессии манией преследования: Стендаль не был опасным заговорщиком. Но политика его увлекала. В течение полувека многие литературоведы пытались это отрицать. Особенно это стесняло тех исследователей Стендаля, которые видели в нем апологета эготизма.

Как-то в московском Литературном музее я увидел небольшую записку Стендаля П. А. Вяземскому. Бейль посылает своему соседу номер газеты: «Там есть замечательные слова молодого казака. Какая сила, если бы буржуазия пошла навстречу крестьянину!» Я не знаю, о каком казаке, о каких крестьянах, о какой буржуазии идет речь. Где тот номер газеты? Все это теперь может заинтересовать только историка. Но для Стендаля то был сегодняшний номер

газеты, сегодняшние заботы, сегодняшняя буря...

Гоголю нравились «Прогулки по Риму» Стендаля, но вряд ли он принял бы «Люсьена Левена». Приехав во Францию в 1837 году, Гоголь с отвращением заметил: «Здесь все политика». Стендаль не считал, что все во Франции политика, но он понимал, что политика заняла важное место в жизни его современников.

В 1821 году Бейль был в Милане. Он переживал скверные дни. Метильда не отвечала на его страстные письма. За подозрительным французом ходили по пятам австрийские шпики. Бейль помышлял о самоубийстве и на рукописи книги «О любви» нарисовал пистолет. Он говорит об этом в своих воспоминаниях: «Только политическое любопытство помешало ему покончить с собой». Один неистовый эготист утверждает, что здесь явная опечатка, вместо слова "politique" в рукописи было наверно "publique". Между тем, письма, статьи, дневники Бейля показывают, что это не опечатка и не оговорка.

Прежде французские исследователи обходили молчанием те главы его романов, которые заполнены политическими событиями. Теперь некоторые авторы сосредоточивают все свое внимание именно на этих главах. Смешно, конечно, оспаривать увлечение Стендаля политикой, как смешно доказывать, что любовные драмы служили ему только ширмой для пропаганды своих гражданских идей. Политика была для Стендаля одной из человеческих страстей, большой, но не всепоглощающей. Вряд ли стоит подсчитывать, сколько страниц «Люсьена Левена» посвящены политическим проблемам и сколько любви. Можно только отметить, что, описывая страсти, честолюбие, преступления, Стендаль никогда не забывал о политике. Он умел глядеть на звезды, он старался понять, что такое ночь для мушки-однодневки, но при этом он заглядывал в свежий номер газеты, в постоянном находя злободневное, а в эфемерном постоянное, или, как говорят поэты, вечное.

В течение многих лет он посылал корреспонденции в либеральные журналы Англии, он писал о театрах и об иезуитах, о французской революции и о поэзии. В одной из статей он говорил: «Можно ли глубоко восхищаться стихами, даже самыми прекрасными, когда никто не знает, что с нами будет через год — не окажемся ли мы под игом инквизиции, не сядет ли на трон Франции герцог Орлеанский?..»

Он ненавидел церковь и презирал буржуа: «Пока Боливар освобождал Америку, пока капитан Перри стремился открыть Северный полюс, мой сосед, владелец бумагопрядильни, нажил десять миллионов. Тем лучше для него и для его детей. Но недавно он обзавелся своей газетой, и теперь он каждую субботу меня поучает, что именно я должен любить. Он ведь благодетель человечества. Остается только пожать плечами».

Он ненавидел деспотизм и презирал подхалимство: «Даже если король — ангел, его правительство уничтожает искусство — не тем, что оно запрещает сюжет картины, а тем, что ломает души художников... Люди хотят понравиться министру или вице-министру, своему непосредственному начальнику. Пусть эти министры самые честные люди мира, все равно развиваются подхалимство, лесть, угодничество... Достаточно посмотреть, что происходит в маленьком французском городе, когда проезжает принц из королевской семьи. Злосчастный юноша обязательно хочет попасть в почетную свиту. Наконец он этого добивается, конечно не по своим заслугам, но он не числится в списках неблагонадежных, а его тетушка любит играть в карты с духовником господина мэра. И вот юноша пропал. Он может быть честным, приятным, если хотите, почтенным, но он навсегда останется плоской душонкой...»

Искажение душ насилием, лицемерием, подачками и угрозами было большой, может быть основной темой романов Стендаля. Он не пытался скрыть свои политические симпатии; роль беспристрастного арбитра его не соблазняла. Удача его романов показывает, что тенденциозность не может повредить произведению искусства, если она рождена подлинной страстью и сочетается с внутренней свободой художника.

Три больших романа Стендаля — «Красное и черное», «Пармский монастырь», «Люсьен Левен» — изобилуют описаниями политических событий, которые волновали его современников. Стендаль не уклонялся от роли исторического хроникера. Исследователи его творчества раскрыли, что заговор де ла Моля в «Красном и черном» был навеян романисту подлинным заговором графа Монлозье, имевшим место в 1818 году. Ультрароялисты в романе мечтают об иностранной интервенции, которая покончит с революционными идеями. События 1818 года Стендаль перенес в «хронику 1830 года», и они для его современников не прозвучали, как анахронизм. А нам заговор де ла Моля кажется куда более близким: мы вспоминаем и 1871 год и события сороковых годов XX века. Я напомню слова одного из участников секретного собрания, молодого и фанатичного епископа: «Теперь, господа, нужно уничтожить не одного человека, а Париж... Зачем нам вмешивать в это дело всю Францию, оно касается одного Парижа. Зло от Парижа, от его газет, от его салонов. Пусть этот новый Вавилон погибнет»... Стендаль предвидел и пушки версальцев, и мечты Виши.

Как случилось, что страницы романов, продиктованные злободневностью, не устарели? Бейль, увлекавшийся политической борьбой, говорил: «Мне противны корыстные, преходящие интересы политики на час». Он не отворачивался от политики, но

умел глядеть дальше и глубже. На полях рукописи «Люсьена Левена» он написал: «Нужно сделать так, чтобы приверженность к определенной позиции не заслонила в человеке страстности. Через пятьдесят лет человек определенных позиций не сможет больше никого растрогать. Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор». В людях, увлеченных политической борьбой, Стендаль показывал человеческие черты и тем самым спасал их от быстрой смерти. В этом отличие романа от газеты, отличие Стендаля от многих авторов, писавших и пишущих политические романы, которые устаревают еще до того, как наборщики успевают набрать красноречивые тирады, наконец отличие художника от мушки-однодневки. Стендаль показывает нам, что ни тенденциозность, ни политика не могут принизить роман, если только автор умеет чувствовать, видеть, думать с той глубиной, которая присуща искусству.

Пороки, которые показывал Стендаль, были порождены определенной эпохой, определенным обществом, он не отрывал своих героев от мира, в котором они жили; но пороки эти показаны настолько глубоко, что они понятны людям любого общества, любой эпохи. Он, например, ненавидел иезуитов, видя в них носителей лицемерия. Но и читатель страны, где никогда не было иезуитов, легко поймет страдания молодого Жюльена. У лицемерия множество масок, и памфлет обличает ту или иную маску. Стендаль обличал не только данную маску, но и любовь к маскировке. Друг Бейля Курье был превосходным памфлетистом, и когда Стендаль писал памфлеты, он подражал Курье. Теперь мало кто читает Курье, а политические сцены в романах Стендаля от времени не потускнели. Разве ограничена местом и временем трагедия Фабрицио? Бейль часто говорил, что дело не в личности тирана, а в сущности тирании. Тиран может быть умным или глупым, добрым или злым — все равно он всесилен и бессилен, его пугают заговорами, ему льстят, его обманывают; полнятся тюрьмы, шепчутся малодушные лицемеры и твердеет молчание, от которого готово остановиться сердце.

Стендаль мог годами ничего не писать, кроме дневников или заметок, и он мог работать над романом с утра до глубокой ночи: «Когда я сажусь писать, я забываю о моем идеале прекрасного в литературе. Меня осаждают мысли, которые мне необходимо выразить. Наверно г. Вилльмэна именно так осаждают формы фраз, а того, кого называют поэтом, — Делиля или Расина осаждают формы стихов»...

Вспоминая свое отрочество, Бейль говорил: «Мой восторг перед математикой, может быть, вытекал из моей ненависти к лицемерию: мне казалось, что в математике немыслимо лицемерить». Впоследствии Стендаль пришел к искусству: он понял, что и оно не терпит лицемерия. Его жажда правдивости совпадала с его пониманием романа. Он написал в 1834 году: «В молодости я писал биографии (Моцарта, Микельанджело), это — нечто вроде истории. Теперь я жалею об этом, мне кажется, что нельзя достичь правды, говоря о вещах и больших и малых, во всяком случае нельзя достичь правды в деталях. Траси мне говорил: «Правды теперь можно достичь только в романе». Я с каждым днем все лучше вижу, что искать ее в другом напрасно». По глубокому убеждению Стендаля правдивость достигается точностью деталей, густотой душевных примет, всем тем, что отделяет один час от другого, человека от его соседей. Вне правдивости деталей могут существовать только душевные схемы, которые соблазняют своей логичностью, своим мнимым правдоподобием и которые неизменно лживы.

Некоторые литературоведы утверждали, что Стендаль не обладал фантазией: он ведь ни разу самостоятельно не придумал сюжета романа. Интрига всех его романов заимствована из разных источников. В «Судебном вестнике» он прочитал о процессе своего земляка Антуана Берте, сына бедного деревенского ремесленника, которому покровительствовал местный священник. Антуан поступил в духовную семинарию, был исключен за чтение светских книг и поступил репетитором к Мишу. Вскоре он стал любовником госпожи Мишу. Потом он определился в высшую духовную семинарию, занял место воспитателя в доме де Кардона, ухаживал за его дочерью и, оскорбленный тем, что к нему в высшем обществе относятся, как к прислуге, решил отомстить. Неизвестно почему его выбор пал на бывшую его любовницу, госпожу Мишу; увидев ее молящейся в церкви, он в нее выстрелил. Присяжные приговорили его к гильотине, и он умер мужественно. Сюжет романа «Красное и черное», таким образом, существовал до того, как Стендаль решил написать свой роман.

В 1833 году Бейль увлекался итальянскими манускриптами, которые покупал у римских букинистов. Его внимание привлекла новелла, рассказывающая о семье Фарнезе, жившей в Парме в XVI веке. Он писал тогда: «Молодость папы Павла III была поразительной...» Пять лет спустя Стендаль вернулся к старой новелле и решил положить ее в основу своего романа. В новелле Ванноза Фарнезе, славившаяся своей красотой, с помощью любовника Родерико решает помочь своему племяннику Александру. Этот племянник был заключен в тюрьму, убежал оттуда и стал кардиналом. Он продолжает, однако, вести беспутный образ жизни, пока не встречает благородную Клелию. В романе Стендаля Александр Фарнезе станет Фабрицио, Ванноза — герцогиней Сансеверина, Родерико — графом Моска.

Читателя, увлеченного романом Стендаля, пожалуй, смутит то пренебрежение, которое выказывал Бейль к интриге повест-

вования. Газетная заметка, старая новелла, даже неудачная книга одного из его современников в его воображении оживали, преображались, становились макетами мира, который он заселял своими героями. Сюжет его не радовал и не стеснял. Он не составлял подробного плана романа, зная, что такой план неизбежно будет опрокинут в ходе работы. Он писал Бальзаку: «В молодости я пробовал иногда набрасывать план романа, но эти планы меня сразу расхолаживали...» Он не раз признавался, что только написав несколько страниц, видит дальнейшее, говорил, что намеченные рамки могут помешать душевным находкам. Его вдохновляло рождение героев, становление характеров; причем он никогда не представлял героев — характеры проявлялись в поступках; этой чертой его романы напоминают театр. Он объяснял методы своей работы: «Очертить как можно более четко характеры и наметить в самых общих чертах происшествия. Детали придут потом. Никогда так глубоко не видишь деталей, как во время работы, когда пишешь...»

Для Стендаля-романиста самое важное правдивость характеров, которая зависит от множества точных душевных деталей. Во французском тексте романа «Красное и черное» семьсот страниц. Всего-навсего одна страница рассказывает о многих существенных событиях: прочитав письмо госпожи Реналь, Жюльен быстро покинул Матильду, добрался до почтовой кареты и направился в Веррьер. Там он забежал в оружейный магазин и не помня себя купил пистолет. После чего он пошел в церковь, увидел госпожу Реналь, которая молилась, и дважды в нее выстрелил. Все это рассказано быстро, лаконично, как в рабочем сценарии. Но свыше ста страниц с поразительной, скажу, с математической точностью показывают, как честолюбивая игра Жюльена, решившего завоевать сердце Матильды, становится своеобразной любовью.

Вопрос о том, как автор создает своих героев,— одна из самых важных и самых необследованных сторон психологии творчества. Одни читатели убеждены, что романист выводит в книгах подлинно существующих людей, меняя только имена, другие думают, что герои романа — это искусственно созданные персонажи, отвечающие сюжету, цели автора, его идеям, третьи полагают, что писатель путем сложных наблюдений находит некий концентрат, который является уже не просто персонажем, а типом. Когда мы знакомимся с многочисленными исследованиями, посвященными «Красному и черному», мы видим, что Стендаль создавал своих героев поразному, к некоторым из них, вероятно, применимы приведенные мною суждения читателей, но эти суждения не объясняют главного.

Есть ли в «Красном и черном» подлинно существовавшие люди? Есть. Некоторые даже выведены под своими фамилиями: учитель Бейля Грос, гренобльский аббат Шелан, книготорговец Фалькон (одну букву Стендаль изменил). Гренобль в романе стал Безансоном. Исследователи много спорили и спорят о прототипе маркиза де ла Моля, о типах заговорщиков; в романе Стендаля они находят различных министров реставрации. В психологическом анализе Стендаль чрезвычайно дорожит правдивостью деталей, никогда Матильда не сможет повторить душевное движение госпожи Реналь, различен также их словарь. Но как только начинаются политические споры, Стендаль не заботится об индивидуализации языка, он старается помочь своим персонажам изложить их мысли наиболее ярко. Маркиз де ла Моль говорит заговорщикам: «Да, господа, именно об этом несчастном народе можно сказать: «Чем станет он — столом, лоханкой, богом?» «Он станет богом!» — воскликнул баснописец...» Ультрароялисты должны сделать народ богом с помощью армий интервентов. За год до того Стендаль писал в газетной статье: «В басне Лафонтена «Ваятель и статуя Юпитера» скульптор, начиная работать над куском мрамора, восклицает: «Чем станет он — столом, лоханкой, богом?» С такой же неизвестностью мы думаем о будущем Франции. Что у нас будет через десять лет — тиран вроде Кромвеля, экономное правительство с плохо оплачиваемым президентом, вроде Вашингтона, или республика с директорией из пяти человек? Об этом не говорят вслух, боясь прослыть якобинцем...» Стендаля не смутило, что «якобинец» автор и монархист де ла Моль прибегают к тому же образу.

Мне кажется, что герои романа всегда являются чудесным сплавом: многие наблюдения пополняются душевным опытом автора. Мы знаем женщин, которых любил Бейль, и по тем или иным признакам говорим: он вспоминал о ней, когда писал госпожу Реналь, или — он взял ее черты для образа Матильды. Но и здесь возможны ошибки: одна и та же женщина могла помочь рождению двух столь различных героинь романа. Когда Стендаль писал о муках госпожи Реналь, у которой заболел сын, он бесспорно вспоминал смерть дочери Клементины Кюриаль. Письма Клементины к Стендалю сохранились, и, читая их, видишь, насколько она сродни Матильде. Однако в конце 1829 года Матильды де ля Моль еще не было: Стендаль еще не знал всех подробностей душевной жизни своей новой героини. Он встретился с Альбертой, которая на этот раз его отвергла. (Она обиделась потом, когда роман был издан, — узнала в Матильде себя.) Обычно прототипом Матильды считают итальянку Джулию Риньери. В ней были одновременно и беззащитность и огромная воля; она первая призналась в любви Бейлю. Можно было бы продлить список моделей, но мне кажется, что наблюдения Стендаль неизменно пополнял, вернее освещал своими собственными переживаниями; это относится и к характерам женщин (здесь нет ничего удивитель-

ного — вспомним Анну Каренину, вспомним почтенного брюзгливого холостяка Флобера, который говорил: «Эмма—это я»).

А Жюльен? Неужто, говорят нам, Стендаль, осуждавший эгоизм, выше всего ставивший счастье других, ненавидевший лицемерие, вложил свои сокровенные чувства в честолюбивого, расчетливого, лживого Жюльена Сореля? Некоторые критики, отвечая на этот вопрос положительно, говорят, что Анри Бейль был честолюбцем и холодным эгоистом. Другие, напротив, отрицают сходство между автором и его героем. Мне кажется, что в Жюльена Сореля Стендаль вложил много своего опыта; он и не скрывал своих чувств к несчастному герою. Можно отыскать в романе множество деталей, сближающих молодого Бейля и Жюльена,— от культа Наполеона до болезненной застенчивости, от страстной чувствительности «Новой Элоизы» до глубокого неверия. Можно, читая о том, как Жюльен не решается объясниться госпоже Реналь, вспомнить юного Бейля в доме графини Дарю. Можно улыбнуться конфузу Жюльена — в первом же письме, написанном для маркиза де ла Моля, он допустил грубую орфографическую ошибку, написал "cela" с двумя "ll" — ведь ту же ошибку сделал молодой Бейль, представив записку своему покровителю графу Дарю. Можно сопоставить хитрости любви: Жюльен, желая покорить сердце неприступной Матильды, пишет любовные письма госпоже де Фервак. По роману, это ему подсказал его русский знакомый, некто Коразов; на самом деле это подсказал Жюльену Бейль, который, пытаясь победить Альберту, делал вид, будто влюблен в ее подругу, госпожу Анселот. Такие детали можно, разумеется, отвести, назвать их случайными. Не они подчеркивают близость Жюльена Стендалю, а постоянное стремление автора спасти молодого честолюбца в те минуты, когда он готов погибнуть в глазах читателей. Личность Жюльена достаточно сложна: это не Тартюф и не Растиньяк. Стендаль, впрочем, не скрывает своего отношения к Жюльену. Есть в конце романа изумительная сцена. К Жюльену в тюрьму приходит его былой товарищ Фуке, простой крестьянин, который хочет отдать все свои сбережения, чтобы спасти Жюльена от смерти. Жюльен потрясен: он видит силу человечности, и Стендаль доверяет ему свое любимое слово: «величье» ("Le Sublime"). Здесь автор прямо вмешивается в повествование и говорит о Жюльене: «Он был еще очень молод, но, по-моему, у него была хорошая основа. Большинство людей идет от чувствительности к хитрости, а он с возрастом приобрел бы отзывчивость, доброту и вылечился бы от своей сумасшедшей подозрительности... Но к чему эти ненужные предсказания?..»

Критики, считавшие Жюльена неисправимым карьеристом, много раз доказывали, что конец романа нелогичен, натянут, случаен. Действительно, зачем было Жюльену стрелять в госпожу Реналь? Бесспорно Матильда добилась бы своего, и несмотря на злосчастное письмо, Жюльен стал бы зятем маркиза де ла Моля. Все это так, но Жюльен не холодный карьерист. Им овладевает безумие. Он больше не рассуждает, он похож на лунатика. Он думает, что мстит госпоже Реналь, и только опомнившись, в тюрьме видит, что он ее любит.

Конечно, поступок его не привлекателен, но Стендаль превращает его из обвиняемого в обвинителя — повинно то общество, которое требует лицемерия, наказывает за правду и в угоду множеству условностей попирает большие чувства.

(Часто говорят о воздействии общества на художника и куда реже о воздействии художника на общество. В 1830 году Жюльен Сорель начал жить самостоятельной жизнью и полвека спустя стал своим человеком для довольно широкого круга французских читателей. Две любовные истории Жюльена начинаются с рассудочных выкладок, с тщеславия, с желания влюбить в себя женщин того общества, которое для него закрыто; любовь он разыгрывает, как шахматную партию; и в обоих случаях, неожиданно для себя, оказывается захваченным чувством, превращается из игрока в фигуру. Жюльен имел много наследников во французском психологическом романе конца XIX и начала XX веков. Во Франции мне приходилось сталкиваться с молодыми людьми, которые считали вполне естественным, влюбляясь, сохранять хладнокровие, помнить о честолюбии, изучать стратегию любви. Конечно, писатель описывает, но он и предписывает.)

Золя казалось, что Стендаль пренебрегал реальностью. Вспоминая сцену, когда Жюльен вечером в саду впервые решается украдкой пожать руку госпожи Реналь, Золя писал: «Не чувствуется среда. Это могло бы приключиться безразлично когда и безразлично где, лишь бы было темно». Золя отмечал, что Стендаль не описывал ни одежды, ни обстановки, давая, по его мнению, мало примет социального положения героев: «Конечно, он знал жизнь, но он ее не показывал в ее подлинном виде; он подчинял действительность своим теориям и показывал ее согласно своим социальным концепциям». По мнению Золя, Стендаль грешил субъективизмом и поэтому не был реалистом.

Современники возмущались романами Стендаля, говоря, что этот писатель клевещет на французское общество, что добропорядочные провинциалки не похожи на госпожу Реналь, что семинария в Безансоне — дурной шарж, что маркиз де ла Моль и дамы Верьера являются фантазией автора, ищущего дешевых эффектов.

Стендаль защищался. Он не боялся язвительных отзывов, но за спиной журнальных критиков он видел (и не без основа-

ния) тени королевских полицейских. Он говорил, что его романы показывают действительность, что он не преувеличивает, не шаржирует и уж конечно не клевещет. В «Красном и черном» Стендаль писал: «Роман — зеркало на большой дороге. В нем отражаются то лазурное небо, то грязь, лужи, ухабы. И человека, у которого зеркало, вы обвиняете в безнравственности. Зеркало отражает грязь, и вы обвиняете зеркало. Обвиняйте лучше дорогу с ухабами или дорожную инспекцию»... В предисловии к «Арманс» Стендаль говорил: «Два десятка страниц могут показаться сатирой... Мы просим у читателей снисхождения, которое публика оказала авторам комедии «Три квартала»: они показали публике зеркало, и не их вина, если некоторые уроды узнали себя. На чьей стороне зеркало?..»

Итак, по словам Золя, Стендаль пренебрегал реальностью. Современники упрекали автора «Красного и черного» в том, что он искажает действительность. Стендаль отвечал: я — зеркало. К этому можно добавить, что Золя приписывал деформацию действительности философским и политическим идеям Бейля, а критик (разумеется, академик) Фагэ уверял, что Стендаль был попросту неумен, «за всю жизнь у него не было ни одной идеи».

(В наших учебниках литературы Стендаль значится среди представителей критического реализма.)

Чем больше я заглядываю в историю литературы, тем меньше понимаю в классификации направлений, течений, авторов. В искажении действительности упрекали уже Аристофана, и возможно, что он говорил в ответ про зеркало. Гоголь пытался объяснить, что существует различная оптика — для наблюдения над звездами и для обследования мельчайших насекомых. Стендаль писал о том, что замечал, а замечал он, как и все писатели, далеко не все. Даже Золя, уверявший, что он объективен, научен, беспристрастен, выбирал из сюжетов те, которые соответствовали его идеям, создавал героев романов согласно своему замыслу, ярко освещал одни чувства, кидал беглый отсвет на другие, оставлял в тени третьи. «Зеркало» Стендаля не было полированной поверхностью, он не отражал, а, наблюдая, воображал и преображал. Перспектива «Битв» Учелло не имеет ничего общего с перспективой фотографии. Диалоги Хемингуэя не похожи на механическую запись любого, даже самого драматического разговора. Глава «Красного и черного», посвященная суду над Жюльеном Сорелем, менее всего напоминает стенограммы судебных разбирательств. Как бы ни был точен социальный анализ развития общества, как бы ни была подчинена общим процессам любая индивидуальность, мир романа отличен от философских обобщений, государственных планов, данных статистики.

Писатель как бы открывает человека, а открытие — это не изобретение, оно требует подъема и внутренней свободы искателя. Если бы общество могло подсказать Ньютону, Копернику, Менделееву или Эйнштейну, что именно они должны искать и что найти, не требовалось бы их гения, открытий не было бы. Ни Гельвеций, ни Руссо, ни Сен-Симон не могли подсказать Стендалю его душевных открытий. Быть тенденциозным в искусстве вовсе не значит произвольно смещать пропорции и подчинять поступки героев идее романа; так создаются только дурные книги; они могут, конечно, при благоприятных обстоятельствах сыграть известную роль, но это — книги на час. Смещая пропорции, изменяя перспективы, писатель повинуется строгим законам художественной правдивости; только если он будет соблюдать эти законы, читатели примут его толкование за отражение, живопись — за зеркало. Стендаль создал мир, который, будучи реальным, никак не является копией мира, существовавшего в 1830 или 1840 годах. Если это — критический реализм, то я до конца моей жизни буду ломать себе голову, что же его отличает от художественных методов того революционного и гуманного реализма, к которому стремятся теперь передовые писатели мира?

Золя считает, что отсутствие тщательного описания внешности героев, их одежды, обстановки было недостатком Стендаля. По-моему, это было его особенностью, вытекавшей из его мироощущения, из его концепции романа. Бальзак не брезгал внешними приметами; он подробен в описаниях, он не скупится на серии драматических эпизодов, стремится создать галерею типичных персонажей. Его романы порой напоминают мне картины Брейгеля. Герои Стендаля возникают внезапно, они сродни исступленным воинам, женщинам и старцам Микельанджело. Стендаль порой опускал не только описания внешности героев, но и казалось бы важнейшие сцены. Я говорил о том, как скупо изображено преступление Жюльена, ему посвящено ровно шестнадцать строк. В «Пармском монастыре», кратко сказав, что Клелия отдалась Фабрицио, Стендаль пишет: «Здесь мы попросим разрешения, не добавив ни одного слова, перешагнуть через три года». Пейзажи появляются только тогда, когда природа может раскрыть душевный мир героев. Читатель должен многое вообразить, дополнить текст своей фантазией — в этом отличительная черта романов Стендаля.

Конечно, с незапамятных времен любое произведение искусства — будь то эпическая песни или статуи богов — доходило до людей, дополненное их фантазией. Нет одного Жюльена Сореля, как нет одного Гамлета, одной Анны Карениной — их столько, сколько читателей или зрителей. Беседуя с различными писателями, моими современниками, я часто сталкивался с озабоченностью автора: достаточно ли подробно он описал такую-то сцену или такой-то, пустой второстепенный, персонаж? Будут ли понят

ны эти главы читателям? Теперь появился даже неологизм, который меня коробит не столько своей вульгарностью, сколько алогичностью — в нем явное пренебрежение ролью читателей, я говорю, разумеется, о «доходчивости». Стендаль относился к читательской фантазии с глубоким уважением. Он говорил о «живописи, которую создает воображение зрителей», и оставлял в книгах широкие поля — многое должен был дописать читатель. Вот что писал Стендаль о романе одного из средних беллетристов: «Его будут читать, похвалят и быстро забудут... Все в нем верно и все плоско; ни о чем или почти ни о чем не стоило говорить. Этот роман обрадует читателей, лишенных воображения».

(Скупость описаний внешности героев, вероятно, немало озадачивала кинорежиссеров, занимавшихся инсценировками стендалевских романов. А может, это, напротив, их радовало? Я смотрел в Праге французский фильм, созданный по роману «Красное и черное». Молодой чех возмущенно говорил девушке: «Они попросту спутали — Матильда на экране это госпожа Реналь в книге и наоборот»... Я убежден, что он твердо знал, как именно выглядят героини Стендаля.)

Стиль Стендаля резко отличается от стиля романистов его эпохи; в своей новизне, в перебоях ритма, в стремлении быть точным он приближается к исканиям нашего времени. Стендаль говорил: «Человек, охваченный чувством, случайно находит выражение самое ясное и самое простое». Он писал Бальзаку: «Стиль никогда не может быть слишком ясным, слишком простым... Красоты стиля Шатобриана мне казались смешными уже в 1802 году. Этот стиль выдает множество мелкой неправды... Стиль Руссо, Вильмэна, Санд — это много того, о чем не стоило бы говорить, а часто и много фальшивого... Порой я четверть часа думаю, поставить ли прилагательное до существительного или после — мне хочется рассказать о том, что у меня на сердце 1) правдиво и 2) точно... Если бы госпожа Санд перевела на французский язык «Пармский монастырь», роман наверно пользовался бы успехом, но то, что помещается в двух томах, стало бы тремя или четырьмя». Стремление к лаконичности в глазах Стендаля было связано со стремлением к правдивости: он не терпел того, что на литературном жаргоне называют «водой».

Он ненавидел псевдопоэтичность и ложный пафос: «Не могу вынести, когда вместо «лошади» пишут «конь», по-моему, это лицемерие». Он возмущался, напав в книге Сталь на гиперболу: стоило фонтану Треви замолкнуть, как над всем Римом воцарилось молчание — «Неужели французскую публику можно прельстить таким пошлым преувеличением?..» Много раз Стендаль говорил, что образцом стиля для него является гражданский кодекс. Он боялся громких слов: «Не нужно упрекать великих мастеров живописи в холоде. В течение моей жизни я видел пять или шесть героических поступков, и я был поражен простотой героев».

Стендаль огромное значение придавал ритму — и в развитии повествования и в диалогах: «Когда люди разговаривают, нужно ритмом показать различие характеров, найти ритм для различных чувств». Его романы напоминают реки его родного края, Дофинэ, которые то стремительно несутся вниз, снося все на своем пути, то становятся широкими, плавными, отражая деревья или дома, то снова дробятся и пенятся. Стендаль ни на минуту не забывает о ритме повествования. Он может ввести в роман вереницы людей, описав их подробно или назвав скороговоркой, и забыть о них в ту самую минуту, когда читателю кажется, что они выходят на передний план. Один из современных исследователей Стендаля, Бардэш, приписывает это капризу автора, возведенному в прием: «Романист прогуливается и записывает свои впечатления. Если романы Стендаля что-либо напоминают, то скорей всего «плутовской роман». По-моему, романы Стендаля менее всего напоминают плутовской роман, который был построен на смене приключений. Стендаля увлекали характер общества, характеры людей, общественные и личные драмы; интрига для него была тем же, чем являлись религиозные мифы для неверующих живописцев позднего Возрождения. Если я упомянул об определении Бардэша, то только для того, чтобы отметить неумирающую молодость Стендаля: давно он всеми причислен к классикам, но построение его романов, его манера письма продолжают вызывать недоумение.

Раскроем «Красное и черное». Вот одна из патетических минут: хитрость Жюльена, посылавшего любовные письма госпоже де Фервак, удалась: гордая Матильда капитулировала. Жюльен в свою очередь захвачен страстью. Стендаль сразу становится лаконичным: «Разумнее опустить описание столь сильного безумия и блаженства. Выдержка Жюльена была равной его счастью; «мне нужно спуститься по лесенке», сказал он Матильде, увидев на востоке, за садами на трубах утреннюю зарю». (В русском издании это переведено так: «Но пожалуй будет разумнее воздержаться от описания столь невероятного помрачения рассудка и столь умопомрачительного блаженства. Однако мужество Жюльена было не менее велико, чем его счастье. «Мне надо уйти через окно»,— сказал он Матильде, когда утренняя заря заалела на дальних дымовых трубах, далеко за садами на востоке». Перевод почти вдвое длиннее оригинала, вставлено много объясняющих слов и последняя фраза разбита на две. Я говорю это не в укор переводчику — Стендаль считал, что именно так «переведет» его роман Жорж Санд. Переводчик постарался придать лаконичному стилю Стендаля более традиционный характер.) У Стендаля длинные отступления сменяются напряженным, отрывистым диалогом, внутренние монологи — политическими

документами, светская болтовня — глухими признаниями. Задолго до социальных сдвигов XX века, до машинизации быта, до эпохи, когда жизнь каждого окажется тесно сплетенной с жизнью сотен других, задолго до рождения кинематографа и телеграфного языка Стендаль положил начало той форме романа, которая нам представляется современной; это быстрая смена мест действия, чередование крупных планов и массовых сцен, перебои ритма, внезапное повышение и понижение голоса. Вот отрывок из письма Бейля, который показывает, насколько он близок к писателям XX века: «На улице Лючина убили девушку, она упала в двух шагах от меня. Больше всего меня поразила кровь, очень яркая, на красивых, хорошо вылепленных руках. И потом, боже мой, как быстро это произошло! Счастье умереть так! Две сотни сбежавшихся зевак были вне себя; бледные; их челюсти тряслись. Из тридцати убийц вешают одного, да и то не сразу — через четыре года». Вот еще цитата: «Не знаю, проезжали ли вы на пароходе по Роне под мостом Сен-Эспри, это возле Авиньона. Все перед этим боятся, говорят — что будет? Потом мост показывается, сильное течение вдруг подхватывает пароход и минуту спустя мост позади. «Да, но я говорю, сударь, о смерти, об этой самой минуте — я не могу подумать о ней без ужаса».— Поверьте, она заполнена другим — болезнью, иногда острой болью. Пока ты чувствуешь боль — ты жив, ты не умер, ты только опасно болен. И вдруг ты больше ничего не чувствуешь. Значит смерть — ничто. Это дверь, она может быть открытой или закрытой, ничем другим она не может стать...»

Стендаля упрекали в поспешности, небрежности, скупости, калейдоскопичности, нестройности и нелогичности повествования. Стендаль был равнодушен к критике людей, которых не уважал, но когда он услышал те же возражения из уст Бальзака, он усомнился.

Бальзак встретился с Бейлем 11 апреля 1839 года. При беседе присутствовал Форг, который записал: «Мы слышали, как плодовитый романист важно объяснял г. Бейлю, что нужно делать для того, чтобы заинтересовать публику героями романа. Самое важное, говорил этот добровольный наставник, описать в мельчайших деталях их внешность, одежду, различные мелкие странности каждого. Автор «Красного и черного» слушал эти наставления с видом почтительного ученика».

Возражения Бальзака относились не только к языку, но и к построению «Пармского монастыря». Стендаль решил послушаться: нужно выкинуть первые главы и начать роман прямо с битвы при Ватерлоо, нужно выкинуть также аббата Бланеса и ввести ряд новых эпизодов, нужно, наконец, придать языку большую плавность. Он сел за работу и вдруг — это было 9 февраля 1841 года — почувствовал, что он на ложном пути. Нет, он не выбросит первых глав — «из уважения к милым образам Милана 1796 года, а также, чтобы сохранить характер госпожи Пьетранеры». Нет, он не станет «лакировать стиль»— это его «раздражает». Нет, он не сможет писать иначе, чем того требует его совесть. (Над уроком Стендаля не мешает призадуматься тем авторам, которые под влиянием критических статей порой слишком быстро садятся за переделку своих романов, забывая, что человек не змея и сбрасывать кожу ему не дано.)

Стендаль умер год спустя. Его последние годы были нелегкими. Служба в захолустном папском Чивита-Веккии походила на ссылку. Будучи общительным, он был осужден на одиночество. Еще в молодости он признался: «Мне необходимо любить и быть любимым». (В 1833 году он умолял Джулию Риньери стать его женой. Она отказалась.)

Служащий консульства грек Лизимак Тавернье ненавидит Бейля, неотступно следит за ним, залезает в ящики письменного стола, строчит доносы. Бейль знает, что за ним следит полиция. Он начинает шифровать слова: вместо «религии» пишет «джионрели», вместо «иезуитов» — «те же», вместо «Гизо» — «Зоги». Он подписывает письма различными именами: Дюран, Изер, Шоппье, Дарнад — у него около сорока кличек.

Он страдает обмороками. 1 января 1840 года он сидел у камина, исправлял рукопись «Ламиеля» и вдруг упал в огонь. 15 мая — первый инсульт. Поправившись, он пишет: «Мне пришлось повоевать с небытием. В общем противна минута перехода — этот страх нам вдолбили с детства»... Полиция убеждена, что консул прячет революционные документы, она усиливает слежку. 19 июня Бейль пишет своему двоюродному брату: «У меня две собаки, я их очень люблю. Английский спаньель, черный, красивый, но печальный, меланхолик, другой «луппело», волчонок, цвета кофе с молоком, веселый, находчивый, характер молодого бургундца. Мне было бы слишком грустно, если бы не было никого, кого я могу любить...»

Он должен был умереть полгода спустя. Он писал в «Красном и черном»: «Каждый умирает, как может; я хочу думать о смерти по-своему... Видимо,— говорил он о себе,— моя судьба — умереть, мечтая»... Эта мечта исполнилась: он шел, упал и умер.

В Париже на монмартрском кладбище внимание туристов привлекает могила Гейне. На том же кладбище имеется другая могила с итальянской надписью. Анри Бейль просил в завещании написать по-итальянски на могильной плите:

Арриго Бейль
Миланец
Жил. Писал. Любил.

Иной посетитель, озадаченный этой эпитафией, может спросить, не отрекся ли Стендаль от своей родины. В одной из своих книг Бейль благодушно рассказывает о забавном персонаже итальянской оперы-

буфф, который на вопрос, откуда он родом, отвечает: «Из Космополиса. Можете считать меня космополитом». (У слов своеобразная судьба. Во времена Стендаля понятие «космополитизм» связывалось с идеалами гуманистов XVIII века, с мечтой о «всемирной республике». Прошло сто лет — и это слово повсюду стало уничижительным.) Некоторые исследователи нашего времени говорят, что Стендаль был космополитом в современном смысле этого слова; он любил Италию, высмеивал Францию и французов, отрекся от родины. Бейль действительно полжизни прожил в Италии, около трех лет провел в Германии, неоднократно бывал в Англии. В ранней молодости он писал под различными псевдонимами, потом остановился на имени, которое звучит, как немецкое. (Его раздражал Винкельман, проповедовавший идею абсолютной красоты, обязательной для всех времен. Узнав, что Винкельман родился в бранденбургском городке Стендаль, Бейль торжествующе говорил: «Отныне господин Винкельман — из моих бывших крепостных»...) В дневниках Бейля много итальянских и английских фраз. Он пишет книгу об итальянской живописи, преклоняется перед Шекспиром, увлекается Моцартом. Он ставит в пример французским политикам то американские выборы, то английскую конституцию. Он говорит, что итальянцы проще, непосредственнее, человечнее французов. Когда он живет в Париже, у него много друзей-иностранцев: немецкий врач, лондонский адвокат, итальянские революционеры. Есть у него и русские друзья: Соболевский, А. Тургенев, Вяземский. (Стендаль не знал, с какой любовью его русские друзья говорили о «Красном и черном» в те времена, когда число читателей и почитателей Бейля измерялось немногими десятками.) Стендаль часто упоминает о своем «испанизме»; он увидел только Барселону, откуда полиция его выслала, но трагические черты, присущие испанскому гению, неизменно привлекают его. В нем нет ни национального чванства, ни пренебрежения к чужестранной жизни. Он видит хорошее и дурное как у себя на родине, так и за ее пределами. В Англии он восхищается игрой Кина, беседует с людьми, ум которых высоко ставит, одобряет многое в английских нравах и одновременно пишет: «Правосудие здесь беспристрастно и безупречно, но правосудие существует только для богатых. Человек хорошо одетый, с тридцатью луидорами в кармане для того, чтобы начать процесс, если хотите, самый свободный человек на свете. Горемыка, который живет на поденную плату, раб, каких нет даже в Марокко... В Англии тринадцать миллионов людей работают через силу, а у шести или семи семейств такие богатства, о которых на континенте не имеют представления». Он писал в 1812 году из Москвы: «Только моя счастливая и благословенная Италия производила на меня такое впечатление» и продолжал: «Русская власть — это своеобразный вид восточного деспотизма. Правящая верхушка (восемьсот или тысяча человек) обладает от пятисот тысяч до полутора миллиона ежегодного дохода и сотнями тысяч рабов». В годы Бурбонов он завидует американской демократии, но он рассказывает: «Клинкер — очень богатый американец, он неделю тому назад прибыл в Ливорно с женой и сыном. Он проживает в Саванне и приехал в Европу на год. Ему сорок пять лет, он тонок и неглуп. Вот уже три дня, как я с ним встречаюсь, и о чем бы он ни говорил — это всегда связано с деньгами. Эти разговоры ведутся в Риме перед прекрасными памятниками искусства. Американец все осматривает внимательно, как вексель, но красоты он абсолютно не чувствует. В соборе Святого Петра, пока его жена, болезненное и покорное существо, разглядывала ангелов на могиле Стюартов, он мне объяснял, как быстро в Америке роют каналы... На все у него два суждения: «очень дорого» или «очень дешево». Слов нет, Клинкер умен, но он изрекает сентенции, как человек, который привык, чтобы его слушали. У этого республиканца много рабов». Стендаль говорит о чужом то с любовью, то с ненавистью, это чужое для него — свое. Космополитом он не был, но он не был и провинциалом.

Говорили, будто Гейне не немецкий поэт, потому что он любил Францию. Говорили, будто Герцен не русский писатель, потому что он преклонялся перед священными камнями Европы. Стендаль любил свою родину, но он не выносил ни лживых похвал, ни лжепатриотической шумихи: он был слишком целомудренным, чтобы бить себя в грудь и кричать на перекрестках Европы о приоритете Франции. Но ведь, вспоминая начало своей жизни, Бейль писал: «Не было у нас другой религии, кроме самой важной мысли — быть полезным родине». В политических статьях Стендаля — тревога за судьбы Франции, он не просто свободолюбивый европеец, он француз, наследник якобинцев. Среди его учителей нельзя не назвать Монтескье, Паскаля, Руссо, Сен-Симона. Все его качества, как и его недостатки, связаны с французским характером. Он это знал и не раз отмечал свое тщеславие в любви, страх показаться смешным, привычку острить во что бы то ни стало. Спор о космополитизме Стендаля — это давний спор о подлинном характере любви к родине: связана ли такая любовь с пренебрежением к другим народам, с восхвалением пороков и недостатков соотечественников, с анафемами и здравицами. Для квасных патриотов (а такие имеются и во Франции, хотя там нет кваса) «миланец Арриго Бейль» был перекати-поле. Но для Франции он был и остается одним из самых ясных носителей французского гения.

Он говорил, что все человеческие несчастья происходили от лжи, работа писателя была для него служением правде. Он хотел примирить справедливость с той свободой, которая ему представлялась не-

отделимой от человеческого счастья. Шутя он говорил, что в Америке люди свободно выбирают метельщиков улиц, но свободы у них нет: в воскресный день они не смеют весело ходить по улице — того не терпит пуританское лицемерие. Он писал: «Нужно научиться не льстить никому, даже народу». Он твердо знал, что счастье одного немыслимо без общего счастья, и в этом объяснение его политической страстности. Он знал также, что мало общественного прогресса, нужны и большие чувства. «Больше всего, прежде всего я люблю простоту и доброту, особенно доброту... Это единственное, чего я желаю». Для нас, выросших на русской литературе XIX века, эти слова близки и понятны. Полвека спустя мысли Стендаля о правде в искусстве повторил русский писатель, казалось бы никак с ним не схожий. «Можно лгать в любви, в политике, в медицине, можно обмануть людей и самого господа бога — были и такие случаи,— но в искусстве обмануть нельзя»,— так говорил Чехов.

Так жил, писал и любил Анри Бейль. Может ли мечтать о большем любой писатель да и любой человек?

Н. Дьяконова

О путях к свободе

Африканский писатель Питер Абрахамс заключает краткую автобиографическую заметку важным признанием:

«Литературный труд никогда не заставлял меня уединяться в башне из слоновой кости. Он был для меня частью поступательного движения цветных народов Африки и всего мира».

Действительно, все книги Абрахамса пронизаны единым стремлением, единым порывом. И хотя все они намеренно тенденциозны, их «тенденция» неотделима от внутреннего пафоса жизни писателя. Один из героев Абрахамса недаром говорит о деле освобождения африканских народов: «нам не надо понимать эту проблему — мы и есть эта проблема».

Вместе с тем страстная преданность своему народу не приводит Абрахамса к проповеди идей расовой исключительности и шовинизма. Он далек от механического наделения черных и цветных только добродетелями, а белых — только пороками, и видит обе стороны расовой, «цветной» проблемы; он отчетливо сознает, что расовая дискриминация, обрекая на рабство черных и цветных и отразляя их сознание, в то же время гибельно сказывается и на их белых хозяевах. «Я увидел,— пишет Абрахамс,— и другую сторону медали... Расизм на нашей земле болезненно отзывается на всех нас, белых и черных в равной мере». Как говорил Энгельс, «на примере ирландской истории можно видеть, какое это несчастье для народа, если он поработил другой народ».

В своих книгах Абрахамс рисует растущее широкое общественное движение в колониальных странах, показывая его через многочисленные и многообразные человеческие судьбы, в которых по-разному преломляются общие закономерности борьбы и исторического прогресса.

Советский читатель знает Абрахамса только по одному из его ранних произведений — повести «Тропою грома», неоднократно переиздававшейся у нас в переводе и на языке оригинала. Безыскусственная книга о большой любви мулата Ленни Сварца и белой девушки Сари Вилльер, о любви, не отступившей перед лицом смерти, не сводится к разоблачению преступной жестокости белых колонизаторов, палачей любящих. Она замечательна тем, что описывает пробуждение чувства национального и человеческого достоинства в людях, еще недавно глубоко униженных и забитых. С точки зрения Абрахамса, смелая, дерзкая любовь Ленни есть своего рода утверждение им вновь обретенного достоинства, проявление внутренней свободы. По мысли автора, нормальные отношения между людьми — это отношения любви и взаимного понимания, и только искусственные и преступные установления разделяют людей, сеют между ними ненависть и страх, карают смертью любовь, презревшую «цветной барьер». Эта мысль проходит через все творчество Абрахамса.

* * *

Свои детские и юношеские годы Питер Абрахамс описал в искренней и скромной повести «Расскажи о свободе» (Tell Freedom, 1954). Абрахамс находит свои, новые и очень теплые слова для рассказа о постепенном формировании детского сознания и отражении в этом сознании мира взрослых со всей его несправедливостью и жестокостью.

Характерной особенностью повествовательной манеры Абрахамса является необычайная чувственная конкретность описания, умение вовлечь читателя в круг восприятий и ощущений героя. Своеобразный мир детского воображения раскрывается в первых же строках книги, когда крошечный мальчик Ли, прижимаясь носом к залитому дождем стеклу, представляет себе, что он сам заключен в дождевой капле и вместе с ней согрет лучами проглядывающего сквозь тучи солнца.

Вместе с маленьким героем читатель физически чувствует постоянный голод, вместе с ним надрывается от непосильного труда.

Абрахамс делает ощутимым, зримым чужой для нас и страшный быт нищего предместья южноафриканского города Иоганнесбурга,— города, где на дверях кафе, на скамьях бульваров и даже на общественных уборных — всюду надписи-пощечины: «Тслько для белых». Но в описании Абрахамса это не только мир горьких унижений, побоев и вечных страхов. В этом зловещем мире живут и поэзия, и нежность, и фантазия, и глубокая привязанность. «Поэзия была одета в грязные лохмотья, и никто не узнавал ее»,— грустно говорит писатель, вспоминая шумного сумасброда и фантазера мальчика Нонди, изувеченного белым хозяином. Незабываем также рассказ о детской дружбе «цветного» Ли и «черного» зулуса Джозефа. Оба мальчика голы и босы, им нечего подарить друг другу, им нечем даже похвастать. Но маленький зулус с гордостью рассказывает о своих великих предках, древних чёрных королях. Видя огорчение друга, у которого нет столь пышной родословной, он с великолепной щедростью предлагает: «Ты мне брат. Мои короли пусть теперь будут твоими королями».

Повесть убедительно показывает, как из ребенка, замученного борьбой за существование, Ли — Абрахамс постепенно становится художником и гражданином. Случайно прочитанный ему рассказ побуждает его упорно учиться грамоте; он надеется сам когда-нибудь писать так. Стиснув зубы, он идет от победы к победе. Получив образование, Абрахамс стал печататься в «цветных» газетах, сблизился с некоторыми марксистами, но вскоре отошел от них, не поняв смысла марксистского учения. Двадцати лет он нанялся кочегаром на пароход. «Мне нужно было писать, рассказать о свободе, а для этого надо было самому стать свободным». Проработав два года кочегаром, Абрахамс приехал в Англию, где служил еще два года в книготорговой фирме. Тесно общаясь с другими африканскими эмигрантами, Абрахамс вместе с такими известными деятелями освободительного движения в колониях, как Кваме Нкруме участвовал в организации «пан-африканского движения». В 1942 году он опубликовал свою первую книгу «Черный завет» (Dark Testament). По признанию самого автора, это была очень незрелая книга. В 1943 году вышел его роман «Песнь большого города» (Song of the City). В автобиографической заметке Абрахамс пишет: «Мой литературный опыт был слишком ограничен, чтобы я мог успешно осуществить свой замысел на бумаге. «Песнь большого города» была неудачным романом, но эта неудача многому научила меня, и в 1945 году я опубликовал роман «Шахтер» (Mine Boy). Эта книга встретила очень хороший прием и была первой из моих книг, переведенных на другие языки».

В книге «Шахтер» рассказывается история негра Ксумы, который пришел в город (Иоганнесбург) из глухой негритянской деревни. Он проходит трудные «годы учения». Первый урок, преподанный ему в городе,— это урок ненависти и борьбы всех против всех. Все, что он только видит, подтверждает слова его покровительницы Ли: «Тут в городе так: все время ты борешься! Борешься! Борешься! И заботишься только о себе. Иначе тебе конец... Ты должен быть тверд. Тверд как камень. И лучший твой друг — деньги...»

Но второй и более важный урок в школе большого города — это урок любви и уважения к человеку: жестокая, циничная Ли оказывается нежным и мудрым другом, неграмотная «черная» девушка Мэйзи, спасает Ксуму в минуту отчаяния, согревая его своим рвущимся из глубины души весельем. Всегда пьяный старый негр по прозвищу «папочка» после смерти оплакивается всеми, как очень хороший человек.

Наконец, третий урок, полученный Ксумой,— это урок борьбы и солидарности. Работая на шахте под началом белого мастера, Ксума вместе с ним становится инициатором забастовки шахтеров и идет в тюрьму с сознанием выполненного долга, с новым и бесконечно счастливым чувством гордости и веры в себя, в свои силы для предстоящей борьбы.

Если «Шахтер» и «Тропою грома» рассказывали об Африке наших дней, о героях, осознавших, что существенно понятие «человек», а не понятия «белый» или «черный», что подлинная свобода несовместима с расизмом, то последовавший за ними роман «Завоевание» (Wild Conquest, 1950) представляет собой обращение к истории, попытку найти в ней истоки возникновения уродливой вражды между черными и белыми народами.

Абрахамс повествует о тяжелом пути, пройденном голландскими переселенцами в Африку (бурами), чтобы спастись от засилия английских колонизаторов, об их столкновении с могущественным племенем матабеле, хозяевами страны, куда пришли буры в поисках новых земель.

Примечательно, что история этого столкновения описана как с точки зрения завоевателей — буров, так и с точки зрения покоренных матабеле. С одинаковой эмоциональностью рисует писатель и чувства буров, покидающих родные места, и воинственных, гордых матабеле. Домашняя утварь буров, вплоть до глиняного цветочного горшка, на котором сохранился отпечаток детской ручки, описана с таким же пристальным вниманием, как звенящие щиты воинов матабеле. Абрахамс не идеализирует ни буров с их хладнокровной, злобной жестокостью, ни матабеле с их кровавыми, первобытными нравами, дикими верованиями и обычаями. Однако объективизм Абрахамса кажущийся — его книга осуждает жадность и бездушие завое-

вателей. «Цивилизованные» рабовладельцы буры несут туземцам своей новой родины гибель и разорение.

Устами двух умирающих — старого негра военачальника Габузо и бурского юноши Пауля — автор формулирует идеи о мире, согласии и братской взаимопомощи народов.

Все перечисленные книги, так же как уже названная автобиография, осветили различные стороны африканской жизни. В этом смысле они явились подготовкой к последнему роману «Памяти Удомо» (A Wreath for Udomo, 1956), в котором писатель пытается бросить взгляд в будущее и нарисовать перспективы дальнейшего развития освободительного движения колоний.

Эта книга об освободительном движении в некоей африканской колонии, которую Абрахамс условно называет «пан-Африкой», привлекла еще большее внимание, чем предшествовавшие ей произведения Абрахамса, хотя и они переводились, переиздавались и даже экранизировались. «Думаю, что это, вероятно, самая важная из всех моих книг»,— пишет сам Абрахамс.

Книга, посвященная важнейшим политическим и социальным проблемам, рассматриваемым в исторической перспективе, ни на минуту не отрывается в то же время от насущных интересов и тревог сегодняшнего дня.

Абрахамс раскрывает характер своего героя, показывая его «мечты» (так называется первая часть романа, изображающая пребывание Удомо в Лондоне) и «реальность» (так озаглавлена вторая часть), в которую воплотились эти мечты, когда Удомо после долгих лет скитаний вновь вернулся на родину.

В несколько растянутой первой части Абрахамс хотел дать читателю возможность увидеть и почувствовать своего героя до того, как он приступит к той деятельности, к которой страстно готовится всю жизнь. Это нужно для полноты образа Удомо, для наглядности и убедительности в изображении его последующей политической деятельности. Сжившись с героем, привыкнув к его образу мыслей и чувств, читатель всю картину дальнейшей борьбы воспринимает эмоционально, видит ее глазами героя, не отделяющего свою жизнь от этой борьбы.

Перед читателем возникает образ человека большой душевной энергии. При первой же встрече с Удомо немолодую учительницу, уставшую от жизненных разочарований и одиночества, поражают глаза незнакомца, полные тревоги и беспокойной силы; глаза эти гаснут, как бы подергиваются дымкой, как только речь заходит о чем-либо, не относящемся к его родной Африке. Страстная целеустремленность, органически вырастающая из его глубокого патриотического чувства, не книжного, «теоретического», а выстраданного за страшные годы унижений на родине и скитаний на чужбине, заставляют Удомо отказаться от радостной и легкой жизни с любимой женщиной. Личное счастье неспособно отвлечь его от того, что издавна срослось с его душой,— от дела угнетенного народа.

Изображая грехопадение Удомо, его измену настоящей любви, Абрахамс стремится показать человека, способного на величайшее самозабвение во имя великого дела, но в то же время эгоистичного, не стесняющегося в средствах для достижения своих целей. Такое построение образа героя характерно для творческого метода Абрахамса. Этот метод состоит в том, чтобы и характеры, и жизнь, на фоне которой они складываются, свести к немногим ярким, простым чертам и в то же время показать, как взаимно противоречивы эти основные характерные черты, как их противоречия приводят к нарушению всякой внутренней гармонии, всякого душевного покоя. Таким был уже образ Ли в «Шахтере», таков и Удомо.

Жертвуя ради своего дела любимой женщиной и другом, совершая поступки, требующие суровости, жесткости, душевной грубости, Удомо в то же время проявляет необычайную душевную ранимость. Раскрыв и художественно обосновав эти черты своего героя, Абрахамс окружает его атмосферой эмоциональной напряженности, которая так важна для того, чтобы рассказ о его деятельности из сухого репортажа превратился в художественное повествование.

«Мечты» Удомо становятся «реальностью» по возвращении его в родную «пан-Африку».

События, описанные в романе, относятся приблизительно к концу сороковых — началу пятидесятых годов. Удомо возвращается домой в тот момент, когда явственно обозначился разрыв между народными массами и националистической организацией местной полуфеодальной интеллигенции. Эта организация, названная в романе Советом вождей и старейшин, связана с феодально-племенной верхушкой, опекаемой колонизаторами, и в силу этого тяготеет к сотрудничеству с империалистическими властями.

Абрахамс широким планом показывает борьбу новой демократической «панафриканской» партии против английских империалистов и местных буржуазно-феодальных деятелей, поддерживающих теснейший контакт как с английским колониальным управлением, так и с самыми отсталыми фанатическими феодально-племенными организациями старейшин. Эта партия провела всеобщую забастовку. В ходе забастовки Удомо, выпустивший номер местной газеты с прямым призывом к восстанию, схвачен и брошен в тюрьму. Имя его стало знаменем партии свободы. Протест

и возмущение охватили всю страну. Колониальным властям пришлось пойти на компромисс и, сохраняя в своих руках ключевые позиции (контроль над внешними сношениями, полицией и так далее), согласиться на формирование нового национального правительства, премьер-министром которого был избран Удомо.

В беседе со своими политическими противниками Удомо четко определил трех основных врагов прогрессивного движения в Африке. Это белые колонизаторы, прошлое (то есть племенная организация, подчиненная феодальной верхушке) и нищета народа.

В течение восьми лет Удомо мужественно и стойко сражается с этими врагами, преодолевая большие трудности, проявляя поразительную находчивость. Он стремится разрешить огромного масштаба исторические задачи в немыслимо короткие сроки, однако действует при этом в полном отрыве от народных масс. Не доверяя политической активности народа и, в частности, рабочим своей страны, Удомо в своей деятельности опирается главным образом на сотрудничество либеральных кругов английских хозяев «пан-Африки» и на экономическую помощь капиталистических предпринимателей страны, условно названной в романе Плюралией. В условиях отсталой страны, стонущей под бременем варварских пережитков, Удомо добивается политического и культурного роста своего народа, создает кадры образованной прогрессивной молодежи. Но он не отдает себе отчета в том, что «пан-Африка» по-прежнему остается в экономической кабале у своих английских хозяев, что экономическая помощь иностранных капиталистов лишь усиливает эту кабалу.

Он думает, что губернатор, секретарь и другие представители колониальных властей искренне расположены к сотрудничеству с ним во имя блага панафриканцев. Между тем колонизаторы, продолжая извлекать такие же прибыли, как и прежде, только благодарны Удомо за то, что он держит в повиновении народ, добровольно подчиняющийся своему национальному правительству. Именно потому, что решение колониальной проблемы в романе является компромиссным и по существу благоприятным для империалистической Англии, роман получил положительную оценку в английской буржуазной прессе.

Поставив себя и свой народ в полную зависимость от белых господ, Удомо теряет контроль над собственными действиями и по требованию сотрудничающих с ним капиталистов Плюралии выдает своего друга Мхенди, руководителя антиколониальной борьбы в этой стране. Описание этого страшного деяния составляет кульминационную точку повествования и производит такое впечатление потому, что Удомо совершает его с полным убеждением в своей правоте. Он видит свой нравственный и патриотический долг в том, чтобы ценой одной жизни купить свободу своей страны: ведь отказаться выдать Мхенди значило бы отказаться от экономической помощи «пан-Африке»!

Абрахамс захватывает читателя трагизмом стоящей перед его героем дилеммы; читатель настолько вовлечен в переживаемый героем конфликт, что не сразу ощущает ложность, искусственность этого конфликта. Удомо по-своему формулирует его сущность. Он спрашивает Мхенди: допустимо ли пожертвовать другом, братом для великой цели? И Мхенди бессознательно сам произносит себе приговор: да, допустимо. Но на деле Удомо приносит в жертву не только друга, но и перспективы революции в соседней, братской стране, а тем самым и перспективы освободительного движения своей страны. Не веря в возможности возглавляемой Мхенди революционной борьбы против белых колонизаторов, Удомо отдает лучшего друга в руки его врагов и своих мнимых друзей.

Хотя весь конфликт обрисован преимущественно с точки зрения Удомо и Абрахамс именно его делает своим героем, но, возможно, вопреки авторскому замыслу, рядом с Удомо вырастает образ подлинного героя национально-освободительной борьбы — обаятельный, трогательно простой образ Мхенди. Именно он находит верный, хотя и бесконечно более трудный и долгий путь к счастью своего народа — путь настоящей борьбы. В отличие от Удомо, жесткого в отношениях с людьми, доверившими ему власть над собой, но уступчивого по отношению к поработителям своей страны, Мхенди добр, внимателен, почти нежен со своими младшими товарищами по оружию, но тверд, суров, принципиален в борьбе с врагами родины.

Для художественной манеры Абрахамса чрезвычайно характерно, что, сочувствуя Удомо, он, однако, описывает его антагониста Мхенди так, что читатель становится на сторону последнего. Противопоставление этих двух народных вождей объективно оказывается всегда в пользу Мхенди. Он близок народу, видящему в нем любящего и верного брата. Между тем, Удомо постепенно отдаляется от своего народа. Подлинная человечность Мхенди проявляется, в частности, очень отчетливо в его отношениях с женой, любовь к которой сливается с жалостью и нежной заботой. В то же время чувство Удомо к его возлюбленной, хоть и глубокое и сильное, бессознательно эгоистично: он требует, ничего не давая взамен.

Даже тогда, когда в стремлении оправдать Удомо Абрахамс сознательно сопоставляет его поступки с аналогичными поступками Мхенди, читатель ясно видит, что их действия не могут быть оценены одинаково: Удомо пожертвовал одной жизнью ради того, что он считал благом родины; во время неудачного восстания, руководимого Мхенди, погибли сотни жиз-

ней. Но эти многочисленные жертвы были неизбежны в той революционной войне, которую вел Мхенди, и они послужили делу грядущего освобождения, тогда как гибель того единственного человека, которым пожертвовал Удомо, могла казаться неизбежной только с его ложных позиций, и эта жертва задержала дело освобождения.

С точки зрения Абрахамса предательство Удомо есть только высшее доказательство его страстного желания победы для своего народа, одна из неизбежных жертв ради победы. С нашей же точки зрения этот поступок закономерно вытекает из того, что еще раньше Удомо объективно, несмотря на субъективную чистоту своих намерений, предал интересы своего народа. Предавая Мхенди, Удомо тем самым предает дело свободы, дело народа. Нет и не может быть обстоятельств, при которых аморальный, антисоциальный поступок являлся бы моральной, социальной необходимостью. Если вопрос ставится так, значит он ставится ложно.

Конфликт Удомо—Мхенди в наиболее острой, конкретной форме выражает основную проблему книги: по мысли автора, трагическая вина Удомо перед Мхенди так же неизбежна, как и вся его политика компромисса. Для нас же вина Удомо перед Мхенди лишь часть его вины перед своим народом.

Абрахамс считает, что сотрудничество с английскими империалистами было единственно возможной для Удомо линией поведения. Мы же убеждены, что политика эта была ошибкой, ошибкой трагической, хотя она имела свои корни и в объективных трудностях экономической и политической ситуации в Западной Африке.

Но неправильно оценивая объективный смысл политики своего героя, Абрахамс с подлинно реалистической глубиной раскрывает последствия этой политики — убийство Мхенди и, что гораздо важнее, нарастающую моральную и политическую изоляцию самого Удомо: в конце романа он одинок, он далек и от народных масс, и от тех буржуазно-националистических кругов, связанных с феодально-племенными организациями, которые так помогли ему в момент захвата им политической власти. Порывая с ними, Удомо теряет поддержку и всевластной богачки Селины, королевы местной торговли.

Великолепный образ Селины по своей выразительности может поспорить с образом самого Удомо, отличаясь этим от других второстепенных образов, написанных тщательно, правдоподобно, но за исключением Мхенди лишенных ярко выраженного индивидуального своеобразия. В ее противоречивом облике жестокая сила сочетается с трогательной нежностью, неграмотность и дикие суеверия — с ясным практическим умом, любовь к богатству, к накоплению — с бескорыстной преданностью родине, хотя и извращенной реакционными верованиями и убеждениями. Увидев, что Удомо взял курс на борьбу с вековой отсталостью, с цепкими живучими феодальными и племенными пережитками, она натравливает на него фанатиков, которые зверски убивают его под звуки ритуальной музыки. Предсмертный ужас Удомо, долгое ожидание казни, глухие удары барабана незабываемы в скупом, немногословном повествовании Абрахамса.

Картина жизни и борьбы народов Африки, показанная в романе, оказалась гораздо убедительнее и сильнее, чем неясные и во многом неверные концепции автора. Логикой действия Абрахамс осудил своего Удомо.

Главная ценность романа состоит в том, что Абрахамс сумел объективно раскрыть как сложность действительности, так и динамику и драматизм борьбы за революционное переустройство общества.

Александр Исбах

Тема „Гренады"

Советский читатель хорошо знает имя Эльзы Триоле, лауреата премии Гонкуров, писательницы, принимавшей активное участие в движении французского Сопротивления.

Действие нового романа Эльзы Триоле «Свидание чужестранцев» * происходит в 1953 году. В Иль-де-Франсе встречаются трое друзей. Они много испытали в жизни, изведали все страдания узников Маутхаузена. Они не похожи друг на друга. Испанец Альберто — бывший республиканский генерал авиации, борец против франкистов. Серж Кремен — музыкант, участник движения Сопротивления, сын русского революционера, бежавшего с царской каторги, родившийся уже во Франции. Альберто и Серж — коммунисты. Третий, Патрис Граммон,— прогрессивно настроенный, но далекий от коммунизма литератор, находящийся на французской дипломатической службе. Трех друзей объединяет их боевое прошлое, объединяют страдания, перенесенные совместно в фашистском лагере. Они вспоминают о боевых днях; они поют песню русского поэта Михаила Светлова о Гренаде, музыку к которой написал неизвестный им венгерский композитор, песню, разученную еще в лагере Маутхаузен.

Так, на высокой благородной ноте «Гренады» открывается новый роман Эльзы Триоле.

Это книга о патриотизме и об интернационализме, о шовинизме и о космополитизме, о больших и мелких человеческих чувствах, книга о борьбе и об успокоенности. Мотив «Гренады» звучит во многих главах этой книги.

Композиция книги своеобразна. Здесь нет цельного сюжета, нет интриги. Автор развертывает перед нами биографии людей разных национальностей, разных судеб. Их объединяет страстная любовь к родине и борьба за народное счастье, борьба высокого интернационального накала.

Карлос, молодой ученый-физик, астроном, вынужденный ради заработка служить ночным дежурным в отеле. Фернандо, его друг, коридорный посыльный,— бывший комиссар испанской народной армии, а затем деятель испанского эмигрантского подполья в Париже. Героиня книги — Ольга Геллер, известная среди бойцов маки под именем Моники. Судьба ее сложна и необычайна. Дочь бывшего советского работника, отщепенца, она еще в детские годы попала во Францию. Преступление ее отца против родины все время тяготеет над ней. Она любит свою страну, Советский Союз, но ей дорога и новая родина — Франция, она находит свое место в Сопротивлении, в борьбе против фашизма, совершает подвиги в этой борьбе. Образ Ольги, несомненно, связан со многими другими женскими образами в творчестве Эльзы Триоле. Мы любим эту мужественную и обаятельную женщину с первой страницы, мы с волнением следим за ее судьбой, за ее хождением по мукам. Однако в психологическом портрете Ольги находим мы и новые трагические черты, не свойственные героиням «Авиньонских любовников» или «Тетрадей, зарытых под персиковым деревом». Прежде всего, это большая горечь Ольги, связанная с отрывом от родины. Ольга не решается вступить в партию коммунистов, так как все время ей сопутствует тень отца. Вместе с тем парижские власти все время подозревают ее, считают советской шпионкой. Она бы вернулась на родину, в Советскую Россию, но и там, как ей кажется, ее будут подозревать, и там она не найдет настоящего доверия...

«Если вы не родились в стране, где вы живете,— с горечью говорит Ольга,— вас всегда подозревают в патриотическом чувстве к своей родной стране, а родная страна упрекает вас в любви к стране, в которой вы живете».

В образе Ольги Эльза Триоле подчеркивает единство сложных чувств: любовь к Франции, к Парижу, к французской природе, к прекрасным французским людям, любовь к своей Советской родине и вместе с

* Elsa Triolet. Le rendez-vous des étrangérs Gallimard. Paris, 1956.

тем высокий интернациональный пафос, постоянную готовность к борьбе за символическую «Гренаду».

Вслед за Карлосом, Фернандо, Ольгой на страницах возникает образ Франка Моссо — американца, художника. Его судьба интересна в плане основного замысла книги. Франк Моссо не коммунист. Он всячески пытается отгородиться от политической борьбы, он мечтает о чистом, «незавербованном» искусстве. Одно время ему улыбается успех. В Голливуде одобряют его сценарий. Но успех этот эфемерен. Американская разведка начинает подозревать автора в симпатиях к коммунизму. Франка Моссо изгоняют из Голливуда. Лишенный возможности заниматься искусством, он с большим трудом устраивается в американское экспортно-импортное общество, и его командируют в Парижское агентство этого общества. Он возвращается в Париж, в который когда-то вступал с войсками американской армии, воевавшей с немецким фашизмом. Но американская разведка не оставляет его и здесь...

Трагедия Франка Моссо выражена в романе ярко и убедительно. Эльза Триоле показывает и жену Франка, мещанку из Штатов, презирающую все французское: ей дороже всего спокойная жизнь, возможность сохранить свой усовершенствованный американский холодильник. Американские власти предлагают Франку Моссо покинуть Париж. Судьба его завершается трагически. Он умирает отравленный. Убийство или самоубийство?.. В конце концов это не так важно. Человек оказался без родины. Человек за бортом. Трагедия отверженности в страшном капиталистическом мире, сочетаемая с трагедией одиночества, правдиво показана писательницей.

Романистка рисует в своей книге не только различные судьбы одиночек, лишенных родины. В ряде глав идет рассказ о судьбе польских шахтеров, получивших работу в шахтах французского Севера; о судьбе испанцев, бежавших из франкистской Испании; о судьбе алжирцев, влачащих жалкую жизнь на улицах Парижа. И это органически связано с основной темой романа, с идеей «Гренады».

Наряду с образами людей-борцов, людей, одухотворенных высокими идеями интернационализма, Эльза Триоле развертывает перед нами и другую галерею образов—людей холодных, жестоких, достигающих успеха в капиталистическом мире. Они не похожи друг на друга, у каждого свое неповторимое лицо, и вместе с тем это люди одного лагеря, резко противостоящего лагерю Ольги, Фернандо и Сержа.

Известный французский писатель-летчик, полковник Дювернуа — опустошенный циник. И он воевал в свое время против испанских фашистов, но, пожалуй, лишь из любви к своеобразной экзотике. Он решительный противник коммунизма. Дювернуа предполагает писать роман, посвященный жизни эмигрантов, и собирает материал для этого романа.

Саша Розенцвейг — авантюрист, вожак парижской «золотой» молодежи. Его родители-евреи были задушены газом в немецком концлагере. Тем не менее он поддерживает связи с реакцией, с «королевскими молодчиками». Светский хроникер, журналист желтой прессы, он становится автором бульварных романов. Проблема родины мало волнует его. Для него, как и для его покойного отца-финансиста, родина там, где легче заработать деньги.

Наконец, перед нами возникают образы космополитической французской буржуазии. Это красавица Элизабет, объехавшая много стран мира, жена шведского миллионера, блистающая в своем салоне вместе с приемной дочерью Агнесой, убежденной сионисткой, которая мечтает о поездке в Палестину...

Главы, посвященные этому буржуазному миру, сюжетно связаны с основной линией романа благодаря довольно случайной и мало оправданной дружбе Ольги и Элизабет. Изображение этой среды, видимо, понадобилось романистке, чтобы более контрастно оттенить тот основной мир, которому посвящен роман,— мир Ольги и Фернандо, Альберто и Сержа Кремена.

Тема «Гренады» живительным родником струится по многим страницам романа. Она подчеркнута в споре между полковником Дювернуа и Патрисом Граммоном. Она звучит также в маленькой комнатке, где живут по соседству с Сашей Розенцвейгом молодые французские коммунисты, друзья Сержа Кремена. Она возникает и в разговорах испанских эмигрантов, и в воспоминаниях бойцов Сопротивления.

— Серж Кремен и его друзья,— говорит один из персонажей романа,— сделали из этой песни свое кредо. Она поэтически выражает их взгляды и раздумья.

Тема «Гренады» в романе Эльзы Триоле органически связана с темой родины. С болью и сочувствием пишет романистка об испанских изгнанниках, которые продолжают оставаться патриотами везде, где бы они ни находились. Они не бродяги, не космополиты, они сохранили свою горячую любовь к отчизне, находясь в вынужденном изгнании. С большой резкостью устами своих лучших персонажей полемизирует Эльза Триоле с теми, кто подобных изгнанников называет людьми, лишенными родины. В споре с полковником Дювернуа Ольга цитирует слова погибшего писателя, участника Сопротивления Антуана де Сент-Экзюпери: «Я согласен быть путешественником, но я не хочу называться эмигрантом».

Книга Эльзы Триоле целиком направлена против национализма. Писательница показывает, как идея истинного патриотизма органически связана с интернациональной борьбой. «Разве родина это только та страна, где вы родились?» — страстно спрашивает Ольгу Франк Моссо. Разве испанский республиканец, воюющий против режима Франко,—«апатрид» (человек без родины.— *А. И.*)? Разве поляк, боровшийся в рядах

французского Сопротивления, не боролся и за свою родину? Разве он не может быть назван и французским патриотом?

Связь патриотических и интернациональных идей ярко показана в тех главах романа Триоле, где писательница рассказывает о польских шахтерах, вынужденных еще при Пилсудском, в двадцатых годах, покинуть свою родину и нашедших работу на севере Франции. Тексты для артистов, выступающих на вечере франко-польской дружбы, подготовила Ольга. Организаторами вечера являются коммунисты Серж Кремен и его друг Ив. На вечере звучат стихи Мицкевича. Не раз произносится имя славного генерала Парижской Коммуны поляка Ярослава Домбровского, боровшегося на баррикадах Коммуны и за Францию, и за свободную Польшу.

Тема «Гренады», тема родины и интернационализма, резко противопоставлена в книге Эльзы Триоле идеям международной реакции — идеям национальной и расовой розни.

Можно говорить об отдельных недостатках романа. Книга перегружена персонажами, подчас длинные разговоры и рассуждения тормозят динамику развития сюжета. Некоторые эпизоды книги недостаточно художественно мотивированы, несколько поверхностной кажется нам вся разработка образа Агнесы, дочери Элизабет. Недостаточно убедительной представляется личная линия Дювернуа—Элизабет. Она мало что добавляет к основной теме романа.

Но лучше говорить о том, что в книге есть, чем о том, чего в ней нет. В конце концов писательница вправе заострить одну тему и весь роман посвятить именно ей, а основной пафос книги заключается в теме «Гренады».

В одной из последних глав происходит свидание всех основных персонажей романа на вечере встречи нового, 1954 года. Коммунист Ив произносит тост за изгнанников, за тех, кто в любой обстановке борется за свободу и демократию. В противовес полковнику Дювернуа и его друзьям, мысли и чувства которых связаны с постоянным подозрением, Ив поднимает тост за грядущие «дни доверия». В этом тоже заложена одна из основных идей книги. Бдительность по отношению к врагам неотделима от доверия к друзьям и соратникам... Спаянные настоящей дружбой, проникшиеся чувством пролетарского интернационализма, герои романа запевают любимую песню о «Гренаде». В романе песня Светлова дана в хорошем переводе Эльзы Триоле и сопровождена нотами венгерского композитора.

Вы закрываете книгу, и в вашей памяти все еще звучит мотив «Гренады», звучат слова, проникнутые пафосом интернационального братства и борьбы.

Чарльз П. Сноу

Английская литература сегодня

Английский писатель г-н Сноу обратился в редакцию журнала «Иностранная литература» с предложением опубликовать его статью о состоянии английской литературы. Г-н Сноу ссылался при этом на намерения и практику нашего журнала — печатать произведения и тех писателей, чьи взгляды на литературный и общественный процесс не во всем совпадают с нашими.

Мы охотно печатаем статью г-на Сноу, хотя некоторые положения, выдвигаемые в этой статье, представляются нам спорными. С удовлетворением отмечая, что Ч. П. Сноу подчеркивает значение социальной темы в современной английской литературе, мы, однако, не можем согласиться с его весьма оптимистической точкой зрения, согласно которой «английский роман снова вступает в период расцвета» и произведения этого жанра «исполнены сейчас большой жизненности». Нам кажется, что более критический взгляд на состояние современной литературы, высказанный, например, в книге Колина Уилсона «Взгляд со стороны» или, с иных позиций, в статье Арнольда Кеттла, опубликованной в журнале «Иностранная литература» № 4, 1956 г., ближе к истинному положению вещей.

Вызывают сомнение и отдельные частные оценки в статье г-на Сноу. Так, советские критики иначе отнеслись к некоторым из названных им книг (см. статью В. Рубина «Маленькие люди», где рассматривается роман Кингсли Эмиса «Это неясное чувство», «Иностранная литература» № 10, 1956 г., или рецензию И. Левидовой о книге Ангуса Уилсона «Англо-саксонские позы», «Иностранная литература» № 4, 1957 г.). Вряд ли можно причислить к лучшим произведениям мемуарной литературы книгу У. Черчилля «Вторая мировая война», которую Ч. П. Сноу, очевидно, имеет в виду, книгу, искажающую многие события, уже не говоря об общей исторической перспективе. Упомянув об Эзре Паунде, Ч. П. Сноу не счел нужным сказать о том, что этот поэт во время войны выступал с фашистскими речами по итальянскому радио, а после войны был предан суду в США как государственный преступник, но «по мотивам невменяемости» помещен в психиатрическую больницу. Между тем, на наш взгляд, эти факты проливают свет и на характер творчества Паунда.

Можно было бы сделать и еще некоторые оговорки и замечания по частным вопросам, затронутым в статье г-на Сноу. Тем не менее редакция полагает, что этот краткий обзор современной английской литературы, принадлежащий перу известного писателя, будет полезен и интересен для читателей нашего журнала.

Многие из лучших английских книг последних десяти лет не относятся к категории художественной литературы в узком смысле слова. Это является главной отличительной чертой нашей современной литературы. Англия всегда обладала богатой литературой, посвященной реальным людям; теперь такого рода литература, несомненно, переживает эпоху расцвета. Она обрела своеобразную свободную форму, в которую легко укладываются всякого рода рассказы о личных приключениях авторов. Лучшие книги этого рода часто насыщены большой умственной и духовной энергией.

Такова, например, книга Уилфрида Нойса «Южный перевал», самая лучшая из книг, написанных о восхождении на Эверест. Нойс, как и некоторые другие опытнейшие английские альпинисты, — преподаватель по профессии. Он был одним из главных участников экспедиции на Эверест, но не оказался в числе группы, которая должна была достичь вершины. Особенно волнующе описан им момент, когда он узнает, что группа достигла вершины и вместе с радостью испытывает чувство горечи оттого, что это счастье выпало не на его долю.

Весьма примечательна также книга другого молодого автора, принадлежащего к числу людей действия, «Древо путника» Патрика Ли Фермора. Во время войны Ли Фермор получил высокую награду как один из самых наших смелых бойцов-партизан. Он несколько лет прожил в горах на Крите, оккупированном немцами, откуда руководил английскими операциями против врага. Венцом его подвигов было похищение немецкого генерала. После войны Фермор стал писателем. Его «Древо путника» — рассказ о странствиях по Карибским островам — написан в ученой и вместе с тем романтической манере, которая теперь не в моде.

Наряду с этим, можно насчитать около полусотни талантливых книг о путешествиях и приключениях, написанных за последние годы, и, может быть, столько же книг об исторических событиях недавнего прошлого, изображенных с точки зрения самих участников.

Книги эти принадлежат перу и таких лиц, как Уинстон Черчилль, и простых, рядовых

солдат. Сюда относятся мемуары политических и военных деятелей, генералов, рассказы летчиков, моряков подводных лодок и парашютистов — людей, которые так или иначе участвовали в последней войне. Возможно, одно из самых ярких изображений закулисной жизни англо-французской дипломатии в период войны дает книга Эдуарда Спирса «Назначение на катастрофу». Спирс служил связным офицером при французском премьер-министре во время падения Франции в 1940 году. Его описания Парижа и Бордо, где в правительственных кругах обсуждался вопрос о капитуляции, и, с другой стороны, атмосферы в Лондоне, где капитуляция считалась немыслимой, так реалистичны, так метко схвачены живые детали, вплоть до взгляда и интонации, что Спирсу может позавидовать любой романист.

Из книг, написанных непосредственно участниками войны, одна из самых человечных — «На войну» Джона Верни. Верни, молодой художник, произведенный в офицеры во время войны, участвовал в двух кампаниях: в Ливии и Италии. Естественная простота и правдивость его повествования особенно способствуют тому, чтобы донести до читателя всю атмосферу боевой жизни солдата с ее лишениями, треволнениями и товарищеской помощью.

Наряду с этими воспоминаниями о бурных временах привлекла большое и уважительное внимание спокойная автобиография Ричарда Чёрча «Через мост». Чёрч — профессиональный писатель с многолетним опытом. В этой книге он рассказывает о своем бедном детстве, о жизни в Лондоне начала XX века, когда город был еще гораздо ближе к эпохе Диккенса, чем к более мягким нравам наших дней.

После войны резко возрос также общий интерес к истории, появился целый ряд исторических работ, написанных для рядового образованного читателя в отличие от академических трудов, помещаемых в научных журналах. Во главе этого направления стоит восьмидесятилетний историк Дж. М. Тревельян. В своем труде «Социальная история Англии» он задался целью обрисовать обыденную, повседневную жизнь англичан на протяжении столетий, рассказать о том, в каких они жили домах, что ели, как одевались. Эта книга, как и все, что написал Тревельян, полна поэзии фактов человеческого существования. Благодаря этому она пользуется огромным успехом и имеет более широкий круг читателей, чем любой современный роман.

За последнее время вышло также несколько прекрасных книг, в которых ясно изложены современные научные проблемы. Среди литературно одаренных астрономов в самое последнее время выделяется Фред Хойль. Его книги «Природа вселенной» и «Пределы астрономии» не только дают блестящее, доступное изложение космогонической теории «непрерывного воссоздания» мира, но и представляют собой образцы непринужденной, энергичной, живой английской прозы.

Поистине изумительно, сколько литературного таланта вложено в произведения, которые находятся за пределами таких узаконенных художественных жанров, как роман, поэзия или драма. Это происходит по двум причинам. Во-первых, английские писатели всегда проявляли склонность неожиданно врываться в чуждые им области творчества, что соответствует и общему беспокойному, деятельному, эксцентричному характеру большой части английской литературы. Это относится к настоящему времени так же, как и к прошлому. Но существует и другая причина. В течение целого поколения огромное количество крайне разнообразных талантов было занято художественным творчеством, особенно в области романа. Однако результаты оказались совершенно не соответствующими творческим усилиям.

В поэзии положение все еще продолжает оставаться тревожным. Лет сорок тому назад два поэта, Т. С. Элиот и Эзра Паунд, основали школу имажинистов. Оба они американцы по происхождению, но жили в Англии, а Т. С. Элиот принял британское подданство. Бунт, поднятый имажинистами против традиционной поэзии, имел свои основания: поэтический язык подвергался омертвению, и Элиот несомненно внес в него нечто новое — свежесть, точность и меткость. Однако в дальнейшем это движение привело к тому, что немало поэтов заблудилось в дебрях «александрийской интеллектуальной изощренности». Никогда еще разрыв между поэтами и читателями не был так велик, как теперь. Единственный поэт, которому отчасти удалось преодолеть этот разрыв, был Дилан Томас. Уроженец Уэльса, он умер в 1953 году всего сорока лет от роду. В сущности его стих так же литературно изыскан, как утонченные метафизические произведения его старших современников — Роберта Грейвза, У. Х. Одена и Уильяма Эмпсона, но Дилан Томас обладал большими артистическими данными, личным обаянием, великолепным голосом чтеца.

В настоящее время проявляются первые, слабые еще признаки того, что молодые поэты (среди них можно отметить Филипа Ларкина) начинают овладевать синтезом четкости, точности школы Т. С. Элиота и глубокой эмоциональности, которая доступна выражению и имеет право на выражение. Но пока еще рано говорить, что ожидает этих представителей нового поэтического направления.

Нельзя также сказать, что мы удовлетворены состоянием нашей драматургии. С точки зрения искусства актера Англия переживает сейчас блестящий период, один из самых лучших периодов во всей истории английского театра. Но наши знаменитости, такие, как Оливье и Ричардсон, очень редко выступают в современных пьесах. Это происходит отчасти потому, что классические шекспировские роли словно созданы для

первоклассного английского актера; отчасти же потому, что пока еще нет современных пьес, достойных этого актера.

Теренс Рэтиган, например, прекрасно владеет искусством драматического повествования, и многие его пьесы идут годами, но содержание их не соответствует уровню художественного мастерства автора.

Очень много написал для театра Дж. Б. Пристли, пользуясь самыми разнообразными формами: бытовой драмы, фарса, символических пьес, драматических фантазий и т. д. Это очень плодовитый, неровный писатель, но лучшими своими, близкими к жизни пьесами, такими, как «Конец рая» и «Семья Линден», он, надо думать, внес свой вклад в основной репертуар английских театров. Однако не прекращается спор о том, могут ли бытовые драмы, написанные обычным, разговорным языком, расцениваться как подлинные художественные произведения. Эти споры привели к попытке возродить стихотворную драму. Т. С. Элиот использовал эту форму в своих пьесах «Вечеринка с коктейлем» и «Доверенный клерк», умело приспосабливая стих к лексике разговорной речи. Кристофер Фрай создал несколько пьес, написанных полнозвучным и ярким стихом. Эти произведения возбудили пылкие надежды в одних кругах и весьма скептическое отношение в других. В общем, однако, нельзя сказать, что возрождение стихотворной драмы имеет большое будущее.

Во всех этих литературных жанрах — в прозе, поэзии и драматургии — идет непрерывная эстетическая борьба. Остановимся несколько подробнее на области романа, где особенно ярко проявился талант английских писателей и где за последние пять лет, в отличие от других литературных форм, многие проблемы уже нашли свое разрешение. Английский роман снова вступает в период расцвета. Это дает нам бо́льшие, чем в других областях искусства, возможности оглянуться назад и увидеть, что мешало нам раньше.

Первые признаки того, что с романом творится что-то неладное, относятся ко времени после первой мировой войны, к периоду примерно между 1915 и 1925 годами. По сложному стечению обстоятельств, главным образом общественного характера, но переплетающихся с внутренним развитием романа как жанра литературы, традиционная форма романа XIX века оказалась под ударом. Под «романом XIX века» я подразумеваю не только английский, но и русский, и французский роман, так как роман является интернациональным видом искусства (чего поэзия никогда не сможет достичь полностью). Русские и французские романисты влияли на развитие нашей литературы не менее, чем английские. Толстой и Достоевский, даже в переводах, были так же близки образованному читателю, как Диккенс; за ними шли Тургенев и Чехов, а Гончаров, Гоголь, Лесков и Горький были знакомы большинству английских писателей, даже если и не пользовались широкой известностью. Внезапно вся эта монументальная, грандиозная традиция романа XIX века рухнула, а вместе с нею и традиция изображения героя, показанного всесторонне в окружающем его мире.

Некоторые из самых даровитых наших писателей отдали все свои творческие возможности крайнему субъективизму. Главная задача их заключалась в том, чтобы уловить так называемый «поток сознания», то есть образы, звуки, неоформленные мысли, вспышки ассоциаций — все, что происходит в воспринимающем внешние впечатления уме человека.

Наиболее ярким примером романа такого рода является «Улисс» Джеймса Джойса (1922), где события одного дня в Дублине 1903 года воспринимаются сквозь призму «потока сознания» главного персонажа. В тот же период, в тридцатых годах, Вирджиния Вульф достигла большого совершенства и тонкости в передаче зрительных впечатлений, образов, данных в их восприятии. Наиболее типичны в этом отношении ее романы «Волны» и «Годы». В течение ряда лет большинство наших писателей, обладающих эстетическим чутьем, увлекалось этим литературным методом и видело в нем залог будущего расцвета романа. Но вскоре стало ясно, что это — не дорога в будущее, а всего лишь тупик.

Опыт этот все-таки кое-чему научил: некоторые новшества Джойса и его последователей обострили восприимчивость и наблюдательность писателей. Это в какой-то мере сказалось и на тех молодых романистах, которые решительно отвергали «поток сознания» как метод и как новое художественное направление. Но если не считать подобных незначительных следов его влияния, само это литературное направление умерло. Наша литература выходит на новую дорогу. Вместо того чтобы расширить рамки романа, метод «потока сознания» резко сузил их. Этот метод не давал возможности показать человека в его взаимодействии с обществом, средой или осветить его природу.

Ввиду того, что именно в этом и заключаются главные задачи серьезных писателей, крайняя ограниченность метода субъективистов оказалась неприемлемой. Появились даже признаки того, что, как это было с поэзией формалистов и имажинистов, разрыв между эстетствующими романистами и читающей публикой принял угрожающие размеры. Сознание опасности дало толчок новому направлению. За исключением Джойса Кэри, все писатели, о которых я сейчас буду говорить, не старше 50 лет, а другие и много моложе. Все они отличаются друг от друга своими убеждениями, целями, взглядами. Среди них есть люди религиозные и неверующие, правые и левые по своим политическим симпатиям, но все они стремятся выработать новую форму романа, которая оставалась бы действенной на ближайшие десятилетия.

Грэхем Грин, например, возродил авантюрный роман в духе Р. Л. Стивенсона, но

использовал его для создания своеобразных психологических «детективов» с религиозной подоплекой. Грин — верующий католик и в этом отношении стоит несколько особняком от других английских писателей. Собственно говоря, он католик-либерал, подобно французскому романисту Франсуа Мориаку. В трех лучших книгах Грина — «Власть и слава», «Суть дела» и «Тихий американец» — теологическая тема сочетается с тревожной жалостью ко всем обездоленным и обиженным жизнью.

Второй писатель-католик, Эвлин Во, занимает диаметрально противоположную позицию. В то время как Грин пишет о безвестных, маленьких людях и склонен быть сентиментальным по отношению к падшим и неудачникам, Эвлин Во изображает богачей и аристократов, проявляя сентиментальное отношение к удаче. Эвлин Во — своеобразный, пристрастный писатель. Он может быть острым, беспощадным сатириком и, вместе с тем, впадать в романтизм и чувствительность, как в романах «Снова в Брайдсхеде» и «Люди на фронте». Стиль его отличается сжатостью и изяществом.

И Грэхем Грин и Эвлин Во — очень известные писатели, но они не оказали заметного влияния на английскую литературу. И тот, и другой не особенно увлекаются реалистическим изображением общества. Поэтому тем из нас, кого общество занимает больше, приходится искать новых способов его изображения. Не случайно, что многие из нас пользуются теперь формой серийных, сюжетно связанных между собой романов. Джойс Кэри написал две трилогии, в которых один и тот же сюжет представлен с трех различных точек зрения. Романы «Пленник милосердия», «Это уже не честь» и «Бегство от бога» раскрывают историю жизни политического деятеля-радикала с точки зрения его жены, его самого и человека, презирающего его. Джойс Кэри, которому далеко за шестьдесят, один из наиболее плодовитых и оригинальных писателей своего поколения, пожалуй, единственный романист, в котором есть что-то от творческого изобилия Диккенса. Он стал писать уже в зрелых годах, испробовав ряд профессий: был художником, военным и, наконец, занимал административный пост в Африке.

Антони Пауэлл также написал серию романов, в сущности представляющих собой один длинный роман о жизни четырех молодых людей. Все они родились приблизительно пятьдесят лет тому назад, все принадлежат к привилегированному классу и воспитывались в школе для привилегированных. (Это тема первой книги «Проблема воспитания»). Вторая книга («Рынок») прослеживает судьбу этих юношей, когда им по 20—30 лет, и последняя («Мир приемлющий») говорит об их зрелых годах. Но роман не закончен, должны выйти еще несколько томов.

Я сам также работаю над серией романов, в которых жизнь различных общественных слоев изображается с точки зрения одного и того же героя, ведущего повествование. В романе «Наставники» говорится об академических кругах; в «Новых людях» — об ученых-атомниках и представителях бюрократии, в книгах «Пора надежд» и «Возвращение» — о связях общественного опыта с личной судьбой и внутренним миром героя. Моя мысль заключается в том, чтобы изобразить жизнь различных слоев общества за последние 30 лет в поперечном разрезе и ее восприятие и влияние на внутреннюю жизнь отдельной личности. Это сочетание интереса к личной жизни с изображением общественной среды проявляется теперь в произведениях целого ряда писателей. Своими критическими работами и творческой деятельностью они помогают созданию новой атмосферы в современном английском романе. Среди них следует отметить большого ирландского новеллиста Фрэнка О'Коннора, Ангуса Уилсона, отличающегося острым сатирическим умом и незаурядным темпераментом (роман «Англосаксонские позы»), и Памелу Хэнсфорд Джонсон, одну из наших самых сильных и многогранных писательниц. Она обратила на себя внимание романами «Невозможный брак» и «Последнее убежище».

Этот избыток жизненной энергии, ясность и бодрость духа сказались также во многих других произведениях. Уильям Купер, например, с большим юмором, едкостью и мудростью изобразил жизнь ученого в романе «Борьба Альберта Вудса», а Эмир Хамфрис, более молодой писатель из Уэльса, дал беспощадную, но продиктованную любовью картину провинциального замкнутого мирка людей одной профессии в романе «Перемена».

Этим пылом, этими интересами отмечены и первые романы молодых писателей. Иногда они бывают неотделанны и дерзки, но после пройденного нами этапа эстетизирования и ухода в себя—это здоровое явление. Главное у нашей молодежи — это большая жизненная сила и душевная бодрость. Таковы, например, два романа Кингсли Эмиса. Первый из них — «Счастливый Джим» — имел шумный успех. Второй — «Это неясное чувство» — рисует карикатурно, но по сути реалистически переживания послевоенного поколения молодых служащих. Таков же и роман Джона Уэйна «Поспеши». Гораздо серьезнее и резче написаны чрезвычайно сильные книги выросшей в Южной Африке Дорис Лессинг — «Трава поет» и «Марта Квест».

Подводя итоги, надо сказать, что наши романы исполнены сейчас большой жизненности. Они насыщены энергией в такой же степени, как книги о реальных испытаниях и приключениях, о которых говорилось в начале этой статьи. Весьма возможно, что в ближайшие десять лет мы станем свидетелями рождения множества талантливых и насыщенных большим, жизненным опытом романов. Возможно, что расцвет романа возродит к новой жизни и нашу драматургию. Давно уже творческая атмосфера в нашей стране не была столь плодотворной и обнадеживающей.

Людвик Ашкенази

Бабье лето

Перевод с чешского В. Петровой и В. Савицкого.

СТАЧКА НА ПЯТОЙ АВЕНЮ, КЛАССОВО-СОЗНАТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛИСТ И РАСТОПТАННАЯ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

На Пятой авеню, неподалеку от отеля, сегодня бастовали служащие магазина шелковых изделий фирмы Бартон. Витрины пылали фиолетовым светом — это излюбленный цвет бартоновского дамского белья. Там стояли немного комичные манекены в голубых, розовых и белых рубашечках из дакрона, их улыбка, по сравнению с улыбками женщин перед витриной, вовсе не казалась искусственней. То была улыбка людей из порядочного общества, точно скопированная, даже с капелькой сарказма, свойственная манекенам, актерам, духовным отцам и кандидатам на выборах, улыбка, сдобренная толикой национального оптимизма.

Перед магазином прогуливался тощий мужчина в пенсне: он был втиснут между двумя негнущимися, точно риза, щитами. На щитах было написано:

БАРТОН НЕСПРАВЕДЛИВ.
НЕ ПОКУПАЙТЕ
В ЕГО МАГАЗИНЕ!

Тощий человек в пенсне был явно недоволен своей участью, которой он скрепя сердце покорился, видимо, исключительно из чувства солидарности с коллегами. Было похоже, что он принадлежит к категории служащих, оплачиваемых получше, возможно, это был бухгалтер. Мимо него двигалась надушенная, элегантная толпа Пятой авеню, и наш забастовщик, против своей воли, взывал к ней не только плакатом, но и слегка охрипшим неуверенным голосом:

— Не покупайте, пожалуйста, в этом магазине. *Mister Barton is unfair**.

Воротник его пальто был поднят, и он старался поглубже упрятать голову. Неожиданно перед ним остановилась дама, одетая с причудливой изысканностью; она покачала красивой американской головкой и укоризненно проговорила:

— *That's you, mister Schnitzer?***

— Ох, к вашим услугам, — голосом, полным страдания, отозвался несчастный Шнитцер.

Элегантная дама уже не обращала на него внимания и прошуршала дальше, оставив колеблющегося пикетчика в облаке крепкого аромата сирени. Мистер Шнитцер почувствовал себя раздавленным. Теперь он подавал голос только изредка, внимательно приглядываясь к прохожим.

Наконец прибыла подмога: смуглый, явно итальянского происхождения продавец со звучным голосом. Он хлопнул бедного господина Шнитцера по спине и не без иронии во всеуслышание похвалил его:

— *Mister Schnitzer*, — воскликнул он, — вы знатно квакали, вылинявшая шкура!

— Могу я уйти? — спросил мистер Шнитцер с надеждой в голосе.

— Бог с вами, — ответил итальянец, — бегите домой, старый революционер!

И загорланил голосом, потрясшим Пятую авеню:

— Не покупайте у Бартона, Бартон мошенник!

Окончаниие. Начало см. в № 5.

* Mister Barton is unfair — Мистер Бартон несправедлив (а н г л.).

** That's you, mister Schnitzer — Это вы, мистер Шнитцер? (а н г л.).

То была более цельная натура, чем раздвоенный мистер Шнитцер.

Поблизости находился еще и третий актер этой маленькой драмы на Пятой авеню, который в силу каких-то обстоятельств пока держался в тени. Это был розовощекий господин, на чьем лице, как в зеркале, отражалось все, что происходило в его, как видно, самодовольной душе. Он несомненно жестоко страдал от каждого выкрика буйного итальянца, причем на его физиономии последовательно изображались ужас, гнев и под конец решимость. Итальянец перешел тем временем к более действенной форме борьбы против несправедливого мистера Бартона и запел нечто, звучавшее приблизительно так:

«Бартон не выполняет договора,
обожди, ты будешь еще горевать,
можешь сохнуть в своем магазине,
никто не придет у тебя покупать!»

То было народное творчество, импровизация от души, и человек с более поэтической натурой, чем у краснолицего господина, нашел бы в этой песне усладу. Но этот прохожий напоминал самовар, готовый, казалось, вот-вот взорваться. Он, видимо, не любил ругани, и пристрастие итальянца к шуму выводило его из себя. Он вошел в магазин, провожаемый неаполитанскими ругательствами, и некоторое время спустя возвратился, неся в руках большую белую коробку, вероятно, с дамским бельем.

Сначала он намеревался незаметно проскользнуть мимо разъяренного продавца, но затем в нем проснулась классовая гордость, и он надулся, как индюк.

Итальянец оцепенел. Потом, подчиняясь своему южному темпераменту, со страшной горечью в голосе сказал краснощекому:

— *Thank you, thank you.*

Тот сделал вид, что не слышит.

— Дамское белье — это главное в жизни, правда? — продолжал итальянец. — А что кому-то нечем кормить семью — это вам безразлично?

— Да, мне это безразлично, — произнес краснощекий господин. — Мне тоже никто ничего и никогда не давал даром.

— Верните это белье, — попросил итальянец, — и скажите, что вы зайдете за ним завтра.

— Я именно потому и купил его сегодня, — ответил человек с розовым лицом, — что хотел продемонстрировать мистеру Бартону свою симпатию. У меня тоже магазин дамского белья.

И он ушел без дальнейших объяснений. Только оставил итальянцу визитную карточку с адресом своей фирмы. Не для того, чтобы ему могли прислать секундантов. Скорее потому, что у него выработалась привычка рекомендовать свой магазин во всех случаях жизни.

Итальянец еще долго и яростно топтал белую визитную карточку.

КОГДА НА НАС НАПАДУТ

Старший сын Брайана Павел, который учится в первом классе, пришел из школы домой и спросил:

— Мамочка, не могли бы мы поехать куда-нибудь, где совсем нет неба?

— Что ты, — сказала Божка, — небо есть всюду.

— Жаль, — протянул Павел, — а может быть, ты просто не знаешь, ведь ты и в правописании делаешь ошибки...

Втайне он надеялся, что где-нибудь все же существует мир, над которым нет неба, что они уедут туда на автомобиле с папочкой Брайаном, мамочкой Божкой и братишкой Дэвидом. Павла вчера знакомили в школе с приемами противоатомной защиты, мальчик прятался под парту и воображал, что он солдат в окопе. Завывала сирена, и игра казалась до жестокости правдоподобной. Некоторым детям она нравилась, другим — нет, но во всяком случае это было занятнее, чем урок арифметики. Павел, который вообще-то любил тревоги, каски и полевые фляги, на этот раз чувствовал себя несколько подавленным и сказал Мэрлин, маленькой девочке, с которой сидит рядом:

— Лин, если я погибну во время этого налета, похороните меня с воинскими почестями.

— Хорошо, — ответила Лин, — а что это значит: с воинскими почестями?

— Это когда на кладбище приходит оркестр.

— Эх ты, глупый, — заметила она, — ведь оркестр тоже умрет.

И они уже больше не говорили друг с другом, а только боялись.

Потом, дома, Павел рассказал обо всем Божке; при этом ему и пришла в голову мысль, что хорошо бы уехать куда-нибудь, где совсем нет неба. Павел, вероятно, видит страшные сны, и голубое детское небо, на котором должно было бы только восходить и заходить солнце, должны светить звезды и плыть добродушный, лукавый месяц из сказок, превращается для него в огненный, душный кошмар разрушения.

— Мама, — кричит Павел ночью. — Божка!

— Спи, — говорит Божка, — что тебе опять приснилось?

Но Павел не спит, он вспоминает об учебной тревоге в школе и о том, как госпожа учительница говорила, что лучше всего ходить в белом костюмчике — ведь белое отражает радиоактивные излучения, — что можно обернуть голову газетной бумагой или сунуть ее в землю; только тогда, дескать, человеку будет *«о кэй»*.

— Ну, ничего, — думает Павел немного спустя, когда его маленькое сердечко начинает биться спокойнее, — у нас дома есть убежище. Главное — не забыть шарики.

Потом он уже спокойно спит до утра.

А утром говорит отцу:

— Брайан, это хорошо, что ты каждый день покупаешь газеты: когда на нас нападут, у нас хоть будет чем обернуть голову.

БЕРЕЗЫ

На одном из самых великолепных перекрестков Парк-авеню продает газеты Джоэл Купферберг, человек удивительного характера, обладающий щуплым телом и большой головой, человек, который, как выяснилось, родился в конце прошлого столетия где-то в Литве. У него обыкновенный, ничем не примечательный киоск, почти совсем незаметный на элегантной улице, среди каменных домов; так же незаметен и сам Джоэл Купферберг, человек, который вовсе не стремится к тому, чтобы бросаться в глаза. Он словно плывет со своим киоском в ковчеге, и ему уже больше ничего не нужно, только бы его плавание протекало спокойно. Джоэл Купферберг, как и всякий американец, мог однажды стать миллионером. Никто, однако, не знает, почему Купферберг не стал им: об этом событии, относящемся к тем временам, когда еще была жива надежда, он повествует каждый раз по-новому. Здесь сказывается, вероятно, и то, что он читает довольно много газет: мне не раз казалось, что он смешивает разные истории из газет со своей собственной жизнью — это случается, впрочем, со многими американцами.

Наш первый разговор звучал примерно так:

— Что вы такое?— спросил мистер Купферберг.

— Вы о чем говорите?— ответил я на вопрос вопросом.

— Я спрашиваю, откуда вы прибыли,— пояснил он.

— Из Праги.

— Красный?

— *Yes*.

Он сказал, что *«Дейли уоркер»* у него не бывает. Я отвечал, что буду покупать *«Нью-Йорк геральд трибюн»*.

Конечно, пожалуйста, когда угодно. *«Мессиз энд Мейнстрим»* у него тоже не бывает. Он может рекомендовать *«Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт»*, солидный журнал, на прекрасной бумаге, в каждом номере помещаются беседы с выдающейся личностью, порою — с особо выдающейся. Зачем я здесь... А, как же, как же... Объединенные Нации, м-р Купферберг заходил туда. Великолепное здание, Вышинский, молодой Кэбот Лодж, высокий класс,— каждому американцу это стоит десять центов в год. А что толку, *mister*?

Потом он спросил:

— Вы, конечно, знаете, где находится Вильно?

Я подтвердил это предположение.

— А не знаете, почему теперь его называют Вильнюс?

— Вероятно, по-литовски,— ответил я.

— По-литовски, по-литовски,—сказал м-р Купферберг,— почему вдруг по-литовски? Вильно есть Вильно и всегда было Вильно. Но достаточно прийти красным — и Вильно нет!

— Это старинный литовский город,— заметил я.

— Разве я литовец?— возразил м-р Купферберг. — Посмотрите на меня хорошенько. Литовец я?

Это был аргумент, против которого нечего было возразить. Затем он спросил, знаю ли я Россию. Я сказал, что знаю.

— А в Вильно вы не были?

— Не был.

— Там еще ездят на тройках?

— В Вильно?

— Нет, в России.

Я сказал, что на тройках ездят. Мне удалось даже убедить м-ра Купферберга в этом. И он вспомнил строки из старинной песни о ямщике, который умирал в степи.

— Когда мне было пять лет,— сказал м-р Купферберг,— графиня Воронинова прокатила меня на тройке; повсюду был снег и снег, а по краям дороги наполовину засыпанные снегом стояли березы. Мне больше всего не нравится в Нью-Йорке то, что здесь не растут березы...

Я пытался возразить: вероятно, все-таки растут.

— Может быть, и растут,— согласился м-р Купферберг,— но у кого в Нью-Йорке есть время глядеть на березы?

ПЕС ПОМПЕЙ И ДИТЯ ФОРТУНЫ

Песик был старым и безобразным; коротконогое хмурое существо. Одет он был весьма экстравагантно — в зеленую курточку из тонкой замши. Его представил нам мистер Купферберг, наш поставщик газет, владелец киоска на углу 57-й стрит и Парк-авеню.

— Это Помпей,— заявил м-р Купферберг,— самая замечательная собака на Манхаттане.

На этот раз м-р Купферберг был похож на Бестера Китона*, его голос был полон иронии, а лицо оставалось серьезным.

Пса привела старая негритянка. Она реагировала на экспансивное высказывание м-ра Купферберга усталой и понимающей улыбкой и заметила, что ему не следовало бы смеяться над Помпеем, пусть он, пожалуйста, не делает этого.

— Я ни над кем не смеюсь,— заявил м-р Купферберг,— во всяком случае, не над своими покупателями.

Он продал негритянке вечернюю газету и какой-то кинологический** журнал с огромной собачьей головой на обложке.

— У этой женщины, — сказал он, когда покупательница отошла,— положение, если хотите знать, привилегированное. Она — дитя фортуны. Живет, представьте себе, на Парк-авеню, тут за углом. Но что будет, когда умрет Помпей?

— Когда умрет Помпей?

— Да, — продолжал м-р Купферберг, —

---

* Бестер Китон — популярный американский киноактер 20-х годов.

** Кинология — наука о породах собак, их дрессировке и т. д.

да, с вашего разрешения, эта самая слезящаяся, косматая тварь...

Вот каким образом у нас пробудился интерес к судьбе Джесси Т., дочери фортуны.

В Нью-Йорке живут негры богатые и негры бедные. Есть там негры, которые ездят в собственном *кадиллаке,* и негры, собирающие объедки хлеба в урнах. Нельзя сказать, что у всех негров в Нью-Йорке одинаковая участь. Есть негры, которым разрешается любить белых женщин, негры, выступающие кандидатами на выборах в городское самоуправление, негры — профессора университета.

— Разные бывают негры, с вашего разрешения.

Но в одном у негров судьба совершенно одинаковая: еще никому из них не удалось до сих пор снять квартиру на Парк-авеню или между 30-й и 90-й стрит. В этом проявляется молчаливый, нигде не зафиксированный сговор между владельцами недвижимости. Владельцы недвижимости тоже бывают различные. Один из них даже подписывается на коммунистическую газету. Но в одном они сходятся: Парк-авеню улица необычайно чистая (на ней даже цветут деревья). Непосвященные полагают, что в этом мире денег за доллары можно получить все. Да, все, *но не* квартиру для негра между 30-й и 90-й стрит, на Парк-авеню или на Пятой авеню. Это невозможно, абсолютно невозможно. Здесь проходит граница *бизнеса.*

Поэтому и можно говорить о необыкновенном счастье негритянки Джесси Т., с которой жизнь вообще-то обходилась не слишком ласково. Только на склоне лет, благодаря случаю (а также протекции) ей улыбнулась невероятная удача: Джесси Т. переселилась из Гарлема в один из домов великолепной Парк-авеню; в этом доме — мраморная лестница, и стены его украшены фресками. Джесси Т. обладает большим талантом в области ухода за собаками, кроме того, у нее отличные рекомендации от лучших семейств. Здесь, на Парк-авеню, она стала компаньонкой песика пекинской породы по имени Помпей, который принадлежал вдове богатого дельца миссис Элеоноре Ван Доорен.

Обязанности дочери фортуны Джесси Т. определялись ее профессией: по утрам она покупала печенку и тушила ее с рисом. Затем она ежедневно промывала глаза Помпея опталем, чтобы пес мог предстать пред очи своей госпожи свежим и бодрым. Миссис Ван Доорен кормила его конфетами и называла своим *«ненаглядным сокровищем».* То была одинокая женщина с чувствительным сердцем, и пес Помпей был для нее дороже всего на свете.

Час, который миссис Ван Доорен целиком посвящала Помпею, Джесси Т. должна была посвящать самообразованию: ей было приказано читать кинологические журналы. Так в эту необыкновенную историю оказался замешан и м-р Купферберг, газетчик.

Около полудня Джесси Т. обыкновенно выводила Помпея на прогулку. С некоторых пор она стала с тревогой замечать зловещую безучастность своего подопечного, равнодушно проходившего мимо самых прекрасных фонарей и самых соблазнительных сук. Джесси Т., этой опытной собачьей воспитательнице, невольно начала приходить в голову мысль о возможности близкой кончины Помпея. А так как она была стара и одинока, то ей становилось не по себе. Вечерами она не раз задерживалась возле киоска м-ра Купферберга, мудрого продавца газет, в ожидании *«Дейли ньюс»* и участливого слова. Однако мистер Купферберг бывал в это время очень занят, и она терпеливо ждала, пока он, по обыкновению, спросит ее:

— Как поживает ваш господин пес Помпей?

— Вам не следовало бы смеяться над Помпеем,— говорила Джесси Т.— Может быть, он издохнет раньше, чем вы думаете.

— Вполне возможно,— вздыхал озабоченный своими делами м-р Купферберг и спрашивал, не собирается ли миссис Ван Доорен завести себе другую собаку.

— Ну уж нет, м-р Купферберг,— отвечала задетая за живое Джесси Т.— Миссис Ван Доорен слишком любит Помпея, чтобы другой пес мог занять его место в ее сердце!

И она уходила с мрачным, тяжелым предчувствием в душе, пока однажды деловитый м-р Купферберг не сказал:

— Собаки этой породы удивительно похожи одна на другую. Я полагаю, если вы покажете миссис Ван Доорен такую же тварь, но только помоложе, она ничего не заметит. Притом вы всегда можете сослаться на статью И. Геловея «Как улучшить характер вашего пса».

— Вы действительно полагаете, мистер Купферберг, что миссис Ван Доорен так глупа?— простодушно спросила Джесси Т.

— Нет, но в ней живет беспредельная потребность любви,— уклончиво заметил м-р Купферберг.

С тех пор Джесси Т. безмятежно любуется милой ее сердцу Парк-авеню.

Возвращение в Гарлем ей теперь больше не угрожает.

Пес Помпей стал в некотором роде бессмертен.

БИЛЛИ ГРЭХЕМ

Утром миссис Бетти убирала комнату довольно долго. Она была чем-то обеспокоена и неразговорчива. Сказала только, что приедет великий проповедник Билли Грэхем и что, к сожалению, его можно увидеть лишь по телевизору, так как все билеты уже распроданы. Говорят, Билли Грэхем уже многих наставил на путь истинный, и после его проповеди в человеке происходит перелом.

— Вам хочется, чтобы в вас произошел перелом? — спросил я.

— Человеку нужна надежда,— ответила она серьезно.

Потом вместе с миссис Бетти мы сидели у телевизора и смотрели на великого проповедника. Он говорил быстро и передвигался по импровизированным подмосткам еще быстрее. У него характерное лицо молодого американского солдата, на шее тугой воротничок. Голос тоже молодой и удивительно естественный, без какой бы то ни было экзальтации — скорее назойливо убеждающий. Он говорил, как хороший американский проповедник. Я его не понимал. Миссис Бетти тоже. Но ей было достаточно духа Билли Грэхема, его голоса, его очей. Она была растрогана до слез.

А юный воин божий с тугим пасторским воротничком окончил свое выступление и застыл в библейской позе с поднятым кверху пальцем: палец этот некоторое время укоризненно торчал на телевизионном экране.

Потом диктор сообщил, что Билли Грэхем начинает крестовый поход (против кого, сказано не было), что во время этой проповеди он отшагал полтора километра и должен был немедленно сменить рубашку. Что он носит рубашки фирмы *Эрроу* с особым покроем воротничка *«Грэхем»*.

— Что вы на это скажете? — спросила миссис Бетти.

— Любопытно,— ответил я.

— Я будто вновь родилась,— вздохнула женщина.— Словно перевоплотилась... Мне жаль вас, неверующих.

Почему она родилась вновь, миссис Бетти так и не сказала — просто родилась вновь.

Таково воздействие Билли Грэхема, модного евангелиста. Его карьера — одна из многих поразительных американских карьер, непонятных консервативным по своему мышлению европейцам.

Билли Грэхем был самым заурядным студентом захудалого колледжа в Северной Каролине; он играл в бейсбол и баскетбол, водил автомобиль, превышая дозволенную скорость, и отличался непостоянством в своих отношениях с женщинами; но в один прекрасный день он был обращен неизвестным проповедником в истинную веру. Билли охотно взялся проповедовать сам, и оказалось, что эта вера пользуется успехом.

За пять лет своей деятельности проповедник Билли Грэхем приобрел около десяти миллионов постоянных радиослушателей и телезрителей; рубрику *«Билли Грэхем отвечает»* читают еще пятнадцать миллионов жаждущих спасения. У него собственный штаб, где работает около тридцати секретарей.

Единственное, что Билли обещает верующим, — это духовное воскрешение.

Каждое свое путешествие он именует крестовым походом. Любит большие хоры и церковное великолепие. Одна из его последних проповедей сопровождалась хором в составе пяти тысяч человек и аккомпанементом самых больших орга́нов Америки.

Билли Грэхем ежедневно меняет три пропотевшие рубашки и изнашивает за год четыре габардиновых костюма. За невысокую плату он предлагает людям соответствующие ценности, в основном метафизические: духовное воскрешение, утешение одиноких, которые не хотят быть одинокими и поэтому обращаются к Иисусу. За невысокую мзду Билли Грэхем стремится избавить их от одиночества, но при этом чувство одиночества отнюдь не оставляет их.

Этот пророк не лишен вкуса, он ежедневно бреется. На подмостках жизни он не желает играть в трагедиях, а когда обнаруживает трагедии, старается их не замечать. В организованном производстве чувств и мечтаний, которые вырабатывают кино, телевидение и грампластинки, нашлось место и для пророка.

Моторизованный человек желает иметь пророка по своему образу и подобию. Пророк должен уметь сменить шину.

Любимый цвет костюма Билли Грэхема — цвет незрелых плодов. Каждый день по нескольку часов кряду он слушает пластинки с текстами Ветхого и Нового Завета.

Он говорит: «Я должен насквозь пропитаться библией!»

Билли регулярно играет в бейсбол, женат, у него четверо детей. Ему тридцать пять лет, фигура у него спортивная. Он основал «Союз возрожденных Грэхема» с годовым оборотом в два миллиона долларов и двумястами постоянных служащих. Его лучший друг Клифф Бэрроуз сопровождает проповедь Билли кваканьем на тромбоне.

Мир слышит тромбон Клиффа Бэрроуза и голос Билли Грэхема, современного евангелиста.

В чем заключаются чары пробуждения, знают лишь бог и женщины. Может быть, это знает и Билли Грэхем, которому следует отдать должное. Он первым пережил это чувство.

Вечером я снова спросил у горничной, миссис Бетти, продолжает ли она еще чувствовать себя вновь рожденной.

— Я не люблю коварства,— ответила она с неприступным видом.— Билли Грэхем уже обращал и не таких, как вы!

Она рассказала о последнем деянии Билли Грэхема: владелец табунов скаковых лошадей поднялся вчера на собрании и громогласно объявил, что чувствует себя обращенным.

Потом она сообщила мне, что выходит замуж. А в общем была молчалива, короче говоря, вновь рождена.

ОН, HOW ARE YOU?..*

Брайан рассказал мне сегодня случай, относящийся к тому времени, когда он преподавал в небольшом университете в Т., неподалеку от Нью-Джерси. У Брайанов был коттедж, сад, бассейн, автомо-

* Oh, how are you? — О, как вы поживаете?.. (а н г л.)

биль марки «понтиак», и они провели отпуск в Калифорнии. Через год все кончилось, но тот год был из удачных. Они потом ни о чем не жалели, потому что были людьми, умевшими чувствовать себя счастливыми и без денег.

В один прекрасный день их посетили владелец местного банка, пастор, земельный агент и мэр. Гости были непринужденно веселы, говорили обо всем понемногу, но Брайан вскоре умолк, ибо любил говорить о вещах, которые понимал. Божка, по-своему объяснив загадочное посещение, принесла сэндвичи и виски с содовой. Выпили за город, потом за университет, потом за местный приход. Мэр сказал, что Брайан прекрасно устроился, хотя ему кажется, что для столовой больше подошла бы старинная мебель. Сам он любит кушетки и стулья в стиле рококо, хотя, собственно, не знает почему, как не знает и того, почему его жена сходит с ума по французскому секретеру в витрине магазина.

Брайан сказал, что он тоже любит старинную мебель. Пастор заметил, что атмосфера благополучия, царящая в доме, приносит душевное спокойствие и домашним, и гостям.

Божка сказала, что приходится много возиться с хозяйством.

Поговорили о хозяйстве.

Брайан дважды очень внимательно перелистал какие-то бумаги, лежавшие на столе. Это вызвало замешательство, которого, однако, никто не проявил открыто. Было ясно, что пора переходить к сути дела.

Тогда земельный агент заметил, что он еще ни разу не видел семью профессора в местной церкви и сожалеет об этом. В таком маленьком городке, сказал он, это производит не очень-то хорошее впечатление; конечно, вовсе не нужно каждое воскресенье слушать проповедь — в этом для них нет необходимости,— но, с другой стороны, в обычаях всякой подлинно американской семьи заботиться не только о теле, но и о душе.

Пастор сказал, что любителям старинной музыки несомненно понравится в здешней церкви.

На это Брайан заявил, что он в церковь никогда не ходил и ходить не будет.

Земельный агент дал понять, что такой ответ кажется ему недоброжелательным; к тому же он вспомнил, что его сын и сын Брайана Павел не только учатся в одном классе, но даже сидят за одной партой. И следует помнить: то, что снесут взрослые, дети, как натуры более непосредственные и менее сдержанные, безусловно не стерпят.

Брайан спросил, не угроза ли это.

Пастор поднялся и стал прощаться, заявив, что им было очень приятно познакомиться с такой прекрасной семьей.

— Славен бог наш, Иисус Христос,— произнес он.

Остальные гости распрощались молча.

На следующий день Павел вернулся из школы с огромным синяком под глазом.

В четверг его снова избили.

В воскресенье Брайан, Божка и их сын Павел отправились в церковь, где слушали старинную музыку и проповедь о блудном сыне. Земельный агент дружески похлопал Брайана по спине, а брат мэра пожал ему руку. Все они были методисты:

— *Oh, how are you*?..

СОРОЧКА

Брайан работал всего одну неделю, сейчас он снова дома. Он долго скрывал характер своей работы, но потом оказалось, что он посещает корабли в порту и предлагает какие-то особые сорочки, незаменимые для морских путешествий. С каждой проданной сорочки ему полагались проценты, но он так и не смог продать ни одной. Я спросил, чем эти рубашки так хороши для морских поездок.

— Не знаю,— ответил он,— я ни разу не развернул их... мне стыдно... Я не могу этого вынести...

— Ничего тут постыдного нет, дорогой,— вмешалась Божка и заявила во всеуслышание, что сегодня вечером Брайан непременно начнет писать свою книгу.

— Хотя бы одну он продал, — промолвила она, подавая нам кофе, — хотя бы одну чудесную сорочку для мореплавателей!

Брайан вдруг вскочил, резко отодвинул стул и вышел. Хлопнула дверь, а лицо его жены стало удивленным и расстроенным.

— Что это с ним? — спросила она огорченно.

ОНА ПЛАКАЛА, ПОТОМУ ЧТО ЕЙ ПОЗВОНИЛИ ИЗ БЕЛОГО ДОМА

Приближаются выборы в конгресс. Катарина Мускарелла, американка итальянского происхождения, живущая в Бронксе, написала письмо президенту Эйзенхауэру. Длинное и по-своему трогательное, с грамматическими ошибками. Катарина обещала президенту, что будет голосовать за республиканцев, потому что верит: президент не допустит войны.

Она писала также, что не разбирается в политике и что президент ей нравится, так как у него мужественная улыбка и он сам себе жарит бифштексы. Ей приходится перед сном расшнуровывать ботинки своему мужу. Она не ропщет, но перед тем как пожениться, этот человек говорил ей, что умеет готовить спагетти и другие итальянские блюда. За двадцать пять лет супружеской жизни он никогда ничего не сварил, в то время как президент порою надевает белый фартук и сам жарит мясо на вертеле.

Вот почему Катарина Мускарелла будет голосовать за республиканцев.

Писем было много, президент, конечно, не мог их всех прочесть. Но он сделал величественный жест и вместо ответа позвонил по телефону десяти разным людям в разные штаты Америки. Позвонил миссис Миллер, безработной секретарше в Окленд, учительнице воскресной школы, медицинской сестре и некоей миссис Ремер, вдове.

В квартире миссис Ремер послышался телефонный звонок, и далекий голос произнес:

— *Хэллоооо, миссис Ремер,* слушайте внимательно. С вами будет говорить президент Соединенных Штатов.

— Положите трубку, хулиган! — воскликнула возмущенная миссис Ремер.— У меня нет времени на такие шуточки!

Но телефон зазвонил снова.

И вот она разговаривает с президентом, и президент ее спрашивает, как она поживает, отобедала ли уже сегодня.

— Это очень мило, что вы звоните мне,— кричит в трубку миссис Ремер.— Мой муж был ветеран. Вы слышите меня, уважаемый *мистер президент?*

— Да, слышу,— отвечает голос на другом конце провода.— Я рад, что ваши дела идут хорошо, миссис Ремер.

— Идут, идут,— кричит миссис Ремер в телефон.— Идут, *мистер президент,* я говорю, мой муж ветеран американо-испанской войны. Мой внук был ранен в Корее. У нас неплохая семья, *мистер президент,* понимаете? У моего внука всего одна нога, *мистер президент,* вы меня хорошо слышите?

— Слышу,— отвечает голос.— Я рад, что мог с вами познакомиться, миссис Ремер. Вы говорите, ваш муж ветеран?

— Да,— кричит миссис Ремер, взволнованная до глубины души.— Он был ветеран. Все пережил. Но уже после войны его придавило деревом. Вы меня слышите, *мистер президент?*

— Будьте здоровы, миссис Ремер, — говорит президент,— желаю вам счастья. Голосуйте, пожалуйста, за нашу партию, за республиканцев!

— Конечно,— ответила совершенно искренне миссис Ремер.— За кого же еще я могу голосовать, ведь вы такой хороший, *мистер президент.* Вы меня слышите?

Но на другом конце провода уже было тихо.

Миссис Ремер была растрогана до слез.

— До чего он мил,— рассказывала она потом репортерам. — Знаете, мне еще никто в жизни не казался таким милым. И потом, представьте, ведь это же сам президент!

Президент звонил еще в Калифорнию, в Юту, в Техас и в Нью-Йорк.

Всего было десять телефонных разговоров, они продолжались тридцать пять минут.

«Нью-Йорк геральд трибюн» пишет, что *«президент готовил свои сэндвичи в рекордном темпе».*

— Вы думаете, он слышал меня? — спрашивала миссис Ремер у корреспондента местной газеты. — Ах, как это было мило с его стороны! Следите, говорит, за своим здоровьем, обратите внимание на камни в почках, миссис Ремер...

Журналист назвал свой репортаж «Она плакала, потому что ей позвонили из Белого Дома».

ПОЛИСМЕН ДЖО С. КРАТОХВИЛ, УРОЖЕНЕЦ СУШИЦЕ

Поздно вечером у киоска мистера Купферберга останавливается Джо С. Кратохвил, полисмен-чех. Он служит в нью-йоркской полиции уже двадцать пять лет. Это человек с фигурой Яношика*, неразговорчивый, лишенный чувства юмора, обалдевший от беспрестанных обходов участка и пораженный в самое сердце какой-то семейной драмой, о которой ничего не знает даже мистер Купферберг. И еще его мучит ревность к так называемым *plainclothmen* (выражаясь профессионально — шпикам) по причинам отнюдь не принципиальным: его побуждают к этому самые земные соображения, о которых речь пойдет ниже.

Мистер Купферберг поддерживает знакомство с полисменом Кратохвилом по двум причинам. Во-первых, он не настолько богат, чтобы давать взятки официальным лицам. Поэтому он считает нужным проявлять к ним внимание, так сказать, обязательного характера. Во-вторых, мистер Купферберг человек ехидный, а полисмен-колосс Джо С. Кратохвил доставляет ему немало поводов для тайной насмешки. Этим тщедушный мистер Купферберг достигает превосходства над огромным мистером Кратохвилом; это — его человеческая слабость, ибо и он из тех людей, что не замечают бревна в собственном глазу.

Впрочем, в их отношениях, быть может, заключено и нечто большее; возможно, мистер Купферберг и Джо С. Кратохвил просто любят друг друга. Оба они люди одинокие и обедают в *драгстори* и в маленьких кафе за непокрытыми скатертью столами.

— Что-то не видно сегодня полиции,— с сожалением говорит мистер Купферберг, если Джо С. Кратохвил не появляется вечером у киоска в урочный час.

Но Джо С. Кратохвил в конце концов всегда приходит.

—*How are you?* — говорит он басом.

Потом они долгое время не разговаривают; мистер Купферберг продает вечерний выпуск *«Дейли ньюс» и «Нью-Йорк пост»,* а Джо С. Кратохвил провожает каждого покупателя многозначительным взглядом, как будто полиции о нем решительно все известно.

---

* Яношик — полулегендарный словацкий национальный герой, обладавший сказочной силой.

— Как поживает *мистер Кратохвил?* — спрашивает затем мистер Купферберг.

— Как *полисмен*,— отвечает на это мистер Кратохвил.— Как полисмен в мундире, дружище. Если бы я, братец, был *plainclothman*, у меня обязательно был бы собственный счет в каком-нибудь небольшом банке. Скажем, как у вас, дружище...

Таких намеков мистер Купферберг не любит.

— Это у меня-то счет? — говорит он, повысив голос.— Да, у меня есть счет... У меня есть счет у Моргана, *мистер Кратохвил.*

Было ясно, что полисмен Кратохвил видит в бизнесе мистера Купферберга неограниченные возможности, в то время как мистер Купферберг тайно завидует тому, что у мистера Кратохвила есть постоянный, хотя и скромный доход. У одного явное почтение к бизнесу, у другого тайное — к государственной службе. Оба хотят того, что им не дано. Только глядя друг на друга, они чувствуют себя в стране неограниченных возможностей.

Любимая тема полисмена Кратохвила — коррупция.

— Я знаю человека,— говорит он,— имени его я вам не назову, который получает взяток на пятьдесят долларов в день. Это когда день неудачный. *Sure.**

Потом он смотрит в упор на мистера Купферберга и спрашивает:

— Вас это не волнует?

— Меня? — удивляется мистер Купферберг.— Почему меня? Это вас должно волновать, *мистер Кратохвил,* потому что вы тоже брали бы.

— Брал бы,— сокрушенно признается полисмен Кратохвил,— я этого не отрицаю. Но все загребают *plainclothmen.* Каждый уважает мундир. Решились бы вы, например, подкупить меня?

— Не решился бы,— лукаво отвечает мистер Купферберг.

— Везде коррупция,—разочарованно констатирует полисмен Джо С. Кратохвил.

И мистер Купферберг сочувственно поддакивает.

— Все загребают *plainclothmen,* — упорно повторяет Кратохвил.

— Да, да,— уже безучастно отвечает мистер Купферберг.

Перед тем как уйти, очнувшись окончательно от грез, полисмен Джо С. Кратохвил задает своему приятелю каверзный вопрос:

— Сбережения растут, *мистер Купферберг?*

— Да ведь у меня их нет,— сухо отвечает тот, радуясь, что полиция уже уходит.

Одну вещь еще нужно добавить: у мистера Купферберга действительно нет никакого счета. А Кратохвил, действительно ли он такая лиса? Он, кажется, родом из Сушице. Кто знает семью с такой фамилией, сообщите, пожалуйста, размер ее вклада в деревенскую кассу взаимопомощи.

Правда, если рассматривать это дело исторически, семья скорее всего еще должна в эту кассу. Почему бы иначе огромный Джо С. Кратохвил, полисмен в мундире, появлялся на нью-йоркских улицах?

ЖЕНИТЬБА, ИЛИ КАК ВАМ НРАВИТСЯ МЭРЛИН?

Выяснилось, что парикмахер Джованни Маруццо женится на горничной Бетти. Когда они познакомились и как развивалась их любовная история, осталось тайной, только у Маруццо слегка округлилось лицо, он казался помолодевшим и немного смущенным.

— Так вы все-таки собираетесь жениться? — не без ехидства спросил я.

Он держался теперь более чопорно и намыливал меня молча. Я спросил о его бывшей невесте.

— Мы не подходим друг другу,— нехотя пробурчал он,— характерами не подходим, понимаете?

А потом усмехнулся той неприятной напускной усмешкой, с помощью которой человек словно оправдывается перед самим собой.

— Ведь я еще совсем не жил,— пожаловался он,— а мне скоро шестьдесят. Скоро шестьдесят, сэр...

Синие, красные и белые линии спиралью убегали куда-то в бесконечность, откуда, казалось, не было возврата. Но притом это были все те же синие, красные и белые полосы — и они вовсе не убегали в бесконечность, а просто вились вокруг столбика.

Когда наше молчание стало казаться слишком долгим для традиций этого заведения, парикмахер Джованни неожиданно проявил свой страстный итальянский темперамент и воскликнул:

— Я послал ей письмо, сэр! Я не могу всю жизнь заботиться о калеке! Я тоже хочу быть счастливым.

И, слегка успокоившись, прибавил:

— Мне нужна диэта... И грелка для ног, сэр!

Его заведение было разукрашено. Здесь были картинки, вырезанные из бульварных журналов, обольстительные танцовщицы из кабаре. Золото и коричневая краска казались неподвижными в сравнении с романтикой синих и белых полос.

— А как вам нравится Мэрлин? — неожиданно спросил он интимным голосом.— Вот красота, правда?

Он имел в виду актрису Мэрлин Монро, модное тело Америки. Обмахивая меня своей метелочкой, он снова проговорил:

— Не могу же я всю жизнь заботиться о калеке, сэр...

* Sure — уверяю вас (англ.).

ПО ДОРОГЕ НА КОНИ-АЙЛЕНД *

В подземке, которая везла нас на Кони-Айленд, была воскресная толкотня, и большие вентиляторы под потолком не успевали осушать пот на лицах пассажиров. Пассажиры были праздничные, с порозовевшими или вконец опухшими от долгого сна лицами — одним словом, настроенные на день седьмой, который обещал быть удачным: желто-золотое, с теплым ветром утро подавало надежду на прекрасную погоду.

Д-р К. и я сидели слегка помятые, но довольные, как и все иностранцы, которым удается хоть минутку пожить жизнью местных обитателей.

Напротив нас расположились два необычайно веселых парня с одинаковыми светло-розовыми галстуками. Рядом с ними сидел маленький угрюмый человек и читал еврейскую газету. Угрюмый человек время от времени укоризненно поглядывал на шумных молодых людей, а парни, замечая это, отвечали на каждый такой взгляд новым взрывом необузданного хохота, который заставлял человека прятаться за большим газетным листом. Один из парней рассказывал о том, что они были на вечеринке у Джейн, и про все, что там происходило: как выбрасывали бутылки в окно и как какому-то Стетсону залепили в глаз бутербродом с яичным желтком.

— Говорите, пожалуйста, тише, — отважился вдруг заметить человек, читавший газету,— вы ведь здесь не одни.

— Заткнитесь сами, пока вам кто-нибудь не помог,— произнес тихим многозначительным голосом один из обладателей бледно-розовых галстуков.

Этого было достаточно. Мужчина с газетным листом замолчал; только однажды он с каким-то изумленным, болезненным испугом посмотрел на нас, свидетелей этой сцены. А *subway*** продолжала греметь.

На одной из станций вошла старая негритянка с большой сумкой. Мой спутник, истый пражанин, предложил ей место. Но женщина не села, заволновалась и с окаменелым лицом принялась смотреть в окно.

— Садитесь,— вежливо повторил добрый доктор К.

Она отказалась и снова взглянула на него быстрым недоверчивым взглядом.

Парней в бледно-розовых галстуках эта сцена рассмешила до такой степени, что один из них прямо задыхался от хохота и только выкрикивал:

— Господи, парень, да я подохну.

Он похвалил доброго доктора К., и его круглые глаза при этом восторженно блестели:

— Вы молодец, старикан. Самый превосходный комик, какого я знаю. Молодчина... Мы вас еще не видели по телевизору?

Безразличные люди в вагоне начали проявлять любопытство, только негритянка, нахмурившись, с побелевшими губами, смерила нас долгим взглядом, полным стыда и вместе с тем презрения. Она вышла из вагона и осталась стоять на станции. *Subway* продолжала реветь.

Человек за большим газетным листом не выдержал и сказал, обращаясь к нам:

— Вам следовало бы помнить, *мистер,* что негры — тоже люди. Мы не на юге — в Нью-Йорке порядочный человек не станет издеваться над неграми.

Ни один из нас не умел толком объяснить, что это был лишь хороший обычай жителей Праги, которого мы придерживаемся и за границей.

А парни снова загоготали.

— Вы самый прекрасный комик, какого я только знаю, — произнес энергичный розовый галстук.— Я хотел бы жить с вами в одной квартире, дружище. Нам было бы неплохо. Обоим. И еще на девочек хватило бы!

Потом лицо его внезапно приняло суровое выражение. Он повернулся к маленькому человеку с газетой и заявил:

— А ты, пройдоха, лучше бы не вмешивался... Весь дух нам тут в *subway* отравишь, нахальный еврей...

PUBLICITY

Было воскресное утро, мы с К. отправились на Бэттери.

Здесь, недалеко от океана, запущенным, грустным садиком начинается Бродвей. В этом садике (как и во всяком другом) много скамеек, а на скамейках (как и в садах всего мира) сидят люди. Только у этого садика есть одна особенность: в нем не бывает детей. Это сад для взрослых, без мамаш, без колясок, без разноцветных мячей и песка. Садик на Бэттери похож на приемную некой несуществующей амбулатории: человек все время ждет, что где-то откроется какая-то дверь, выкрикнут чье-то имя, кто-то поднимется и торопливо уйдет. Но здесь слышен шум близкого океана. Люди тут собираются особые: загадочные, бледные существа с руками, сложенными на коленях; негры, спящие сидя неспокойным дневным сном; старые женщины с каменными лицами; тощие, нервные подростки, дерзкие и озлобленные.

Это приемная для тех, кто ожидает всего и ничего.

На одной из скамеек было свободное место; там сидел один-единственный спокойно дремавший человек в соломенной шляпе, поля которой бросали тень на его глаза. Было жарко, и с лица стекали струйки пота.

Он проснулся и почмокал губами — губы у него были сухие, фиолетового оттенка, как у людей с больным сердцем. Затем он

---

* Кони-Айленд — остров близ Нью-Йорка, любимое место отдыха и развлечения нью-йоркцев.

** Subway — подземная дорога, метро (а н г л.)

без всякого интереса посмотрел на нас и, скорее по необходимости, чем по внутреннему побуждению, начал разговор.

— Как живете, *boys?* — спросил он. — У вас все в порядке, ребята, не так ли?

Было жарко.

— Ну что ж,— продолжал человек,— можем и помолчать. Я не люблю навязываться, ясно?

Тишина.

— Вы думаете, я невесть кто,— сказал он после длительной паузы.— Признайтесь, ребята, вы так думаете? Я знаю, как я выгляжу. Но внешний вид ничего не значит. Вы можете выглядеть как угодно, но Америка должна вас знать.

Он вытащил истрепанный бумажник и с минуту рылся в нем. Нашел старую подклеенную газетную вырезку, которую, должно быть, уже неоднократно разворачивал и вновь складывал. На ней была видна наполовину стершаяся фотография и короткая надпись, гласившая, что Х. К. Браун был уже в сорок девятый раз изгнан из города Майами по указанию правительственного комитета, пекущегося о людях, не имеющих постоянного местожительства. Бродягу Х. К. Брауна, говорилось дальше, отвезли за городскую черту, и там он заявил:

— На будущий год я приеду в пятидесятый раз. Прошу, чтобы город угостил меня тогда за свой счет чашкой кофе.

Этим газетное сообщение заканчивалось.

Все то время, пока мы просматривали вырезку, человек на скамейке скромно и торжественно молчал, как начинающий поэт, который принес в редакцию свои первые стихи и уверен в том, что лучших стихов никогда еще написано не было.

Затем он осторожно отобрал у нас вырезку, заботливо положил ее в бумажник и неожиданно улыбнулся чудесной ребяческой улыбкой.

— Вот видите, *boys*,— произнес он,— никогда нельзя угадать, с кем сидишь рядом. Я не похож на человека, о котором пишут в газетах. Я это знаю. Но можно выглядеть совсем обычно и иметь *publicity*. А вы знаете, что в этой стране означает *publicity*? Я скажу вам: все!

Больше он не говорил и вскоре снова заснул.

За скамейкой рос тамарис; бог знает, кто его здесь посадил. У него были нежные тоненькие веточки и светло-зеленая легкая вуаль из листьев.

Здесь начинается Бродвей — широкий, светлый путь.

ЕЩЕ РАЗ — БЕРЕЗЫ

Вчера, в книжной лавке на Мэдисон-авеню, я обнаружил репродукцию старой русской картины «Березы». Березы росли среди разбросанных деревенских домиков, поднимаясь из синеватых, тяжелых снежных сугробов. Это было прекрасно и стоило доллар.

А так как мне нужно было подумать о прощанье с мистером Купферберг, березы неожиданно пригодились. Я принес их, вручил, и мистер Купферберг радовался, как ребенок.

— Красивая картинка,— сказал он растроганно,— я повешу ее на киоск.

Мы распрощались, сердечно пожав друг другу руки между стопками журналов *«Лайф»* и *«Лук»;* может быть, мы бы и расцеловались, если бы не природная застенчивость. Невдалеке загорелась электрическая лампочка, и пестрый киоск стал неожиданно похож на маленький, искрящийся Таймс-сквер, яркие обложки заискрились синими, зелеными и лиловыми красками, и мгновение казалось, что известная балерина Зорина собирается сойти с титульной страницы *«Лайфа»* и сделать пируэт на свертке со свежими номерами вечерней газеты *«Нью-Йорк пост»*.

И вдруг весь киоск подернулся нежной зеленой завесой. Это загорелся огонь, разрешающий движение. Поток автомобилей тронулся: сплошной свет, сплошной блеск черного лака и стекла. Балерина Зорина скромно стала на свое место на посеревшей обложке *«Лайфа»*. Большой заголовок *«Нью-Йорк пост»* стал неразборчивым, превратился в грязноватую полоску. А бесконечная река автомобилей текла к следующему красному огоньку, которому предстояло остановить ее.

Через неделю кончится пребывание балерины Зориной на обложке *«Лайфа»*, кончится и ее слава; мало кто будет в воскресенье помнить о том, что было сенсацией в прошлый четверг. Даже модели автомобилей меняются каждый год.

Вот почему в ту минуту особенно красивой казалась бесконечная снежная даль с двумя скромными белыми березами. То была поэзия, которую не лишат очарования ни время, ни сигналы светофора.

ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ НЬЮ-ЙОРК

Все те же прогулки, все те же стрит.
До бесконечности — Нью-Йорк.

Потемневшие дома, поржавевшие пожарные лестницы, гладильня, бар, химическая чистка, бар...

Ах, боже мой, какая это была улица?

Перед старым домом стоял автомобиль, выкрашенный в кричащий барвинковый цвет, к нему был прикреплен прицеп. За рулем сидел странного вида человек, нетерпеливо жевавший сигарету. А на тротуаре перед домом беспомощно стояла женщина со старомодным деревянным стулом в руках. Затем она заботливо уложила стул на прицеп, а мужчина за рулем, не удостоив ее даже взглядом, небрежно спросил:

— Ты уже все сделала, Джейн?

— Да, все уже сделала,— ответила женщина.

— Мебель уложена?—спросил мужчи-

на, делая ироническое ударение на слове «мебель».

— Да, милый,—сказала она,—вся мебель уложена.

— А где ублюдки?— бросил человек за рулем.

— Дети сейчас придут, отец,— ответила она,— сейчас придут, только простятся.

Вскоре из ворот дома, перед которым стоял яркий автомобиль, вышли дети — мальчуган лет двенадцати и малюсенькая девчушка с блестящей, засаленной косичкой. За ними высыпали соседи: две старые женщины, однорукий юноша-пуэрториканец со строгим лицом оливкового цвета и старый еврей в черном халате, с круглой шапочкой на голове.

— Так-так,— сказал еврей в шапочке.— Бог с вами, Майк. Да пошлет вам господь жизнь получше.

— Какой бог,— спросил мужчина в автомобиле,— еврейский? Или католический?

Женщина тем временем прощалась с соседями. С ней поцеловалась одна из старых женщин, затем ее немного неловко обнял человек в черном халате.

— Не лижитесь с моей старухой, паршивый еврейчик,— крикнул с серьезным выражением лица мужчина в автомобиле.

— Перестань, Майк,— устало сказала женщина.—*Мистер Перльман* устроил сбор денег для нас и принес нам на дорогу одиннадцать долларов.

— Ну, ладно,— донеслось из машины.— Коли так, поцелуйтесь!

Однорукий пуэрториканец все это время молчал. Только раз он почти незаметно, но с неизъяснимой грустью улыбнулся женщине. Ее опущенные руки были белыми, почти прозрачными. И, как это всегда бывает, мы слишком поздно поняли, что для кого-то в эту минуту уходило в прошлое одно из тех мгновений, с которыми не хочется расставаться.

— Иди же, Джейн, поедем наконец,— позвал тот, в автомобиле.

В машину влезли дети, мотор заработал. Женщина будто вытерла руки невидимым фартуком, как она привыкла это делать на кухне. Но уже не подала больше свою белую руку никому.

Потом они уехали. Соседи вернулись в дом, только однорукий пуэрториканец остался стоять, опершись о стену; его темное лицо на миг слегка озарилось синим неоновым светом.

Какая же это была улица?

Боже мой, какая это была улица?

СЛЕЗЫ

Брайан получил работу и вновь потерял ее. Три дня он работал статистиком в какой-то мыловаренной фирме, потом его, как обычно, вызвал к себе важный господин и имел с ним вежливую, но весьма печальную беседу, из коей следовало, что правление изменило свои планы и что Брайан, к глубокому сожалению и скорее всего на время, должен оставить службу в этой компании.

— Что вы, собственно, натворили?—спросил затем конфиденциально важный господин.

— Ничего,— отвечал Брайан,— я только пытаюсь остаться американцем.

Важный господин пришел в ужас и сухо сказал, что он любит факты, а не пропаганду.

Мы прождали Брайана до полуночи. Божка волновалась и все ждала телефонного звонка. Телефон действительно время от времени звонил, но каждый раз кто-то, не говоря ни слова, вешал трубку.

— Все время так делают,— сказала Божка. Волосы у нее растрепались, а глаза были на мокром месте.

Наконец Брайан вернулся. Он был неестественно весел, пил джин и варил черный кофе. Затем дело дошло до обмена мнениями, и супруги поругались из-за книги о национальной экономике, которую Брайан недавно закончил и передал в издательство. У издательства были свои четко сформулированные взгляды. У Брайана — свои.

Божка сказала ему, что денег у них хватит примерно до будущей недели, что им надо платить за детский сад, что политические убеждения — вещь хорошая, пока дети сыты, что ей тоже приходится идти на компромиссы, которые ей раньше и не снились, и что она, собственно говоря, несчастна.

— У меня жена мещанка,— в шутку сказал он и этим вызвал у нее слезы.

— Я тебя люблю,— сказала Божка,—за все, и за упрямство тоже. Но мне хотелось бы хоть немного пожить как следует.

— Любой ценой?—спросил Брайан.

— Да какая там цена, скажи, пожалуйста,— ответила она.— Другие делают вещи похуже. Напиши так, как они хотят, и поедем отдыхать.

Брайан пообещал завтра же начать писать и отправиться за авансом. Но все мы смеялись, потому что было ясно, что и писать он не начнет, и за авансом не отправится.

Проснулся маленький Дэви, выбежал из спальни босиком, в синей пижамке и заспанным голосом спросил, почему везде горит свет, хотя уже утро.

Родители ему объяснили, что еще не утро, а ночь...

И видно было, что оба крепко любят друг друга, и что не будь здесь с ними никого, они бы мало об этом горевали. Они пели песни: старую американскую, из времен гражданской войны *"When Jonny comes marching home"**, и песню Бёрнса *"Old long Syne"***, и ту, что начинается словами *«Выпей за меня одними глазами»*. И ис-

* „When Jonny comes marching home"—«Когда Джонни возвращается из похода домой» (а н г л.).

** „Old long Syne" — «Долговязый старина Сайн» (а н г л.).

панскую *"Los cuatro generales"**, и *«Полюшко, поле»*...

Устами этого простого парня Брайана и его жены-чешки Божки мне пела сама Америка, и у меня слезы стояли в глазах.

ПИСЬМО

«Дорогой друг!

Как ты и сам знаешь, иногда случается, что человек пишет письма просто так, для себя. Это те письма, о которых мы заранее знаем, что они не будут отправлены. Неожиданно у нас появляется желание написать кому-нибудь длинное письмо, собственно говоря, без всякого повода, хотя известно, что тот, другой человек, так называемый адресат, будет удивлен этим: быть может, у него куча долгов и дети больны корью. Такое письмо можно написать, но не следует относить на почту. Уместно послать маленькое письмецо с теплым приветом. Вот так же и я, дорогой друг, кончаю эту книгу. Впрочем, это не совсем так. Я, собственно говоря, эту книгу не дописал: мне вдруг неожиданно захотелось поставить точку — без сомнений, без размышлений и поисков. Мне показалось, что я бренчу все на одной и той же струне, а ведь этого мало для хорошей музыки. Я неожиданно заметил, что из всех цветов пестрой американской радуги на долю скромной палитры «бабьего лета» досталось лишь несколько серо-коричневых оттенков, а этого недостаточно...

И вообще-то я писал книгу не об Америке, а только о том, как мне, одинокому, чужому человеку, было грустно в неприветливом городе Нью-Йорке. Быть может, мне было грустно лишь оттого, что я вообще бываю грустным — не только на берегу Ист-Ривер, но и на влтавской набережной.

Надо сказать, мне приходилось трудновато хотя бы потому, что время не было благоприятным даже для не слишком неистовых репортеров. То была странная экскурсия — не столько поиски людей и происшествий, сколько блуждание по улицам, которые все казались мне одинаковыми. И при этом приходилось оглядываться, не идет ли за мной кто-нибудь. Ведь ты хорошо знаешь — это было время подозрений.

Таким образом, я лишь регистрировал мимолетные взгляды, понятые с трудом английские фразы и случайные встречи. И не делал больше ничего — только складывал около себя эти камешки, серые, черные и белые. Ну, и прибавлял немного выдумки.

Поздние вечера я посвящал своему любимому занятию. Я смотрел из высоко расположенного номера отеля на огненную мозаику окон — нью-йоркскую галактику. За каждым созвездием я видел следующее, за близкой звездой — тысячи дальних. Млечные пути неона, огни на улицах, на которых я никогда не был...

Один раз мы смотрели на город с тобой вместе.

Я вспоминаю о том вечере на мостках, среди соленого запаха моря. Перед нашими глазами светился Нью-Йорк. Он был похож на мозаику с сюжетом «Вселенная». То было волнующее и по-своему неповторимое зрелище. И, подбирая слова, чтобы получше выразить свое чувство, я не нахожу ничего выразительнее слов «электрическое великолепие»!

Тень набережной скрывала твое лицо, глядя на эти огни, ты заговорил:

— Я завидую тебе, тому, что ты не живешь в Нью-Йорке.

Потом ты стал говорить о жестокости жизни, о материальных ценностях и их соотношении, о том, как тяжело жить человеку, обладающему обыкновенным человеческим сердцем, на этом железобетонном ринге. В тот вечер, когда светило столько огней, ты испытывал страх за разум своих детей. И я понял твою боязнь, потому что за короткий срок пребывания в этой стране стал немного разбираться в сложном характере ее поспешно созданной цивилизации. Но неожиданно я поймал себя на том, что слушаю тебя недостаточно внимательно. В ту минуту расцвеченный огнями Нью-Йорк нравился мне больше, чем все, что я когда-либо видел. И, стоя лицом к лицу со светящейся мозаикой, раскаленными моделями небоскребов и летящими арками мостов, я не мог не думать о неправдоподобно маленьких человеческих руках, создавших это. Я думал еще и о том, что уже не сумею выучиться здесь говорить по-английски и что было бы большим счастьем, если бы я мог высказать все это так, чтобы мы хорошо поняли друг друга.

Я не очень внимательно слушал тебя, такова уж человеческая натура.

И еще я сказал тогда:

— Твой отвратительный город прекрасен.

На следующий день ты прислал мне толстую книгу о национальной экономике. А я забыл ее в отеле.

Я хочу признаться тебе в том, что твою книгу я так и не прочел, но слушал тебя с удовольствием, и не потому, что хорошо тебя понимал: для этого я недостаточно знал английский язык. Я только утвердительно кивал головой, пил содовую воду и старался придать своему лицу сосредоточенное выражение. Но я смотрел с огромной радостью на твое лицо, лицо честного человека. В нем я тоже видел Америку.

Спасибо тебе за кофе, дорогой друг.

Передай привет своим детям, хорошим маленьким американцам, и своей жене, которая не любит небоскребов и хотела бы жить на тихой улице.

Только на свете мало тихих улиц, мой дорогой...»

ДОЖДЬ

В день отъезда шел дождь, и казалось, что ветер несет учащенное, горячее дыхание моря. Одному это несло лишь грипп, другому дыхание моря вдруг навеяло желание увидеть сквозь завесу дождя

* «Los cuatro generales» — «Четыре генерала» (и с п.).

Градчаны* или хотя бы обыкновенный тротуар «на Мустку»**.

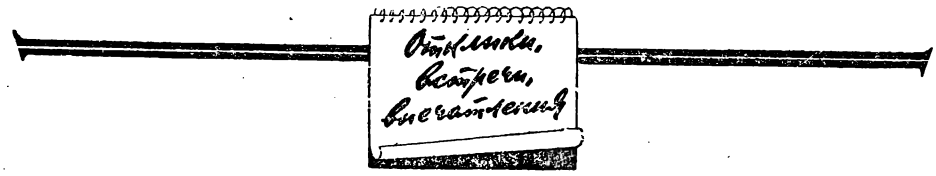
Через неделю я буду уже вдыхать дым на центральном вокзале в Праге.

Я стоял на углу мокрой улицы, город почти растворился в дожде. Холодно блестевший Нью-Йорк выглядел таинственно, и мне вдруг показалось, что это — город, которого я еще никогда не видел, еще не открытый, не изученный, громадный, и мне следовало бы завтра начать изучать его.

Меня утешало только то, что двенадцать миллионов обитателей Нью-Йорка его также никогда не изучат...

* Градчаны — пражский Кремль.

** «На Мустку» — перекресток в центре Праги.



Михаил Кольцов

Памяти Матэ Залка

В июне исполняется двадцать лет со дня гибели на фронте в Испании генерала Лукача —.замечательного венгерского писателя-коммуниста Матэ Залка. В связи с этой датой мы печатаем речь Михаила Кольцова, произнесенную им в декабре 1937 года на вечере в Доме советского писателя.

Пребыванию Матэ Залка в Испании посвящены и многие страницы публикующихся в этом же номере журнала воспоминаний его адъютанта Алексея Эйснера «Писатели в интербригадах».

Товарищи, еще не настало время рассказать полным голосом все, обо всем и обо всех, участвовавших и участвующих сейчас в борьбе в Испании.

Когда отдаляешься на расстояние от этой борьбы, когда Испания перестает быть вот здесь, а куда-то отодвигается налево, в левый угол карты, и когда от нее остаются только сводки, сообщающие, что там-то и там-то была артиллерийская перестрелка, что там-то мятежники пытались, там-то концентрировались и т. д., особенно чувствуешь, как много нужно рассказать и что почти еще ничего не рассказано об этой огромной эпопее, об этой первой вооруженной борьбе с фашизмом. Ведь до Испании фашизм приходил к власти в Германии, в Италии методами террора, но не встречал настоящей, большой, организованной вооруженной силы, которая бы ему сопротивлялась. В Испании это произошло впервые, и впервые испанский народ, который ведь, в сущности, гораздо слабее, гораздо неопытнее других народов, атакованных фашизмом, дерзнул выступить против фашизма. Он дерзнул остановить его вооруженной рукой. И когда вы иногда огорчены известиями из Испании, когда вам не нравятся сводки, вы все-таки должны вспомнить, что этот народ, который сражается там, остановил фашизм, он ему не покорился и, я убежден, не покорится ему. (**Аплодисменты**). И несмотря на то, что половина Испании захвачена соединенными силами трех с половиной государств, как называют противника испанские республиканцы, этот народ сопротивляется, и он свою оборону, свое сопротивление все время укрепляет для того, чтобы в определенный момент превратить ее в наступление и в разгром врага.

И вот одна из самых блестящих, самых трагических глав в будущей книге или будущих книгах (я говорю будущих, потому что хотя есть уже и настоящие книги — уже вышло немало томов о борьбе в Испании,— но это пока еще не то, чего заслуживает испанский народ и чего заслуживает материал борьбы), в этих будущих и настоящих книгах самыми, может быть, яркими, с точки зрения международной, будут главы о том, как люди других наций, других языков, люди, вооруженные ненавистью к фашизму, как они стали испанцами для того, чтобы драться с фашизмом. В числе тех, кто стал испанцем для того, чтобы драться с фашизмом — я говорю совершенно объективно,— одна из наиболее ярких, красочных и трогательных фигур — это фигура испанского генерала Павла Лукача, фигура нашего друга Матэ Залка. И опять-таки я повторяю: сейчас нельзя полным голосом рассказать всех деталей этого последнего периода жизни, может быть, самого блестящего периода жизни большевика Залка, большевика Лукача, который протекал в Испании. Для этого надо было бы затронуть ряд вопросов, о которых сейчас говорить нельзя.

Так или иначе, фактом остается героическая борьба генерала Павла Лукача, которую никак уже нельзя вычеркнуть не только из истории борьбы с фашизмом, но и из испанской истории. Матэ Залка вошел в историю Испании как преданный боец за Испанию, за испанский народ, за испанскую землю против иноземных захватчиков, угнетателей.

Он попал, так сказать, в испанцы, в испанские герои, но не изменил ни одной своей черточки, остался тем, кого мы знали как Матэ Залка. Он был из такого добротного материала, что ему не понадобилось переиначиваться ни на йоту. Когда в один из наиболее тяжелых, наиболее драматических дней борьбы в Испании, когда Мадрид висел на волоске, вдруг по телефону раздался знакомый голос и кто-то ласково сказал: «Михаил Ефимович, можно с вами поговорить?», я почувствовал, что этот человек абсолютно целиком перенесен сюда и что здесь он будет всегда таким человеком, каким знали огромный период его жизни люди, с которыми он работал, который волновался, который выступал здесь, в нашей Москве. И действительно, это оказалось так.

Матэ Залка попал в Испанию в самый трудный момент борьбы, когда испанская армия была еще аморфна, она еще только формировалась, причем, увы, формировалась в отступлении. Это был момент, когда этим героическим, но неорганизованным испанским частям, когда этим бойцам, у которых была только маленькая горсточка командиров, была нужна какая-то ударная сила, смелая и опытная. Нужно вспомнить этот момент. Я уже не говорю о тех генералах и командирах, которые предали их с самого начала гражданской войны и перешли на сторону мятежников. Я говорю о том, что и в республиканской армии, особенно среди старого офицерства, были такие, кто в трудный момент обнаружил свои чувства и начал предавать и саботажничать... И в то время, когда небольшое число преданных людей делали все, чтобы сцементировать испанские части, в это время помогли товарищи из-за рубежа, помогли опытные солдаты. Одним из руководителей этой помощи оказался наш добрейший, милейший, тишайший Матэ Залка, совершенно, повторяю, не изменивший своей природы, став твердым боевым командиром во главе труднейшей по своему составу части. Эта часть должна была, наскоро сформировавшись из самой разношерстной и по национальности, и по военному воспитанию, и по квалификации человеческой массы, с трудом даже понимая друг друга, должна была с хода, с марша включиться в оборону Мадрида, который был на волоске. И, включившись в оборону Мадрида, принять на себя самые тяжелые бои. И вот Лукач оказался командиром одной из интернациональных бригад, оборонявших Мадрид.

Товарищи, этот человек сумел буквально на ходу, буквально в течение даже не дней, а часов сплотить эту массу вокруг себя. Здесь были французы, итальянцы, немцы, чехословаки, венгры, поляки. Они не понимали друг друга, но Лукач понимал всех и все понимали Лукача. У него был какой-то особый талант одним своим появлением, своим спокойствием, своей улыбкой и несколькими словами, произнесенными иногда на неизвестном языке, на какой-то смеси французского с немецким, с венгерским, с каким угодно, как-то ободрять людей, как-то внушать им, что дело идет, что дело двигается. А внушить это было, товарищи, необходимо. Ведь в то время противник, пройдя 400 километров, заканчивал с разбега последний этап операции. Уже был издан приказ о том, какая дивизия мятежников, в каком квартале Мадрида должна расквартироваться; фашисты уже фактически вступили в город, в Университетский городок. И именно здесь, именно в Университетском городке был боевой участок бригады, которой командовал генерал Лукач. Именно здесь разгорелся тяжелый бой у Паласетте, у других объектов, и здесь, в этих тяжелых кровавых боях, сплотилась и выковалась XII интернациональная бригада.

В эти дни было замечательно наблюдать Лукача. Для людей посторонних, людей его не знавших казалось, что это какой-то необычайной квалификации военный профессор, кончивший три военных академии, либо человек, только что приехавший с другого фронта. На самом деле вы знаете, что Матэ Залка был военным специалистом весьма отсталым, у него был опыт старой гражданской войны. Очень долгое время Матэ Залка не воевал. В этом свойство, в этом особенность всех людей, которые подолгу работают в рабочем движении, которые живут в нашей стране и честно и преданно работают и принимают участие в социалистическом строительстве, в культуре. Они, сами того не замечая, все время учатся, все время квалифицируются, все время шлифуются.

Эти способности помогли ему сразу, в несколько дней, развернуться и из мирного венгерского писателя превратиться в генерала испанской армии, в которой он командовал одной из бригад и впоследствии дивизией, командира, чья бригада участвовала буквально во всех мало-мальски ответственных операциях, начиная от боев в Университетском городке, затем в Махадеонде, в Лас Росас, новогоднем наступлении и разгроме итальянцев на Гвадалахаре. Потом — последняя незавершенная операция — попытка атаковать Уэску. Во всех этих важнейших и труднейших операциях участвовала бригада Лукача и он вместе с ней.

Он был действительно неутомимый воин, и единственно, что его сдерживало и что заставляло его ворчать, это когда бригада посылалась без отдыха из одного сражения в другое, это его боль, забота, тревога о людях. Это было больной стороной у Залка. Он переживал, может быть, даже слишком сильно для командира в разгар войны, но так чудесно для человека, для писателя, для большевика, переживал потерю, гибель каждого своего солдата, каждого своего офицера, каждого своего бойца. И Залка, который на поле боя, в операциях был самым мужественным, самым настойчивым, самым неоглядным человеком, после боев нуждался в утешении. Не раз я видел

слезы на его глазах, когда он после боя возвращался из батальонов с опущенной головой и про себя шептал имена людей, павших в бою. Тут в нем просыпалось то мягкое, то бесконечно человеческое, что мы знали в Матэ Залка здесь, в Москве. И тогда он запирался или оставался с кем-нибудь из очень близких людей. Ожесточенная борьба не убивала в нем ощущения ужаса гибели людей. Ведь гибли-то замечательные люди. На подступах к Мадриду—это можно уже сейчас сказать—погибли прекраснейшие кадры антифашистов всех стран. Они отложили в сторону свою высокую квалификацию пропагандистов, организаторов, руководителей, они пошли в бой просто как солдаты и своими телами преградили путь фашизму на Мадрид. И, конечно, Залка это понимал как никто.

Вот это свойство большой человечности у Матэ Залка было залогом того, что вся интернациональная бригада, которой он командовал, и особенно коллектив вокруг него, штаб, командиры, они все как-то ориентировались на него, они составили какое-то боевое братство, изумительно тесное, изумительно бодрое, веселое, изумительно какое-то жизнеспособное и жизнерадостное.

Залка умел их цементировать, умел както держать их всех. Очень умел, очень умел, товарищи!

В нем было огромное чутье к людям, и это чутье руководило всей жизнью бригады. Он напрягал, сжимал людей в момент боя, в момент, когда нужно было отдать все, и это чутье подсказывало ему, как разрядить людей после боя, в промежутки между сражениями.

Когда в такие тихие дни придешь в штаб к Лукачу, то застаешь очень веселое землячество, и не верится, если не знаешь этих людей, что они вели кровавые тяжелые бои. Они смеются, шутят, слушают граммофон, и сам генерал, не боясь, что его достоинство будет уронено, исполняет на карандаше разные мелодии. Излишне говорить, сколько такой штаб пел. Если песни начинались, то кончались только под утро, потому что нужно было перепеть большое количество песен и болгарских, и венгерских, и всяких других.

Но как только получался приказ, сразу это веселое сообщество превращалось в боевой, энергичный, распорядительный и храбрый штаб. Мне кажется, что если сравнить работу Лукача с работой других командиров, то по дружбе и по спаянности его штаб и вся бригада были на первом месте.

Я помню дни на Гвадалахаре, дни перед победой. Когда сейчас говорят о Гвадалахаре, то вспоминают, что там были разгромлены итальянцы, забывая при этом, что итальянцы пришли разгромить республиканцев, и в первые дни итальянского грозного наступления, когда на Гвадалахару перла почти шестидесятитысячная моторизованная, механизированная армада, когда около двухсот орудий обстреливали республиканские позиции, тогда было не до смеха, и в начале Гвадалахарской операции республиканские войска понесли большие потери, а итальянцы считали себя уже в Мадриде.

В эти тяжелые дни я приехал к Лукачу. Штаб переезжал из одного места в другое, потому что его разбомбила авиация. Я приехал с некоторым опозданием, Лукач уже выехал оттуда полчаса назад. Во дворе валялись убитые, лошади со вспоротыми брюхами, крыша была проломлена. Вся усадьба была превращена в груду развалин, а Лукач со своим штабом только что перебрался после этой бомбардировки в другое место, в деревушку, расположенную на скале. Я туда поднялся, в эту деревушку. В другое время можно было бы умереть от восхищения и этой скалой, и этой деревушкой, и развалинами замка. Все это было неописуемо красиво. Ради того, чтобы посмотреть такие виды, американские туристы специально переезжают через океан. Но в Испании сейчас видами трудно любоваться. В данном случае это была высота номер такой-то. Лукач только что начал устраиваться в маленьком крестьянском домике, высеченном в скале, и в это время опять налетела авиация. Мы полезли в какую-то дыру, полезли уже в шестой или седьмой раз за день, и в этой дыре, в промежутке между разрывами, венгерский писатель Матэ Залка, испанский генерал Павел Лукач сказал мне: «А ведь ейбогу, Михаил Ефимович, разгромим их, как миленьких, разгромим, дорогой».

И действительно, через два дня части Лукача, в том числе итальянский батальон имени Гарибальди, наголову, как вы знаете, разгромили огромную механизированную, моторизованную силу интервентов.

Через два дня я видел Лукача в другой роли. Итальянские антифашисты, революционеры взяли в плен большую группу итальянских фашистов.

Нужно, товарищи, сказать откровенно, когда люди, бывшие в подполье у Муссолини, люди, чьи жены, матери растерзаны там, в Италии, фашистами, когда эти люди в разгар боя захватывают в плен итальянских же фашистов, вы понимаете, что тут обращение может быть не очень деликатным. И вот генерал Лукач в этой разъяренной толпе спокойно и твердо защищал пленных. Он обратился с речью к итальянским антифашистам, объяснил им смысл и всего сражения, и того боя, и взятия в плен, он объяснил им, как революционер, как подлинный антифашист должен обращаться с пленными и должен разъяснить им смысл борьбы. И он убедил их. Буквально в течение четверти часа обращение с пленными переменилось, а еще через четверть часа пленные, разговорившись с итальянскими антифашистами, объяснили, что большинство из них — мобилизованные, что их пригнали сюда силком, что они не добровольцы. И они доказали это тут же. Когда Лукач предложил поставить микро-

МАТЭ ЗАЛКА

(К 20-летию со дня смерти)

фон, пленные один за другим стали обращаться к тем частям, которые находились по ту сторону боевой линии, стали рассказывать им, что они находятся среди итальянских антифашистов, среди бойцов батальона Гарибальди интернациональной бригады, что они остаются здесь, что теперь, получив возможность, они будут сражаться против итальянского фашизма, будут сражаться за свободу, за независимость Испании.

Вот вам Лукач и командир, и организатор, и политработник, ибо в этой обстановке командирская работа Лукача сочеталась с работой политической.

Таким был Матэ Залка, так он воевал, так он горел, так он сражался, пока снаряд не прервал его жизнь в очередном бою, в бою, на который он возлагал большие надежды, в бою, который он хотел превратить в новую Гвадалахару.

Я помню волнение, большое волнение Лукача в ожидании конгресса писателей в Испании. Он жадно расспрашивал меня: кто приедет, можно ли будет присутствовать. «Ну да, конечно можно». — «Верно, можно присутствовать и всех увидеть?». Он радовался, как ребенок, и при каждой встрече спрашивал, когда будет конгресс, когда все приедут.

Он погиб чуть ли не за две-три недели до конгресса. Его тело привезли в Валенсию. Хоронили его и его друга — начальника санчасти двенадцатой бригады немецкого коммуниста доктора Хельбрунна, который по какой-то чудовищной случайности был убит в тот же день. Их хоронили вдвоем. В городе было очень шумно: трамваи звенели, машины. Валенсия вообще очень шумный город. И в этом шуме продвигалась большая процессия: хоронили испанского генерала Павла Лукача и испанского военного врача Хельбрунна.

Тут же на площади, на испанской площади, — там все вместе: базар и огромная арена для боя быков, гостиницы, чистильщики сапог, воды продают, — вот там по испанскому обычаю прямо на улице у гробов состоялся митинг. Ораторы выступали и благодарили Лукача за жизнь, которую он отдал испанскому народу.

Я думал о том, что Матэ Залка так же легко, так же просто и весело, как он прожил свою жизнь, так же сердечно, так же талантливо мог бы легко отдать свою жизнь и всякому другому народу, который поднялся против угнетения, против эксплуатации, против фашизма.

Так ведь и было. Случайно он уцелел в боях в Венгрии, случайно он уцелел в боях на Дальнем Востоке, в боях с белополяками. Снаряд настиг его в Испании, а мог бы настигнуть и в какой-нибудь другой стране.

Товарищи, в этом красота жизни Матэ Залка, и, мне кажется, каждому из нас, кто живет не для себя, не только для себя, каждому из нас должно хотеться и хотелось бы прожить жизнь вот так, как прожил этот чудесный, простой, хороший, талантливый, замечательный человек! **(Долго не смолкающие аплодисменты).**

Алексей Эйснер

Писатели в интербригадах

Страницы из воспоминаний

В 1936—1938 годах в Испанию со всего мира съезжались антифашисты, чтобы принять добровольное участие в вооруженной борьбе испанского народа. Среди них было немало интеллигентов, особенно врачей и литераторов. Книги многих участвовавших в испанской войне писателей хорошо известны. Гораздо менее известны их дела, их военные будни. И те, кто взялся за оружие, как Матэ Залка, Ральф Фокс, Людвиг Ренн и другие, и те, кто продолжал работать пером, как Кольцов, Эренбург или Хемингуэй, в условиях гражданской войны постоянно рисковали своей жизнью, защищая, несмотря на подчас значительное различие во взглядах, одно и то же великое дело: демократию от фашистской диктатуры, народную культуру от фашистского одичания. Мне, вступившему в одну из интернациональных бригад рядовым бойцом и ставшему адъютантом генерала Лукача, прославленного героя испанской войны, привелось познакомиться с некоторыми писателями, бывшими в Испании. Об этих встречах я и хотел бы сейчас рассказать.

Первым писателем, которого я встретил на фронте, был Людвиг Ренн.

13 ноября 1936 года XII интернациональная бригада, поднятая ночью по тревоге и подброшенная на грузовиках к Мадриду, начала наступление на Серро де лос Анхелес. Польская рота батальона Тельмана, в которой я числился тогда бойцом, находилась на правом фланге арьергарда. Мы брели, спотыкаясь в темноте. Наконец рассвело. После восхода солнца сразу стало жарко. Легкая винтовка австрийского образца, присланная из Мексики, казалась тяжелее с каждым шагом. Новые выданные нам солдатские ботинки до крови натирали непривычные к такой обуви ноги. Далеко внизу одна пулеметная и две стрелковые немецкие роты нашего батальона красиво, как на ученье, развернулись и быстро продвигались цепями, отчетливо выделяясь на осенней траве черными вельветовыми комбинезонами. За ними спустились с горы и мы. Стала ясно слышна частая ружейная стрельба. С левого фланга передали приказ остановиться. Пришел командир взвода и по-польски объяснил нам, что наша рота, не прошедшая никакой подготовки, участвовать в бою не будет. Не успел он закончить, как позади раздалась немецкая команда: «Бегом вперед!» Мы побежали. Через несколько сот метров многие, тяжело дыша, отставали. Другие, чтобы легче было бежать, бросали свои вещевые мешки. Нам навстречу с уже хорошо различаемых монастырских стен Серро де лос Анхелес, вдоль которых тянулась густая оливковая роща, ударил тяжелый пулемет. Задыхаясь от бега, мы падали на землю и дрожащими руками наводили винтовки. Кое-кто, не ожидая команды, открывал бесполезную на таком расстоянии стрельбу. Очереди тяжелого гочкиса, гремевшего, как скорострельная пушка, ложились веером одна за другой, и пули взбивали песок перед самыми нашими лицами. Я попытался осмотреться. Некоторые мои товарищи наивно прятали головы за кустики папоротника или за кочки. Сзади нас какой-то умник из нашей пулеметной роты, которую мы обогнали, установил на холмике германский максим, выглядевший как-то странно без привычного щита, и открыл бешеный огонь, окончательно прижав нас к земле. Санитары вытащили из рощи носилки с раненым и, пригибаясь, скрылись. От нас до спасительных оливковых деревьев оставалось метров триста, но необстрелянным людям казалось, что перебежать их совершенно невозможно. В голову лезли неотвязные мысли о недавнем прошлом, о последнем рукопожатии друга, о влажной прохладе леса... Лирика в подобные минуты — верный признак маскирующегося страха.

На фоне бархатной зелени олив появился высокий человек в белом канадском полушубке нараспашку и вышел на обстреливаемый участок. Эти короткие белые полушубки — подарок какого-то комитета помощи Испанской республике — были настоящим даром данайцев. Полученные в небольшом количестве, они выдавались только «респонсаблес», «ответственным», как в

первое время по-испански называли командиров и комиссаров, и фашистские снайперы старательно целились в них. Человек в полушубке продолжал идти в нашу сторону. Деревянная кобура маузера билась об его длинные ноги. Увидев нас, он остановился и помахал рукой. Я встал и подбежал к нему. Стоя жить оказалось гораздо легче. Отдав честь кулаком к винтовке, я насколько мог связно доложил, кто мы такие и почему бессмысленно лежим под обстрелом. Оказалось, что я разговариваю с командиром батальона. Я уже знал, что нами командует Людвиг Ренн, хорошо известный по книге «Война». В мягкой вязаной фуражке, какие некогда носили управляющие балтийскими имениями, с красной звездой на ней, он стоял, словно не замечая частого визга пуль. В одной руке он держал записную книжку, в другой вечное перо и, склонив худое лицо с резкими прямыми морщинами, аккуратно делал какие-то отметки. Докторские очки в тонкой золотой оправе придавали ему вид кабинетного ученого. Тяжелый маузер и канадская куртка почти не нарушали это впечатление. Ничто не напоминало в нем кадрового офицера кайзеровской армии. Тихо, как бы подавая совет, он отдал приказание, которое и вывело нас из бездействия.

Впоследствии мне не раз приходилось встречаться с Людвигом Ренном, слышать его глуховатый голос, смотреть в умные усталые глаза. Но лучше всего он запомнился мне на опушке оливковой рощи, стоящим с непоколебимым спокойствием под сильным обстрелом и делающим отметки в записной книжке, когда он ласково, но настойчиво, как учитель, за локоть вводящий новичка в школу, ввел меня в испанскую войну.

* * *

Если Людвига Ренна я и на поле боя увидел с пером в руках, то в Матэ Залка писатель был глубоко спрятан. Никакого Матэ Залка и не было. Был генерал Лукач. Конспирация проводилась весьма последовательно. Прошло уже около месяца, как он назначил меня своим адъютантом, а мне и в голову не приходило, что мой командир имеет не только военную специальность.

В декабре 1936 года наша бригада впервые отошла в резерв. Как-то вечером, после случайного выстрела, разгорелась перестрелка. Вскоре она, распространяясь в обе стороны, охватила весь фронт от Университетского городка до позиций под Боадилья дель Монте. Трещали винтовки, тарахтели пулеметы, бухали связки ручных гранат и фашистские мины: у нас минометов еще не было. В тревоге за заслуженный нами отдых Лукач несколько раз выходил в сырой мрак выслушать фронт своим опытным ухом. Он с горечью называл нашу измученную бригаду «пожарной командой», потому что ее бросали с участка на участок в любой ненадежный стык между частями, в места слишком поздно обнаруженных прорывов, в бесчисленные контратаки для восстановления сданных другими позиций. Впрочем, на этот раз беспокоиться было нечего. Шла обычная в тогдашних условиях ежевечерняя и в общем бесполезная, беспорядочная стрельба. Артиллерия, ради экономии снарядов, в большинстве случаев в нее не вмешивалась. К полуночи перестрелка стала стихать. Мы услы-

Генерал Лукач (крайний справа) с офицерами своего штаба после удачного боя.

Матэ Залка перед отъездом в Испанию.

шали последний гулкий выстрел, как бы поставивший звуковую точку, после чего воцарилась неправдоподобная тишина. В окопах по странному обычаю того времени наступил взаимно уважаемый мертвый час. Мы вернулись в дом, занятый штабом бригады. И в чуланчике, где мы с Лукачем спали при свете оплывающей свечи, случайно возник долгий, чуть ли не двухчасовой литературный разговор. В этом разговоре Лукач проявил исключительную терпимость и доброжелательность ко всем писателям, о которых мы говорили, но особенно поразила меня его чисто профессиональная осведомленность в вопросах литературы. Я сказал об этом. Он спохватился, посмотрел в сторону.

— Видите ли, мне приходилось печатать кое-какие свои, конечно, чисто технические военные работы. Поэтому я, до некоторой степени, привык считать себя причастным к литературе, мню себя писателем.

Потом, когда я узнал его имя, мне не удалось скрыть от него своего удивления тем, насколько сурово генерал Лукач сумел подавить в себе писателя Матэ Залка. Он ответил:

— Мне не приходится его подавлять. Я просто оставил его дома. Больше всего на свете я люблю книги, да еще песни, музыку... Очень хочу писать. Прямо мечтаю о времени, когда можно будет засесть за письменный стол на несколько лет. Да вот все мешают... И сейчас я не писатель. Я комбриг. На моих руках полторы тысячи жизней. Не могу я позволить себе раздваиваться. Это было бы попросту нечестно.

Такое строгое и скромное отношение к себе сочеталось у Лукача с отечески заботливым, даже нежным отношением к другим писателям, приехавшим в Испанию.

Пока сразу прославившийся батальон Тельмана находился в нашей бригаде, им продолжал командовать Людвиг Ренн.

— Возьмите-ка мой фонарик, а то о сучья обдеретесь: темно. Сходите на командный пункт к Людвигу Ренну,— приказал как-то Лукач,— попросите его зайти ко мне. Только, если он уже спит, не будите. Пусть выспится. Он всю прошлую ночь не спал. Это ведь большой, настоящий писатель, а подумайте, чуть ли не прямо из концентрационного лагеря сюда... Вы заметили, когда он прикладывает кулак к фуражке, у него средний палец не сгибается, торчит, словно он рожки показывает? Гитлеровцы на допросе сломали...

Михаил Кольцов, человек редкого воинского мужества, во время боя под Мората де Тахунья куда-то исчез с нашего наблюдательного пункта. Выяснилось, что он ушел в наступающий батальон Гарибальди. Лукач забеспокоился.

— Ну что ему там понадобилось, спрашивается? Обязательно надо самому побывать под огнем, чтобы точнее описывать в «Правде», как именно рвутся фашистские снаряды? Еще ранят или убьют! Несерьезно, ужасно несерьезно!.. Позвоните-ка еще раз по ротам, не видел ли его кто-нибудь...

Кольцов благополучно вернулся. С усилившимся, как всегда, если он волновался, акцентом, особенно заметным на букве «л», генерал Лукач распекал его:

— Мальчишество! Безобразие!.. Попрошу запомнить, Михаль Ефимович, хочешь глупостями заниматься — не на моем участке! Не на моем участке!..

К международному юношескому дню корреспондент «Комсомольской правды» Савич готовил очерк о молодежи в интербригадах. Он хотел повидаться и поговорить с молодыми бойцами батальона Домбровского. Приходилось вести его на передовую. Лукач отозвал меня в сторону:

— Надуйте его там как-нибудь. Доведите, например, до командного пункта Янека и скажите, что тут, мол, и есть передовая линия. Народ туда вызовите. А то по полякам часто минометы бьют. Что-нибудь, не дай бог, случится. А он писатель: три книги написал.

Корреспондента надуть не удалось. Часа три он таскал меня по окопам и ходам со-

общений. Когда мы вернулись и я доложил, что обмануть Савича не сумел, Лукач презрительно посмотрел на меня:

— Ну и шляпа! А я бы безусловно обманул...

В период боев на Гвадалахаре постоянно бывавший у нас Хемингуэй только на ночь уезжал в Мадрид. С рассвета до сумерек чавкала под его ногами то подмерзавшая, то оттаивавшая гвадалахарская грязь. Из одного кармана френча у него торчал блокнот, в другом скрывалась плоская фляжка с виски. Лукач очень любил «Прощай, оружие», полюбил и самого Хемингуэя.

— Какой хороший, краснеет, как девушка... Ведь такой огромный писатель, а вот вместо того, чтобы путешествовать — да еще охоту он любит,— гуляет себе под пулями... Вчера в какую бомбежку угодил! Боюсь я за него...

Бригада стояла на коротком, как всегда, отдыхе. К ужину из города к нам прибыли гости: всё писатели или журналисты. В самом нашем штабе, кроме Лукача, были и другие, кто с бо́льшим или меньшим успехом занимался литературой. За кофе Лукач вскочил, начал считать:

— Один, два, три... шесть, семь... Боже ж ты мой, что делается! Это не штаб, а целый конгресс антифашистских писателей!..

Один только раз он не выдержал. Хемингуэй и Эренбург вдвоем приехали на Гвадалахару. Тяжелые бои закончились. Лукач и его бригада были главными героями победы, героями, надо сказать, до предела уставшими. Лукач долго разговаривал с Эренбургом в стороне. Потом завязался общий разговор чуть ли не на всех языках мира. Лукач отошел от стола. Долго смотрел в окно. За окном шел мокрый снег. Лукач вздохнул и тихо сказал мне:

— Счастливцы! Пишут себе и пишут...

После появления романа «Добердо» стало ясно, что Матэ Залка, как писатель, рос быстро и что на дороге под Уэской мы потеряли не только народного героя, не только умного командира, чуткого товарища и незабываемого друга — мы потеряли и гораздо более значительного художника, чем это раньше представлялось.

...Горячий испанский май. Наша бригада, которую организаторский талант и творческая сила генерала Лукача, почти без всякой помощи извне, уже превратили в интернациональную дивизию, перебрасывалась с Центрального фронта на Арагонский. Взяв меня с собой, Лукач выехал в Валенсию. Там незаконнорожденная, по мнению чиновников военного министерства, дивизия должна была получить номер, принять бюрократическое крещение. Легкое серое «пежо» *, в котором Лукач был через несколько дней убит, вел молчаливый красавец Эмилио, ненадолго переживший своего генерала. Разморенные нестерпимой жарой, мы остановили машину и прилегли отдохнуть в тени апельсинового сада. Лукач, заложив руки за голову и мечтательно глядя в знойное небо, разговорился:

— Кончим войну, примусь за роман. Я его годами вынашиваю, остается лишь записать. Роман автобиографический и будет называться «Анкета».

Я пробормотал что-то неопределенное, что, мол, довольно трудно сделать хороший роман из слишком пестрой биографии.

— Не перебивайте, когда говорит начальство,— весело сказал Лукач.— Я ведь не хуже вас это знаю. Дело вовсе не в том, что мне вдруг захотелось рассказать добрым людям мою интересную жизнь. Занимательно поболтать о своих необыкновенных приключениях, конечно, не трудно; но тут и сам не заметишь, как получится детективный роман времен гражданской войны. Да и у половины наших добровольцев, наверное, очень интересные жизни. Штука в том, что надо суметь ограничить себя. Для этого нужно найти новую форму и в нее так вложить свою биографию, чтобы вещь стала и художественно, и общественно ценной. И, знаете, чем я доволен? Я нашел форму. Роман будет построен в виде анкеты, которую заполняешь при вступлении в партию. Названием каждой главы будет очередной вопрос анкеты. Таким путем мне удастся показать, как через всевозможные пертурбации, через различные общие и частные события я из мадьярского кавалерийского офицера превратился в революционера. Случайный личный материал тут сам собой отпадет... Я задался целью написать историю формирования коммунистической идеи в развитии отдельной человеческой личности. Понимаете? — спросил Лукач.

...Он считал себя плохим оратором, не любил и, казалось, не умел выступать с официальными речами. Но, когда 10 ноября 1936 года, еще до выхода на фронт, почти две тысячи добровольцев свыше чем сорока национальностей, сведенные в три батальона, выстроились во дворе альбасетской казармы, он произнес краткую речь. Только что он был представлен жадно смотрящим на него людям как командир бригады — «венгерский революционер генерал Пауль Лукач». Стоя впереди других на открытой галерее, протянувшейся, как это принято в Испании, вдоль всего второго этажа, он сказал несколько слов по-немецки о том, что из нас образована вторая интернациональная бригада, Двенадцатая по номеру в формируемой республиканской армии, и выразил надежду, что мы оправдаем оказанное нам доверие, что батальоны, носящие столь славные имена, пронесут их повсюду с честью. Потом он маленькими сильными руками взялся за перила, наклонился вперед:

— Товарищи! Я буду говорить с вами на языке Октябрьской революции...

* «Пежо» — французская марка автомобиля

Генерал Лукач со своим заместителем болгарином Петровым после победы на Гвадалахаре.

Будто ветер прошел по рядам; все встрепенулись. Наверное, никто до сих пор не забыл этой речи. Запомнилась и другая его речь.

Мы встречали Первое мая 1937 года в резерве мадридского фронта, в стороне от больших дорог, в глухих винодельческих селениях, совсем не пострадавших от войны. После окончания парада, осадив гарцующего породистого коня, Лукач по-русски произнес речь, фраза за фразой переводившуюся на французский:

— Дорогие товарищи! Поздравляю вас с Первым мая! Лозунг этого всемирного праздника: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И никто на свете не имеет права так радоваться и гордиться сегодня, как вы, бойцы интербригад, потому что вы живое воплощение первомайского лозунга. Ура нам с вами, товарищи!..

Легко представить себе, какое это было «ура». Он же продолжал считать себя плохим оратором.

...В разгар боев у подножий истерзанных вековых деревьев парка Каса дель Кампо оставив машину в тылу, чтобы ее не подбили, Лукач своей легкой быстрой походкой, удивительной для небольшого полного человека, обошел позиции бригады, энергично опираясь на палку. Когда мы уже возвращались назад, тяжелая артиллерия фашистов вдруг ударила по кучке каменных лачуг около дороги, на которой остался наш восьмицилиндровый форд. Густой тучей взметнулись дым и пыль. Из тучи летели кирпичи и черепица. Крестьяне, подгоняя мулов, подхватывая на руки плачущих детей, бежали в сторону мадридского предместья. Неподалеку от ожидавшей нас машины лежал убитый. Несколько женщин в черных платьях и черных шалях голосили около него. Костлявая растрепанная старуха бросилась нам навстречу. Исступленно крича хриплым цыганским голосом, с отчаянием ударяя себя во впалую грудь, она подбежала к Лукачу. Лицо ее было мокрым от слез. Дергая Лукача за рукав, перемешивая проклятия и жалобы на своем звучном, мало понятном еще для нас языке, она, всхлипывая, указывала на труп. Лукач с бережной нежностью схватил в обе ладони седую, грязную голову старухи, прижал к своей груди и, утешая, как ребенка, поглаживая ее острые плечи, часто приговаривал:

— Ну, успокойся, бабуся! Успокойся, родная!.. Перестань же плакать, бедная!..

Та, словно поняв его, затихла. Вокруг в суровом молчании столпился народ. Чьи-то загорелые руки ласково приняли старуху. Лукач повернулся ко мне. В покрасневших глазах его блестели слезы.

— Видите, какая подлость война?.. Вот потому-то я всю жизнь и воюю!..

До Второго антифашистского конгресса писателей в Валенсии Лукач не дожил. Он очень ждал его.

— Сдам на недельку дивизию нашим болгарам, и поедем мы с вами на конгресс.

Кроме желания встретиться со старыми

друзьями, кроме чисто литературного интереса к конгрессу, Лукач был растроган тем, что заседания его состоятся в Испании.

— Какая умная, какая хорошая мысль!— восклицал он.— Это, понимаете, важно не только как выражение солидарности лучших писателей мира с испанским народом. Еще важнее, чтобы они своими глазами увидели, что́ здесь происходит...

Он не дожил. Но он присутствовал на конгрессе. Имя его было начертано на почетном месте над столом президиума. Три человека представляли его осиротевшую дивизию. А в произносимых речах, рядом с именем расстрелянного испанского поэта Гарсии Лорки, постоянно повторялось имя убитого генерала Лукача. Гарсия Лорка и Матэ Залка за всех нас побратались в своей смерти.

* * *

Немецкий писатель Густав Реглер был одним из комиссаров нашей бригады. Сосредоточенно важное отношение Густава Реглера к своему писательскому призванию и знакомая толстая тетрадь, конденсировавшая его вдохновение, часто служили предметом для упражнения в остроумии.

— Реглер «пишет, ни от кого похвал не слышит», — начинал кто-нибудь.

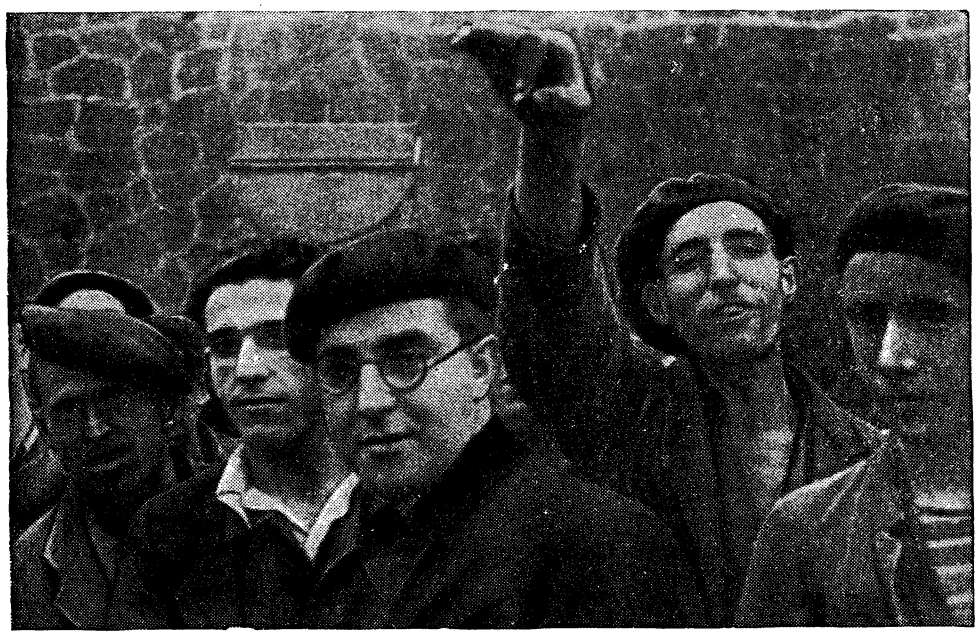
— Пиши, Емеля, твоя неделя...— шутливо переделывал поговорку другой. Заместитель Лукача болгарин Петров советовал Реглеру сменить легковую машину на грузовик, уверяя, что рессоры легковой уже не выдерживают веса рукописи.

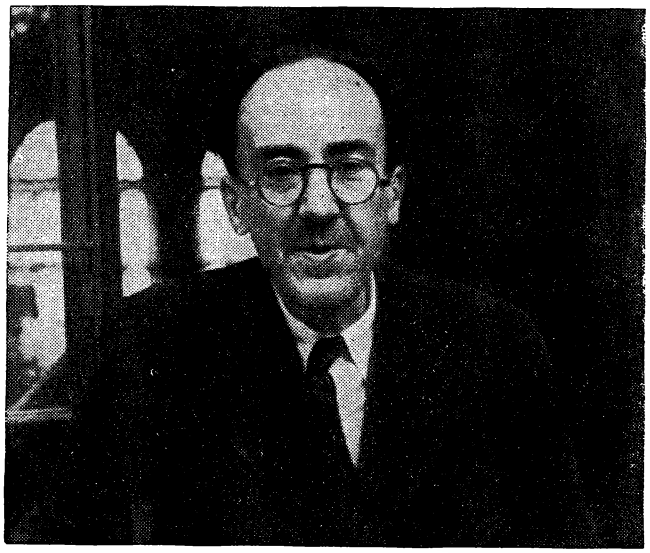
Однажды на привале во время переброски на Арагон, уступив чьей-то просьбе, Реглер читал отрывки из своего романа. Первым неслышно и незаметно, как он один умел это делать, уснул Лукач. Четверо или пятеро слушателей, знавших немецкий язык, крепились. Реглер, скрывая горькую обиду, продолжал читать. Тем, кто прослушал всю вещь до конца, она показалась излишне романтичной, тон — патетически приподнятым. Зная Реглера, я допускаю справедливость такой оценки. Даже речь его отличалась декламационными излишествами.

Пагубная страсть к риторике («Он у нас карманный Гюго»,— жаловался начальник штаба болгарин Белов) приводила его не раз к бестактностям, если не к прямым политическим ошибкам.

Мы стояли около Алькала-де-Энарес, когда Морис Торез посетил франко-бельгийский батальон. Лукач со свойственной ему деликатностью не присутствовал при свидании Тореза с французами и встретил его на шоссе при выходе из расположения батальона. Сияющий Торез широко шагал по улице, за ним толпой валили бойцы. Гремел «Интернационал». Лукач представился Торезу и через меня пригласил его провести вечер в штабе бригады. После беседы с Лукачем, Фрицем, Беловым и Петровым, которая шла при помощи переводчика, Торез остался ужинать. К ужину были приглашены командиры и комиссары батальонов, офицеры штаба, брат Тореза — рядовой боец. Был на ужине и находившийся при гарибальдийцах со времени боев на Хараме Пьетро Ненни. Надо сказать, что политика Народного фронта не была для Лукача дипломатической вывеской: итальянцы

Михаил Кольцов среди астурийских горняков





Испанский поэт Антонио Мачадо.

янским батальоном командовал у него республиканец, французским — социалист, польским — коммунист.

И в этой обстановке Реглер поднялся с бокалом. С первых же слов мрачное вдохновение осенило его, подхватило и понесло. Вибрирующим баритоном он произнес речь, которая была бы достойным реквиемом на Фуенкарральском кладбище интербригад, но звучала кощунственно на импровизированном банкете. Он говорил о мертвых, о героях, павших под пулями фашистов, о тех, кто обагрил своею чистой кровью прекрасную землю Дон-Кихота, о тех, кто пал за честь и славу Испании, за мир и дружбу между народами, о тех, кто добровольно отдал свою драгоценную жизнь ради счастья человечества. Назвав дорогие для нас имена таких коммунистов, как Баймлер и Пичелли, Антек Коханек и Петр Гримм, он перешел к «равнодушно умывающим руки пилатам» и от имени убитых, не делая никакого различия, упрекал «бонз Второго интернационала» в предательском бездействии. Лукач не понимал по-французски, Белова же передергивало, и он с опаской поглядывал на Ненни, вполне официально принадлежавшего к вышеупомянутым «бонзам». Ненни, склонив голову к плечу, слушал как ни в чем не бывало. Торез, нахмурившись, вертел пальцами ножку бокала.

Встал Ненни. Спокойным голосом, приветливо улыбаясь, этот рыжеватый маленький человек в огромных очках, делавших его похожим на сову, осторожно обошел неуклюжие выпады нашего комиссара, безоговорочно подчеркнул руководящую роль коммунистов в создании интербригад, пожалел о непонимании и недооценке испанских событий большинством лидеров социалистического интернационала и пообещал, что итальянские социалисты, которых он представляет, будут всеми средствами поддерживать батальон Гарибальди. Торез — один из лучших ораторов, какого мне приходилось слышать,— поблагодарил Ненни и мимоходом сурово одернул Реглера.

...Реглер не сумел пережить поражения Испанской республики. Когда впоследствии я встретился с ним в Париже, меня удивили его колебания и сомнения. Эти сомнения в дальнейшем привели его к измене своей партии и своему собственному прошлому.

* * *

Мне не удалось познакомиться с английским критиком Ральфом Фоксом, убитым под Кордовой во главе батальона, не пришлось встретиться и еще с некоторыми писателями-бойцами, воевавшими в других частях. Говоря о писателях в интербригадах, нельзя промолчать о тех, чье оружие хотя и умещалось в верхнем кармане пиджака и кто формально не был занесен в строевые списки, но настолько вошел в нашу фронтовую жизнь, что мы видим их не иначе, как стоящими рядом с нами в наших боевых рядах.

В те годы советские люди, развертывая по утрам «Правду», прежде всего искали корреспонденции Михаила Кольцова из Мадрида, которые, перепечатанные потом в «Мундо обреро», оказывали влияние на дальнейшее развитие событий.

Я, как и все, зачитывался его статьями и они сыграли немалую роль в моем решении вступить в интербригады. Уже на месте, еще до знакомства с ним, я часто слышал рассказы об его бесстрашии, его остроумии и его внимании к людям. Незабываем рассказ Р. Кармена о том, как Кольцов ухаживал за смертельно раненным в живот советским летчиком. Один из первых защитников неба над Мадридом, летчик умирал в ужасных страданиях. Кольцов по нескольку раз в день и даже ночью забегал к нему, как сиделка, успокаивая и утешая его. На похоронах он шел за гробом вместе с боевыми друзьями покойного — будущими Героями Советского Союза...

В разгар боев в Университетском городке Лукач поздно вечером собрался в штаб обороны. Миновав несколько контрольных постов, мы въехали в Мадрид. Густой мрак. В домах не светится ни одна щель. Фонарей нет совсем. Фары машин закрашены синей краской, и свет пробивает темноту всего на несколько шагов. Кладбищенская

тишина нарушается только воем пронизывающего ветра, гуляющего среди мертвых громад домов и похожих на средневековые замки развалин. Иногда слышатся одиночные выстрелы: притаившийся в городе враг стреляет по осторожно пересекающим перекрестки машинам. В стеклах нашей — две дырки с лучеобразно расходящимися трещинами. На улицах ни души. Вот каменная баррикада, обложенная мешками с песком. Из-за нее выскакивают люди в пилотках с кисточками, держа винтовки на изготовку. Поверх одежды на них наброшены одеяла. Сержант поднятым кулаком останавливает машину. Луч электрического фонарика пробегает по переднему стеклу, где приклеен пропуск, освещает лица сидящих внутри, останавливается на документах.

— Бригадас интернасионалес...

— Паса — проезжай!..

— Это же ночь в революционном Петрограде!.. Это же Блок!..— вздыхал Лукач.— Блок... Восемнадцатый год...

Мы поехали к многоэтажному «Паласу», в котором помещался главный военный госпиталь, а под самой крышей ютились военные корреспонденты. В комнате Кольцова было тепло, светло, накурено. У него сидели танкисты, ужинали. Лукач за руку поздоровался со всеми. Представил меня. Восторгался Мадридом. Опять помянул Блока и восемнадцатый год.

— Вы бы, товарищи, бросили эти романтические реминисценции,— сказал Кольцов,— на них далеко не уедете. Тут не стихи нужны, а организация, железная организация! Вон и адъютант у тебя одет по моде восемнадцатого года, даже с винтовкой! Ни дать ни взять, соскочил с экрана из фильма «Чапаев» или «Мы из Кронштадта»... Пора, пора перестраиваться! Нужна форма, знаки отличия, уважение к офицерам республики...

На обратном пути Лукач возмущался:

— Чего это вы, в самом деле, с винтовкой разгуливаете?.. И одеты черт знает как!.. Мне за вас стыдно стало. Да и сам я что смотрю!.. Завтра же достану вам пистолет. Винтовку сдадите. И одеться надо, одеться. Прав Кольцов. Нашивки — тоже политика. Настоящую армию создавать надо. Если офицер, так чтобы издали было видно, что офицер, а не этот самый, как его, «респонсабле»...

На следующий день штаб был похож на костюмерную мастерскую. Крепко взгретый интендант серб Никита собственноручно помогал портным снимать мерку. Через неделю сначала штаб, а потом и все офицеры бригады, первыми на мадридском фронте, переоделись в довольно щеголеватую форму установленного образца. При отдаче чести мы лихо щелкали каблуками зеркально-желтых сапог. Офицеры Пятого полка брали с нас пример. Я с грустью сдал свою винтовку, пистолет казался мне оружием, годным скорее для семейных драм.

— Умница-то какой,— вспоминал впоследствии Лукач,— будто пошутил, а ведь подсказал, что делать...

Михаил Кольцов с одним из партийных руководителей Астурии.

Пока мы воевали на Центральном фронте, я раза два в неделю ездил в Мадрид за письмами на имя Лукача и советскими газетами. Газеты подбирал для нас Кольцов, и я постоянно встречался с ним. Этот маленький, внешне холодный человек в толстых роговых очках, какой-то весь взъерошенный от сдерживаемого напряжения, со встрепанным, как у рассерженного воробья, хохолком, был полон неистощимой веселости, которая без всякого перехода — словно выключатель поворачивали — сменялась вдруг сосредоточенной деловитой сдержанностью. Когда он снимал свои громоздкие «очки-велосипед», под ними обнаруживались близорукие, растерянно добрые глаза.

Он был всепоглощающе занят, одержим работой, а потому всегда куда-то торопился; бегал тоже, как воробей, вприпрыжку, и казался рассеянным, но при этом умудрялся замечать самые ничтожные мелочи.

После переезда советского консульства, ТАССа с журналистами и другими товарищами из-под пробитой фашистскими гранатами крыши «Паласа» в отель «Гайлорд» в этом отеле открылся ресторан, где новые жильцы и их гости обедали без карточек. Попадавшие по делам в город офицеры интербригад, естественно, не имели продовольственных карточек. В один из очередных моих наездов стоявший в дверях ресторана сержант карабинеров сконфуженно доложил, что не может меня пропустить, так как посторонним запретили здесь питаться. Я поднялся к Кольцову за газетами. Рассказал ему о происшедшем. Кольцов вскипел, хохолок на его затылке встал дыбом.

— Так, так!.. Значит, умирать можно вместе, а обедать врозь!.. Очень симпатичная идея!

Он вызвал официанта, заказал два обеда.

— Мне еще, правда, рановато... Но ничего, пообедаем вместе. Я не забываю, как вы нас у себя принимаете и кормите. Уезжаешь: и сыт, и пьян, и нос в табаке. Обещаю вам, что пока это остроумное распоряжение не будет отменено, я буду есть у себя в номере.

Он позвонил коменданту и в не слишком изысканных выражениях сообщил ему о своем решении. Не знаю, сдержал ли он свое обещание. Знаю только, что через несколько дней двери ресторана снова распахнулись для всех.

Михаил Кольцов был очень храбрым человеком. Если храбрость Лукача не бросалась в глаза, потому что она была как бы органическим свойством военного, была разумной, а следовательно, мало заметной, то храбрость Кольцова была безрассудной и даже несколько демонстративной. Чувствовалось, что ему самому приятно, что он такой храбрый.

В феврале 1937 года фашисты потеснили дивизию Маркеса на нашем правом фланге, и их разведка выскочила на вершину утеса Васиа де Мадрид, нависшего над валенсийской дорогой и мостом через Хараму. Они установили там крупнокалиберный пулемет, и никто не рисковал проезжать по этому участку шоссе.

И вот, во время разведки боем в масштабе нашей бригады у Мората де Тахунья, расположенной гораздо южнее по валенсийскому шоссе, явился к нам Кольцов.

— Проскочил! — поблескивая стеклами очков, с видимым удовольствием говорил он.— А то тащись вокруг, там и не проберешься, все разбито, и грязь прямо черноземная! Я рассчитывал, как вы, военные, на внезапность. Никто тут сто лет не ездит, пулеметчики, думаю, спят...

Обратно он поехал по этой же дороге. Говорили, что с тех пор он от кружных дорог отказался. Раза три в неделю приземистая черная машина на бешеной скорости проносилась под Васна де Мадрид. Сзади с секундным опозданием тарахтела пулеметная очередь. Фашистские пулеметчики должны были страстно ненавидеть эту увертливую, нахальную машину...

Кольцов в совершенстве разбирался в сложной политической ситуации испанского Народного фронта, в борьбе идей и самолюбий, самопожертвования и трусости, подвигов и измены. Он внимательно и настойчиво изучал Испанию, узнал и, как все мы, навсегда полюбил и страну, и народ. Но это была не слепая любовь. С самого начала он обличал то, что называл «наследием донкихотства» и что считал самой большой опасностью.

С негодованием рассказывал он мне, как во время осады толедского Алькасара он узнал, что жена Москардо, командовавшего осажденными жандармами и юнкерами, свободно живет в центре занятого республиканцами города и даже переписывается с мужем. В присутствии Кольцова, который много часов провел под стенами Алькасара и даже ходил с ручными гранатами в атаку, она появилась среди осаждающих и принесла запечатанное письмо. Один из республиканских офицеров любезно принял конверт. Перестрелка была прекращена. Из крепости вышел парламентер с белым флагом. Ему было вручено семейное послание. Сеньора Москардо поблагодарила и удалилась. Через несколько минут снова был открыт огонь.

— Что все это значит?— в ярости возопил Кольцов.

— Ла хенероситэ эспаньол! (Испанское великодушие!), — на невообразимом французском языке с восторгом ответил республиканский офицер.

В «Дневнике» Кольцов смягчил этот эпизод, а ответ приписал вскоре перешедшему к Франко губернатору. Истина была слишком невероятна.

* * *

Не знаю, вел ли Илья Эренбург, в свою очередь, «Испанский дневник». Если нет, об этом нельзя не пожалеть. Его роль в гражданской войне в Испании тоже не ограничивалась столбцами статей, и было бы очень интересно узнать о ней подробнее.

Для меня Эренбург остается тем бодрствующим горнистом, который первым из писателей заметил подкрадывающегося врага и протрубил тревогу. Еще месяца за три до начала военных действий в Испании, когда газеты с бо́льшим беспокойством писали о маневрах реакции во Франции, чем о трудном положении испанского Народного фронта, Эренбург побывал в Барселоне, в Мадриде, объездил промышленные и сельскохозяйственные районы Испании. Возвратившись в Париж, он сделал для левых французских интеллигентов закрытый доклад. Сидя за столиком на эстраде банкетного зала ресторана, где собралось около ста человек, он, заложив руки в карманы, раскачиваясь на стуле, с убийственным сарказмом обрисовывал типы титулованных контрреволюционеров мадридских салонов. С грустной иронией он рассказывал о мягкотелости правительства, о разброде среди интеллигенции, о белобородых старичках, проповедующих Бакунина и Кропоткина в портовых тавернах. Он говорил о голодающем народе и о широкоплечих контрабандистах в черно-красных шарфах, проносящих через границу французский коньяк и парижские духи.

Насмешливая улыбка постепенно сползала с его губ. Стул под ним перестал раскачиваться. Тонкий голос звучал все громче, в нем зазвенели металлические нотки. Он предупреждал. Народный фронт Испании в опасности. В стране, где на шесть солдат приходится генерал и на десять человек — сутана, попы и генералы готовят мятеж. Министры из профессоров ничего не видят и ничего не делают. Полиция на стороне заговорщиков. Народ безоружен. Рабочие разъединены. Крестьяне не организованы. Армия в руках аристократического офицерства. Зреет международный заговор против Испанской республики. Фашизм точит нож. Ликторский пучок и паучья свастика плывут в грозовых облаках над оливковыми плантациями Андалузии и виноградниками Кастилии.

С красноречием влюбленного говорил Эренбург о гордости и любви к свободе испанского народа, о его внутреннем благородстве. Он говорил о самобытности испанской культуры, о том, что она своеобразно перекликается с русской культурой, о духовной связи всех культур и всех народов. Он читал ставшие потом с его легкой руки популярными и за границей стихи Михаила Светлова, тут же переводя их на французский язык:

«Гренадская волость в Испании
есть...»
«...Я хату покинул. Пошел воевать.
Чтоб землю в Гренаде крестьянам
отдать...»

И. Эренбург, О. Савич и другие у здания штаба польского батальона Домбровского.

— Над Гренадской волостью нависла опасность. Враг приближается. Бейте тревогу! "Aux armes, citoyens!"*

Расходясь, взбудораженные слушатели обменивались недоуменными репликами:

— Откуда он взял это?.. Почему молчат наши газеты?..

Вскоре беда нагрянула. Эренбург бросился в Испанию. «Известия» печатали его гневные статьи. Он помогал вербовке и отправке добровольцев в интернациональную эскадрилью, способствовал сбору средств на приобретение самолетов.

В нашем штабе он бывал реже других писателей и приезжал всегда не как знакомый, а как журналист, по необходимости. Свойственная ему деловитая строгость исчезала при встречах с генералом Лукачем. Обычно они негромко разговаривали наедине, прогуливаясь по двору или по комнате. Было заметно, что они симпатизируют друг другу. Смерть Лукача Эренбург переживал без аффектации, но лучшее, что сказано о Матэ Залка, сказано им.

Эренбург без всякого кокетства подчеркивал в себе журналиста. Я не помню на нем оружия, хотя бы пистолета. Но, когда долг военного корреспондента потребовал, он поехал в только что отбитое Брунете и с трудом успел уйти от марокканской контратаки, при которой так страшно погибла аргентинская журналистка, прелестная юная Херда Таро. Побывал он и в тылу у фашистов. Нелегально перейдя франко-испанскую границу, он проник в глубь вражеской территории. Там он посидел в кабачке с крестьянами, побеседовал с ними и получил верное представление о настроениях испанской деревни под властью фалангистов. Легко догадаться, чем он рисковал, если бы его узнали. Ведь его книги не раз переводились на испанский язык и его портреты были широко распространены.

Он стойко верил в победу. Он верил в нее вопреки очевидности, в самые тяжелые минуты, когда уныние охватывало сердца. Эту веру он черпал не в себе. Он находил ее в тех фактах, которые высматривал своим острым глазом и улавливал своим чутким ухом. Рассказы его о сокровенных чувствах и помыслах испанского народа утешают и сейчас.

* * *

Вскоре после того как О. Савич впервые появился в штабе, он стал нашим самым частым гостем. Ровный, сдержанный голос, такт, вежливость, любознательность при отсутствии дотошного репортерского любопытства, способности талантливого рассказчика в редком сочетании с умением внимательно слушать быстро покорили Лукача. Вскоре отношения между ними переросли в прочную дружбу.

Дружеское отношение к Савичу постепенно перерастало границы нашей бригады.

После смерти Лукача я служил в штабе одного из армейских корпусов. В январе 1938 года мне было дано серьезное задание. Мой начальник, советник корпуса, латыш, член партии с 1902 года, видавший виды старик, скептически относившийся к людям и очень строгий, наставлял меня:

— Ник-кому, п-п-понятно? Н-ни од-д-ному ч-чел-ловеку! Д-даже С-сав-вичу!

На другой день я прощался с Савичем. Точно выполняя приказ, я сказал без всяких подробностей, что уезжаю на неделю. Савич обнял меня.

— Будьте поосторожнее, возвращайтесь благополучно.

На моем лице отразилось удивление.

— Ну, что там... Я ведь знаю, куда и зачем вы едете.

— Кто вам мог сказать?

— Ваш старик!..

В тяжелой или опасной обстановке Савич сохранял хладнокровное невозмутимое спокойствие, настолько будничное, что оно не казалось храбростью. Будучи в Барселоне, я зашел к нему в отделение ТАСС. Савич передавал по телефону в Москву последнюю неутешительную сводку военного министерства. Ожидая, пока он освободится, я стал перелистывать журналы. Отвратительно завыли сирены. Началась бомбежка. Одна из бомб упала неподалеку. Не все стекла в помещении выдержали. Было весьма неприятно. Савич, плотно прижав телефонную трубку к правому уху и заткнув свободной рукой левое, продолжал диктовать тем же протяжным ровным голосом.

— Точка. Записали? Всего хорошего...

Я возмутился его легкомыслием. Ведь напротив в консульстве было убежище.

— В Москве записывают сводку хорошие девушки. Очень трогательно ко всему, что здесь делается, относятся. Прервешь— будут переживать. Не стоило их волновать понапрасну.

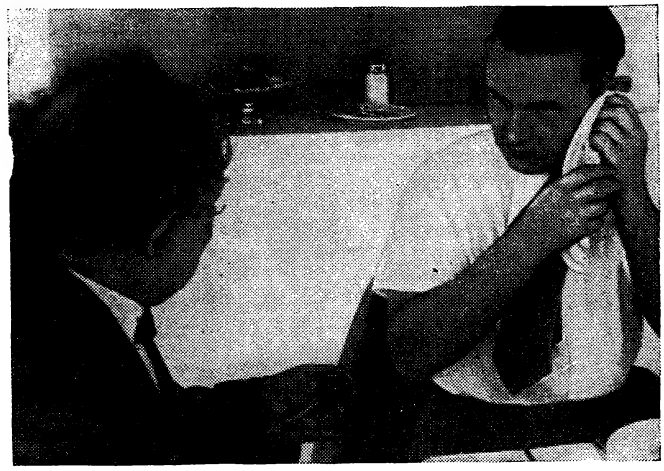
...Ведя его по ходам сообщения на позиции в Каса дель Кампо, я заранее предупреждал о тех местах, где фашистские снайперы хорошо пристрелялись. В одном таком месте, услышав близкий выстрел и удар пули, я оглянулся и увидел, что Савич идет, не сгибаясь, а его серебряная шевелюра время от времени показывается над траншеей. Я сделал ему замечание.

— Если бы вы знали, как мне жмут эти проклятые новые туфли и до чего мне трудно ходить, вы бы не приставали, — уверял Савич.

Он покинул Барселону с последними патрулями, и это он снял со здания советского консульства государственный флаг...

---

* «К оружию, граждане!» (франц.) — слова «Марсельезы»



Мартин Андерсен Нексе и А. А. Фадеев во время антифашистского конгресса писателей в Валенсии.

* * *

Недавно в библиотеке «Огонек» вышла повесть Хемингуэя «Старик и море». На обложке помещен портрет человека со шрамом на лбу и сумасшедшими глазами. Трудно поверить, что это портрет Хемингуэя! Ничего похожего! Ничего похожего на большого, сильного, толстого, внешне чем-то напоминавшего Пьера Безухова, веселого, мужественного и доброго Хемингуэя, друга интербригад, нашего товарища по испанской войне. У французов есть крепкое выражение: «cette chienne de via...» Что ты сделала с ним, собачья жизнь, не та жизнь, не настоящая жизнь!..

Он любил Испанию и прекрасно знал ее. Мы все, за небольшим исключением, увидели ее в разгаре гражданской войны. Хемингуэй был с нею всегда. Большáя часть его творчества посвящена Испании, ее природе, ее народу. Можно сказать, что он сам наполовину испанец: испанский язык— его второй язык, испанские песни и пляски он знает, как ученый фольклорист. В бое быков он, как и испанцы, чувствует трагическую мистерию. Когда перечитываешь «Фиесту» или испанские рассказы Хемингуэя, с удивлением замечаешь, что, всматриваясь в жизнь Испании своими пристальными близорукими глазами, он видит в ней то же, что видят пронзительные и дальнозоркие глаза Пикассо.

Встретив его впервые, я был наивно разочарован, до того он не напоминал себя самого, если считать, что писатель должен быть похож на своих любимых, порой таких сложных по характеру героев. Он был похож на несколько утратившего форму спортсмена; прост, даже застенчив. Несмотря на загар, он заметно краснел, когда речь заходила о его книгах, казалось, будто ему, крупному, огромной физической силы человеку, стыдно, что он занимается каким-то несерьезным, «немужским» делом— вроде гоголевского губернатора вышивает по тюлю вместо того, чтобы колоть дрова. Он напоминал своих героев лишь одним: он умел много пить, не пьянея.

Лукач откровенно радовался каждому появлению Хемингуэя. Он брал его под руку, усаживал за плечи на стул, сам наливал ему стакан и накладывал на тарелку, ухаживая за ним с ласковой осторожностью, как будто Хемингуэй — огромная дорогая хрустальная ваза, которую при неосторожном обращении легко разбить. Хемингуэй же смотрел на Лукача с нескрываемым восхищением, в котором проскальзывало и легкое удивление. В Лукаче его должна была приводить в изумление цельность, законченная, почти античная цельность, происходившая от твердой уверенности в правоте дела, которому Лукач служил, тогда как сам Хемингуэй соединял в себе юношескую чистоту души с искушенным умом и испуганным сердцем. Пользуясь метафорой древней книги, можно сказать, что он сочетал кротость голубя с мудростью змия, а это, понятно, далеко от античности.

На праздничном ужине, устроенном медицинской службой бригады, признанной лучшей в армии и отмеченной в приказе военного министра, Лукач, разойдясь, показал свой «буденновский номер». Приложив карандаш к белоснежным зубам, он звонко и безошибочно выбивал на нем «Яблочко». Хемингуэй слушал как зачарованный, словно перед ним был живой Моцарт. Под бурю аплодисментов, наградивших художественную самодеятельность нашего генерала, Хемингуэй провозгласил в его честь тост:

— За писателя, умеющего действовать!..

Потом, возможно позавидовав лаврам Лукача, он завел патефон и, высоко вскидывая ноги, легко и ловко сплясал джигу.

...Фашисты обстреливали Мадрид из дальнобойных орудий. Одной из главных целей была «телефоника» — телефонная станция, помещавшаяся в единственном мадридском небоскребе со шпилем. Это был, разумеется, отличный наблюдательный пункт. Несмотря на то, что попадание в шпиль с расстояния свыше двадцати километров было не более вероятным, чем попадание в зубочистку, фашисты ежедневно упражнялись в меткости, меняя, в целях психологического воздействия, время обстрела и количество выпущенных снарядов. Перелеты ложились дальше по городу, недолеты взрывались на площади Пуэрта дель Соль. Наибольшее число попаданий приходилось на отель «Флорида», где жил Хемингуэй.

В очередной обстрел мы случайно оказались в «Паласе» у Савича. Когда орудия смолкли, Савичу позвонили и сообщили, что по Мадриду выпущено столько-то снарядов, что попаданий в «телефонику» нет; один разрыв во «Флориде»...

Мы забеспокоились. Хемингуэй должен был находиться у себя. Не без труда дозвонились до него.

— Хемингуэй говорит, — положив трубку и улыбаясь, пояснил разговаривавший с ним,—что всю жизнь, приезжая в Мадрид, останавливался в этом отеле. Если он переедет, значит фашисты выжили его оттуда. Ему будет казаться, будто они хозяева в городе. Кроме того, он утверждает, что хорошо рассчитал и прямого попадания в его номер быть не может.

После сложных дипломатических ходов Хемингуэя выселили оттуда не снаряды фашистов, а профсоюзы, отказавшиеся держать обслуживающий персонал в полуразрушенной гостинице, где жил один-единственный упрямец, и закрывшие «Флориду».

* * *

1937 год XII интербригада встретила в наступательных боях. Были освобождены три населенных пункта в гвадалахарских горах. После боя, в штабе в Фуенкаралле мы встречали задним числом Новый год. Поздравить отличившуюся бригаду съехалось много гостей, и наш штаб стал похож на литературное кафе. Помню, что приехали Мария-Тереса Леон и Рафаэль Альберти, Хемингуэй, Кольцов, Мария Остен, Жорж Сориа и многие другие. Повара — итальянец и мадьяр и девушки из обслуживающих штаб испанских комсомолок Пакита, Лаура, Долорес и Асунсьон — не уронили славы нашего гостеприимства. На всех хватило и еды и вина. За столом сверкало непринужденное, чистое и безудержное веселье. Лукач своим верным баритоном исполнил соло венгерскую песню, все хором подхватывали припев: «ре-це-це». Итало-словенцы братья Марвины дуэтом пели неаполитанские песни. Могучий бас Петрова сотрясал воздух. Он спел сначала болгарскую, потом сербскую песню: «Тамо далэко, далэко край мора...» Кто-то завел фальцетом всеми любимую и всеми выученную наизусть старинную солдатскую севастопольскую песню:

«Е-еще со-олнце не всходи-ило,
Батальон наш во цепу...»

Хор гремел: «Ать, два!» На куплете:

«Нам скома-андовал ефре-ейтор:
Интерва-алы два шага! Ать, два!».

вставал командующий нами «ефрейтор» Лукач.

На словах:

«Во-одку пи-или мы мане-еркой,
Мя-аса ели целый фунт... Ать, два!..

поднимались любившие всласть покушать Белов и Петров.

Когда раздавалось:

«Не-еприя-атель у-удивля-ался
Про-отив нашей красоты...»,

под общий хохот и аплодисменты вскакивала штабная молодежь.

После ужина столы были убраны. Начался бал. Кроме Марии-Тересы, Марии Остен и американской журналистки, очень красивой, желчно умной дамы Хемингуэя, которую он потом так неласково изобразил в «Пятой колонне», танцевали и наши «сестры», как называл Белов красавиц де-

Штаб XII интербригады на Первомайском параде в 1937 году.

Илья Эренбург и Эрнест Хемингуэй в поселке Бриуэга (Гвадалахара) после его занятия XII интербригадой.

вушек из обслуживающего персонала. Схватив за руку жену, Рафаэль Альберти под «Кукарачу» затеял что-то вроде хоровода, на ходу сочиняя новые строфы.

Лукач, почти не пивший вина, налил полбокала, вскочил на стол:

— Да здравствует солнце, да скроется тьма!..

Разъезжались под утро. Хемингуэй, дама которого уехала раньше, сел в машину рядом со своим всегда улыбающимся Ипполито, воспетым им «с такою чудной силой» в рассказе «Мадридские шоферы». Перегнувшись через опущенное стекло, он еще раз пожимал протянутые руки хозяев:

— Сегодня я видел самое талантливое и самое дружное литературное объединение!.. Salud!

— Salud y victoria!..

Несобранные строки Марка Твена

Марк Твен был по складу своего дарования импровизатором. В воспоминаниях людей, хорошо знавших его, Твен не раз был обрисован как необыкновенно талантливый рассказчик и собеседник. Блестки юмора и мгновенные сатирические наброски, которые рассеяны в его беседах, письмах и дневниковых записях, бывают подчас не менее яркими, чем те, которые хорошо известны нам из его литературных произведений. Здесь — оброненное острое слово, проницательная эпиграмма, стремительно развернутая миниатюрная юмористическая новелла. Эти несобранные строки Твена, не публиковавшиеся ранее по-русски, взяты нами из его записных книжек, писем и речей, а также из записей, сделанных дочерьми Твена и его секретарем Пейном.

А. Старцев

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В церкви

Конец проповеди мистера Туитчела произвел на меня сильное впечатление, и я пожалел, что не проснулся раньше и не слышал начала.

Романы Вальтера Скотта

Твен не любил Вальтера Скотта и часто шутил на эту тему.

Профессор Трент сказал, что Скотт переживет всех своих критиков. Это верно. Чтобы быть критиком Скотта, нужно прожить две жизни. В восемнадцать лет вы читаете «Айвенго». Теперь, пока вам не стукнет девяносто, вы не возьмете в руки второй роман Скотта. Я не говорю уже, что для того чтобы дожить до девяноста лет, критик должен вести абсолютно правильный образ жизни и быть воздержанным в еде и питье.

Немецкий язык

Немцы усвоили себе ужасную привычку разрубать глагол надвое. Я считаю это непростительной жестокостью: глаголу и так живется нелегко в этом мире. Они берут одну половину глагола и ставят ее как верстовой столб, берут другую и ставят второй столб. Между этими столбами они наваливают груду слов. И как наваливают! Полными лопатами!

* * *

Туитчел знает цену моему немецкому языку. Недавно я в присутствии нескольких немцев заговорил с ним по-английски по одному личному делу. Он прервал меня и сказал: «Марк, перейди, пожалуйста, на немецкий; вдруг кто-нибудь из этих немцев знает английский язык!»

На политические темы

Демократическая партия состоит из сумасшедших, но никто из членов демократической партии об этом не знает. Зато это знают республиканцы. Все республиканцы сумасшедшие, но об этом знают только демократы.

* * *

— Как, такое выдающееся, такое ослепительное невежество пропадает даром?! Вы должны быть присяжным заседателем! Вы созданы для этого!

* * *

Я не вмешиваюсь в политику. У нас есть редактор политического отдела. Это очень способный человек, и если он отбудет год-два в уголовной тюрьме, он будет положительно незаменимым.

Газеты

Общественное мнение, эта страшная сила, создается в Америке бандой невежественных, самодовольных олухов, которые оказались неспособными научиться копать канавы и тачать сапоги и, на пути в богадельню, решили испытать свои силы в журналистике.

* * *

Свободная печать!.. Сколько угодно законов, чтобы охранять свободу печати, и ни одного — сколько-нибудь надежного,— чтобы охранить народ от печати.

Национальная черта

Невежливость — наша национальная черта, и она не врожденная, а благоприобретенная. Интересно было бы выяснить, как и у кого мы ее приобрели.

Таммани Холл

Таммани Холл — клика дельцов в нью-йоркском муниципалитете, прославившаяся взяточничеством и казнокрадством.

Когда умер один из лидеров Таммани Холла, Твен сказал: «Я отказался пойти на похороны. Но я сообщил письменно, что я их одобряю».

В дурном настроении

Не думаю, чтобы она могла мне понравиться. Разве что на плоту в открытом море, да и то если будет решительно нечего есть.

* * *

Его глупостью можно четыре раза опоясать земной шар, и еще хватит, чтобы завязать узелок.

* * *

Иногда я жалею, что Ной с семейством не опоздали к отплытию ковчега.

Великий писатель

Мне стало грустно, когда обо мне сказали, что я великий писатель. Великие писатели умирают. Чосер умер, Спенсер умер, Мильтон умер, Шекспир умер, и я тоже чувствую себя не очень здоровым.

Чужие остроты

Адам был счастливым человеком. Когда ему приходило в голову что-нибудь смешное, он мог быть твердо уверен, что не повторяет чужих острот.

МАРК ТВЕН РАССКАЗЫВАЕТ

Наша пьеса

В молодые годы Твен совместно с Брет Гартом написал пьесу «А-Син». Пьеса не имела успеха.

Это была замечательная пьеса. В разработку сюжета и развитие действия мы вложили гигантский исследовательский труд, эрудицию, изобретательность, гениальные прозрения и заимствования из других авторов. Когда пьеса была закончена, она была такой длинной, такой широкой и — местами — столь глубокой, что требовалось не меньше семи вечеров, чтобы ее сыграть. Режиссер вычеркивал, вычеркивал и вычеркивал, и чем больше он вычеркивал, тем лучше становилась пьеса. Я думаю, что она стала бы образцовой, если бы у режиссера хватило смелости вычеркнуть ее всю до конца.

Морской волк

К капитану корабля, стоящего у одного из Маркизских островов, является с жалобой постного вида миссионер.

— Ну, что у вас там? Выкладывайте, живо!

— Мне грустно сообщать это, сэр, но туземцы препятствуют нам в выполнении наших священных обязанностей.

— Что?! Черт их побери! Да я их!.. Как вы сказали? Что они делают?

— Мне бесконечно грустно, сэр, но они препятствуют нам в выполнении наших священных обязанностей.

— Препятствуют!... Эй там, на корме! Орудие к бою!

Миссионер, наконец, разъясняет, что туземцы мешают ему совершать богослужение.

— О, черт вас всех побери! Только и всего? А я подумал, что они мешают вам варить пунш.

Популярность Теодора Рузвельта

Конечно, он имеет успех... Что удивительного? Сегодня к нему в Белый дом приходят двенадцать апостолов, и он говорит: «Заходите, заходите! Рад вас видеть! Я слежу за вашими успехами. Я просто в восторге!» Завтра к нему является дьявол, и он хлопает его по плечу и кричит: «Как дела, дьявол? Рад с вами познакомиться. Недавно перечитал ваши книги, получил громадное удовольствие!»

С такими талантами каждый будет иметь успех.

Историк Джон Фиск

Говорят, воспитанный человек не должен ругаться. Это неверно. Можно ругаться и оставаться при этом воспитанным человеком. Историк Джон Фиск, которого я хорошо знал и очень любил, был безукоризненно воспи-

тан, и все же однажды он выругался. То есть не то чтобы выругался... Вот как это было.

Однажды, когда Фиск сидел над рукописями в кабинете, вошла его жена, очень расстроенная. «Джон,— сказала она,— мне жаль отрывать тебя от работы, но это серьезное дело, и нужно немедленно что-то предпринять». И она чуть не плача пожаловалась, что их маленький сын только что крикнул: «Тетя Мэри—дура, а тетя Марта—чертова дура!» Фиск задумался, потом сказал: «Мне кажется, что разница подмечена правильно».

Стоянка в аду

Капитан бранится весь день, у него на стоянках убегают матросы. Священник: «Зачем вы бранитесь, капитан? Это ведь делу не поможет». Капитан: «Не поможет, знаю. Но послушайте, что я скажу. Наберите команду плыть в рай и попробуйте сделать по пути стоянку в аду, маленькую — на два часа, просто чтобы взять угля, и будь я проклят, если какой-нибудь сукин сын не останется на берегу!..»

Он вернулся домой

Он вернулся домой из клуба в два часа ночи и был очень доволен собой. Ему было так весело и легко и дом так качался, качался, качался. Он обождал, пока ступеньки крыльца приблизились к нему, и ловко прыгнул вверх. А дом качался, качался, качался. Он не отрывал глаз от входной двери и, когда она оказалась на его пути, быстро нырнул и очутился у лестницы на второй этаж. Тогда он стал на четвереньки и пополз наверх, но дом был неустойчив, и ползти было трудно. На верхней ступеньке он выпрямился, поднял ногу, чтобы ступить на площадку, но потерял равновесие, скатился вниз по лестнице и уселся на нижней ступеньке, крепко держась за перила. «Боже,— сказал он,— каково бедным матросикам в открытом море в такую ночь!»

Игрок

Ночью шторм достиг небывалой силы. Судно резко накренилось, и всё: пассажиры, столы, карты, бутылки — с треском покатилось по палубе. Хор из пятидесяти голосов возопил: «Боже, спаси нас и помилуй!» Но один голос, звонкий и чистый, покрыл эти стенания: «Братцы, не забудьте, я объявил семь в бубнах!»

НА БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ

Наивность дьявола

Даже из того, что сказано в евангелии, видно, что дьявол был простоват. Он повел Христа на высокую гору, он обещал ему во владение весь мир, если тот ему покорится. Это было нелепое предложение. Во-первых, Христос, поскольку он был сыном бога, уже владел всем миром. Во-вторых, то, что дьявол мог показать ему с горы, был не весь мир, а несколько акров каменистой земли в Палестине. С тем же успехом можно пытаться соблазнить Рокфеллера, владельца «Стандарт ойл компани», галлоном керосина.

Два воскресенья

Воскресенье бывает только раз в неделю, и я жалею об этом. Человек так устроен, что он выдержал бы и два воскресенья. Я часто раздумываю о том, как легко было это сделать и как была упущена эта возможность. Всемогущему творцу ничего не стоило создать мир не в шесть дней, а в три дня — и вот вам два воскресенья в неделю! Но кто я такой, чтобы критиковать мудрость создателя?..

На Галилейском озере

Заметка относится ко времени первого кругосветного путешествия Твена, которое дало материал для «Простаков заграницей».

Нам сообщили, сколько стоит прогулка на лодке по Галилейскому озеру. Даже церковные старосты, объехавшие полсвета, чтобы прокатиться по его священным волнам, были ошеломлены. Джек сказал: «Ну, Денни, теперь ты понимаешь, почему Христос ходил по водам пешком!»

ГОСПОЖА КЛЕМЕНС

Твен вышел из народа и был в молодые годы речным лоцманом и золотоискателем Жена Твена, Оливия Клеменс, была воспитана в богатой буржуазной семье и старалась перевоспитать Твена на свой лад, простирая свою критику и на его литературную деятельность.

Твен, рассерженный, крепко бранился, запершись у себя в комнате. Госпожа Клеменс, чтобы устыдить его, повторила ему то, что он сказал, слово в слово.

— Ливи, неужели это звучало именно так?

— Конечно, еще хуже! Я хотела показать тебе, как ужасно это звучит.

— Ливи, если это звучит действительно так, я очень огорчен. Видишь ли, слова у тебя те, но мотив не тот!

* * *

«Вчера я окончил книгу («Вдоль экватора»), но мадам выбросила из нее эту главу: первая часть, по ее мнению, недостаточно деликатна, а вторая слишком неделикатна.

ЗАПИСИ СЮЗИ

Десятилетняя дочка Твена Сюзи решила писать биографию своего отца и начала делать записи. Твен сохранил некоторые из них и поместил позже в своей автобиографии.

* * *

Он совсем не любит ходить в церковь и слушать проповеди. Я не могла понять почему, но вчера он нам сказал, что терпеть не может, когда кто-нибудь разговаривает, кроме него самого; себя же может слушать часами и ничуть не устанет. Он, конечно, сказал это в шутку, но я думаю, что тут есть и правда.

* * *

Одна наша знакомая дама любит вмешиваться в разговор и прерывать на полуслове. Папа признался, что хочет сказать мужу этой дамы: «Я рад, что ваша жена не присутствовала, когда бог сказал: «Да будет свет!»

* * *

Мама любит хорошие манеры, а папа любит кошек.

О СЕБЕ

Я храплю

За завтраком я решился вызвать их на откровенность. Я сказал, что да, дома я иногда храплю, не часто и не очень сильно, но все же храплю. И вот я подумал... здесь, на пароходе... может быть... не мешаю ли я...

Меня прервал поток заверений и похвал. Все сказали, что я превращаю для них ночь в настоящий праздник. Роджерс сказал, что он получает такое наслаждение, что нарочно переворачивается всю ночь с боку на бок, лишь бы не заснуть и не упустить даже одной минуты блаженства. Райс сказал, что это храп деликатного интеллигентного человека. Пейн сказал, что бывает огорчен, когда наступает утро: его мучает мысль, что надо так долго ждать до следующей ночи. Том Рид сказал, что он перебрался спать в угольный бункер просто потому, что оттуда он воспринимает эту музыку более полно, так сказать, в перспективе.

Дома я встречаю совсем другое отношение. Удивительно, как не умеют ценить человека его домашние!..

Я очень ленив

Я был ленивым от самого рождения. Правда, сейчас я не ленивее, чем был сорок лет назад, но это просто потому, что уже сорок лет назад я израсходовал свой лимит. Всему есть предел!..

* * *

Я очень люблю трудиться. Когда мне предстоит работа, я иду, сажусь где-нибудь в холодке и начинаю предвкушать, какое это будет наслаждение. Иногда я сижу довольно долго...

Пропавший носок

Я проснулся среди ночи. Помаявшись часа два, решил встать. В полной темноте начал искать свою одежду, ступая с легкостью кошки, чтобы не разбудить Ливи. Постепенно нашел все, кроме одного носка. Правая нога у меня была обута, левая босая. Я опустился на колени и пополз по комнате, осторожно шаря под стульями. Я искал, и искал, и искал. Сначала я только шептал сквозь зубы: «Проклятый носок»,—но скоро этого стало недостаточно, и мое отношение к носку стало искать выхода в более сильных выражениях. Когда же я понял, что, ползая по комнате, заблудился и больше не знаю, где моя кровать, я сел на пол и крепко ухватился за мебель, чтобы не взорваться и не вылететь через трубу вверх, настолько ужасными были слова, скопившиеся у меня на языке... Утешало лишь то, что я пока еще не разбудил Ливи. Я решил напрячь все душевные силы и разыскать этот носок, не проронив ни звука, хотя бы это продолжалось до утра. Я снова пополз по комнате, тихо шаря вокруг, и через полчаса носок был найден. Я поднялся на ноги вне себя от счастья и опрокинул умывальный таз и кувшин с водой, стоявший на умывальнике... Ливи вскрикнула, потом сказала: «Кто там? Что случилось?» Я сказал: «Ничего не случилось. Я охотился за носком». Она сказала: «Ты, наверно, убил его».

* * *

Мне бывает веселее всего, когда я смеюсь над собой.

Лев Кассиль

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

АДАМ ПОЗНАЁТ МИР

Ну-с, о том, как бог сотворил человека, вы, вероятно, уже знаете.

Могу напомнить, что часть рисунков на эту тему из альбома французского художника Франсуа Лежёна, знакомого миллионам людей под псевдонимом Жан Эффель, была напечатана в № 4 журнала «Иностранная литература» за 1956 год вместе с интересным очерком Сергея Юткевича, который познакомил советского читателя с историей творчества и биографией замечательного художника-поэта.

Значит вы должны помнить, с каким заразительным и добрым юмором, с какой веселой изобретательностью нарисовал художник картину сотворения Адама, созданного по авторскому проекту и техническим чертежам бога Саваофа. Вы, вероятно, помните и то, как бог дал сотворенному им человеку «душу взаймы», не забыв намекнуть, что в будущем ее придется вернуть. Затем бог дунул как следует в лицо своему созданию, и оно сразу задвигалось. «Иди, не спотыкайся!..» — напутствовал Саваоф сотворенного им первого человека.

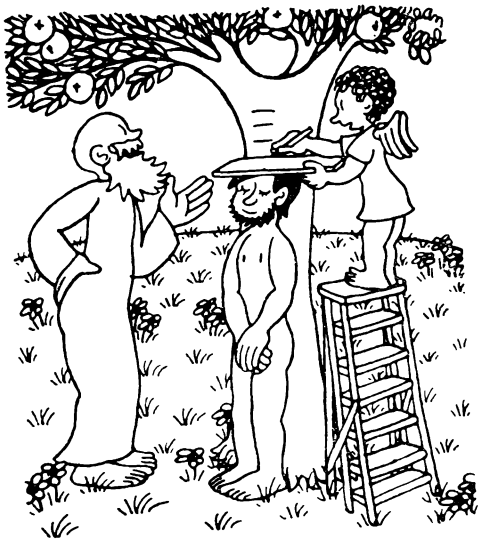
Что же было дальше с Адамом? Споткался ли он? Проследил ли своим зорким, веселым и добрым взглядом художник первые шаги первого человека?..

...Летом прошлого года в переполненном вагоне парижского метро я заметил трех молодых рабочих, судя по их усталым и плохо отмытым от въевшейся в кожу металлической пыли лицам, возвращавшихся с работы. Склонив головы, почти касаясь висками друг друга, они, стоя, рассматривали какую-то книжку, то и дело покатываясь с хохоту. Они так хорошо, так неудержимо и заразительно смеялись, что и другие пассажиры невольно стали улыбаться, посмеиваться и заглядывать в их книгу. Я тоже полюбопытствовал, что это так славно объединило в общей радости усталых людей, спешивших домой после трудного дня, жестоко стиснутых в обычной для «часа пик» давке парижской подземки.

И тут я увидел уже знакомого нам голенького бородатого Адама, простецки беседующего с господом богом. И, ей-богу, мне было чертовски (если позволено будет выразиться так в разговоре на столь деликатную тему) приятно встре-

— Послушай, да это же не волчок!

— Он играет со своим молочным братом.



— Да нет же, Адам нисколько не уменьшается — это попросту дерево растет.

Внимание, школа!

титься именно здесь, в Париже, со старым, полюбившимся нам знакомцем, которого сотворил и пустил гулять по свету чудесный, полный ласкового и жизнерадостного внимания к человеку художник.

То был новый сборник-альбом из цикла Эффеля, в целом названного им «Роман Адама и Евы». Этот сборник из бесконечной серии популярных рисунков Эффеля, которые помещаются на страницах еженедельника «Леттр франсез», посвящен тому, как Адам получал образование, и называется «Родительская школа». Я имел возможность увидеть еще один альбом рисунков Эффеля — «Сад Эдема». Оба эти сборника, полные неистощимо изобретательного и какого-то очень душевного юмора, повествуют о том, как юный Адам познавал мир. И, конечно, в этих рисунках, посвященных допотопным временам, очень многое перекликается с сегодняшним днем.

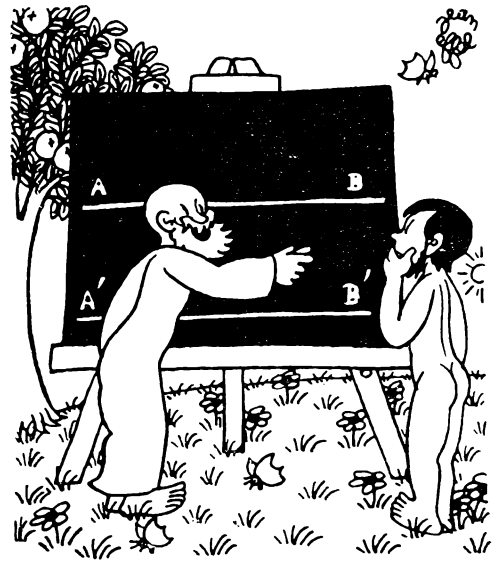
Исполненный самой нежной отеческой любви к своему творению, Саваоф озабочен святым неведением Адама по части самых элементарных житейских дел и простейших вопросов мироздания. Вот, например, это беспокойное создание, оглашая только что сотворенную вселенную капризным ревом, тянется к небу, чтобы достать Сатурн. Действительно, планета эта со своими кольцами очень напоминает не то волчок, не то какую-то елочную игрушку!

Вообще, судя по рисункам Эффеля, у бога хватало хлопот с первым человеком. То проказник начинает бороться с теленком, и маленький ангеленок спешит наябедничать богу: «Он играет со своим молочным братом». То, должно быть, по наущению дьявола, дразнит до-

— Может быть, он происходит все-таки от обезьяны?

— В этом возрасте перенимают все дурное

—Слово «голубь» пишется с двумя крыльями.



— Две параллели пересекаются в бесконечности. Здесь этого не видно. Но я это видел!

бродушную корову, приставив к своей голове пальцы в виде рожек. То не хочет засыпать вовремя, и бог, укачивая его, как водится в грядущих веках, грозит: «Придет мышка из соседнего домишка», хотя вместо мышки над Адамом склоняется исполинский игуанодон... То — новая забота — Адам не растет, а, наоборот, судя по отметке на дереве, становится даже как будто все ниже, пока, наконец, Саваоф не догадывается: «Да нет же, Адам нисколько не уменьшается—это попросту дерево растет». То новосозданный играет в чехарду с овцами, то задирает по-собачьи ножку у одного из райских деревьев, ибо, как поясняется в надписи, «в этом возрасте перенимают все дурное».

Словом, необходимо взяться серьезно за воспитание человека. И на первозданной земле появляется дорожный знак, напоминающий те, что предупреждают сегодня автомобилистов: «Внимание, школа!»

Бог берется за обучение Адама. Оно не легко дается даже всемогущему господу. Вот божий воспитанник лезет на дерево перед школой, пытаясь добраться до сидящего в ветвях шимпанзе. И бог озадаченно поглядывает на Адама: «Может быть, он происходит все-таки от обезьяны?»

С трудом дается первому на земле школьнику правописание. До чего же мил рисунок, изображающий урок по орфографии! Адам высекает на скале иероглифы в виде птиц и зверей, а бог строго поправляет: «Голубь пишется с двумя крыльями».

— Ничто не пропадает, из ничего ничто не возникает.
— И это ты говоришь м н е!

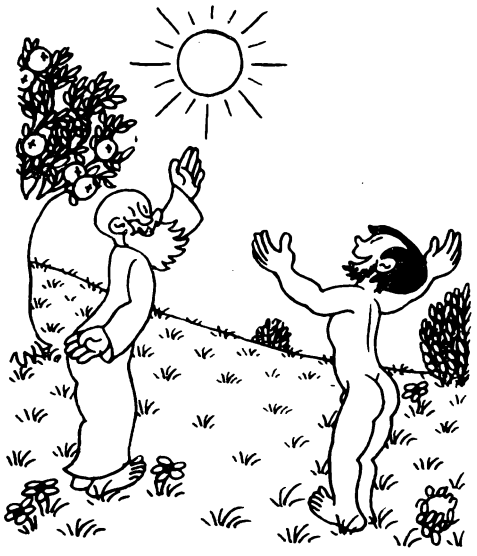
—Перпетуум-мобиле? Что может быть проще...

Титульный лист альбома «Сад Эдема», присланного автором редакции «Иностранной литературы»

Дьявол и тут пытается напакостить. Спрятавшись за деревом во время урока математики, он, выставив из-за ствола хвост, выгибает его в виде цифры 2, ибо Адам, стоя у классной доски, не может извлечь квадратный корень из четырех. «Не подсказывать!» — гласит лаконичная подпись под этим выразительным рисунком.

Наука, преподаваемая Саваофом Адаму, становится все более сложной. Как ироничны и изящны по своему смыслу рисунки и тексты Эффеля, построенные на комичном и парадоксальном конфликте данных истинной науки, элементов реального знания с метафизическими представлениями о мире. Бог, например, рисует на доске параллельные линии и говорит при этом Адаму: «Две параллели пересекаются в бесконечности. Здесь этого не видно. Но я это видел!».

— Вот гашиш... абсент... табак...



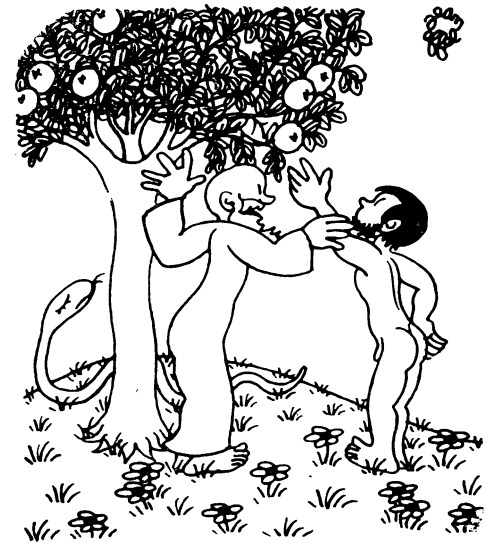
— Золотые часы!.. Это для тебя.

Отвечая урок по химии, рассказывая о законе сохранения материи, юный Адам бойко тараторит: «Ничто не пропадает, из ничего ничто не возникает». И бог усмехается в бороду: «И это ты говоришь м н е!».

Когда Адам на уроке начинает путаться у классной доски в доказательствах существования бога, папаша Саваоф просто-напросто влепляет ему затрещину, приговаривая: «Вот тебе, получай конкретное доказательство моего существования».

Тем не менее юный Адам делает заметные успехи, он даже изучает «азбуку Морзе» и знакомится со всеми «дружескими языками», на которых изъясняются животные. И на вопрос учителя-бога, как будет по-кошачьему: «Я люблю свежую рыбу, но боюсь воды», быстро отвечает: «Мяу-мяу»... «Очень хорошо!» — ставит отметку бог.

— Не трогай! Это бяка.



Расщепление кокосового ореха, или начало ядерной физики.

— Я бы не стал делать такой дырявой крыши...
— Тебя не спросили.

В итоге бог выдает ему диплом, который гордый Адам прибивает к дереву. Текст диплома гласит: «Настоящим удостоверяю, что ученик Адам окончил факультет грамоты с отличием и выпускается в звании Гомо Сапиенс». Подпись: «Бог».

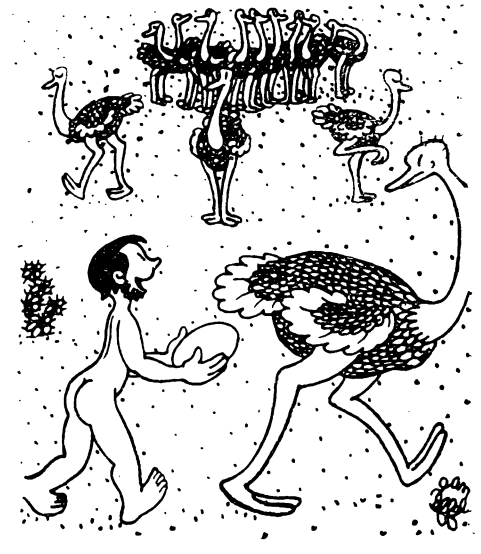
Теперь, получив элементарное образование, Адам вступает в просторы Эдема, под кущи райских дерев. В неожиданных по содержанию, снабженных остроумнейшими подписями рисунках Эффель, таясь за непринужденной и милой шуткой, добродушно посмеиваясь над кое-какими слабостями и забавными заблуждениями Адама, нет-нет да и напомнит зрителю-читателю, что человек имеет законные основания владеть всеми благами и радостями прекрасного мира. И недаром на одном из первых рисунков, открывающих сборник «Сад Эдема», бог, показывая на ослепительно сияющее солнце, говорит Адаму: «Золотые часы!... Это для тебя». Он знакомит Адама со зверями — «целый цирк!» — подводит к различным плодовым деревьям, поясняет, не без некоторого тщеславия: «Все сделано моими собственными руками! Вот дерево хлебное... Вот маслины. Остается только делать бутерброды». «С ума сойти, сколько ты уже наворотил за свою жизнь»,— изумляется Адам. А дьявол не дремлет и, чуть зазевался простодушный Саваоф, уже тащит Адама в глухие, укромные уголки райского сада, показывая: «Вот гашиш... абсент... табак...».

Юный Адам тянется к одному из деревьев, чтобы достать с него крупные яблоки. Бог хватает его за руку: «Не трогай! Это бяка». Вот оно — запретное дерево!

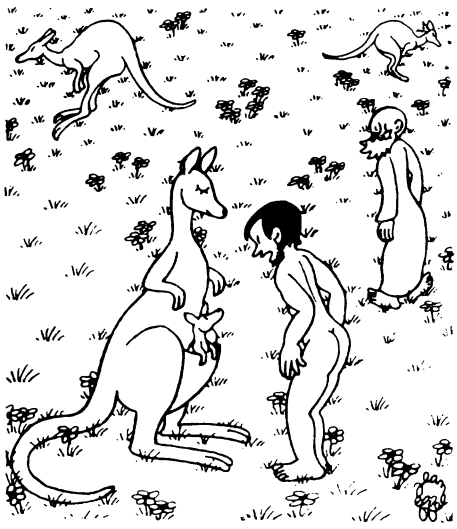
Познакомив Адама с сокровищами Эдема, бог предупреждает, что «не все показано на выставке, кое-что таится в недрах». И указывает на список: «Карто-

— Апчхи!
— Будь здоров, бог с тобой!

— Мадам, вы что-то потеряли...



— Послушай, как тикает. Это — будильник..



— Вот так авоська, черт возьми!

фель, крот, уран...» Но Адам становится с каждым днем пытливее. Его уже интересуют, по-видимому, тайны материи. И он пробует расщепить камнем большой кокосовый орех. В подписи под этим рисунком Жан Эффель многозначительно поясняет: «Расщепление кокосового ореха, или начало ядерной физики».

А однажды, откушав молодого винограда, слегка охмелев, первый человек начинает сомневаться в единобожии и готов уже впасть в ересь дуализма, так как видит перед собой двух Саваофов.

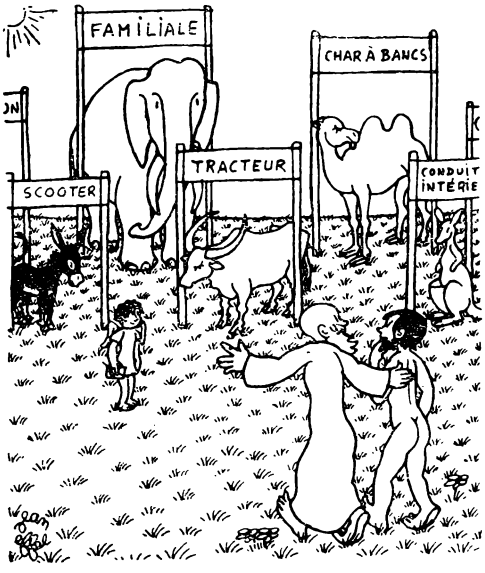
То предельно наивный, то неугомонно пытливый и озорной, доверчивый и любознательный, странствует по Эдему юный Адам.

Саваоф старается всячески приблизить своего питомца к цивилизации. После ливня над Эдемом выгибается яркая радуга. «Ну вот,— объясняет бог, — теперь ты знаешь, что такое абстрактная живопись». А когда далеко над горизонтом встает в небе мираж и в воздухе появляются какие-то пальмы, бог спокойно поясняет: «Телевидение...»

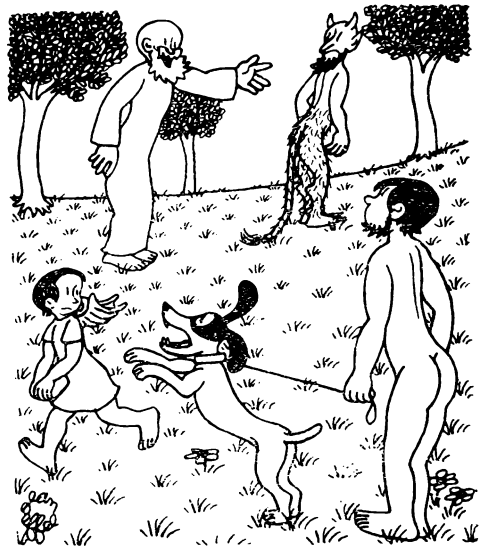
Адам растет общительным, полным самого доброго отношения ко всем окружающим его тварям. Со всех ног догоняет он большую страусиху, держа в руке только что снесенное ею яйцо: «Мадам, вы что-то потеряли...» — и восторженно прислушивается, как стучит петушиное сердце, когда Саваоф приложил к его уху петуха: «Послушай, как тикает. Это — будильник».

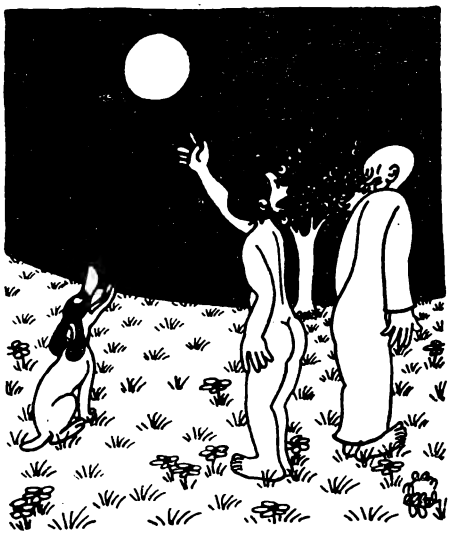
Бог предоставляет в распоряжение Адама «первый автомобильный салон» — гараж Эдема. Здесь собраны различные образцы райского транспорта. Слон — экипаж для большой семьи. Верблюд — шарабан. Вол — трактор и т. д.

Первый автомобильный салон.



—Его надо натаскивать на шерсть, а не на перо.





— Как мне надоел этот скулеж... Дайте же ей, пожалуйста, эту штуковину...

—Не все показано на выставке, кое-что таится в недрах

Но Адам предпочитает другие способы передвижения. В ряде рисунков показаны его приключения с лошадью, ослом, зеброй. Он вообще, по свидетельству Эффеля, очень любит животных. И Саваоф дарит Адаму собаку: «Чистая порода... Гарантирую».

Но вскоре бог замечает, что Адам неправильно дрессирует своего четвероногого друга: тот кидается с лаем на ангелов. «Его надо натаскивать на шерсть,— кричит бог, тыча в сторону косматого дьявола,— а не на перо»...

На предпоследнем рисунке этого прелестного сборника Эффель изобразил юного Адама сидящим под райским деревом. Над ним вьются и щебечут птички. Ангелята потчуют его ягодами, подносят к носу розу. А Саваоф стоит в сторонке и умиляется: «Он создан для ангелов...»

Впрочем, на следующей странице изображен уже без всякой подписи тот же, но явно взыгравший Адам, скачущий на галопирующем козле. Очевидно, автор-художник не склонен соглашаться с благостным определением, высказанным богом в адрес нашего предка.

Известно, что уже вышел в свет новый сборник рисунков Жана Эффеля, на страницах которого появляется Ева... Я еще не видел этого сборника, но заранее представляю себе, сколько уморительных историй, рисующих, боюсь, далеко уже не ангельское поведение Адама, сколько целомудренно-откровенных в своей наивной смелости, прелестных, озорных, хотя, быть может, и пугающих чопорных людей приключений сочинил и изобразил в этом сборнике умный, радостный художник Жан Эффель, человек, без которого в мире было бы намного скучнее...

— Он создан для ангелов...

ИЗБРАННОЕ КУНИКИДА ДОППО

□

國本田獨步集
現代日本文學全集 57
東京 ♪築摩書房版
昭和三十一年發行。

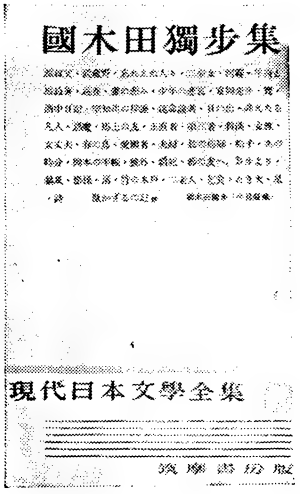
□

В Японии существует хорошая традиция издавать серии литературных произведений, объединяющих различных писателей какого-либо одного исторического периода в жизни страны. Недавно начала издаваться серия «Современная японская литература». В пятьдесят седьмой том, вышедший в 1956 году, вошли основные произведения японского писателя Куникида Доппо.

Куникида Доппо — одна из интереснейших фигур среди японских писателей. В его творчестве отразился процесс становления реалистической японской литературы начала двадцатого века. Жизнь Доппо (1871—1908) протекала в переломный период истории Японии, так называемый период Мэйдзи, начавшийся после буржуазной революции 1868 года, в эпоху быстрого развития японского капитализма.

Доппо не сразу стал на реалистические позиции. Первые его рассказы носили ярко выраженную романтическую окраску; в то время он рассматривал проблемы человеческого бытия на фоне вселенной, на фоне всеобъемлющей и вечной природы («Дядя Гэн», «Незабываемые люди», «Равнина Мусаси»). Характерны для Доппо того периода слова героя рассказа «Незабываемые люди»: «Я несчастен. Я все время думаю о проблемах человеческой жизни, о будущем. Я страдаю». Герои Доппо стремятся разгадать тайны природы, понять смысл и цель человеческого существования. Но истина не раскрывает своей тайны, идеал свободы остается не осуществленным, а причина человеческих страданий неведомой. Только в лучших рассказах этого периода можно найти свидетельство того, что причину несчастий и страданий автор начинает усматривать в законах современного ему японского общества. Герой рассказа «Туман над рекой», как и большинства других, гибнет; но в гибели его повинен капиталистический город, с присущими ему пороками. К сожалению, в сборник не вошел рассказ «Скиталец», полный бунтарского пафоса. «У человека нет дарственной на свободу. Свобода завоевывается в борьбе» — такова заключительная мысль автора.

В рассказах, написанных в начале века, внимание писателя занято всецело городской жизнью. Героем его произведений становится интеллигент-неудачник, по той или иной причине выбитый из жизненной колеи, преследуемый неотвратимой судьбой («Фаталист»,



«Страдания из-за женщин» и другие).

После японо-русской войны в творчестве Доппо происходит перелом. Тяжело больной писатель создает ряд рассказов, посвященных тяжелой участи японских трудящихся («Жалкая смерть», «Бамбуковая калитка» и другие). Он наконец находит конкретную причину реальных человеческих бедствий — это нищета и бесправие простых людей; если они и совершают преступления, то причину их надо искать не в дурных природных качествах, а в тяжелой жизни. Это были первые шаги писателя по новому пути, первая попытка создать рассказы о жизни угнетенных.

Помимо рассказов, в книгу входят три небольших сборника стихов, написанных Доппо в начале творче-

ского пути. Вызывает интерес предисловие к сборнику «Песни Доппо» (1897), где автор ратует за новую поэзию, способную, по его мнению, перестроить жизнь. В книге помещен также дневник Доппо «Откровенные записки». Это поистине правдивая летопись его жизни 1893—1896 годов. Мы узнаем из нее, в каких условиях протекала жизнь Доппо, кем из писателей он увлекался в годы молодости, на каких произведениях воспитывались его художественные вкусы.

В книге помещена статья японского критика Кэндзо Накадзима «Взгляды Куникида Доппо», содержащая краткую творческую биографию писателя. Автор этой статьи отмечает, что в рассказах Доппо «есть та свежесть, та непосредственность, которой не найдешь в произведениях писателей-профессионалов». По мнению Накадзима, как и некоторых других японских критиков, в произведениях Доппо есть что-то дилетантское. Причина подобного мнения, вероятнее всего, лежит в отличии доппоских рассказов от произведений предшествующей японской литературы, в новаторстве его творческих принципов.

Несколько упрощенно понимает Накадзима одну из особенностей мироощущения Доппо, которую японские критики иногда называют «философией испуга». Писатель призывал «поражаться» явлениями мира, не дать привычке поработить себя. Будуч порождением романтизма, этот призыв, тем не менее, ясно говорит о недовольстве мещанской пошлостью и голым практицизмом буржуазного общества. «Я жалею людей, душа которых разбита параличом, которые не способны понять, что ложь — это ложь. Если бы мне удалось раскрыть им глаза, пробудить стремление к истине, всколыхнуть их чувства — мое желание было бы удовлетворено», — пишет Доппо в одной из своих статей. На основании этих рассуждений Накадзима Кэндзо делает неожиданный вывод: он пишет, что «жизнь не служила материалом для рассказов Доппо. Более того, он и не стремился посредством своих рассказов глубже познать человеческую жизнь». Творчество Доппо свидетельствует как раз об обратном. Он сам не раз подчеркивал, что рассматривает литературу как средство познания жизни, что черпает материал из реальной действительности. «Среди моих рассказов, — говорил Доппо, — нет ни одного, который не был бы взят из жизни».

В последнее время в литературных кругах Японии проявляется большой интерес к истории японской реалистической литературы.

Выход книги Куникида Доппо свидетельствует о том, что произведения первых японских писателей-реалистов сохранили свою свежесть и жизненность до наших дней.

Т. Григорьева

„РАССКАЗЫ С ПОБЕРЕЖЬЯ" ЭРСКИНА КОЛДУЭЛЛА

□

Erskine Caldwell. Gulf Cost Stories. London, Heinemann, 1957.

□

В новом сборнике Эрскина Колдуэлла свыше двадцати рассказов. Некоторые из них печатались в различных американских журналах, остальные появляются в печати впервые. Во многих рассказах описываются эпизоды из жизни захолустных городков, расположенных на побережье Мексиканского залива, чем и определяется название сборника — «Рассказы с побережья».

С присущим Эрскину Колдуэллу мягким юмором, а порою и с иронической усмешкой, он рассказывает о мелких конфликтах в семье рабочего, конторского служащего, бакалейщика. Чаще всего это — психологические зарисовки, в которых взяты под обстрел трусость, ревность, слабохарактерность, черствая расчетливость, недоверие к людям, боязнь огласки. Как и в рассказах прошлых лет, Эрскин Колдуэлл особенно силен не в драматических сюжетах, не в коллизиях с трагической развязкой, а в ситуациях комических, иной раз смешных до нелепости, в которых, впрочем, до трагического — один шаг.

Вот, например, один из лучших рассказов сборника — «В память умершей» ("Memento"). Тридцать лет прожил Хейм Стоддард со своей, до самозабвения преданной мужу, доброй Нелли. На пятьдесят пятом году жизни Хейма его жена, упав в темноте с лестницы, умирает. Хейм, кузнец по профессии, под старость ушедший на покой и открывший торговлю скобяными товарами, — человек сильный, упрямый, своенравный. Он тяжело переживает смерть жены. Ночь после похорон он проводит в опустевшем доме, предаваясь горю и размышлениям, чем бы отплатить Нелли за ее преданность. Стремясь сделать в память о ней что-то особенно хорошее, доброе, он отправляется за десять миль в городской суд и предъявляет для регистрации сильно пожелтевшее свидетельство о браке. Ему отказывают: по законам штата брачное свидетельство должно регистрироваться в течение пяти дней, иначе оно теряет силу. По закону выходит, что Нелли, которую в городе звали «святой», тридцать лет прожила во грехе, не состоя в законном браке со своим мужем. На вопрос, почему он не регистрировал брака раньше, Хейм отвечает: «Я не сделал этого потому, что в то время не знал, как обернется дело... Я решил — пусть Нелли сначала докажет мне, что она будет именно такой женой, какая мне нужна...» Он припрятал свидетельство

на чердаке, ожидая, когда окончательно убедится в нравственных достоинствах своей жены. «И вот вчера, после похорон, — говорит Хейм,— я понял, что настало время предпринять этот шаг. Теперь я окончательно убедился, что Нелли мои надежды оправдала». Хейм упрямо настаивает на своем, грозя не уйти из суда, пока свидетельству не будет придана законная сила. Судебный клерк обратился за советом к судье. Оказалось, что закон о регистрации браков в пятидневный срок вышел позже свадьбы Хейма и Нелли. Поэтому судья признает требование Хейма законным. Однако он искренне удивлен, зачем это понадобилось Хейму теперь. Тот объясняет: только тогда он будет вправе написать на надгробье жены, что супруг скорбит о ней после тридцати лет совместной жизни.

Колдуэлл не боится гротескной гиперболизации характера, он доводит ее казалось бы до абсурда и именно так достигает большой убедительности образа.

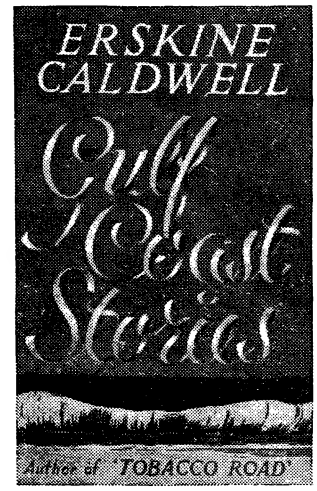
Чисто колдуэлловский гротеск лежит в основе и другого рассказа — «Выстрел в судью Прайса». Одна из горожанок, Ферн Браунинг, много лет подряд осаждает немолодого уже вдовца, судью Прайса, стремясь женить его на себе. Он охотно ходит к ней в гости, благосклонно принимает ее заботы о себе, но от решительного шага уклоняется. Доведенная до отчаяния, Ферн однажды выслеживает его и, сама того не зная, попадает вслед за ним в... публичный дом. Потеряв его из виду в вестибюле, она, растерявшись, начинает палить в воздух из пистолета, спрятанного у ней в сумочке. Шальная пуля ранит вышедшего на шум Прайса. Ферн в отчаянии. Она убеждена, что теперь навеки потеряла надежду на брак. Судья же вместо того, чтобы возмутиться не поступком, с нежностью гладит ее волосы: «Если вы способны были стрелять в меня в таком месте, значит я вам действительно дорог и вы будете мне любящей и преданной женой».

Художественные приемы в этих рассказах различны — гиперболизация образа в одном, гротескность ситуации в другом. Внутренний же смысл рассказов остается одним и тем же: в них звучит вера в человека, в хорошее начало человеческих отношений.

Это очень типично для Колдуэлла—высокая мысль выражена в его новеллах через полуанекдотическую форму и все же сохраняет при этом свой подлинный смысл. Чаще всего Колдуэлл высмеивает то, что кажется ему жалким, смешным, что принижает человека. Однако при этом ясно, что писатель любит своих героев, любит их без прикрас, такими, какими видит их в жизни. Впрочем, он далек от любования ими. В совершенстве владея мастерством рассказчика, он и читателя заставляет искренне посмеяться над тем в человеке, что достойно осмеяния.

Вспоминается шутливый комментарий Эрскина Колдуэлла к одному из его рассказов. «История эта, — писал он, — была написана с целью посмотреть, чем же она кончится». Писателю и теперь явно нравится поза наблюдателя, пишущего якобы ради собственной забавы. Однако ключ ко многим его произведениям, думается, лежит в некоторых выразительных признаниях, содержащихся в автобиографии, вышедшей в 1951 году под названием «Называйте это опытом». «Все художественные произведения, — говорилось там, — написаны мною с одной целью — предоставить людям зеркало, в которое они могли бы увидеть себя. Приносят ли мои книги пользу или вред, зависит от того, как тот или иной человек относится к изображению, увиденному им в этом зеркале».

Высмеивая смешное, а порою уродливое, Колдуэлл снисходителен к человеческим недостаткам. И если приведенное выше признание и убеждает в том, что



пишет Колдуэлл не просто из желания позабавиться и позабавить читателя, то он никогда не навязывает ему своего мнения. Следует сказать, что в рассказах этого сборника отсутствуют темы большого социального звучания. Характерно, например, что ни один из персонажей книги не испытывает даже сколько-нибудь ощутимых материальных трудностей. Если сравнить новые рассказы Колдуэлла с предыдущими, они встали бы скорее в один ряд с такими рассказами, как «Шальные деньги» и «Вечер в Нуэво-Леоне», нежели с новеллой «В гуще людской»*.

Но точно так же, как супруги Мердок из рассказа «Шальные деньги», надолго запоминаются читателю и Хейм Стоддард из рассказа «В память умершей», и слабовольный пьянчужка Родди Лэттердей из рассказа «Подарок для Сью», и судья Прайс из рассказа «Выстрел в судью Прайса», и Нелл, строгая секретарша управляющего фабрикой из рассказа «Мисс Пэддлфорд» и многие другие. Писателю удается подметить множество типичных и ярких черт, составляющих характер американского обывателя, и создать целую галерею *типов*.

Уменье схватить основное и во внешнем облике и в

* См. журнал «Иностранная литература» № 2 за 1955 г.

характере даже эпизодических персонажей, удивительное разнообразие приемов для создания меткого и точного портрета, а также неистощимая выдумка помогают Колдуэллу в новом и подчас неожиданном ракурсе представить читателю знакомую ему и в жизни и в литературе ситуацию, черту человеческого характера.

Ел. Романова.

ПИСЬМА ВОЛЬТЕРА

□

Voltaire. -Lettres Inédites à Constant d'Hermenches. Paris, Corrêa, 1956.

□

«Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа»,— писал Пушкин в рецензии на одно из первых французских изданий переписки Вольтера.

Наиболее полное собрание сочинений Вольтера (52 тома) выходило в 1877—1885 годах. Переписка занимает в нем около 20 томов. Но это приблизительно лишь пятая часть поистине колоссального эпистолярного наследия писателя. Луи Молан, составитель и редактор этого издания, не смог включить в него многие тысячи писем Вольтера, разбросанные по библиотекам, музеям и частным собраниям всего мира.

С тех пор многие из писем Вольтера были опубликованы. (В том числе советским ученым В. С. Люблинским напечатаны ценнейшие материалы переписки Вольтера, хранящиеся в ленинградских фондах). В последние годы предприняты попытки собрать воедино рассеянные по всему миру вольтеровские материалы. В 1952 году Теодор Бестерман основал в бывшем имении Вольтера Делис, под Женевой, «Институт и музей Вольтера», сосредоточивший в своих стенах фотокопии почти всей переписки писателя. Бестерман предпринял первое научное издание писем Вольтера. До настоящего времени им издано 20 томов, охватывающих период до июля 1752 года и включающих 4341 письмо писателя, многие из которых впервые увидели свет.

В 1956 году исследователь творчества Вольтера Альфред Рулэн впервые издал письма Вольтера к Луи-Давиду Констану д'Эрманш, дяде известного романиста первой половины девятнадцатого века Бенжамена Констана. Эти письма около полутора веков пролежали в семейном архиве Констанов. Они приходятся на 1755—1777 годы, то есть охватывают швейцарский период жизни писателя.

Семья Констанов была очень близка с Вольтером начиная с 1754 года, то есть со времени его переселения в Женеву. Луи-Давид Констан д'Эрманш, как и брат его Самюэль-Марк и сестра Анжелика, был образованным, передовым человеком своего времени, обладал несомненным талантом литератора, актера, режиссера. Именно театр связывал долгие годы Вольтера с семьей Констанов. Первый любительский театр Вольтера был основан в доме Анжелики. Когда затем он был перенесен в «Мон репо», на его сцене выступали почти все представители семьи Констанов. Самюэль-Марк Констан и жена его Шарлотта Крамер, дочь близкого друга Вольтера и издателя его сочинений Габриэля Крамера, были желанными гостями в имениях Вольтера Делис и Ферне, с успехом выступали на сцене вольтеровского любительского театра. Внезапная смерть Шарлотты потрясла Вольтера (письмо от 16 апреля 1766 года); он и его племянница мадам Дени долгое время воспитывали ее детей.

Вольтер был искренне увлечен своим театром, видел в нем средство борьбы против фанатической морали пуритан, запретивших в Женеве театральные представления. Театр в «Мон репо» ставил «Заиру», «Блудного сына», «Фаниму» Вольтера, «Ифигению» Расина. Особенно много внимания уделяется театру в письмах 1755—1759 годов. Письма этого периода к Луи-Давиду, бывшему душой вольтеровских постановок, содержат указания драматурга о распределении и характере ролей, о мельчайших деталях спектакля. Все это — ценнейший материал для изучения драматургии Вольтера. Также чрезвычайно интересны содержащиеся в письмах порой еще неизвестные варианты вольтеровских пьес. Иногда это незначительные изменения текста, иногда — целые небольшие сцены, вводимые Вольтером специально для своих любительских спектаклей.

Интерес к театру не ослабевает у Вольтера и в последующие годы; он мечтает о создании любительского театра в Ферне. Но старость и болезнь теперь мешают осуществлению его начинаний. У Вольтера слабеет зрение. «Я слеп как бог», — пишет он 15 февраля 1763 года. Теперь ему уже трудно писать, и он диктует письма секретарю Ваньеру.

В письмах Вольтера к Констану д'Эрманш вырисовывается знакомый нам образ их автора — борца против мракобесия и реакции, одного из тех, кто идеологически подготовил революцию 1789 года. Много внимания уделяет Вольтер политической ситуации в Европе того времени. Характерно его резко отрицательное отношение к военным авантюрам Фридриха II (например, письмо от 13 сентября 1760 года). С большим уважением пишет Вольтер о своих русских друзьях Андрее Шувалове и Михаиле Воронцове, ум, образование и литературные

способности которых он высоко ценил. Содержится в письмах и высокая оценка деятельности Петра I (письмо от 10 сентября 1765), совпадающая с основными положениями его известной работы о Петре. Одно время Луи-Давид собирался отправиться в Россию, о чем он сообщал Вольтеру. Вольтер не советовал ему ехать, он писал: «Я считаю Россию прекрасной страной, но лишь для господ Орловых и господина Панина» (письмо от 15 июля 1774).

Переписка Вольтера обладает большими литературными достоинствами. На эту особенность его писем указывал в свое время Пушкин: «Кажется, одному Вольтеру предоставлено было составить из деловой переписки о покупке земли книгу, на каждой странице заставляющую вас смеяться, и передать сделкам и купчим всю заманчивость остроумного памфлета».

Новая публикация писем Вольтера, осуществленная Альфредом Рулэном, многое уточняет в творческой биографии автора «Орлеанской девственницы» и «Кандида», особенно много дает она для освещения истории его театра.

А. Михайлов

„ТЕНЬ ЛИПОВОЙ АЛЛЕИ" АДАМА КЛИМОВИЧА

□

Adam Klimowicz, Cień alei lipowej. "Czytelnik", 1956.

□

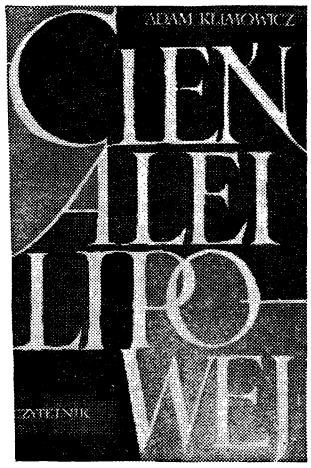
«Весна 1944 года будила в сердцах миллионов людей надежды, тоску и желания более сильные, чем чувства всех влюбленных от сотворения мира», — такими словами начинается большой (около 700 страниц) роман Адама Климовича «Тень липовой аллеи». Перед читателем проходит жизнь одного из уездов Келецкого воеводства в памятный 1944 год. В этот год совместными усилиями Советской Армии и Войска Польского началось освобождение Польши от гитлеровской оккупации. «Тень липовой аллеи» — рассказ о людях Польши того времени, об острой борьбе политических группировок и начале исторических преобразований в общественно-политической жизни страны.

«Тень липовой аллеи» — первое художественное произведение Адама Климовича. Автор сумел поднять в нем большие социальные и национальные проблемы, сложные вопросы классовых взаимоотношений между помещиками и крестьянами-батраками; он рассказал о силах антифашистского подполья — Армии Людовой, Армии Крайовой, Батальонах Хлопских.

Одним из наиболее сложных является вопрос об Армии Крайовой, руководство которой было тесно связано с помещиками, стояло на страже их классовых интересов, а рядовые участники сражались во имя освобождения страны от гитлеровских захватчиков. Немецкие оккупационные власти в известной степени гарантировали польским помещикам неприкосновенность их собственности. В то же время Манифест Польского Комитета Национального Освобождения требовал немедленного проведения аграрной реформы на освобожденных землях. Польские помещики, естественно, жаждали прихода англо-американских войск с Запада; поэтому руководство Армии Крайовой начало воздерживаться от активных военных действий против гитлеровцев, как только стало ясно, что освобождение придет с Востока. Стремления рядовых патриотов к активной освободительной борьбе всячески подавлялись. Среди солдат Армии Крайовой активно велась антикоммунистическая и антисоветская пропаганда.

Климович разоблачает на страницах своей книги предательство руководством Армии Крайовой национальных интересов польского народа.

К сожалению, книга не дает представления о жертвах, принесенных рядовыми бойцами Армии Крайовой во имя национального освобождения, о героизме ее солдат и офицеров. Почти не показаны в действии и Армия Людова и Батальоны Хлопске, которые, как известно, активно сражались против гитлеровцев и сыграли большую роль в деле освобождения польских земель.



Неподдельным теплом веет со страниц книги, посвященных Советской Армии, ее людям, с приходом которых для польского народа окончилась длившаяся в течение пяти лет черная ночь оккупации. Запоминаются страницы, рассказывающие о славном польско-советском братстве по оружию в борьбе с общим врагом, об укреплении польско-советской дружбы. Звериной жестокости фашистов, палачей Европы, автор убедительно противопоставляет гуманизм советских воинов, их высокие моральные качества, их великую освободительную миссию.

Основные события книги развертываются в имении

помещика Пшибыславского Свеховице, «последнем королевстве». Владелец имения, опираясь на местное руководство Армии Крайовой, фактически держит в своих руках власть в Свеховице и окрестностях, притесняет крестьян, расправляется с прогрессивными элементами.

Война забрасывает в Свеховице Генрика Вейнерта, врача по профессии, являющегося центральной фигурой повествования. Вейнерт бежит из города от голода и войны. Это сломленный лишениями, оглушенный грозными историческими событиями интеллигент. Он думает только о спасении своей жизни, стремится уйти от окружающего мира. Но война настигает Вейнерта и в его убежище. В сложной фронтовой обстановке Вейнерт проявляет большое мужество, оказывая населению врачебную помощь. Затем приходит долгожданное освобождение, и в решающий момент, когда нужно сказать «да» или «нет», Вейнерт принимает сторону народной власти.

Один из самых интересных и наиболее живых образов книги — дочь помещика Пшибыславского Кристина. Война приводит ее от привычной городской жизни в отчий дом. Вначале читатель видит в ней одаренную, мечтающую о славе певицу, которая как будто далека от классовых интересов своей семьи. Можно думать, что Кристина вместе с Вейнертом станет на сторону нового строя. Однако сознание своей принадлежности к касте «господ» берет верх в «ясной паненке». Делая отчаянные попытки вернуть уже не принадлежащую ей собственность, Кристина вступает на путь преступлений и организует расправу с сельским активистом во время проведения аграрной реформы.

Убедителен образ сына помещика — молодого Казимежа Пшибыславского. Этот морально разложившийся, беспринципный помещичий сынок не брезгует никакими средствами ради обеспечения интересов своей семьи. Казимеж выведен в книге как один из представителей своего класса, задающих тон в местном руководстве Армии Крайовой.

Климович создал запоминающиеся образы польских патриотов, жертвовавших жизнью ради будущей свободы и независимости своей родины. Молодая Ганка Сковронская — один из удачных образов книги. Она активно участвует в освободительной борьбе и трагически гибнет, спасая чужих детей.

В романе нет главного героя. Генрик Вайнерт, проходящий через все повествование, скорее выполняет роль связующего звена. Возможно, автор и не ставил себе целью создание одного центрального образа; правильнее было бы сказать, что герой книги — трудовой народ, борющийся за национальное и социальное освобождение.

А. Мельников

МЕЧТЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ

□

Lo-Johansson. Journalisten. Stockholm, A. Bonniers Förlag, 1956.

□

Жанру автобиографической повести отдали дань многие шведские прозаики, и в особенности те, кто начал свой литературный путь в тридцатые годы в фаланге так называемых «социальных писателей». Большинство этих писателей — выходцы из семей городских и деревенских пролетариев. Прежде чем взяться за перо, они успели повидать и пережить так много, что их автобиографические произведения стали значительными социальными полотнами. Многие из этих романистов, как Муа Мартинсон, Ян Фридегор, не исчерпали автобиографической темы и поныне. Не исчерпал ее и автор романов и рассказов о шведских батраках Лу-Юханссон. В 1951 году книгой «Неграмотный» он начал новую серию автобиографических произведений. Недавно появилась четвертая часть этой серии — роман «Журналист», в котором повествуется о первых шагах Лу-Юханссона на литературном поприще.

Сын батрака, пастушонок, ставший городским пролетарием, работавший лесорубом, почтальоном, каменотесом, Лу-Юханссон с юных лет чувствовал призвание к литературе, но тщетно пытался опубликовать свои первые стихотворные опыты. По счастливой случайности предприимчивый редактор одной из крупных газет вздумал основать на родине Лу-Юханссона, в провинции Сермланд, местную газетку под многообещающим названием «Сермландский орел». Для работы в редакции нужен был человек, знающий местные условия, и поэтому выбор редактора Бергера пал на Лу-Юханссона.

Для Бергера газета — обычное коммерческое предприятие. «В редакции счетные машины гораздо важнее пишущих»,— поучает он Лу-Юханссона. Но молодой энтузиаст смотрит на газету

другими глазами: он мечтает сделать «Сермландского орла» рупором обездоленных и угнетенных, «разбудить» шведскую провинцию. Разумеется, он хочет при этом опубликовать на ее страницах свои стихи и еще ненаписанную поэму о «зеленых дубах Сермланда».

В книге присутствуют как бы два Лу-Юханссона. Один из них — молодой человек, в душе которого преувеличенный местный патриотизм переплетается с искренней любовью к родной природе, мечты о любви (непременно к сермландской уроженке),—с искренним желанием помочь обездоленным. Этот Лу-Юханссон постоянно терпит разочарования. Вот в поисках рекламных объявлений он заставляет двух соседей, уже договорившихся друг с другом о продаже щенка, дать объявления в газету — одно о продаже, другое о покупке. В конце концов сделка расстраивается, как расстраивается все, к чему причастна газета. Вот Лу-Юханссон пытается уговорить одного из мелких землевладельцев — Валлена, попавшего в кабалу к акционерному «Обществу индивидуального строительства», дать газете интервью и повторить в нем все те горькие и разоблачительные истины, которые он однажды высказал случайным собеседникам. Но насмерть перепуганный Валлен, зависящий от хозяев «Общества», отрекается от своих слов.

Но есть в книге и другой Лу-Юханссон, тот, который смотрит на своего юного героя и на окружающий его мир глазами писателя, создавшего известные книги о шведских батраках-статарах. Этот Лу-Юханссон как будто не вмешивается в повествование, и его присутствие выдает только тонкая ирония. Но именно он заставляет читателя уже без улыбки, с глубоким человеческим сочувствием следить за трудными судьбами тех простых людей, которые окружают молодого журналиста.

Многие безземельные батраки, соблазненные перспективой стать хозяевами собственного клочка земли, пали жертвами «Общества индивидуального строительства», которое продает в долг земельные участки на таких кабальных условиях, что в конце концов земля снова возвращается к акционерам, принося им огромные доходы и разоряя их клиентов. Отец Лу-Юханссона, неграмотный батрак, долгое время работавший на хозяина-барона, упорнее других держится за свою мечту о земле. Но и он наконец сдается. Объявление об аукционе в доме отца — последнее что печатает Лу-Юханссон в своей газете, потому что и она прекращает свое существование, не оправдав коммерческих надежд Бергера.

Так заканчивается журналистская карьера Лу-Юханссона.

Книга Лу-Юханссона не претендует на широкий показ жизни Швеции двадцатых годов, на изображение общественных движений того времени. Это лирическая повесть о злоключениях наивного, литературно одаренного юноши, о его столкновении с провинциальной буржуазной действительностью, которая разбивает его мечты. Однако при этом книга не навязчиво, но с очевидностью показывает те социальные противоречия и контрасты, которые дали материал для романов Лу-Юханссона и его литературных сверстников. С подкупающей теплотой, лаконично, но очень тонко выписаны образы отца и матери писателя. И нельзя не согласиться с одним из шведских рецензентов «Журналиста», что если Лу-Юханссону в свое время и не суждено было написать романтическую поэму о зеленых дубах Сермланда, то шелест листвы этих дубов составляет поэтический аккомпанемент к написанной ныне повести о юности писателя.

Ю. Яхнина

ГОЛОСА ДРУЖБЫ

□

Deutsche Stimmen 1956. Eine Sammlung. Halle (Saale), Mitteldeutscher Verlag—Stuttgart, Kreuz-Verlag, 1956.

□

Объединенными усилиями двух немецких издательств, западногерманского издательства Крейц-ферлаг в Штутгарте и Миттельдейчер ферлаг в ГДР выпущен сборник «Немецкие голоса 1956 года». В сборнике приняли участие 36 поэтов и прозаиков Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии. У этой книги любопытная история.

Шесть лет тому назад в маленьком баварском городке Штарнберге за круглым столом, в дружеской обстановке встретились видные немецкие писатели, съехавшиеся со всей Германии. Реакционная печать Западной Германии изощрялась в клевете и оскорблениях по адресу участников встречи. Эта знаменательная встреча положила начало дружеским связям деятелей культуры всех зон Германии. Вскоре в Мюнхене встретились художники Восточной и Западной Германии. Затем в Лейпциге собрался Всегерманский конгресс деятелей культуры, провозгласивший волю прогрессивной немецкой интеллигенции к миру и единству. Тогда же родилась идея издания сборников и альманахов, в которых участвовали бы писатели всей страны. Пример подали Арнольд Цвейг, Анна Зегерс, Вальтер фон Моло, Ганс Яан, Иоганнес Бехер, Георг Шварц и около двадцати других авторов, выпустивших первый объединенный сборник: «Мы призываем вас надеяться». Участники этого сборника протестовали против политики раскола немецкой культуры, против политики ремилитаризации и фашизации Западной Гер-

мании. Обеспокоенные судьбой своего отечества, они искренно протянули руку дружбы всем тем, для кого дороги мир и единство Германии.

Книга «Немецкие голоса 1956 года» является важным звеном в дальнейшем развитии связей демократических деятелей культуры всей Германии. В этом сборнике нет публицистических статей и политических деклараций. Тематика собранных в нем рассказов чрезвычайно разнообразна. Разнообразно и время действия: от начала нашего летоисчисления до наших дней. И вместе с тем весь сборник в целом воспринимается как нечто стройное, целостное, единое.

Составители и редакторы сборника Марианна Брунс и Гейнц Руш (ГДР), Иоганнес Вайденхайм и Ганс Липински—Готтерсдорф (ФРГ) отобрали для сборника произведения писателей, различных по возрасту, мировоззрению, творческому методу. Наряду с именами Людвига Ренна, Георга Шварца, Карла Мундштока и Георга Маурера читатель встретит в нем и совсем неизвестных начинающих авторов. Привлечение большого количества молодых писателей позволило шире познакомить читателей Западной и Восточной Германии с развитием немецкой литературы по обе стороны Эльбы. Тонкий юмор гамбургского писателя Симона Глаз проявился в его рассказе «Эликсир господина Николауса». Рассказ Рейнгарда Хёне «Горько-сладкая тень ночи», посвященный выдающемуся немецкому художнику XVI века Альбрехту Дюреру, несомненно, вызовет интерес у широкого круга читателей. Привлекут внимание читателя и своеобразные рассказы Эгона Гюнтера — «На Аппиевой дороге», Карла Хюльвека — «Только собака», Рудольфа Отто Вимера — «На мосту», Гельмута Гаруна — «Лесорубы» и ряд других. К числу наиболее сильных произведений принадлежит рассказ Карла Мундштока «До последнего человека», захватывающий читателя глубоким драматизмом.

«Эта книга, — говорится в предисловии к сборнику,— могла быть создана лишь в обстановке, которая — при всем различии взглядов составителей — полностью исключает отношение друг к другу в духе «холодной войны».

Сборник «Немецкие голоса 1956 года» является удачным опытом консолидации творческих сил писателей Германии. Он вселяет уверенность в то, что писатели обеих частей Германии, ненавидящие войну и фашизм, сумеют найти общий язык.

В. Девекин

ОЧЕВИДЕЦ, НИЧЕГО НЕ УВИДЕВШИЙ

□

Truman Capote, The Muses are heard. "Porgy and Bess" in Russia. New Yorker, 1956. Oct.

□

Несколько месяцев тому назад в американском журнале «Нью-Йоркер» появился очерк писателя Трумена Кэпота: «Внимая музам. «Порги и Бесс» в России». Интересно было бы узнать, что же увидел, о чем думал американский писатель, сопровождая труппу «Эвримен опера» в ее поездке в СССР. Однако очерк не может не разочаровать читателя: он отличается явным недружелюбием по отношению к нашей стране и крайней поверхностностью, тем более удивительной, что автор его — не рядовой репортер, а писатель.

Знакомство Трумена Кэпота с советской страной началось, как он рассказывает, еще в Берлине, куда для предварительного разговора с участниками оперы выехали два сотрудника американского посольства — Уомсли и Лоури. Уомсли не хотел ждать, пока сами артисты составят себе представление о советской стране. Он дал им не информацию, а инструктаж, сдобренный предвзятой и тенденциозной пропагандой, рассчитанной на то, чтобы заранее создать готовое представление.

И шла эта беседа спокойно и «привычно» до того момента, когда один из «инструктируемых» задал вопрос: а как быть, если нас спросят о негритянской проблеме в США?

Произошла заминка.

Уомсли попробовал держаться дипломатической манеры: «Вы не должны отвечать на политические вопросы более распространенно, чем они будут отвечать на ваши вопросы такого же характера». Но для артистов, не изощренных в тонкостях дипломатии, ответ показался туманным. Они поставили вопрос еще прямее и резче: «Должны ли мы говорить так, как как оно есть, говорить правду? Или вы хотите, чтобы мы выставляли все в благородном свете?».

Уомсли, как сообщает автор очерка, начал протирать очки... Прямота вопроса не позволяла уйти от столь же прямого ответа. И он согласился: говорите правду, русские и так знают о негритянской проблеме...

При этом он заявил: «Я думаю, вы должны понять, что любое интервью, которое вы дадите, будет замечено американской прессой и перепечатано в газетах вашего города». Трумен Кэпот и не заметил (или постарался не заметить — по его очерку трудно судить), что вежливый и корректный дипломат от предложений перешел к предостережениям, к прямым угрозам: негритянские артисты не могли не понять, что это такое — перепечатка в США их интервью с правдивым словом о положении негров!

Отнюдь не наблюдения автора определили содержание его очерка. Трумен Кэпот попросту переиначил

увиденное так, чтобы оно стало иллюстрацией к услышанному, чтобы оно подтверждало антисоветскую пропаганду реакционных газет и радио: вот и очевидцы говорят...

Кэпот — индивидуалист. В своих произведениях он похваляется абсолютной свободой своей личности. Но на поверку выходит, что он лишил себя даже такого элементарного признака «свободы личности», как право и обязанность **самому, самостоятельно** разобраться в увиденном. Кэпот смотрит на советскую жизнь как бы через особые очки, у него явно избирательное зрение — он видит только то, что можно использовать, соответственно отретушировав и скомбинировав, для иллюстрации предвзятых концепций, и не видит того, что этим концепциям противоречит. В этом есть какой-то безликий автоматизм: впечатление такое, что реакции Кэпота на увиденное — это «условные рефлексы»...

Личность в нем «пробуждается», когда он описывает рестораны, буфеты и магазины. Здесь по крайней мере есть хоть какое-то подобие индивидуального «ви́дения», есть личная интонация описаний, а главное — повышенный интерес к описываемому. Без подтасовок, впрочем, и здесь не обошлось.

Подробно описывая магазины, Трумен Кэпот сообщает затем американскому читателю, что в России женятся обычно по профессиям: доктора на докторах, адвокаты на адвокатах... Далее он поведал, что в каком-то ресторане встретил гитариста, который хочет уехать в Англию. Подробно описывает Кэпот какого-то Орлова, который намеревался поволочиться за одной из актрис, но не дождавшись желанного свидания, утешился обильной ресторанной выпивкой с Кэпотом. И еще о двух «встречах с советскими людьми» рассказывает Кэпот: с неким Адамовым, который больше всего интересовался опять же амурными делами, и с одной дамой, которая уговаривала американских артистов: не меняйте доллары, лучше продавайте вещи, одежду.

Я не знаю, встречался ли Кэпот с этими людьми или он придумал их. Но если даже и встречался, то вот что примечательно: и во встречах с людьми неизменно проявилась все та же «избирательность», а в описании этих встреч — все та же тенденциозность человека, задавшегося целью бросить голос «очевидца» на чашу весов антисоветской пропаганды.

Более скромное место, нежели рестораны и магазины, занимают в очерке музеи и театры. Оказавшись в Эрмитаже, Кэпот, по крайней мере судя по его очерку, не восторгался шедеврами Леонардо да Винчи и Рембрандта, его больше всего привлекал отдел драгоценностей — изделия из золота и бриллианты. Что же касается театра, то Кэпот пишет о виденных им балетных спектаклях с одобрением, но все «впечатления» его от искусства Ленинграда свелись к короткому пересказу сюжета спектаклей: ни одной живой мысли, ни одного писательского наблюдения... Совсем мало места уделил Трумен Кэпот спектаклям негритянской оперы в СССР. А ведь очерк называется «Порги и Бесс» в России». Как видим, этот заголовок Кэпот использовал лишь как повод для тенденциозного рассказа о поездке в СССР.

Побывав в Ленинграде, Трумен Кэпот не сообщил американскому читателю почти ничего нового по сравнению с теми «сведениями», которыми пичкают этого читателя «специалисты по России», никогда не видевшие советской страны. Трумен Кэпот не пожелал выйти за пределы их выдумок, не проявив не только писательской наблюдательности, но и простой любознательности, свойственной каждому человеку, чье сознание не отравлено предубеждениями, не закрыто стеной предрассудков от фактов жизни.

...И вот очерк прочитан.

Да полно, тот ли Трумен Кэпот все это написал? Тот ли, который известен в Америке как писатель-романист? Не выступил ли под его фамилией какой-нибудь недалекий обыватель, которому недоступны эстетические радости, чей духовный мир закрыт для раздумий о жизни прейскурантами магазинов и ресторанными меню?

А. Караганов

АНГЛИЯ

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Издательство «Лоуренс энд Уишарт» недавно впервые опубликовало книгу Фрэнсиса Брэя «Путешествие из Утопии», написанную в первой половине XIX века. По своим политическим взглядам Брэй примыкал к социалистам-утопистам. Его книга «Притеснение рабочих и меры борьбы с этим» высоко ценилась К. Марксом.

Интересна судьба «Путешествия из Утопии». Многие десятилетия эта рукопись находилась неизвестно где и в конце концов была обнаружена в сундуке на каком-то складе... Случилось это, впрочем, двадцать лет назад, в 1937 году. Понадобилось, стало быть, немало лет, отмечает «Дейли уоркер», чтобы произведение Брэя увидело свет.

Сам автор следующим образом объяснил, по каким причинам написал свою книгу:

«Поскольку критики считают меня утопистом, я написал новую вещь с целью показать им, что же происходит вне Утопии». Далее Брэй, нарочито подделываясь под обычный самодовольный, поучающий стиль, столь свойственный колонизаторам, пишет: «Мы-то, разумеется, знаем, что у нас все идеально и нам ничего не надо улучшать, а вот туземцы в других странах весьма ошибочно полагают, будто у них не надо наводить порядка. Таким образом, мы, и только мы, занимаем такое положение, при котором можем вмешиваться в их дела и диктовать свою волю, ибо это несомненно пойдет им на пользу».

Роман написан от лица некоего путешественника, жителя Утопии, потерпевшего кораблекрушение. Себя Брэй выдает за переводчика этой рукописи. Во время своих скитаний герой романа посещает страны, прозрачно замаскированные под названиями Франкония, Амрико и Бридония. Последняя страна поразила его своей неустроенностью, и в особенности бедственным положением рабочего класса. В сатирическом предисловии «переводчик» «разъясняет» читателю, как узнать подлинную Великобританию, где все якобы «обстоит великолепно», в описанной автором Бридонии, «отличающейся бездной недостатков, нищетой, социальными несправедливостями, бедственным положением широких масс населения».

Как подчеркивает «Дейли уоркер», на этом произведении, правдиво описывающем Англию сороковых годов прошлого века, несомненно, сказалось влияние Свифта.

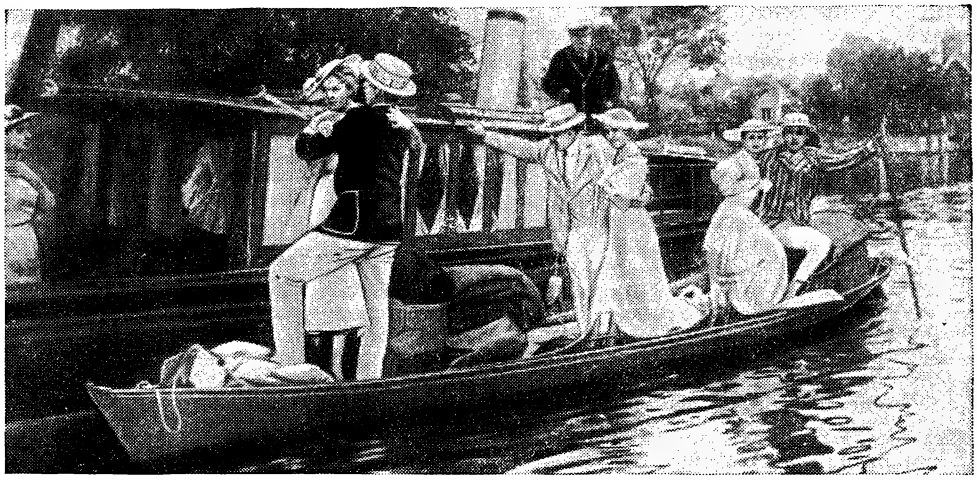
«РУССКИЙ РОМАН И ЛИТЕРАТУРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»

Новое исследование Джилберта Фелпса «Русский роман и литература английского языка» посвящено влиянию, которое оказали на английский и американский роман русские писатели XIX века.

Критика расходится в своем отношении к книге Фелпса. Так, «Таймс литерари сапплмент» пишет, что автор превосходно выполнил свою задачу, а журнал «Тайм энд тайнд» (рецензент М. Стоун) считает возможным сделать ряд критических замечаний.

Великие русские реалисты XIX века, пишет Стоун, сыграли такую же революционизирующую роль в литературе своей страны, как Данте в Италии, Гёте в Германии или Чосер и Шекспир в Англии. «Когда в середине XIX века, — пишет автор, — русский роман впервые появился в Европе, его эффект можно было сравнить с эффектом бомбы замедленного действия. Долгое время люди, чувствительные к такого рода явлениям, слышали, как она тикает, и вдруг, к концу века, она взорвалась, полностью разрушив все устаревшие литературные условности...» Отмечая далее влияние русских классиков — Толстого, Достоевского, Тургенева — на английскую литературу, Стоун пишет, что в «наше время нет ни одного романиста, творчество которого не испытало бы влияния этих гигантов. Наш роман вырос в очень большой степени благодаря их влиянию».

Критик отмечает также, что Фелпс напрасно не оста-



Кадр из фильма «Трое в одной лодке», поставленного в Англии по одноименному рассказу Джерома К. Джерома. *(Журнал «Филмз энд филминг»)*

новился на роли творчества М. Горького в развитии американского романа, не сказав о воздействии его на Стейнбека и совершенно умолчав о Джеке Лондоне.

300-ТОМНЫЙ КНИЖНЫЙ КАТАЛОГ

Как сообщают газеты, Британский музей в Лондоне готовится к осуществлению «величайшего издательского замысла в истории литературы»: выпуску 300-томного каталога, охватывающего пять миллионов книг.

Это будет генеральный каталог книг, изданных со времен изобретения книгопечатания по 1955 год. Но в него включается только литература на «западных языках».

ВЕНГРИЯ

ПЛАНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВ

Венгерская печать сообщает о планах издательств.

В издательстве «Магвете» («Сеятель») будут выходить произведения главным образом современных писателей Венгрии, но также книги известных зарубежных авторов — Хемингуэя, Хаксли, немецких писателей Келлера, Шторма и ряда других.

Издательство «Корвина», специализирующееся на выпуске литературы на иностранных языках, подготовило к опубликованию на немецком и английском языках «Трагедию человека» Имре Мадача, антологию венгерской прозы от Йожефа Этвеша до современных венгерских писателей, а также произведения Мопассана, Теккерея, Стендаля, Бальзака, Горация, Шекспира, Гете на их родных языках.

Издательство имени Эрни, преобразованное еще в 1954 году в военное издательство, помимо литературы, непосредственно предназначенной для армии, выпустит ряд литературных произведений отечественных писателей и иностранных авторов.

Анализируя издательские планы, писатель Бела Иллеш критикует в «Непсабадшаг» руководителей издательств за увлечение коммерческой стороной дела, чем он объясняет, например, переиздание романа о Тарзане, и призывает больше считаться с культурными запросами читателя.

К ПУБЛИКАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф. МОРА

По поручению издательства «Магвете» группа профессоров и писателей из города Сегед занята подготовкой к изданию восемнадцатитомного полного собрания сочинений крупнейшего венгерского писателя-реалиста Ференца Мора.

ВЕНЕСУЭЛА

«ФЕСТИВАЛЬ АМЕРИКАНСКОЙ КНИГИ»

В конце прошлого года в Каракасе состоялся «Фестиваль американской книги», проведенный Организацией американских государств. Несмотря, казалось бы, на важность этого события для американской общественности, печать ничего не сообщила о нем. И только недавно венесуэльская газета «Эль соль» пролила некоторый свет на характер этого фестиваля.

Газета рассказывает, что фестиваль книги произвел впечатление настоящего издевательства над культурой и интеллигенцией стран Латинской Америки. На организованной по этому случаю выставке было запрещено выставлять книги многих прогрессивных авторов. Писатели же, известные своей борьбой против диктатур, существующих в некоторых государствах Латинской Америки, не смогли принять участие в фестивале. Во время дискуссий из повестки дня были исключены все темы, которые хотя бы косвенно намекали на поло-

жение, существующее в этих странах.

Затея Организации американских государств, заключает газета, «началась как фестиваль, переродилась в комедию и закончилась как самое неоспоримое доказательство того, что меч и культура существовать рядом не могут».

ГАНА

ОЧЕРК О ПОЕЗДКЕ В ГАНУ

Выходящая в г. Фритауне (Сьерра-Леоне) газета «Дейли мейл» поместила очерк английского журналиста Кейта Джоппа о поездке в Гану. Автор очерка отмечает радушие народа Ганы, который недавно обрел свою независимость, и подчеркивает успехи, достигнутые молодым государством в области культуры.

ПЕРВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

Как сообщает газета «Дейли грэфик» (Аккра), до сих пор в Гане выпускались только документальные короткометражные фильмы. Их производством занимается фирма «Голд Коуст филм юнит». «Дейли грэфик» опубликовала в прошлом году статью проживающего в Нигерии писателя К. Эквензи, в которой тот призывал фирму «Голд Коуст» перейти к созданию художественных кинокартин, где играли бы негритянские актеры и которые были бы посвящены жизни и борьбе местного населения. Это тем более важно, писал Эквензи, что в фильмах европейцев негру обычно отводится весьма скромная роль слуги, который носит ружье белого охотника.

Недавно в Гане был показан первый художественный фильм «Мальчик Кумазену». Главную роль в нем исполняет известный негритянский актер Ангела Нарпор.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СТАТЬЯ А. КУРЕЛЛЫ О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ

«Факты в противовес легендам. К истории понятия: социалистический реализм» — так называется статья писателя Альфреда Куреллы, напечатанная журналом «Нейе дейче литератур» наряду с другими выступлениями в дискуссии по вопросам социалистического реализма. Эта статья представляет собой ответ польскому критику К. Теплицу в связи с его статьей, напечатанной в газете «Нова культура» (см. статью Б. Бялика в «Иностранной литературе» № 2, 1957 год).

Курелла иронически замечает, что если верить Теплицу, то выходит, будто в 1934 году на Первом съезде советских писателей понятие социалистического реализма было «вынуто из кармана и положено на стол». Опровергая этот домысел, автор вскрывает исторические предпосылки, которые обусловили рождение социалистического реализма.

Указав, что тридцатые годы ознаменовались в Германии не только торжеством фашизма, но и победой Димитрова в Лейпциге, показавшей, насколько широк фронт антифашистских сил, Курелла пишет: «Первый съезд писателей, так же как и предшествовавшая ему ликвидация сектантства в литературной политике, явился ответом на вышеупомянутые исторические события в области литературы: были открыты ворота всем творческим силам, которые признают социализм бастионом борьбы против фашизма, силам, организованным в единое прогрессивное реалистическое литературное движение, возглавляемое пролетарским авангардом в литературе. Таково было требование времени. Его выполнил Первый съезд советских писателей. Сегодня этот вопрос снова при-

Немецкий театр в Берлине показал премьеру пьесы Горького «Мещане», поставленной режиссерами Карлом Парилом и Вольфгангом Гейнцом. Премьера прошла с огромным успехом, пишет газета «Нейес Дейчланд». Газета отмечает, что в спектакле «лучшими были Фридрих Лобе и Матильда Данеггер».

Талантливый драматический актер Фридрих Лобе после закрытия венского театра «Скала» вошел в труппу Немецкого театра в Берлине. Среди созданных раньше Фридрихом Лобе образов — роль старого князя Болконского в осуществленной Эрвином Пискатором инсценировке романа «Война и мир» Л. Толстого, а также роль Гете в одноактной пьесе «Гете» австрийских литераторов Э. Фриделля и А. Польгара (см. «Иностранную литературу» № 3. 1956 год).

На снимке: артист Фридрих Лобе в роли старика Бессеменова и артистка Матильда Данеггер в роли Акулины Ивановны в пьесе Горького «Мещане», поставленной Немецким театром в Берлине.

(Газета «Нейес Дейчланд»).

обретает особенное значение».

Курелла доказывает, что Теплиц неправомерно противопоставляет «досъездовскую» и «послесъездовскую» литературу, возвеличивая первую и принижая вторую. Это делается для того, пишет он, чтобы дискредитировать социалистический реализм. Восставая против таких тенденций, Курелла утверждает, что социалистический реализм, основанный на ленинских принципах, способствовал и способствует неуклонному подъему советской литературы. Таковы факты, которые не опровергнешь никакими легендами, создаваемыми «теоретиками» вроде Теплица, пишет он, подчеркивая в заключение, что четвертый съезд немецких писателей принял решение отстаивать социалистический реализм в борьбе со всякими дискредитирующими его теориями.

БИБЛИОГРАФИЯ О «ФАУСТЕ»

К 125-летию со дня смерти Гете вышел из печати библиографический указатель новых изданий поэта и работ о его творчестве.

По сообщению газеты «Националь-цейтунг», только за послевоенное десятилетие было опубликовано 66 работ о «Фаусте». В различных странах мира за тот же период выпущено 73 издания этого произведения. В текущем году оно впервые будет издано в Албании.

ПЬЕСА О ВОЙНЕ В АЛЖИРЕ

Берлинские драматурги Мартин Рейнгардт и Герхард Шмидт написали пьесу о событиях в Алжире — «Последние из преисподней». Премьера ее состоялась по телевидению. Главный герой пьесы — солдат французского Иностранного легиона. Раскрытию переживаний человека, обманутого пропагандой колонизаторов, показу того, как назревает в нем перелом и приходит понимание истинного характера событий, и

«Я хочу, могу и буду воздавать хвалу Человеку»— такова формула, согласно которой живет и работает в ГДР выдающийся немецкий поэт Георг Маурер, чье пятидесятилетие отмечалось всей немецкой литературной общественностью. Георг Маурер известен по книгам: «Вечные голоса», «Песни времен», «42 сонета», «Стихи за десять лет», «Путешествие по республике» и др. На снимке — Георг Маурер.

посвящена пьеса. Действие ее тесно связано с актуальными проблемами. Драматурги показывают, пишет газета «Дер морген», мужественную борьбу алжирских патриотов за свои права и тем самым вносят свой вклад в дело борьбы с колониализмом.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ПЬЕСА В. БОРХЕРТА В КОНСТАНЦЕ

В западногерманском городе Констанце состоялась премьера пьесы Вольфганга Борхерта «Там, за дверью». Пятнадцать зрителей, по-видимому, из числа бывших нацистов, демонстративно покинули зал. Требуя запрещения спектакля, они заявили, что пьеса Борхерта «углубляет пропасть, которая, к сожалению, существует между младшим и старшим поколениями».

Пьеса Борхерта вовсе не решает проблемы «отцов и детей». Пафос этой пьесы в другом: вторая мировая война изображена в ней как преступление, за которое все виновные должны нести ответственность.

На Ганса Крайбига, художественного руководителя театра, поставившего пьесу, обрушились репрессии. По этому поводу журнал «Нейе дейче литератур» с иронией замечает, что в Констанце, как и повсюду в ФРГ, городские власти не менее чем на 50—60 процентов состоят из «старых бойцов», то есть участников войны, причем в немалых чинах. Неудивительно, что пьеса внушает им опасения.

Впрочем, сообщает тот же журнал, Ганса Крайбига не удалось запугать. Пьеса «Там, за дверью» осталась в репертуаре театра.

«КАПИТАН ИЗ КЁПЕНИКА»

Так называется кинофильм, созданный Карлом Цукмайером и Хельмутом Койтнером на основе истинного происшествия.

«Капитан из Кёпеника» — берлинский сапожник, который в 1906 году сыграл злую шутку с германскими властями. Чтобы осуществить свою проделку, ему понадобилось только одно: переодеться в капитанскую форму, купленную по дешевке у старьевщика. С группой солдат, которым он приказал следовать за собой, «капитан» явился в кёпеникскую ратушу, арестовал бургомистра, конфисковал кассу. Никто ему не препятствовал, все вытягивали руки по швам...

Фильм о «капитане из Кёпеника» пользуется успехом у зрителей по обе стороны Эльбы.

«Нейес Дейчланд» отмечает, что этот фильм, осмеивающий рабское преклонение перед военщиной, «делает честь его создателям».

ГОЛЛАНДИЯ

О ПАМЯТНИКЕ РЕМБРАНДТУ В ЛЕЙДЕНЕ

В связи с 350-летием со дня рождения Рембрандта, широко отмечавшемся в прошлом году, в универси-

тетском городе Лейдене — на родине художника,— намечалось поставить памятник великому сыну голландского народа.

Этот замысел вызвал большой интерес общественности. Однако, сообщает немецкая газета «Зоннтаг», правительство проявило равнодушие и отказалось финансировать сооружение памятника.

«Комитет чествования Рембрандта» организовал сбор средств, но ввиду того, что возникли бо́льшие финансовые трудности, вынужден был в конце концов отказаться от своего плана.

ЕГИПЕТ

ПРОТИВ «ДОКТРИНЫ ЭЙЗЕНХАУЭРА»

Писатели и деятели культуры Египта опубликовали совместное заявление о «доктрине Эйзенхауэра», которое подписали 250 человек, представляющих различные направления в египетской литературе и искусстве. В заявлении говорится:

«Мы, подписавшие это заявление, утверждаем, что «доктрина Эйзенхауэра», которая является продолжением вооруженной агрессии, не достигшей своих целей, представляет непосредственную реальную угрозу для нашего национального суверенитета, для мира, для нашей культуры и нашего наследия. По своему содержанию и целям это подготовка к установлению вооруженного иностранного господства над нами, нашей экономикой, нашим образом мыслей, нашей культурой и идеологией и к подавлению национальных чаяний арабов.

Наша страна, борющаяся за упрочение своего суверенитета, своих свобод и строительство своей жизни, чувствует, что ее приверженность принципам мирного сосуществования сталкивается с вожделениями тех, кто хочет похитить богатства из наших рук и подчинить нашу культуру и наше искусство режиму иностранной эксплуатации и политики военных блоков. Мы призываем всех художников и писателей, которые олицетворяют совесть нашей цивилизации, а также всех честных людей мира бороться вместе с нами против «доктрины Эйзенхауэра». Мы верим, что солидарность арабов, единство Египта, Судана и всех арабских государств в совместной борьбе, стремление арабской нации к упрочению своей свободы и желание жить в мире со всеми режимами на основе равенства и взаимного уважения — все это факторы, которых достаточно, чтобы нанести поражение заговорам против нашей страны».

Заявление кончается призывами: «Остановим вероломную агрессию!», «Спасем мир от опасности войны!», «Будем бороться против «доктрины Эйзенхауэра»!»

РОМАН НАГИБА МАХФУЗА

Новый роман известного египетского писателя Нагиба Махфуза «Между двумя дворцами» описывает жизнь простой египетской семьи. Действие романа протекает на фоне событий первой мировой войны и восстания 1919 года, когда народ с оружием в руках выступил против английских колонизаторов.

Старейший египетский писатель доктор Таха Хусейн горячо приветствует выход в свет нового романа Н. Махфуза. В рецензии, помещенной в газете «Аль-Гумхурия», он отмечает высокие художественные достоинства нового романа, его реализм. Он говорит, что не знает писателя, который обрисовал бы египетскую революцию, последовавшую за первой мировой войной, так, как это сделал Нагиб Махфуз.

«Это лучший из египетских романов, который я прочел с тех пор, как египтяне начали писать романы», — замечает Т. Хусейн.

ИНДИЯ

XXI ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

В Калькутте состоялась XXI ежегодная художественная выставка местной Академии изящных искусств.

Индийская газета «Амрита базар патрика» пишет, что отбор экспонатов был произведен весьма тщательно и общий уровень произведений значительно выше, чем в предыдущие годы. Но рецензент констатирует увлечение некоторых художников абстрактной живописью. Из числа работ, выполненных в классическом стиле, он выделяет «Горящую сосну» — работу кисти Нандала Боса, одного из художников старшего поколения.

Академической премии удостоена работа гостя — индонезийского скульптора Эдди Сунарсо, выставившего реалистические произведения.

ИТАЛИЯ

«ОТ СЮЖЕТА К ФИЛЬМУ»

Так называется серия, которую в прошлом году начало выпускать итальянское издательство Каппелли. Каждый выпуск представляет собой прекрасно изданную книгу в несколько сот страниц, посвященную истории создания отдельных произведений итальянской кинематографии. Обычно он содержит краткую новеллу, так называемый «сюжет» фильма, и два варианта сценария — литературный и режиссерский, по которому снималась картина. В этой серии уже вышли книги, рассказывающие о создании таких крупных произведений итальянского кино, как «Чувство» Лукино Висконти, «Крыша» Витторио Де Сика, «Джульетта и Ромео» Ренато Кастеллани, «Война и мир» в постановке американского режиссера Кинга Видора.

Знакомство с книгой, по-

Мария Шелл и Марчелло Мастройянни в фильме «Белые ночи» (по Достоевскому), который снимает Лукино Висконти.

(Еженедельник «Контемпоранео»)

священной, например, созданию фильма «Чувство», позволяет ясно увидеть первоначальный замысел Висконти, осуществить который в значительной степени помешали ограничения и преследования со стороны цензуры, настоявшей на изъятии ряда кадров и целых сцен. В книге помещена новелла итальянского писателя прошлого века Камилло Бойто, которая легла в основу сценария.

В книге о работе над фильмом «Крыша» много места занимает рассказ о поисках режиссером Де Сика непрофессиональных исполнителей главных ролей — молодой пары Луизы и Натале — и тщательном изучении сценаристом, режиссером и всем творческим коллективом условий жизни бездомных римлян. Наконец в выпуске о создании фильма Кастеллани «Джульетта и Ромео» показано, как режиссер и авторы сценария, не пойдя по пути экранизации трагедии Шекспира, положили в основу фильма непосредственно те итальянские новеллы Мазуччо Салернского, Луиджи Да Порто и Банделло, из которых почерпнул сюжет великий английский драматург.

* * *

Книга итальянского журналиста А. Палладини посвящена созданию фильма «Война и мир» по роману Л. Н. Толстого. Этот фильм, как уже сообщалось, был поставлен американским режиссером Кингом Видором по заказу итальянской фирмы Дино де Лаурентис. В постановке батальных сцен помощь ему оказал один из старейших итальянских режиссеров Марио Солдати. В фильме снимались 86 актеров различных национальностей: американцы, итальянцы, англичане, шведы, югославы и другие. Съемки велись в Италии, Югославии, Греции, в них участвовали целые эскадроны итальянской кавалерии.

Оставляя в стороне вопрос о художественных достоинствах фильма, некоторые итальянские критики называют его удачно выполненным колоссальным «ридерс дайджестом».

В книге о создании фильма «Война и мир» приводятся некоторые любопытные данные, так сказать «статистического» порядка. Фильм был снят за 210 рабочих дней, продолжительность его демонстрации 3 часа 25 минут. В массовых сценах участвовало 120 тысяч человек, для которых потребовалось 60 тысяч пар искусственных усов, 10 тысяч бород, 7 тонн грима, 18 тысяч лошадей и 800 мулов. Для сооружения макетов Москвы пошло 1700 километров металлических труб, 1400 кубометров лесоматериалов, 40 тысяч штук кирпичей и огромное количество прочих строительных материалов. Потребовалось также много разного оружия. Во время съемок батальных сцен (битва при Бородине, переправа через Березину и другие) было произведено 40 тысяч пушечных и полмиллиона ружейных выстрелов.

КИТАЙ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДИСКУССИЯ

Редакция журнала «Вэньибао» провела с участием членов шанхайского филиала Союза китайских писателей и специалистов в области теории литературы обсуждение вопроса о дальнейшем развитии в Китае жанра рассказа. На совещании отмечалось, что у некоторых писателей нет ясного понимания жанровых особенностей рассказа. В этой связи участники совещания подчеркивали, что критика нередко дезориентирует писателей своими противоречивыми мнениями о том, каким должен быть рассказ и в чем его отличие от повести.

Участники совещания предложили усилить знакомство с этим жанром в классической китайской и зарубежной литературах. Высказывались мнения о необходимости изучения

классической новеллы, а также рассказов, которые появились в китайской литературе после начала движения 4 мая 1919 года. Из произведений зарубежных писателей предлагалось серьезное внимание обратить на изучение произведений Чехова, Горького, Мопассана.

«ПОЖАР ВОЙНЫ В СТЕПИ»

Газета «Гуанминжибао» сообщает, что в ближайшее время в издательстве «Чжунго циньнянь чубаньшэ» выйдет роман молодого монгольского писателя Улан Багана «Пожар войны в степи». Этот роман — результат восьмилетних трудов автора. В нем рассказывается о том, как монгольский и китайский народы под руководством Коммунистической партии организовали в степях Внутренней Монголии партизанское движение и повели борьбу против японских захватчиков, монгольских феодалов и гоминдановских реакционеров. По мнению газеты, в романе нашла свое яркое выражение национальная политика Коммунистической партии Китая, братская дружба китайского и монгольского народов.

Улан Багану двадцать девять лет. Он сам участвовал в партизанском движении, служил в Восьмой народно-революционной армии. Большую помощь автору оказал известный китайский писатель Чжоу Ли-бо.

ЛЕКЦИИ О ЛИТЕРАТУРЕ

Пекинская библиотека, столичное отделение Общества китайско-советской дружбы и библиотека Дворца культуры Пекина организовали два цикла лекций «Русская литература» и «Культурное наследие нашей родины». Во вступительном слове к первой лекции, на которой присутствовало свыше пятисот человек, знаток советской литературы и переводчик произведений многих советских писателей профессор Цао Цзин-хуа остановился на важности изучения русской литературы. Затем была прочитана обзорная лекция о русской литературе. Весь цикл будет состоять из 16 лекций, которые прочтут известные литературоведы и переводчики Гэ Бао-цюань, Чэнь Бин-и, Юй Чжень, который перевел на китайский язык произведения В. Маяковского. Ежемесячно будут проводиться две лекции.

Цикл «Культурное наследие нашей родины» включает лекции о древней классической поэзии — о поэтах Су Дун-по, Бо Цзюй-и и других писателях и поэтах Китая.

ПОСТАНОВКА ИНДИЙСКОЙ ПЬЕСЫ

Как сообщает газета «Гуаминжибао», Художественный театр китайской молодежи показал пьесу классика индийской литературы Калидасы «Шакунтала». Это первая постановка индийской пьесы в Китае.

ПУБЛИКАЦИЯ СОЧИНЕНИЙ А. МАКАРЕНКО

В издательстве «Народное образование» вышел пятый том собрания сочинений А. Макаренко, в который вошли статьи советского писателя и педагога.

ЛИВАН

ЖУРНАЛ «АЛЬ-АДАБ» ОБ АРАБСКОМ ТЕАТРЕ

Вышел специальный номер журнала «Аль-Адаб», посвященный театру. В номере содержится ряд пьес арабских авторов и статьи об арабском театре в Ливане, Египте и Сирии. В передовой статье говорится о влиянии театра на общественную жизнь и о необходимости создать национальный театр в тех арабских странах, где его еще нет.

ПЕРЕВОДЫ ИЗ ГОРЬКОГО

Ливанское издательство «Дар Бейрут» выпустило в свет несколько произведений М. Горького, переведенных на арабский язык. Среди них «Фома Гордеев» (перевод Бахиджа Шаабана) и «Рождение человека» (перевод Сухейля Идриса).

МЕКСИКА

ЭКРАНИЗАЦИЯ РОМАНА АСТУРИАСА

По сообщению французской газеты «Леттр франсез», роман крупнейшего прогрессивного писателя Гватемалы Мигеля Анхеля Астуриаса «Господин президент» — одно из самых ярких произведений национальной реалистической литературы—в настоящее время экранизируется в Мексике.

ПАКИСТАН

ТРЕТЬЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА КНИГИ

Пакистанское общество книгоиздателей и книготорговцев организовало в Лахоре третью ежегодную выставку книги.

25 пакистанских и 8 иностранных издательств (Индии, Бирмы, Китая и других стран) экспонировали более трех тысяч книг на урду и английском языках. Лучшим из них были присуждены премии. Экспонаты, привезенные на выставку из-за границы, были преподнесены в подарок различным пакистанским организациям. Так, от имени индийского правительства университету Западного Пенджаба было подарено 600 книг.

Выступивший на открытии выставки губернатор Западного Пакистана передал предложение президента открыть школу полиграфического искусства для подготовки художников, писателей, редакторов и издателей.

На семинаре по издательскому делу выступили писатели, издатели и читатели, которые подняли ряд существенных вопросов, связанных с созданием книги. Писатель Хуссейн Баталви указал на необходимость наладить издание ежемесяч-

ных литературных журналов, которые в Пакистане выходят пока в очень ограниченном количестве.

Принято решение послать делегацию в другие страны для ознакомления с полиграфическим производством и издательским делом.

ПОЛЬША

«ЧЕГО МЫ ЖДЕМ ОТ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ»

Под таким заголовком еженедельник «Жице Варшавы» поместил статью профессора Варшавского университета Здзислава Либеры о дискуссии по истории литературы в Польше. В своей статье З. Либера отметил, что «дискуссия, которая охватывает историков литературы, входит в новую фазу — в период обсуждения основных методологических проблем. Речь идет об обсуждении вопросов, существенных для понимания различных произведений духовной культуры, особенно художественной литературы. Борясь с вульгарным социологизмом, нельзя одновременно отрицать связи между литературой и общественной жизнью. Нельзя также недооценивать роли идеологии и познавательной ценности литературных произведений.

Однако сущность проблемы заключается в том, чтобы, говоря об идейно-общественной функции произведений искусства, не забывать, что она проявляется в них очень своеобразно. Речь идет о том, чтобы идейное содержание произведения не трактовалось как публицистическое выступление, а литературные образы — как иллюстрации к историческим событиям и общественным явлениям. В методологической дискуссии не должны быть обойдены такие проблемы, как индивидуальность автора и место литературы в жизни народа».

Автор подчеркнул необходимость создания полноценных исследований по истории польской литературы и, в частности, — в самый короткий срок — университетского учебника.

«Пусть историк литературы помнит, — пишет в заключение З. Либера, — что его работы должны иметь широкий общественный резонанс».

ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ М. ДОМБРОВСКОЙ

Известная польская писательница Мария Домбровская посетила в 1955 году Германскую Демократическую Республику. Недавно в Варшаве вышла небольшая книжка ее «Путевых заметок», которые весьма высоко оцениваются польской прессой.

Л. М. Барт пишет в «Новой культуре»: «Прямота и деловитость, принципиальность и живой интерес к людям делают творчество Марии Домбровской особенно близким читателю». Рецензент отмечает большие литературные достоинства публицистики М. Домбровской, подчеркивая, что «Путевые заметки» продолжают основные линии ее творчества.

* * *

По сообщениям польских газет, Марии Домбровской присуждено звание почетного доктора филологических наук Варшавского университета.

СБОРНИК «ТРИ ЗАЛПА»

Государственный издательский институт в Варшаве переиздал книгу трех авторов В. Броневского, Р. Станде и В. Вандурского «Три залпа», которая была опубликована в 1925 году, в прежнем графическом оформлении и с той же обложкой художника-графика Мечислава Щуки.

Авторы назвали свой сборник «поэтическим бюллетенем». Вот что они писали в кратком вступительном слове: «Мы пишем не о себе. Мы работники слова. Мы должны высказать то, чего другие высказать не могут. В безжалостной борьбе пролетариата с буржуазией мы решительно стоим на левой стороне баррикады... Пусть наше слово прозвучит как залп на центральных улицах, пусть отзовется эхом в рабочих районах...»

В своих воспоминаниях, опубликованных в журнале «Нове дроги» (май 1956 г.), Броневский рассказывает, что он подружился с Вандурским и Станде в 1922 — 1923 годах в народном университете, где собиралась коммунистическая и левая интеллигенция. После многочисленных дискуссий поэты решили совместно издать сборник стихов. Этим сборником и стали «Три залпа». Броневский пишет: «Этот, как мы его назвали, поэтический бюллетень сыграл свою политическую роль, возвестив о рождении пролетарской, революционной поэзии».

Стихи В. Броневского, Р. Станде и В. Вандурского впервые появляются в Народной Польше. В скором времени должны выйти другие сборники их произведений.

«СТИХИ» А. МАЦЕДОНСКОГО

В одном из последних номеров католического «Тыгодника повшехнего» опубликованы стихи Адама Мацедонского. Не сопровождая их каким-либо комментарием, журнал познакомил читателей с образцами творчества поэта.

Вот примеры из цикла «О привычных занятиях человека»:

Человек читает газету
Человек читает газету
Человек читает газету...
(и так одиннадцать раз).

Из цикла о «труде»:

Старая женщина стирает бельё.

Старая женщина стирает бельё...
(и снова одиннадцать одинаковых строк).

Краковский литературный еженедельник «Жице литерацке» справедливо отмечает, что в этом «творчестве» существует «железная последовательность».

РУМЫНИЯ

ПРИСУЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ

Газета «Скынтейя» опубликовала решение Совета министров Румынской Народной Республики о присуждении Государственных премий за лучшие произведения и достижения в области литературы и искусства, науки и техники. Премия первой степени присуждена прозаикам Марину Преде за роман «Мародеты», Надю Иштвану за роман «На наивысшем напряжении», Петру Думитриу за роман «Буревестник», а также поэту Тудору Аргези за сборники стихов «1907» и «Песнь человеку». Государственные премии второй степени в области поэзии присуждены Ласло Сабеди за сборник «Стихи» и Виктору Тулбуре за сборник «Слава родине». В области драматургии премии второй степени удостоилась пьеса Хории Ловинеску «Разрушенная цитадель» («В доме г-на Драгомиреску»), премии третьей степени — пьесы Аны Новак «Семья Ковач» и «Прелюдия».

«ГЕРОИКА» — НОВЫЙ РОМАН Л. ФУЛЬГИ

Известный румынский писатель и драматург Лауренциу Фульга недавно выпустил первую часть многотомного романа «Героика». «Такая книга, как «Героика», — пишет газета «Контемпоранул», — служит доказательством зрелости румынской прозы социалистического реализма. В то же время это весьма значительный вклад в нашу литературу о войне».

В своем романе Лауренциу Фульга рассказывает о судьбе румынских дивизий, которые вместе с гитлеровскими войсками были окружены под Сталинградом. Автор сам прошел этот тяжкий и тернистый путь и вернулся на родину воином румынской добровольческой дивизии имени Тудора Владимиреску, сформированной из военнопленных. «Героика» написана о нас и для нас, — пишет в «Газете литерарэ» критик Николае Морару. — Она повествует о том, что было и не должно повториться. Но она написана также и для будущего поколения, потому что, как говорит автор в посвящении, обращенном к сыну, «наступит день, когда и ты должен будешь узнать правду о тех временах, которые пережил твой отец, будучи на краю смерти, и которые он выстрадал на этих страницах, чтобы придать им дыхание жизни».

Оперный театр в Клуже (РНР) поставил оперу Даргомыжского «Русалка». В роли мельника выступил молодой певец Траян Попеску. Как пишет журнал «Флакэра», особенностью таланта Попеску является органическое сочетание прекрасных вокальных и актерских данных. «Особенно замечательна,— пишет журнал,— сцена безумия, когда перед зрителем появляется старик, у которого как будто действительно помутился ум, с блуждающим взглядом, одержимый какой-то навязчивой мыслью».

На снимке — Траян Попеску в роли мельника.

(Журнал «Флакэра»)

США

ДУХОВНЫЙ ОБЛИК АМЕРИКАНСКОГО ЛИТЕРАТОРА

Писатель Генри Миллер—автор многочисленных «бестселлеров» самого низкого пошиба, выходящих рекордными тиражами и пользующихся безусловным признанием ряда критиков в США. Одно из парижских издательств выпустило недавно его новое произведение «Книги моей жизни». Писатель рассказывает в нем о своих художественных вкусах, делится своими взглядами на классическую и современную литературу. Но что же это за вкусы?

По свидетельству парижской «Ар», где помещена рецензия на эту книгу, Расина и Корнеля Миллер никогда не читал и даже не просматривал. Руссо он, правда, несколько раз брал в руки, но, прочитав несколько страниц, бросал. В. Гюго Миллер относит к числу писателей, которых обычно хотят прочесть, но так никогда и не читают. Есть, по его словам, и такие книги, о которых все слышали, но которых тоже никто не читает: например, «Красное и черное» Стендаля.

Миллер читал Вольтера, но Вольтер, оказывается, «ему ничего не дал». «...Впрочем, — добавляет он, — я могу назвать еще 1200 других кретинов, которые мне также ничего не дали». Марк Твен его утомляет. Напротив, Достоевский иногда заставляет «смеяться до слез». Но так как Достоевский классик, то «к нему надо относиться с недоверием» (?)

«Ар» меланхолически заключает: «У Миллера нет библиотеки культурного человека, «книги его жизни», о которых он пишет, писатель одалживал у знакомых».

В одной из рецензий во французской печати на новую книгу Миллера дается совет снабдить ее следующим эпиграфом: «Скажи мне, что ты не читаешь, и я скажу, кто ты».

КОМУ НУЖЕН ФИЛЬМ «АНАСТАСИЯ»

Печать Соединенных Штатов и стран Западной Европы приложила немало стараний, чтобы создать рекламу недавно вышедшему на экраны кинофильму «Анастасия», снятому американской кинокомпанией «XX век-Фокс». Фильм рассказы-

вает о том, как авантюрист-белоэмигрант Бунин, бывший русский генерал (артист Юл Брюннер), решил завладеть крупными средствами, будто бы положенными царем Николаем II на хранение в английский банк. С этой целью он находит одинокую женщину, которую выдает за якобы оставшуюся в живых младшую дочь царя Анастасию, чтобы через нее получить богатое царское «наследство». Однако в конце фильма выясняется, что эта женщина (актриса Ингрид Бергман) является ...«великой княжной Анастасией».

«Дело Анастасии» — старая, давно уже набившая оскомину антисоветская история, возникшая еще в середине двадцатых годов, которую раздувают сегодня вновь для подогревания все тех же антисоветских настроений. Несмотря на шумиху вокруг этого «дела» и на широко поставленную рекламу фильма, американские зрители и печать приняли картину довольно сдержанно. Примером может служить рецензия, помещенная в журнале «Сэтердей ревью». Рецензент пишет, что в фильме «очень мало настоящей жизни». Американский журнал «Тайм» также считает, что зрителей в фильме привлекает лишь появление на экране Ингрид Бергман, не снимавшейся в американском кино семь лет.

САТИРА НА «АНГЛИЙСКИХ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

Нью-йоркский театр «Черри лейн» поставил комедию Шона О'Кейси «Пурпурная пыль», написанную им в начале сороковых годов. Режиссер спектакля — англичанин Филипп Бэртон, работавший ряд лет на радио. Постановка «Пурпурной пыли» — его дебют в США.

Пьеса О'Кейси рассказывает о двух богатых англичанах, которые приобретают старинный ирландский замок. Верные традициям своего класса, оба джентльмена пытаются восстановить не только архитектуру замка, но и образ жизни тюдоровских времен. Им противопоставлена группа рабочих, занятых на реставрационных работах. В этом противопоставлении двух современных классов, пишет американская газета «Дейли уоркер», из которых английские аристократы обрисованы в остро гротескной манере, людьми неспособными расстаться со своими предрассудками и традициями, а рабочие — наделенными чувством собственного достоинства и здоровым юмором — основной конфликт пьесы. Симпатии автора явно на стороне простых людей.

«Пурпурная пыль» является сатирой на тех, кто стремится повернуть вспять колесо истории,— замечает «Дейли уоркер». Облеченная в блестящую сатирическую форму, эта пьеса, по которой щедрой рукой автора рассыпаны блестки остроумных реплик, «поднимается подчас до уровня сатиры Рабле».

ТУРЦИЯ

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Как сообщает газета «Джумхуриет», в Анкаре начал издаваться новый ежемесячный журнал под названием «Избранные стихотворения».

В первом номере журнала публикуются стихи многих известных турецких авторов, а также ряд статей. Журнал проводит анкету на тему «Лучшее, по моему мнению, стихотворение».

НОВЫЕ КНИГИ ТУРЕЦКИХ ПОЭТОВ

По сообщению журнала «Тюрк дили», вышли в свет два новых сборника стихов. Авторы сборников — турецкие поэты Фикрет Баха Берке и Халим Ягджиоглу. Стихи обоих авторов посвящены жизни простого народа, его горестям и заботам. В ряде произведений поднимаются социальные проблемы.

Как отмечает журнал, выход в свет новых сборников стихов является значительным событием в литературной жизни страны.

ФРАНЦИЯ

ПОД НЕГЛАСНЫМ ЗАПРЕТОМ КРИТИКИ

В феврале 1957 года исполнилось 75 лет со дня смерти талантливого поэта-романтика О. Барбье и 120 лет со дня выхода в свет его поэтического сборника «Лазарь». В связи с этой датой журнал «Пансе» опубликовал статью известного общественного деятеля и прогрессивного литератора Жоржа Коньо «Огюст Барбье — запрещенный поэт».

В сегодняшней Франции, отмечает Коньо, творчество Барбье предано забвению. За последние четверть века об авторе знаменитых «Ямбов» в самой Франции не было написано ни одной строчки. Причина этого отнюдь не в отсутствии у Барбье поэтического дарования: современная эстетская критика тенденциозно замалчивает творчество писателя-борца, предпочитавшего боевую гражданскую лирику развлекательной бездушной игре рифмами.

Основная часть статьи Ж. Коньо посвящена «Лазарю», сборнику стихов о нищем — английском Лазаре, страданиях тружеников британских заводов и рудников, страшной участи обитателей лондонских трущоб.

Хотя мировоззрению О. Барбье была свойственна утопическая вера в спасительную силу филантропии, заключает Коньо, его книга вплоть до наших дней сохраняет свое значение как первая страница того грозного обвинительного акта капиталистической системе, который создан многими талантливыми французскими поэтами, прозаиками, драматургами за последние полтора столетия.

КНИГА О МАРОККО

Внимание французской общественности привлекла выпущенная в Париже книга писателя Альбера Айяша «Марокко».

В своем предисловии к этой книге профессор Жан

Дрэш пишет: «Бесчисленное количество авторов пытались один за другим описать отсталость этой страны, застывшей как спящая красавица. ...Реальная действительность куда менее романтична...»

Большая заслуга книги Айяша, отмечает «Юманите», именно в том, что «в ней впервые нарисована правдивая картина положения в Марокко, дана исчерпывающая история тех страданий, которые пережил народ в течение сорока лет протектората».

КНИГИ Н. САРРОТ

Несколько лет назад был опубликован первый роман Натали Саррот «Портрет незнакомца». Хвалебное предисловие к этой книге написал Ж.-П. Сартр, который характеризовал ее, как «анти-роман», иначе говоря, как «роман о романе, который не получается и не может получиться», потому что целью писателя являлось не создание литературных образов, а, наоборот, их разложение и распад. «Портрет незнакомца» не встретил признания у широкого читателя. Но в некоторых узко литературных кругах он снискал автору репутацию «писателя для высоколобых», «писателя для писателей».

Новая книга Н. Саррот — сборник литературно-критических работ, выпущенная в 1957 году, называется «Эра подозрений». Кто же именно берется в ней под подозрение? Оказывается не более, не менее, как герои классических романов Толстого и Бальзака, Диккенса и Флобера...

ПРЕМИЯ ИМЕНИ К. МЭНСФИЛЬД

Во Франции учреждена премия имени известной английской писательницы и поэтессы Кэтрин Мэнсфильд, долгие годы жившей в этой стране. Премия будет присуждаться ежегодно в Ментоне как французским, так и английским авторам. Там же каждые два года решено проводить международные фестивали поэзии.

ЦЕЙЛОН

КИНОФИЛЬМ О ЦЕЙЛОНСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Кинофильм «Рекава» (автор сценария и режиссер Лестер Джеймс Перис) рассматривается местной печатью как ценный вклад в цейлонское киноискусство.

Фактически это первый цейлонский фильм, рассказывающий о жизни простых людей деревни, о людях бедных, вечно нуждающихся, о тех, «кто составляет большинство», пишет «Санди таймс оф Цейлон».

По мнению автора рецензии, фильм «Рекава» отвечает требованиям, которые предъявляются всем прогрессивным киноработникам — показывать жизнь такой, как она есть.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

К СОРОКАЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

На состоявшемся недавно пленуме Союза словацких писателей были разработаны мероприятия в связи с сорокалетием Великой Октябрьской социалистической революции. В областных и районных центрах намечено провести литературные вечера, на которых писатели поделятся своими впечатлениями о посещении СССР и будут читать стихи, посвященные Советскому Союзу. В Братиславе состоится вечер советской литературы.

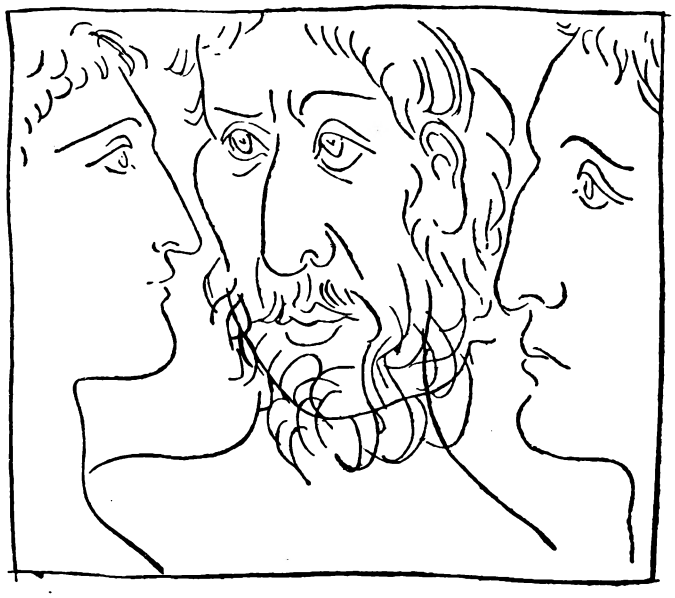
Издательство «Словацкий писатель» подготовит к этим дням сборник стихов, рассказов и очерков об СССР и обширную антологию советской поэзии, над переводами которой работает ряд поэтов.

ПАМЯТИ Я. А. КОМЕНСКОГО

По решению Всемирного Совета Мира в нынешнем году празднуется 300-летие издания собрания сочинений великого чешского педагога Яна Амоса Коменского. В этом же году исполняется 365 лет со дня его рождения, а в 1958 году — 300 лет с момента выхода в свет его произведения «Видимый мир

В серии «Бессмертные» в Чехословакии изданы «Метаморфозы» Овидия в переводе Ф. Штибица, который работает над ними свыше 20 лет. Это третье издание, выправленное и доработанное переводчиком. «Переводы Штибица,— пишет газета «Литерарни новины»,— заслуживают похвалы и признания. Штибиц является лучшим чешским переводчиком античной литературы». «Метаморфозы» изданы с иллюстрациями Пикассо и предисловием А. Гофмейстера.

На снимке — одна из иллюстраций Пикассо к «Метаморфозам».



Макс Швабинский, автор широко известного портрета Юлиуса Фучика, является крупнейшим чешским портретистом. В последнее время он создал цикл портретов деятелей науки, искусства и литературы. К их числу принадлежат и воспроизводимые здесь (слева направо) портреты Томаса Манна, Поля Валери, Сергея Прокофьева.

(Газета «Литерарни новины»).

в картинках». Огромное внимание всем этим событиям уделяется на родине Я. А. Коменского.

По решению правительства, сообщает журнал «Творба», будет издано собрание сочинений Коменского в 38 томах. Кроме того, выйдут избранные произведения Коменского в пяти томах. Большой интерес представляет издание архивных документов, касающихся жизни и творчества Коменского. Проф. Ян Лауда работает над созданием памятника Коменскому. Он будет сооружен в Голландии, которая явилась последним прибежищем великого мыслителя и педагога. Во многих городах Чехословакии и в местах, связанных с пребыванием Коменского, устанавливаются мемориальные доски. Будут выпущены марки и медали с изображением Коменского. В Праге откроется музей его имени, где будут помещены экспонаты, в настоящее время недоступные широкой публике.

Большим культурным событием несомненно явится конференция ученых, изучающих наследие Коменского, которая состоится в этом году в Праге. В подготовке к этой конференции принимают участие ученые Чехословакии, СССР, Германии, Польши, Голландии, Швейцарии и других стран.

ШВЕЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ Х. К. АНДЕРСЕНА

В Стокгольме впервые присуждена премия, учрежденная Международным кураторием юношеской книги. В честь знаменитого датского писателя-сказочника она названа «Премией Ханса Кристиана Андерсена».

По сообщению австрийского журнала «Антиквариат», премии за 1956 год удостоена книга сказок «Маленькая комната книжек» английской писательницы Элеонор Фарджон.

ЯПОНИЯ

«АЗИЯ ЗОВЕТ»

Так озаглавлен выпущенный издательством «Аоки сётэн» сборник очерков группы японских литераторов, художников, музыкантов, деятелей кино и театра, которые совершили недавно поездку по странам Азии и посетили также Советский Союз.

В рецензии на эту книгу, помещенную в журнале «Сюппан ньюз», отмечается актуальность выхода ее в свет. Книга будет с огромной пользой прочитана теми, говорится в рецензии, кто хочет в истинном свете увидеть современную Азию, тот огромный прогресс, которого она достигла после второй мировой войны. В этом свете наибольший интерес, по мнению журнала, представляет очерк видного японского писателя Тацудо Исикава «Мир изменился».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Хан Юн Хо (род. в 1932 г.) — корейский поэт и драматург. (О нем см. «Иностранную литературу», № 4, 1957 г.) Печатаемые нами стихотворения получены редакцией от автора в рукописи.

Анна Зегерс Anna Seghers (род. в 1900 г.) — немецкая писательница (о ней см. «Иностранную литературу», № 1, 1955 г.) Повесть «Возвращение» ("Die Rückkehr", 1949) взята из сборника «Улей» (Der Bienenstock", 1955).

Альберто Моравиа — Alberto Moravia (род. в 1907 г.) — итальянский писатель. Первая книга Моравиа «Равнодушные» ("Indifferenti", 1929) сделала имя писателя известным не только в Италии, но и за границей. К числу наиболее известных его произведений относятся романы «Римлянка» ("Romana", 1948), «Приспособленец» ("Conformista", 1951), «Презрение» ("Disprezzo", 1955).

Публикуемые нами рассказы, кроме двух: «Счастье в витрине» и «Первое донесение с земли», взятых из сборника «Эпидемия» („Epidemia", 1956), печатались на третьей («литературной») странице итальянских газет и должны войти в подготавливаемую Моравиа новую книгу «Римских рассказов».

Чарльз П. Сноу — Charles P. Snow (род. в 1905 г.)—английский писатель, член Королевского общества литературы. Печатается с 1932 года. С 1935 г. по 1954 г. вышло пять романов Ч. П. Сноу, объединенных общим названием «Чужие и братья» ("Strangers and Brothers"). Последние романы Ч. П. Сноу: «Новые люди» ("The New Men" 1954) и «Возвращение домой» ("Homecomings", 1956). Известна пьеса Ч. П. Сноу «Вид на парк» ("View over the Park") и другие произведения. Публикуемая статья прислана автором в рукописи.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**
Редакционная коллегия:
И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, ул. Воровского, д. 52, журнал «Иностранная литература».
Телефоны: Д 5-17-83, Д 5-17-10, Д 5-19-81.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. Ф. Марков.*

А05343. Сдано в производство 24/IV 1957 г. Подписано к печати 27/VI 1957 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9,0 бум. л.+1 вкл. П. л. 24,66+1 вкл.
Зак. 1060. Цена 8 руб.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 8 руб.